

В. П. БОТКИН
—
ПИСЬМА
ОБ ИСПАНИИ

Письма об Испании //Наука, Ленинград, 1976
FB2: "dctr ", 18.01.2021, version 1.0
UUID: OoFBTools-2021-1-18-10-52-50-870
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Петрович Боткин

Письма об Испании

Содержание

#1	0006
ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ	0007
#1	0008
I	0010
II	0084
III	0190
IV	0261
V	0316
VI	0388
<VII>	0452
ДОПОЛНЕНИЯ	0556
ПРИЛОЖЕНИЯ	0747
Б. Ф. Егоров В. П. БОТКИН — АВТОР «ПИСЕМ ОБ ИСПАНИИ»	0747
А. Звигильский ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ «ПИСЕМ ОБ ИСПАНИИ» И ОТЗЫВЫ О НИХ СОВРЕМЕННОКОВ	0798
ПРИМЕЧАНИЯ	0824
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	0841

Письма об Испании



В. П. Боткин.

Портрет К. А. Горбунова. 1840-е го-
ды.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



В. П. БОТКИН



ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:
Б. Ф. ЕГОРОВ, А. ЗВИГИЛЬСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
ЛЕНИНГРАД
1 9 7 6

ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ

«Письма» эти — результат путешествия по Испании в 1845 году — были уже напечатаны в «Современнике». Они издаются теперь без перемены и неоконченными по разным обстоятельствам. Многого желал бы теперь автор исправить в них, многое прибавить, многое совсем изменить, но это повело бы за собой их совершенную переделку, а переделывать по полузабытым впечатлениям — невозможно. Автор счел излишним ссылаться на газетные статьи, путешествия и исторические сочинения, которые служили ему пособием при составлении этих «Писем». Многим из прочитанного воспользовался он, имея единственно в виду уяснение предмета для читателей. К сожалению, в европейской литературе нет еще классического сочинения об Испании, которое бы совершенно верно отражало в себе описываемую страну. Поэтическая прелесть народных нравов Испании и постоянные политические смуты, ее волнующие, представляют такую взаимную противоположность, такой дикий контраст, кото-

рые всего более мешают путешественнику составить себе отчетливое понятие об этой стране, а испанская литература, за исключением немногих исторических сочинений, можно сказать, вся сосредоточивается в политических газетах, разделенных на непримиримо враждующие партии. Единственною целью автора предлагаемых «Писем» было сколько-нибудь познакомить русских читателей с этой вообще мало известною страной, которая до сих пор продолжает представлять одну из печальнейших политических задач нашего времени.

Мадрит. Май^{1}.

Нечего вам говорить, с каким любопытством переезжал я границу Испании, с каким жадным вниманием встретил я Ирун (Yrun), первый пограничный испанский город, где дилижанс наш остановился завтракать. Здесь же была и последняя станция на французских лошадях. В Ируне наш испанский дилижанс получил испанскую упряжь: десять красивых, сильных мулов. Весело смотреть, как их холят испанцы: вся задняя половина выбрита, грива в лентах, на голове высокий букет из разноцветной шерсти. Здесь же верх нашего дилижанса нагрузили дюжиною ружей и trabucos (род мушкетонов^{2}), между которыми поместились двое солдат, чтоб отстреливаться в случае нападения разбойников. Как ни будьте недоверчивы ко всем слухам и рассказам о разбойниках, но когда дилижанс вооружают как подвижную крепость, поневоле иногда подумаешь о них^{3}. Мои товарищи в дилижансе советовали мне, путешествуя по Испании, иметь при себе на-

личными деньгами столько, сколько нужно от одного большого города до другого^[4], — франков 200 или 300, а остальные деньги в векселях; эти 300 франков необходимы еще и для того, чтоб избавиться от *дурного обращения* разбойников, которые, если при путешественнике не окажется вовсе или очень мало денег, вымещают на нем свое неудовольствие побоями^[5]. Ирун познакомил меня и с испанскою кухнею: весь завтрак приготовлен был на дурном оливковом масле, которое воняло, как то, которое называется у нас обыкновенно деревянным. Впрочем, товарищи мои испанцы обрадовались ему, говоря, что они не могли есть оливкового масла во Франции: оно не пахнет маслом. Здесь же увидел я и классический плац испанский (сара); угрюмо и спокойно, завернувшись в свои коричневые плащи, смотрели мужики на проезжавший дилижанс. Ни в движениях, ни во взглядах не обнаруживалось у них этого живого любопытства, с каким житель юга, например итальянец, встречает всякую проезжую телегу и тотчас обступает ее^[6]. Эти спокойные, величавые манеры особенно поражают после фран-

цузской подвижности и увертливости. Il n'y a plus de Pyrénées[1] Людовика XIV⁽⁷⁾ показывает только, что так называемый великий король не имел никакого понятия об Испании. Никогда природа и нравы не разделяли две страны с большею резкостью!

Теперь между главными городами Испании (не всеми) и Мадритом, хотя изредка, ходят дилижансы; но когда первый дилижанс, назад тому лет двадцать, отправился из Мадрита, — за несколько миль от Мадрита он был остановлен толпою народа и сожжен вместе с чемоданами путешественников. Второй провожали два взвода кавалерии до самой границы. Это продолжалось целый месяц, пока народ не привык к этому нововведению, которое, между прочим, отбивало доход у погонщиков мулов и лошадей (*arrieros*), верхом на которых обыкновенно путешествовали по Испании. Испанские дилижансы по ночам не ездят, как у итальянских *vetturini*[2], у них назначены места для ночлегов. День оканчивают они в 3 и 5 часов вечера, выезжая на другой день рано утром. Разумеется, такого рода езда ведется из осторожности, и для путеше-

ственника она приятна, во-первых, тем, что имеешь время взглянуть на города, а во-вторых, можно часа три уснуть на постели (хотя здесь они очень плохи)⁽⁸⁾. Дорога до Виттории печально-живописна: селений мало, изредка по горам виднеются одинокие дома, большие, полуразвалившиеся. Испанец не любит съезжаться, он живет сально, бедно, но широко. И как все это заброшено, как всюду еще видны следы междоусобной войны! В иных селениях есть дома, наскоро укрепленные, — на них следы ядер и нуль; другие стоят с полуразрушенными крышами. Сальные, одинокие постоянные дворы (*ventas*) нисколько не изменились со времени странствования Дон-Кихота: та же большая комната, вроде сарая, подпертая толстыми колоннами, вместо стульев каменная скамья, вделанная в стену; посреди громадный камин, дым которого выходит в отверстие, проделанное в коническом потолке. Я ничего не решался спрашивать там, кроме вина, да и то нестерпимо воняло своим кожаным мешком... Франция только за 30 миль, — можно подумать, что она за 2000!

В Виттории мы ночевали. Я часа три бро-

дил по городу и не нашел его нисколько интересным. На одной площади увидел я очень красивую церковь, вошел в нее... — она служила амбаром для складки хлеба. Вывший тут человек объяснил мне, что церковь эта принадлежала к монастырю. Когда монастыри в Испании были упразднены и монахи из них выведены, монастыри вместе с их землями поступили в государственное владение и продавались с аукционного торга⁽⁹⁾. Таким образом, и эта монастырская церковь кончила свое земное поприще тем, что стала сараем. Ее теперешний владетель не потрудился даже очистить ее: он только сложил в угол раскрашенные бюсты святых. Ради бога, есть ли возможность думать и мечтать о старой католической Испании, об Испании романсеров⁽¹⁰⁾, когда современная Испания при первом шаге на ее почву так ярко мечется вам в глаза! Кстати заметить, что здесь протестанты и теперь еще лишены права иметь свою церковь и, кроме католического храма, никакой другой не может быть в Испании. Это одно из множества тех диких противоречий, которые могут несколько служить ключом для поня-

тия настоящего положения Испании.

До Виттории дорога идет самыми живописными местами. Чудная и унылая природа! Селения редки, и вы представить не можете, что за угрюмый вид этих селений. По городам у редкого дома нет огромного герба на входе: редкий васконгадец^{11} не считает себя дворянином. Виттория — главный город провинции Алава, которая с Бискайей и Гипуской составляют так называемые провинции васконгадские. Эти-то провинции с таким мужеством поддерживали дон Карлоса^{12}. Но собственно до дон Карлоса им было весьма мало нужды, а чтоб показать вам, до какой степени могла простираться их привязанность к монархическому началу, я попрошу у вас позволения сказать несколько слов об их политическом устройстве.

Вся Испания с Карла V^{13} сделалась неограниченной монархией, кроме трех васконгадских провинций, — одни они сохранили свои прежние республиканские формы и по-прежнему продолжали собирать свои национальные конгрессы. Маленькие общины присылали свои депутации; сами общины собственно

назывались республиками. Эти конгрессы заведовали администрацией провинций, назначали налоги, распределяли общественные расходы. Провинции сами платили своим чиновникам, содержали милицию; у них был свой бюджет, свой кредит, и кредит до такой степени цветущий, что, например, до последнего восстания четырехпроцентные бумаги провинции Алавы ходили по 93 франка. Кроме того, провинциальные хунты (juntas)⁽¹⁴⁾ вместе выбирали одного общего депутата, в руках которого сосредоточивалась власть исполнительная и который сносился с испанским правительством почти как равный с равным. Алава и Гипускоа вместе выбирали себе одного такого депутата, который был, некоторым образом, президентом двух маленьких республик. Но Бискайя, самая демократическая из трех, выбирала себе трех, составлявших нечто похожее на директорию. Во все это испанский король не мог вмешиваться ни с какой стороны; он имел только в каждой провинции своего corregidor[3]. Хотя Наварра далеко не имела подобного устройства, но и ее права (fuegos) были значитель-

ны. Конституция, обнародованная после смерти Фердинанда VII^{15}, лишила все эти северные провинции их отдельных прав — fueros и, вместе с тем, их старинной самостоятельности. Вот где должно искать истинной причины их восстания и той энергии, с какою поддерживали они войну против Христины и конституционистов. Тут дело шло собственно не об *rey neto* (неограниченный король), не о правах дон Карлоса: провинции хотели сохранить свою независимость от конституционного уровня. Это была война не за убеждения, не междоусобная война, но война за муниципальные права; они хотели *rey neto*, дон Карлоса, для того чтоб самим оставаться свободными, при своем республиканском устройстве. Кроме того, васконгадцы говорят между собою особенным языком, который не происходит ни от латинского, ни от цельтического^{16} и в котором ученые решились найти некоторое сходство с одним финикийским^{17}; верно то, что он не имеет ни малейшего сходства с испанским. Алава и Гипускоа не платили государству никаких податей, но *покупали покровительство* Испании за известную сумму,

которая не изменялась в продолжение трехсот лет. Гипускоа, например, платила королю ежегодно 42 000 реалов (около 10 000 рублей асс.). Бискайя же, самая демократическая из трех, избавила себя от всякого рода подати, как заключающей в себе, по ее мнению, понятие вассальства и зависимости. Она считала себя ничем не обязанною Испании и только по временам делала добровольные приношения (donativos). Сумма их менялась, смотря по нуждам короля и по щедрому расположению провинции.

Красота Испании давно вошла в пословицу, с давних пор поэты воспевают ее апельсинные и лимонные рощи... увы! это также одно из заблуждений, существующих насчет Испании. Впрочем, может статься, за несколько сот лет оно было и иначе, теперь же ничего нельзя себе представить унылее этой природы. Но унылость эта необыкновенно велика. Представьте себе, что нигде не встречаешь дерева, по окраинам полей одни только кусты розмарина; изредка маленькие деревни, без зелени, выкрашенные темно-глинистою краскою, — и деревни эти так редки,

что, встречая одну, давно забыл уже о предшествовавшей. Глаза свободно пробегают пространство в 8, 10 верст, не встречая на нем ни одного жилья, ни одной малейшей рощицы олив, ничего, кроме душистых кустов розмарина; все это объято самою прозрачною, чистейшею атмосферой. Вероятно, на этой почве могли бы расти и дуб, и липа, и каштан; в Испании богатство лежит у ног человека — стоит только наклониться за ним; но испанцы еще не любят наклоняться.

В Рансорво, где дорога вдруг углубляется в ущелье гор, вышло шестеро солдат охранять дилижанс от разбойников. На прошлой неделе тут была ограблена почта. Теперь одному только войску платит правительство, чиновники получают за год половину жалованья. Зато одним войском и держится настоящее министерство. Надобно видеть, что такое для испанца его правительство и с каким презрением он говорит о нем, сохраняя в то же время самое страстное почтение к своей Изабелле. Испания прежде всего страна муниципальных^{18} привычек и особенностей; для испанца темно понятие о государственном

единстве, об одинаковости прав и обязанностей. Каталония и провинции васконгадские до сих пор смотрят на конституционный уровень как на деспотизм⁽¹⁹⁾. «Нам хорошо, а вам худо, — говорят они испанцам, — вы хотите лишить нас довольства и заставить делить с вами вашу бедность. Не лучше ли вам подражать нам? По крайней мере оставьте нас в покое и не думайте заставить нас отказаться от наших прав». С месяц назад каталонцы взбунтовались за то, что с них правительство требовало рекрут на основании общего закона о рекрутстве, тогда как, по провинциальным правам своим, городские и сельские общины вместо рекрут вносили известную сумму денег. В подобных случаях испанец не рассуждает, соответствует ли его дело справедливости и общему праву, ему нисколько не кажется странным деньгами платить тот налог, который другие платят кровью, он вытаскивает свое ружье, делает pronunciamiento[4], дерется и часто умирает героем. Правительство, испугавшись энергии, с какою каталонцы взялись за дело, объявило прощение всем, которые отдадут ему оружие, и в то же время от-

менило конскрипцию^{20}. Возмущение тотчас утихло. Впрочем, у каталонцев, о которых мой сосед в дилижансе говорил, что они *tienen mucho valor y gran gusto por las batallas* (очень храбры и большие охотники до сражений), это выходит из физического положения их мануфактурной и промышленной провинции, нуждающейся всего более в рабочих руках.

В Бургосе, унылой и пустеющей столице старой Кастильи, осмотрел я его великолепный собор и сделал визит дому, где родился Сид^{21}. Страна исторических преданий! Какой другой народ с такою привязанностью хранит память своих героев! Имя Сида, символа феодальной и рыцарской Испании, этого *castellano de los derechos* (прямого кастильянца), пройдя восемь веков, с энтузиазмом еще повторяется в гимне, где дух новых времен взывает к старой Испании: «Спокойные, веселые, мужественные и смелые, запоем, солдаты, песнь битвы! Да подвигнется земля на наши голоса, и да узнает в нас мир детей Сида!» (*himno de Riego*[5])^{22}. Что касается до собора, — это один из великолепнейших в мире;

никогда не встречал я такого удивительного слияния итальянского стиля с готическим. Внутри не оставлено ни одного малейшего места без украшений — изящных, грандиозных, фантастических. Из этого соединения итальянской грации с готической важностью выходит *нечто* удивительно привлекательное, хотя в этом *нечто* сильно предчувствуется вкус, известный впоследствии под странным именем рококо. Последняя перестройка собора — не далее конца XVI века.

Ничего не можете себе представить унылее старой Кастильи: однообразная пустыня постоянно расстилается пред глазами, ни одного дерева по всем этим нескончаемым полям, — нет даже и прежних кустарников розмарина. Между тем тут много рек, земля прекрасна. И представьте: причина такой пустынности не в лености и беспечности, а в предрассудке. Кастильцы твердо убеждены, что птицы сильно истребляют рожь, деревья же привлекают птиц и служат их убежищем. Отсюда их непреодолимое отвращение ко всякого рода деревьям^[23]. Несмотря на степной вид свой, поля Кастильи, там, где трудят-

ся хотя слегка обрабатывать их, необыкновенно плодородны; не более как на два фута глубины почва влажна и даже водяниста, так что, несмотря на постоянные жары и на страшную сухость атмосферы, хлеб здесь постоянно в урожае. Но при дороговизне и трудности сообщений, даже при урожаях, кастильцу не на что купить сапогов. Деревни встречаются, как редкие оазисы — и какие унылые оазисы! Вдали по горизонту тянутся скалистые горы. Среди этой-то уныло-страстной природы и выработался тип испанского характера, медленный, спокойный снаружи, раскаленный внутри, упругий и сверкающий, как сталь, — африканский дикарь и рыцарь.

«Нет больше Пиреней!» — говорил Людовик XIV, — а эта масса высоких гор, всю роскошь растительности обращенных к Франции и показывающих Испании только свои голые скалы, эта трудность сообщений, поставленная природою между Франциею и Испаниею, и далее, эта почва, плодородная и заброшенная, эта пустыня у самых ворот Франции, созданная беспечностию и леностию, — этот народ столь благородный, прекрасный,

исполненный достоинства, так роскошно наделенный природою всеми благами — и нищенский; эта страшная упрямость характера, эта страстная приверженность к прошедшему; этот дух исключительности и уединения в эпоху, когда все стремится к сближению... и, наконец, эта так называемая революция⁽²⁴⁾, которая так же мало походит на революцию, как вооружение рыцаря на наш фрак, — все это здесь необыкновенно действует на душу, на воображение, а главное, возбуждает самый страстный интерес к этой благородной стране, имя которой каждый сын ее не произносит, не прибавив: «несчастливая»!

Вот я и в Мадрите! Но до сих пор что за унылая страна эта Испания! От Бургоса до Мадрита те же пустынные поля. Сколько раз говорил я про себя: да это наши бесконечные равнины России! — только дальняя, синяя полоса гор разрушала сходство. По пустынным равнинам подъезжаешь, наконец, к Мадриту, который стоит тут бог знает зачем, потому что среди этих пыльных, совершенно обнаженных полей решительно нет никакой при-

чины стоять не только столице, даже ничтожному городишке. Окрестности Мадрита состоят из пустого поля; бедный Мансанарес высыхает еще весною, и от него теперь остался маленький ручей; палящее солнце и сухая песчаная почва истребляют всякую растительность; словом, вы ничего не можете себе представить печальнее этой природы.

В числе моих рекомендательных писем были два к высшим чиновникам настоящего министерства^{25}, потом к одной жаркой карлистке, дочери бывшего министра при Фердинанде; кроме того, на квартире, куда я тоже рекомендован, товарищем у меня don Vicente, капитан фрегата при Эспартеро^{26} — жаркий прогрессист; и я, как видите, нахожусь между озлобленными, непримиримыми партиями; и тотчас же был поставлен au courant[6] надежд, опасений, намерений каждой. Как бы вы ни были расположены к созерцательной, художнической жизни, как бы вы ни чуждались политики, в Мадрите — вы брошены насильно в нее. С кем бы ни заговорили вы, слово el gobierno (правительство) будет если не первым, то уж верно вторым, которое вы

услышите. Кроме политики, нет разговора; если она наводит на вас скуку, вы осуждены на самые вялые беседы о театре и тому подобное. El gobierno для испанца не есть какое-нибудь отвлеченное понятие: нет! здесь каждый чувствует его на себе, ибо каждый принадлежит к какой-либо партии. «Кто не за меня, тот против меня!» — восклицает партия, овладевая кормилом правительства, и перед этим лозунгом нет пощады ни уму, ни знаниям, ни убеждениям, ни долгим заслугам. Терпимость есть слово, которое в Испании не имеет еще смысла^[27]. В несколько дней я был посвящен в la situación, как называется здесь вообще положение правительства в данное время; это барометр, на котором беспрестанно отражается волнение политической атмосферы. Свадьба Христины с Муньос^[28] еще сильно волнует умы. Впрочем, напрасно называют Испанию политической загадкой, что будто все здесь случается бог знает как и почему, без причины и смысла, и что один слепой случай владычествует здесь. Правда, все здесь живо и быстро; но все события совершаются логически, то есть все события

непременно вытекают одно из другого. Говоря о политических партиях Испании, я, может быть, коснусь этого; но Европа так мало знает Испанию, ее журналы судят ее с точки общих европейских форм и еще больше затемняют дело, указывая в ней только на те пружины, которые пригодны для духа политических партий; да и как понять это странное явление! Вот уж 30 лет Испания постоянно находится в судорожных конвульсиях^[29]. Она хочет оторваться от своего прошедшего и хочет в то же время сохранить все свои старые, заветные предания; делает и переделывает на иностранный лад свои конституции^[30] — и хранит всю свою старую, ужасающую администрацию. Война с карлистами тянулась без убеждения, без страсти, без энтузиазма. Наконец, случились деньги, Маротто куплен, и лучшие солдаты дон Карлоса кладут оружие^[31]; за возмущившимися провинциями оставлены многие из их fuegos, они усмиряются, а судьба Испании не улучшилась ни сколько... тяжело сказать... эти страшные, тяжкие страдания не породили до сих пор ровно ничего...

Испания полна уныния; народ ее словно находится в том тяжком забытьи, какое испытывает человек, долго находясь на морозе. Не в настоящем должно искать причин этим тяжким политическим страданиям: они в прошедшем, они далеко назад. На междоусобную войну в Испании смотрели как на событие необыкновенное и неожиданное. Но разве эта война не есть результат зол предшествовавших? — это та же самая болезнь, только вышедшая наружу. И прежде наваррского восстания в Испании была междоусобная война, предпринятая инквизициею против всякой живой, благотворной мысли, против всякого развития человеческих способностей. Настоящее положение Испании есть только преобразование этой внутренней, душевной борьбы в борьбу с оружием в руках, уготованную тремя веками невежественной, фанатической, безнравственной администрации.

Не новое политическое устройство Испании, ни даже прежнее причиною несчастий ее. Правда, инквизиция, монахи были для нее страшным злом; но ведь феодальное устройство Испании было общее с Европою; отчего

же оно только на Испании оставило такие гибельные следы? Не оттого ли, что в Европе при дурном устройстве было всегда правительство, которое хотя иногда было также дурно, но всегда более или менее вращалось в кругу идеи современной себе цивилизации⁽³²⁾. В Испании ни в какое время, ни в какой форме не было правительства: был только один произвол со всеми своими заблуждениями и личными страстями; никогда администрация не имела других законов, кроме собственного каприза и своих личных интересов. Так было прежде, то же и теперь. Три века правительственного безумства не прошли даром: тяжело легли они на благородной стране. Мудрено ли, что народ ее теперь равнодушно смотрит на все эти конституции, говоря про себя свое любимое ¿qué importa? (что за нужда?). Он знает, что над всеми этими конституциями есть иная высшая власть — анархия.

С чего начать, говоря о Мадрите, как не с Puerta del Sol, этого форума Мадрита и новой Испании. Puerta del Sol вовсе не ворота, а небольшая площадь, называющаяся так от прежде бывших тут городских ворот солнца.

Здесь центр Мадрита, сюда сходятся все его главные улицы. На площади с раннего утра до позднего вечера толпится масса всякого народа, беспрестанно возобновляющаяся, ибо всякий вышедший за чем бы то ни было из дому непременно зайдет послушать новостей; точно так же, если пахнет в воздухе бунтом, он непременно начнется на Puerta del Sol. Политика здесь — занятие постоянное, потому что тревога, смута составляют здесь нормальное положение общества. Все эти посетители Puerta del Sol важно беседуют, завернувшись в свои широкие плащи. По временам из плаща выставляются руки, которые вертят маленькую папироску, слышится обычное: *hágame Usted el favor*[7], папироска закуривается, и разговоры идут с тем серьезным, изящным достоинством, с тою *flema castellana*[8], которыми из всех народов Европы владеют одни только испанцы. Плащ здесь и зиму и лето составляет необходимую принадлежность одежды — только высшее гражданство и чиновники носят обыкновенный европейский костюм. — *La cara*, говорит кастильянец, *abriga en invierno y preserva en*

verano del ardor del sol (плащ укрывает зимой и предохраняет летом от жара солнца), и вследствие этого он закутывается в него и в июле, и в декабре. Так как la sara закрывает всю остальную одежду, то кастильянец не слишком заботлив о ней. Без sara в Кастильи считается неприличным войти в Ayuntamiento (заседание городского правления), идти в процессии, присутствовать на свадьбе, сделать визит важному лицу: это своего рода народный мундир^{33}.

Casa de correos (почтовый дом)^{34} занимает одну из сторон площади; выстроенный квадратом, огромный и с самыми массивными стенами, он легко может служить надежной крепостью, и не мудрено, что при военных возмущениях Мадрита всегда стараются, та или другая сторона, овладеть почтовым домом и укрепиться в нем. Собственно народ занимает обыкновенно середину Puerta del Sol; насупротив Casa de correos сходятся обыкновенно военные и чиновники, — los hombres de la situación (люди, приверженные к настоящему правительству). После трех часов у входа его собираются банкиры и биржевые ма-

клера. Каждая прилежащая кофейная имеет свой политический колорит. Эспартеристы и exaltados^{35}, снова сближенные общим гонением^{36}, сходятся у Café nuevo, возле почтового дома; Café de los amigos посещают «умеренные», или, как их теперь называют, los situacioneros[9]; потому что название moderado не шло более к партии, которая прошлого года расстреливала десятками и сотнями. Из моих знакомых каждый верен кофейной своей партии, и в каких бы дальних сторонах Мадрита они ни жили, каждый приходит непременно в свою кофейную есть мороженое или сорбет^{37} или просто выпить стакан воды. Ни один exaltado не пойдет в Café de los amigos. Кстати, о кофейных: их здесь бесчисленное множество^{38}, и, конечно, ни в одной стране нет такого разнообразия bebidas heladas (замороженного питья), как в Испании: bebida de naranja (из апельсина), bebida de limón (из лимона), bebida de fresa (из земляники), bebida de guindas (из вишен), bebida de almendra blanca (из сладкого миндаля — и самый освежительный), — все они удивительно сохраняют аромат своего плода.

Кроме этого, подают еще слегка замороженное молоко. Ранним утром, когда мороженое не готово, можно пить *agraz*, питье, сделанное из неспелого винограда, чрезвычайно приятное. Мадритское мороженое (*quesitos*) далеко хуже неаполитанского — но зато *esrumas* здешние превосходны: это взбитая и слегка замороженная пена шоколада, кофе, сливок и т. п., чуть посыпанная корицею^{39}.

Кроме кофеен, *Puerta del Sol* обставлена магазинами и цирюльнями. *El barbero*[10], кажется, не потерял еще здесь своей старинной народной важности. Каждая лавка, каждая цирюльня имеет своих посетителей, которые сходятся тут беседовать; иногда эти сходки так велики, что покупателям нет возможности пробраться в лавку. Вследствие этого к некоторым лавкам привешена бумага с надписью: *aquí no se tienen tertulias* (здесь не держат собраний). При таком всеобщем расположении к беседам иностранцу очень легко ознакомиться с положением общественных дел. Мнение о скрытности и молчаливости испанцев совершенно ложно; может быть, оно и справедливо относительно их частных

дел, может быть, они скрытны в делах сердца и страсти, но что касается до дел общественных, то нет народа прямодушнее и открытее. Садитесь в кофейной к любому столу, к любой группе разговаривающих — к какой бы нации вы ни принадлежали, ваше присутствие никогда не мешает разговору. Смело вмешайтесь в разговор; эта изящная испанская вежливость, узнавши, что вы иностранец, становится еще деликатнее. Если тут читается иногда интересное письмо из провинции, оно вам передается для прочтения; покажите только участие или даже просто любопытство, всякий испанец счел бы за величайшую невежливость не удовлетворить им^{40}. В мадритских кофейных видно несравненно более женщин, нежели в кофейных Парижа. Особенно вечером — решительно все столы заняты одними женщинами^{41}.

Мадрит не есть столица, созданная историей; не далее XVI века он был небольшою деревнею. Самостоятельное положение провинций и потом совершенно особое от прочей Европы развитие монархической власти в Испании не позволили королям испанским иметь

себе столицу в обыкновенном смысле этого слова. Постоянная война с маврами заставляла их иметь свою резиденцию сообразно с военными движениями. Фердинанд и Изабелла^{42} избрали было себе постоянною резиденциею Толедо. Но после них Карл V (испанцы называют его Карлом I) в Испании почти не жил. Филипп II^{43} как-то случайно обратил внимание на местечко Мадрит; вероятно, ему понравилось его унылое местоположение; он полюбил отдыхать здесь во время охоты, наконец, выстроил тут себе дворец^{44} и решительно поселился в Мадрите. Наследники не вздумали изменять его выбора, и, таким образом, Мадрит сделался столицею Испании. Впрочем, один уже вид этого города говорит, что никогда народный инстинкт не выбрал бы себе столицею такого во всех отношениях бедного местоположения. К несчастью Испании, не презрительному взору гения выпал жребий избрать ей столицу, а монарху мрачному, эгоистическому, более занятому своими капризами и личными интересами, нежели счастьем своей страны. Чем более рассматриваешь Мадрит, его положение, его

средства, тем более убеждаешься в пагубном влиянии, какое этот несчастный выбор имел на испанский народ. Я не люблю столиц, поглощающих в себе всю жизнь нации⁽⁴⁵⁾, но нельзя не согласиться, что, например, Париж, резиденция короля, парламента, Сорбонны, наук и, вследствие этого, литературы, роскоши, вкуса, имел самое благодетельное влияние на национальное единство Франции. Ничего подобного в Испании. Выбор Филиппа II вызвал из ничтожества столицу — и выбор этот, который мог бы до известной степени поправить ошибку исторического воспитания Испании, возрастил, напротив, во всей свободе семена разделения, существовавшие в старой Испании. И Мадрит, посреди пустынных равнин Кастильи, вдали от всех больших рек, между народонаселением, может быть самым неподвижным из всей Испании, не мог приобрести себе ни богатства торгового, ни деятельности и влияния, всегда его сопровождающих; знаменитые университеты Алкалы и Саламанки отвлекали к себе все его лучшее юношество; бедному Мадриту оставалось одно преимущество: быть резиденциею

короля и двора. Даже теперь иногда мадритцы, говоря о своем городе, называют его не столицей, не городом, а двором, *esta corte*. С Филиппа V^{46} испанский двор сделался рабским подражателем двора французского (только в сохранении инквизиции состояла его испанская национальность)^{47}; вследствие этого Мадрит не мог даже сделаться и столицей национального испанского вкуса, искусства. Все, как бы нарочно, соединилось, чтобы сделать Мадрит городом без всякого национального значения, без всякого влияния на провинции. Это обстоятельство достаточно поясняет, почему в Испании всякое движение выходит всегда из провинций, почему все здесь делается провинциями и почему Мадриту не остается ничего другого, как говорить «аминь» на все, что делают они. Торговля Мадрита ограничивается одним Мадритом; учебные заведения его (исключая Атеней^{48} — нечто вроде парижской Collège de France)^{49} без всякого значения. Мадрит живет одним двором; переедет двор в другой город — и Мадрит опустеет. После здешнего народного бунта в 1766 году, поднявшегося вследствие

королевского повеления обрезать длинные поля национальных шляп^[50], Карл III решился было непременно перенести в Севилью резиденцию двора; только благодаря стараниям министра его, графа Аранда, который отклонил короля от его намерения, Мадрид остался столицей. Но я забыл было сказать... Мадрид имеет в себе сокровище великолепное, поразительное: это его картинный музей; по величине, разнообразию и богатству — первый из музеев Европы; он весь состоит из chefs-d'œuvres[11]. Его бесчисленные сокровища так еще мало знает Европа!

После Puerta del Sol самое интересное место в Мадриде есть его загородное гулянье, Prado: широкое шоссе, по обеим сторонам которого идут аллеи каштанов; но деревья так бедны, что под ними невозможно укрыться от солнечного жару. Prado есть место свидания всего лучшего общества Мадрита. Тут прогуливаются, раскланиваются, представляют своих друзей, говорят, курят; сюда надобно ходить смотреть на мадритских красавиц. Prado есть и своего рода политический салон: здесь можно видеть политических людей Ис-

пании. Являться на Prado есть для них такая же необходимость, как, например, в Париже являться в известные политические салоны. Женщины высшего света иногда катаются в колясках, иногда прогуливаются пешком, рядом с *manolas* (мадритскими гризетками), чиновницами и куртизанками, которые играют на Prado не последнюю роль. Впрочем, испанская аристократия не считает для себя неприличным мешаться с *толпой*, и меня всего более поражает здесь это тонкое чувство приличия, эта изящная вежливость, чуждая всякой приторности, которая царствует без исключения между всеми классами народа. Сколько раз случалось мне видеть, как на Prado простолудин в своем плаще останавливал гранда или генерала, прося у него сигары закурить свою, — и те всегда вежливо подавали ее ему. Но надобно также видеть и то, с какою деликатною осторожностью берут испанцы сигару для закурки! Собственно мадритские женщины некрасивы; если меня поражало прекрасное лицо и особенная грация в походке, они большею частию принадлежали андалузкам или валенсиянкам, по уверению моих

приятелей. И потом, увы! французские моды, el estilo de Paris (парижский вкус) свели с ума мадритянок до того, что убили в них всякий эстетический инстинкт в одежде: шляпка начинает у них сменять мантильи⁽⁵¹⁾. Мантилья, сквозь которую так очаровательно просвечивает могучая черная с синью коса, мантилья, которая, слегка прикрывая свежие цветы на левой стороне головки, прозрачно падает на открытые грудь и руки, — увы! эта чудесная мантилья оставляется для убора, придуманного для безволосых старух. Вы не можете представить себе, как печально видеть эти матовые, горячо-бледные лица, эти яркие физиономии заключенными в ужасные шляпки «по парижской моде» (al estilo de Paris)! Я был бы, конечно, равнодушнее к ним, если бы они не показывались возле мантильи. Вы знаете великолепный эффект, производимый на московских гуляньях костюмами провинциальных барынь и русских купчих; но там безвкусие костюма гармонирует, по крайней мере, с неподвижностью физиономий, тупостью черт или лимфатическою тучностью, а здесь под этою противною шляпкою блестят

огненные глаза, и матовая, прозрачная, свежая бледность лица исполнена такой сверкающей игры. Многие носят мантилью сверх шаля!! Национальная короткая *basquiña* (юбка), которая выказывала изящные ножки, сменилась длинным французским платьем. Любимый испанский цвет — черный — оставляется для каких-то дурных пестрых цветов. Слава богу, что они хоть сберегли свой национальный *abanico* (веер). Веер решительно никогда не выходит у них из рук, у самой бедной крестьянки, как у королевы, и искусство владеть им дано только испанкам. На Прадо, в театре, в церкви постоянно слышится шум и щелканье вееров; они кланяются ими, приветствуют, делают знаки, наконец, говорят ими, потому что меня уверяли, что женщина может сказать веером все, что захочет. В этом пламенном климате, словно по какому-то женскому капризу, черный цвет есть единственный цвет национального женского костюма. Если встречаешь толпу женщин, одетых со всем испанским изяществом, то непременно андалузки. Эти черные, иногда белые покрывала на головах, падающие на плечи и

руки, молодым придают вид каких-то фантастических монахинь, волнуемых светскими страстями, старым — вид древних прорицательниц. Да, я должен сказать еще, что здесь рука об руку могут идти муж с женою или брат с сестрой — для прочих это считается неприличным.

В Мадрите есть несколько улиц, выстроенных великолепно, но они более или менее похожи на улицы всех европейских городов; только бесчисленные балконы с опущенными, пестрыми занавесами придают им оригинальный характер. Во всем остальном Мадрит не имеет никакой особенности ни в нравах, ни в обычаях. Это город народонаселения наезжего. Каждая провинция приносит сюда свой характер, свой костюм и свои обычаи. Говорят еще, к чести Мадрита, что из всех испанских городов в нем всего менее предрасудков и всего более терпимости в нравах. Народонаселение Мадрита главное состоит из чиновников и торговцев всякого рода. Торговля предметами потребления вся производится или приезжими из провинций, или иностранцами. Куаферы, портные, парфюмеры,

магазины модных вещей — все имеют французские имена и вывески. Воздух Мадрита (возвышенность его почвы — 600 метров над поверхностью моря) чрезвычайно раздражителен для нервических организаций; кроме того, несмотря на ясность и тишину свою, он так сух и резок, что бóльшая часть здешних жителей умирает от болезни легких^{52}. Здесь есть пословица, что мадритский воздух не задует свечи, а убивает человека^{53}. Мне один *moderado* говорил, что сильный прогрессивный дух мадритцев происходит от раздражающего здешнего воздуха — в чем я с ним, разумеется, согласился.

Уволенный со службы.



Mirrored

ORTEGA



Водонос.

Из всех здешних улиц самая интересная Calle de Toledo. Вся она наполнена постоянными дворами (paradores и posadas), трактирами, харчевнями, мастерскими. Это самая населенная и оживленная часть Мадрита. Благодаря моему здешнему приятелю, г. Вильямилу^[12], который вызвался показывать мне Мадрит⁽⁵⁴⁾, наша прогулка по Calle de Toledo была для меня самая любопытная. Здесь вся Испания в миниатюре: разнообразные костюмы провинций, их наречия, особенности, манеры, физиономии лиц, — ни одна в мире страна не представляет такого живого разнообразия. Г-н Вильямиль, истинный испанец в душе, несколько раз изъездил верхом всю Испанию и знает ее в подробности. Он беспрестанно заговаривал, спрашивал о чем-нибудь, чтобы показать мне особенность наречия каждой провинции. Бесперывный шум и гам стоят на улице, торговля и промышленность Мадрита сосредоточиваются здесь. Разумеется, вся эта жизнь начинается только к вечеру, потому что днем как высший и сред-

ний классы, так и простой народ делают сиесту (siesta), или, говоря проще, сидят от жару дома. К вечеру все народонаселение выходит на улицу. Тут громадные galeras[13] валенсианцев в их полуафриканской одежде и щеголей андалузцев выезжают в дорогу, чтоб к ночи поспеть на ночлег в венту; цирюльники у дверей цирюлень публично бреют своих клиентов; кружок андалузцев (вечно веселый народ), сидя у входа кузницы, напевают la saña [14]; возле — девочки под кастаньеты пляшут fandango, толпа полуодетых, бронзового цвета мальчиков играют на улице, представляя corrida de toros[15]; ватага удалых cigarregas (женщин, работающих на сигарной фабрике: еще особенный испанский тип) расходится по домам, окруженная своими любезными; в харчевнях и у входа их толпы народа ужинают сардинами и салатом. Los argieros (перевозчики товаров на мулах) разных провинций, во всей особенности своих провинциальных костюмов, приезжают на постоянные дворы, гоня перед собою длинные цепи мулов, всегда выхоленных и разукрашенных перевязями и букетами из разноцветной шерсти

(здесь товары не перевозят иначе, как на спинах мулов). Нищий просит милостыни, распевая под аккомпаньемент своей гитары: Señores caballeros, una limosna por el profesor [16].

— A la paz de Dios, caballeros (мир вам божий, кавалеры), — говорит, пробираясь между нами, высокий, сухоощавый *argiero*.

— ¿De que parte del paraíso? (Из какой части рая?).

— De Jaén (из Хаэна).

— Buena tierra si no se estuviera tan cerca de Castilla (хорошая была бы земля, если б не лежала так близко к Кастильи).

По поводу выражения «рай», смысла которого я не понял, чичероне мой рассказал мне следующий народный рассказ: Сан-Яго (народный святой в Испании) по смерти своей предстал пред богом, который, довольный его земными подвигами, говорит ему, что исполнит все, о чем он будет просить его. Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании богатство, плодотворное солнце, изобилие во всем. — Будет, — был ответ. — Храбрость и мужество народу, — продолжал Сан-Яго, —

славу его оружию. — Будет, — был ответ. — Хорошее и мудрое правительство... — Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию.

А вот пробираются две красивые *manolas*.

— ¿Adónde van las reinas? (А куда идут эти королевы?) — кричат им несколько молодых погонщиков мулов.

— A perder los de vista (туда, где бы вас не видно было), — отвечают они со смехом, кокетливо поправляя на головах своих цветы, несколько помятые небрежно накинутою тафтяною мантильею.

— ¿Si necesitan un hombre al estribo? (Не нужен ли мужчина в провожатые?).

— ¿Y son así los hombres en su tierra? ¡Jesús, — qué miedo! (Так такие-то все мужчины в вашей земле? Христос, какой страх!).

— ¡Qué salero! — раздалось в толпе вослед веселым *manolas*.

Слово *salero* от *sal* (соль) непереводаимо. Это самое лестное выражение, каким только мужчина может похвалить женщину. Оно выражает вместе и грацию, и ловкость, и

удаль, и то, что парижане называют *chic*[17].

Ни одна улица в мире не представляет такого живого, ярмарочного разнообразия; около нас раздавалась тысяча криков разных разносчиков и продавцов, над которыми господствовал крик: «Холодная вода, сейчас из фонтана!» — «*Agua fría, ¡de la fuente la traigo!*».

Фонтанов в Мадрите много, но все они очень бедны водою (она проходит в них из гор *Guadarrama*). Несмотря на мраморных дельфинов и бронзовых черепах, желающих выбрасывать ее широкими струями, она только точится из них тонкими струйками. Множество водоносов сидят вокруг фонтанов с своими бочонками и жестяными трубками, проводят в них бедные струи фонтана. Очередь наблюдается свято, и у фонтанов никогда нет замешательства. Право на ремесло *aguador* (продавца воды) дается коррехидором, и для этого надобна репутация особенной честности; кроме того, получение права стоит денег, как все в Испании. При постоянных девятимесячных жарах Мадрита, при этом постоянном жгучем потоке солнца, какой испытываешь здесь, расход на воду дол-

жен быть ужасный; а при недостатке ее — она дорога. Кувшин воды, не очень большой, стоит почти гривенник⁽⁵⁵⁾. Днем спасаются от жару тем, что сидят, затворя ставнями все окна и балконы, в темноте; в эти часы малейшее движение воздуха обдаёт зноем. Есть особенного рода вазы из красной американской глины, которые с водою ставят в комнате для прохлаждения ее. Они удивительно вбирают в себя теплоту, и комната скоро охлаждается; но зато в ней начинает пахнуть сыростью... Но пора кончить.

Мадрит. Июнь.

Мадрит в волнении; все лавки заперты. Площадь Puerta del Sol занята солдатами и артиллерию. Со вчерашнего вечера караул в Casa de Correos подкреплён целым полком. Толпы народа, показавшиеся с вечера на Puerta del Sol с толстыми палками, вытеснены в окрестные улицы. Издано повеление генерал-капитана, запрещающее останавливаться на площадях и улицах; все улицы, ведущие к Puerta del Sol, пересекаются часовыми, так что я не мог сегодня пройти в Café de los amigos завтракать. Сегодня с раннего утра

небольшие толпы народа стояли по улицам, примыкающим к Puerta del Sol, раздавались крики: Viva la constitución, viva la libertad, — ¡muera Mon![18] (министр финансов)⁽⁵⁶⁾. От времени до времени кирасиры прочищали улицы; тогда толпы рассыпались по прилежащим переулкам, но потом снова собирались. Между народом иные сильно, со страстию говорили, — и махая палками, бледные, призывали толпы к нападению; но видно было, что присутствие значительной военной силы отнимало у безоружных всякую бодрость. Надо вам сказать, с чего началась эта попытка pronunciamiento. Теперешнее правительство держится войском. В каждом сколько-нибудь значительном городе только присутствие военной силы сдерживает народное недовольство; для этого правительство принуждено иметь под ружьем до 160 тысяч человек. Для этого нужны деньги; займы же больше не дают, а все государственные прииски отданы давно под залог. Осталось одно средство: увеличение налогов. Последние кортесы, в выборе которых участвовали только люди, преданные Христине, называющие себя «умеренны-

ми», — переделали конституцию; между прочим, ими же принят был закон и об увеличении прямых налогов с лавок, разных заведений и проч⁽⁵⁷⁾. Торговый и промышленный класс, видя, что по новому закону он должен будет платить почти вдвое против прежнего, просил королеву остановить исполнение закона до следующего собрания кортесов, объявляя, что в противном случае он должен будет запереть лавки и прекратить работы. Ответа никакого не было. Уже несколько дней Мадрит был в тревоге и, наконец, ни одна лавка не отворилась. Генерал-капитан приказал полиции отворять лавки насильно, объявив, что всякого ослушника будут брать и судить как нарушителя *спокойствия и закона*. И полиция принялась разбивать двери запертых лавок и сажать в тюрьмы хозяев, но потом, сообразив, что тюрем недостаточно для такого множества, объявила, что она будет брать только главных зачинщиков. Многие, во избежание убытка от разломанных дверей, прибили к своим лавкам объявление: «Эта лавка переносится».

Don Vicente давно уж говорил мне, что в

Мадрите будет возмущение. С таинственностью исчислял он мне силы, которыми располагают прогрессисты, число ружей, скрытых во время последнего обезоружения национальной гвардии (ее здесь называют милицией), говорил, что часть мадритского гарнизона на их стороне, что, наконец, если в таком живом вопросе народ не покажет энергии и решимости, то все пропало, и проч. Из всего этого можно было ждать чего-нибудь серьезного. Но дело показало, что силы прогрессистов заключались в одних надеждах. В толпах не показалось ни одного ружья... Утром, когда Мадрит явился с затворенными лавками, действительно, можно было ожидать чего-то важного, но скоро потом оказалось, что во всем этом не было ни порядка, ни твердости, ни обдуманности. Через три дня волнение утихло; лавки понемногу растворились. С тяжким унынием Мадрит покорился новым налогам.

А вот одна черта из здешних нравов, которая меня поразила: в то время, когда на площади толпы народа и солдаты ежеминутно готовы были броситься в драку, один просто-

людин в плаще проходил по площади, свертывая свою папироску. Поравнявшись с полковником, который с обнаженной шпагою командовал постом, он с достоинством кивнул ему головою, прося закурить свою папироску у его сигары, которую тот курил. Полковник тотчас подал ее ему. Поблагодарив легким наклонением головы, простолудин спокойно продолжал свою дорогу.

Восстания и возмущения против правительства вообще называются здесь *pronunciamientos*; *прононсируются против* министерства, против конституции, или за такого-то человека, за такую-то конституцию. При этом законность нисколько не нарушается, потому что все *pronunciamientos* делаются при криках: ¡Viva Isabel Segunda![19] Рассказывают, что это делается в городах следующим образом: когда дело слажено между главными зачинщиками, из которых многие всегда принадлежат к муниципалитету или милиции (она с прошлого года обезоружена), несколько десятков человек являются на площадь перед ратушею. Так как всякий испанец заранее в воздухе чует наступающее движе-

ние, то скоро вся площадь покрывается народом. Принадлежащие к партии зачинщиков начинают говорить о положении общественных дел. Наконец, когда умы несколько приготовлены, является оратор и говорит к народу речь, беспрестанно повторяя: свобода, деспотизм, героическая нация, измена, отечество и проч. и окончивает криком *muera* и *viva*[20], то есть *viva* то, чего желает *pronunciamiento*, *muera* — противное ему. Главные зачинщики отправляются потом в ратушу, где уже городское управление (*ayuntamiento*) заседает. Оратор возвещает, что народ этого города прононсировался. Присутствующие члены, заранее все знавшие, возносят патриотизм граждан (в Испании за эпитетами дело не стоит) и составляют *pronunciamiento* в форме прокламации. Тут же учреждается *junta de salvación y gobierno* (хунта спасения и управления), отставляются все прежние власти и назначаются новые, забирают городскую казну, вооружают милицию и отправляют отряд в ближний город, с приглашением и ему также сделать свою *pronunciamiento*. Очень часто случается, что

возмутившиеся города бывают так слабы, так неспособны, до того лишены дельных и умных начальников, что ничего лучшего не находят, как снова просить отставленные власти принять управление городом на счет pronunciamiento. Бывает, что городское управление прононсируется само от себя, делая правительству представление против принятых им мер и распоряжений или представляя ему те, которые оно считает лучшими. Правительство обыкновенно отвечает декретом, воспреещающим городским правлениям мешаться в политику, объявляет хунты и все их распоряжения противозаконными. Тогда хунта и городское правление объявляют себя бесменными, публикуют с своей стороны декреты против правительства, называя бунтовщиками всех, которые продолжают повиноваться ему. Большею частью pronunciamiento делается гарнизоном, под предводительством сержантов и офицеров; собственно народ спокойно смотрит. Иногда гарнизон остается сначала зрителем, потом присоединяется к pronunciamiento, при восклицаниях: ¡Viva la reina! ¡Viva la constitución![21] Когда партия,

сделавшая его, оказывается малочисленной, или противная получает вспоможение, является новое pronunciamiento и делается точно в тех же формах.

Политическая Испания есть какое-то царство призраков. Здесь никак не должно принимать вещи по их именам, но всегда искать сущности под кажимостью, лицо под маскою. Сколько уже лет говорят в Европе об испанской конституции, о партиях, о журналистике, разных политических доктринах, о воле народа и т. п.; все это слова, которые в Европе имеют известный, определенный смысл, — приложенные же к Испании, имеют свое особое значение. Прежде всего надо убедиться в том, что массы, народ, здесь совершенно равнодушны к политическим вопросам⁽⁵⁸⁾, которых они, к тому же, нисколько не понимают. Кастильцу-простолюдину нужно работать, может быть, только две недели в году, чтоб вспахать свое поле и собрать хлеб, да еще большею частию приходят жать его валенсианцы; остальное время он спит, курит, ест и нисколько не заботится о всем том, что лично до него не касается. Может быть, в душе он и

за дон Карлоса, потому что его приходский священник проповедует ему в этом духе. Не надобно забывать, что, несмотря на все последние события, духовенство имеет еще большое влияние в деревнях. Испанские священники не ведут уединенную и затворническую жизнь: их беспрестанно встречаешь по дорогам, они пьют и курят с крестьянами на постоянных дворах, разговаривая о всяких местных происшествиях. Вероятно, они в глазах народа и не много имеют нравственного достоинства, но тем не менее влияние их несомненно.

Испания, удушенная тремя веками самой ужасной администрации, подпавшая двум чужестранным династиям, из которых первая начала жестокостью, насилием и кончила решительным идиотизмом, другая — почти беспрерывно занималась одними дворцовыми интригами⁽⁵⁹⁾, — бедная Испания силится разбить теперь эту кору невежества, под которою столь долго томилась она. Глубоко ошибаются те, которые судят об Испании по французским идеям, по французскому общественному движению. Кроме множества радикаль-

ных различий, не должно забывать, что Франция была приготовлена пятьюдесятью годами философской литературы. В Испании, после писателей ее «золотого века», в продолжение двух веков не было другой литературы, кроме проповедей духовенства, которое, конечно, всеми силами старалось о поддержании старого общественного устройства, в котором само господствовало⁽⁶⁰⁾. Посмотрите теперь на испанские журналы всех партий! Меня больше всего поражает в них решительное отсутствие всякой рассудительной теории, даже всякой практической мысли. Идей нет⁽⁶¹⁾ — есть одни лица и имена; ни один вопрос государственного устройства не подвергается анализу. Перевоороты в Испании не могут выйти из масс, которые даже не имеют о них понятия. Здесь самый бедный, последний мужик всегда вдоволь имеет хлеба, вина и солнца, здесь у самого нищего есть на зиму и шерстяные панталоны и теплый шерстяной плащ, тогда как французский мужик, например, и зиму и лето прикрывается одною тощею холстинною блузой. Кроме того, этот народ одарен удивительным чувством повинно-

вения: лучший пример — все царствование Фердинанда VII⁽⁶²⁾. Испанцу словно недоступна никакая общая идея, хотя отвлеченное понятие об общем деле.

Странная участь Испании! Между тем как в средние века каждая европейская нация направляет всю жизненную силу свою на образование своего единства, Испания, развлеченная⁽⁶³⁾ семисотлетней войною с маврами⁽⁶⁴⁾, вдруг, без приготовления приводится в единство силою Карла V и Филиппа II. С обычной своею беспечностью предается она этому новому направлению, пока, наконец, в дни страданий и смут начинает припоминать о своей прежней жизни и неожиданно находит, что сохранила глубокие следы ее. Посмотрите на самое восстание 1808 года: не удивительно ли все это бессилие «совета Кастильи», этой центральной хунты, наконец, всего того, что хотело придать этому восстанию характер общности и единства? Жизнь и сила Испании были в ее guerrillas[22]; ее герои — всегда начальники летучих отрядов⁽⁶⁵⁾. В дни опасности другие соединяются; испанцы, напротив, раздробляются, сила их в от-

дельности, в одиночестве. Право, единство в Испании мне до сих пор кажется призраком. Валенсиянец говорит языком, которого андалузец не понимает; каталонец и кастилец почти имеют надобность в переводчике, интересы разделены; и как только обстоятельства становятся важными, всякий тотчас спешит разорвать связь, которая мешает, не помогая, и замедляет только свободу движений.

Несмотря на то что слово «конституция» здесь есть лозунг всего, что, не будучи карлистом, недовольно правительством, ни одна конституция не была приведена здесь в исполнение. Не от того ли это, что здесь у народа нет чувства законности^[66], что он с прежнею беспечною дает себя судить своим пристрастным алькальдам^[67], наконец, что попеременно апатический и страстно-стремительный гений этого народа ничего не разумеет в деле политики. И в Испании постоянно делают и переделывают конституции — и никто в них не верит; составляют законы — и никто им не повинуется; издают прокламации — их никто не слушает; наконец, есть две Испании: одна — земля примерная, народ

могущественный, героический, народ великих людей, предводимый еще более великими людьми, которые во всем успевают: это Испания журналов, ораторских и министерских речей и прокламаций; но взгляните пристальнее, проникните глубже, и вы ощутите тогда Испанию настоящую, Испанию разоренную, распустившуюся, без администрации, без финансов, без общественного духа. Испанию, изнуряемую постоянно внутреннею войною, усталую от всех этих дипломатических интриг, фантастических конституций.

Едва ли какой народ в Европе одарен этою стойкостью, этою способностью свыкаться с своим бедственным положением, как испанцы. Арабы завоевали Испанию в два года⁽⁶⁸⁾, — испанцы употребили почти 800 лет на освобождение страны своей от чуждого ига⁽⁶⁹⁾. Читая о непрерывных смутах арабов, о их внутренних раздорах, дивишься, как испанцы так долго не могли отбросить это африканское племя. Но, знать, и тогда было то же, что теперь. Почти каждое лето испанцы одерживали верх; но вместо того чтоб преследовать

свою удачу, они спокойно расходились на зиму по домам проживать приобретенную добычу, в ожидании следующей кампании. Неприятель между тем восстанавливал свои силы, и на лето снова начиналось дело. Лишь гораздо позже, когда все арабское царство сосредоточивалось уже в одной Гранаде, испанцам пришло в голову быстро стеснить и покорить его: и это стоило одного легкого похода. Война против неверных вошла в нравы, в нужды Испании; набеги на арабов возобновлялись периодически. В продолжение всех этих веков не встречаешь никакого плана, никакого соображения, преследуемого в течение нескольких лет; грозная близость неприятеля не мешала в лагере испанцев ни распрям, ни ссорам за наследство, ни междоусобным войнам, ни даже тому, чтобы, соединясь с арабами, воевать против своих же. Нечто из этих бродячих нравов, из этой привычки к похождениям сохранилось и теперь; отсюда отсутствие одной постоянной воли, беспечность, которая все оставляет на долю случайности. Во многих отношениях Испания столько же принадлежит к средним векам, сколько

к нашему времени; многое в ней странно, но не бессмысленно. Она много назад, но далеко не поражена тою нравственною окаменелостью, которая заставляет отчаяваться за будущность народа. — Скорее должно дивиться, соображая исключительные, роковые обстоятельства, которые так долго сдерживали политическую жизнь. Испании, как она еще не более назад, как еще успела она сохранить в себе эти энергические семена жизни!

Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа. Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишенными всякого образования, невольно изумляешься их здравому смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются. В этом отношении, они, например, далеко выше французских крестьян⁽⁷⁰⁾. В них нет их грубости, их умственной тяжеловатости. Умственная сфера испанца не велика, но то, что он понимает, он понимает верно; и если воспитание и здравые идеи разовьют их умственные способности, испанцы внесут тогда и в высшие сферы жизни это прямодушие, эту отчетливость, ко-

торые, кажется, врожденные им и которые теперь прилагаются у них только к самым мелким интересам. Среди этих бесчисленных смут, раздирающих Испанию, чувствуешь какую-то необходимость беспрестанно оглядываться назад, хотя бы для того, чтоб сколько-нибудь облегчить настоящее от ошибок и несчастий, завещанных ему прошедшим, для того чтоб сохранить веру в народ, который, несмотря на три несчастных века, умел сбересть в себе свои природные качества, столь прекрасные и драгоценные.

Вы не можете представить себе, как отрадна здесь прохлада; надо испытать зной здешнего дня, чтоб чувствовать, что такое свежесть утра. Вот уж целый месяц небо здесь постоянно безоблачно. Каждое утро наслаждаюсь я свежестью за своим скромным завтраком. Надобно вам сказать, что испанский завтрак состоит обыкновенно из самой маленькой чашки густого шоколада на воде, к которому подают несколько тонких ломтиков хлеба. Этот неотразимый завтрак вам равно дают и в последней, уединенной венте, так

же, как и в первой гостинице Мадрита. Утром кофе испанцы не пьют, и очень редкие пьют его после обеда. На меня особенно приятно действует здесь естественность женщин. Вам, может быть, эти слова покажутся неясными, но чтоб понять их, надобно долго жить в Париже, где женщина искусственна с головы до ног. Правда, что француженки очень грациозны, но правда также и то, что большею частью эта грация — изученная. Разумеется, везде есть натуры, так сказать, счастливые, потому что естественная грация — своего рода талант; ей нельзя выучиться: с нею надобно родиться. Испанки не грациозны в смысле французском, но они естественны, и надо также признаться, что естественность эта сначала жестко поражает глаза, привыкшие к тонкой французской жеманности. Только в этом отношении между итальянками и испанками есть сходство. Испанка не обдумывает ни манер своих, ни походки: они у нее прямо и смело выходят из ее природы, и хоть часто отрывисты, резки, но зато живы, оригинальны, выразительны и пленительно просты. Француженка — кокетка по природе,

умеет с удивительным искусством выставить все, что в ней есть красивого; она глубоко изучила все позы, все движения; это воин страшно вооруженный, бдительный и лукавый⁽⁷¹⁾. Испанка как будто не знает о красоте своей; по глубокому чувству стыдливости она скорее скроет, нежели обнаружит красоту своих форм. Женщинам в Испании не оказывают тех в сущности пустых знаков приторной вежливости, какими осыпают женщин во французских обществах. Замечательно, что не так еще далеко то время (лет 15), когда девушек здесь учили только *читать*, из опасения, чтоб они не писали любовных записок⁽⁷²⁾. Это я слышал от одной очень умной и пожилой дамы хорошего общества. Политические волнения еще более уединили здесь женщину. В борьбе партий здесь женщина не принимает участия, а семейная жизнь, конечно, всего меньше может развить потребность образования.

Чтоб вполне оценить прекрасные качества испанцев, надобно видеть их в домашнем быту, в их частных отношениях: только здесь становятся они сами собою. По какому-то осо-

бенному счастью, на испанцах нисколько не заметно следов влияния системы шпионства, введенной инквизициею⁽⁷³⁾. Верно, у испанцев основной закал был так тверд, что их старые, рыцарственные качества остались доселе совершенно чистыми. Случилось одно только, что хорошие и дурные стороны существуют как-то вместе, не касаясь друг с другом, словно разделенные какою-то стеною. Чиновник-взяточник и продажный, торгующий правосудием судья⁽⁷⁴⁾ здесь в частных отношениях непременно деликатны и верны. Общественный дух, общественные чувства здесь находятся еще под спудом, но загляните с другой стороны, зайдите за стену, и вы будете поражены благородством, простотою, прямотою. Даже у тех, которые здесь со всех сторон запачканы политической грязью, верьте, частная сторона, назло всему, осталась прекрасною.

Иностранцу, приезжающему в Мадрит, больше всего бросается в глаза то особенное внимание, которое обращают испанцы на рекомендательные письма⁽⁷⁵⁾. В этом отношении француз, может быть, наговорит больше

любезностей, англичанин будет кормить частыми обедами, но у одних только испанцев можно найти эту неутомимую, добродушную приветливость, эту обязательную готовность всячески быть вам полезным. Раз рекомендованные испанцу, вы можете располагать им, его временем, его связями. «La casa esta a la disposición de usted» (мой дом в вашем распоряжении), — говорит вам прежде всего испанец, и это не одна пустая фраза, вы можете прийти туда, когда хотите, и всегда будете радушно приняты⁽⁷⁶⁾. Вообще испанец учтив и приветлив с достоинством, без предупредительности; при обычном спокойствии своем он не расточителен на любезности, но будьте уверены, вы никогда не будете ему в тягость, никогда не обойдется он с вами холодно. В Испании никогда не употребляют слова *ты*, разве между самыми близкими друзьями. Если генерал обращается к солдату, он говорит ему: *usted* — ваша милость. То же самое с слугами; дети, играя на улице, говорят друг другу: *mire usted* — посмотри, ваша милость.

Летняя жизнь в Мадриде не разнообразна: прогулка на Prado с сигарой, мороженое, по-

ездки в Аранхуес, в Лагранху составляют здесь все удовольствия лета. Вечера в домах редки. Есть два рода вечеров — tertulias: на одних танцуют под фортепиано, играют Герца и Черни, поют итальянские арии; вообще музыкальная сторона тертулий не блестяща. Испанские дамы, к которым так чудесно идет их национальный костюм, в обществах все одеты в костюм французский — и почти всегда неудачно; испанских танцев не танцуют; фанданго и болеро (о качуче уже нечего и говорить) в обществах считаются неприличными, и я никак не мог упросить двух дочерей хозяйки дома, с которым я очень хорошо знаком, решиться протанцевать какой-нибудь испанский танец; они отговариваются от этого, как от вещи совершенно невозможной. Здесь танцуют вальс и контрданс. «Порядочное» общество здесь национальность представляет народу. Равным образом в этом обществе более говорят по-французски... Мне кажется, смотря на всех этих «образованных» испанцев, что Испания собственно разделена на две партии: на Испанию старую и неподвижную, и на Испанию, преданную идеям

и учреждениям Франции и Англии. Одной недостает народности, национальных корней, другой — чувства будущности и новых государственных интересов. Если здесь народ с такою враждебностью глядит на все цивилизующие начала, это, главное, потому, что они приходят от иностранцев. Трудно представить себе то глубокое презрение, какое оказывает народ к los afrancesados (офранцузенным), но, с другой стороны, и республиканские exaltados нисколько не пользуются народностью... Эта тяжкая борьба, столько лет изнуряющая Испанию, не выходит ли она из бессилия этих двух партий? Одна чужда своей страны, другая — своей эпохи; одна состоит из жителей Франции и Англии, забывших Испанию, другая — из готфов и кантабров XI века⁽⁷⁷⁾, не понимающих ни промышленности, ни источников народного богатства, которые на единство смотрят с враждебностью и которые ничего не видят далее своей деревенской колокольни и своих общинных прав. Одни хотели воротиться в средние века, другие — слепить Испанию по образцу Франции и Англии, — партии равно пустые и

химические, равно бессильные, порождающие одни беспрестанные реакции. Не здесь ли причина этим постоянным и бестолковым переворотам, этому смешению слабости и кровожадности?..

Но возвратимся к нашим вечерам. Я забыл сказать, что они еще замечательны тем, что как бы жарко ни было в комнатах и как бы долго ни продолжался вечер, вам не предложат никакого прохладительного питья. Благодаря простоте привычек своих испанцы, кажется, не чувствуют в этом никакой надобности и одной водой веселятся на своих тертулиях от всей души^[78]. Эту простую, природную веселость, это ясное расположение можно видеть только в обществе испанском. О простоте здешних мебели и уборки комнат вы не можете составить себе понятия. Тот комфорт, каким окружает у нас себя всякий чуть-чуть не бедный человек, здесь можно найти разве в доме богатого гранда, да и то afrancesado. Вообще стены комнат выкрашены обыкновенно белой известью, каменный пол устлан ковром из плетеной соломы, стулья самые простые и бог знает каких древних форм; сте-

ариновые свечи здесь роскошь. Я говорил о танцевальных вечерах, но для меня еще интереснее здешние вседневные вечера, составленные из одних общих приятелей дома. Только на таких вечерах можно узнать всю любезность испанского характера. Трудно понять, как при однообразии мадритской жизни семь, восемь человек близких знакомых находят средство беспрестанно оживлять разговор остроумными замечаниями, смешными рассказами, наконец, этим постоянным, неистощимо-веселым расположением духа. Ах, если бы испанцы могли взамен того, что они так неловко заимствуют у Европы, сообщить ей хоть немного своей кроткой, доброй, беззаботной веселости, о какой Европа не имеет понятия! На этих вечерах учтивость чрезвычайная, даже несколько церемонная, осведомления о здоровье всегда продолжительны и повторяются с одинаковою обстоятельностью каждый день; но, кроме некоторых этого рода формальностей, обращение очаровательно-фамильярно. Здесь дамы и девушки называют мужчин просто по именам: don Antonio, don Esteban; мужчины, с своей сторо-

ны, также пользуются этим обычаем: doña Dolores, doña Matilde... и этот обычай, по-видимому самый незначительный, придает разговорам и отношениям какой-то дружественный колорит, так что в испанском обществе тотчас чувствуешь себя свободным.

В Мадриде нет народных балов, и вообще в Мадриде народ танцует мало; может быть, la flema castellana (кастильская флегма) тому причиною, тем более что из всей Испании Кастилья самая не певучая и не танцевальная провинция⁽⁷⁹⁾. Только по воскресеньям, за королевским дворцом, внизу, под тенью каштанов, случаются танцы. Оркестр состоит из двух гитар и тамбурина, к ним танцующие присоединяют свои palillos⁽⁸⁰⁾ (кастаньеты); один из гитаристов поет, — здесь все танцы суть вместе и песни, — и бал идет с большою живостью. Меня особенно поражает в них ловкость и отличные манеры мужчин, их изящная вежливость с женщинами, это свобода без наглости, увлечение без всякой грубости. Больше всего танцуют bolero и jota aragonesa. Арагонская хота очень проста и более состоит в прыжках, нежели в движениях

стана, которыми отличаются почти все испанские танцы, но она очень жива, весела и танцуется в восемь и больше пар. Здесь можно любоваться и на мадритских *manolas*; это здесь то же, что в Париже гризетки. Но *manola*... увы!.. вытесняется французским влиянием: это тип уже исчезающий, но в высшей степени оригинальный, исполненный странного соединения прелести и буйной дикости, целомудренной красоты форм и откровенной наглости, происходящей не от разврата, а от стремительно вспыхивающих страстей, не знающих себе никакого предела, и на которые ни религия, ни общественные формы не имели никакого влияния. Это природа, во всей своей целости. Лица их почти все бледно-коричневые, взгляд больших черных глаз смелый и удалой, массивная коса, собранная в один огромный узел, слегка прикрыта мантильей, короткое платье, но вам лучше меня опишет манолу эта народная песня о маноле; жалею, что не могу здесь передать вам ее увлекательной и живой мелодии:

*Ancha franja de veludo
En la terciada mantilla,*

*Aire recio, gesto crudo,
Soberana pantorrilla.
Alma atroz, sal española,
¡Alza, hola!
¡Vale un mundo mi manola!*

*Que cálida, y como cruje,
Si baila jota o fandango
Y ¡qué brío en cada empuje!
Y ¡que gloria de remango
En la mas leve cabriola!
Alza etc. etc.*

*Con primor se calza el pie
Digno de regio tapiz:
Y que dulce no sé qué
En aquella cicatriz,
Que tiene junto a la gola —
etc. etc.*

«Широкая бархатная кайма на перевязанной крестом мантилье, стан сильный, жест резкий, дивная йкра, душа хищная, испанская ловкость... стоит целого мира моя манола!

«Как горит она, как хрустит, когда танцует хоту или фанданго; какая энергия в каждом взмахе, — и что за удивленье, как встряхива-

ется у ней платье, при самом легком прыжке... стоит целого мира моя манола!

«Деликатно обута ножка, достойная царского ковра, и не знаю, что за прелесть в этом рубце, что на шее у ней... стоит целого мира моя манола!»^{81}.

Испанцы народ гостеприимный по преимуществу; кроме того приветливого внимания, какое обращают они на рекомендательные письма, знакомства в Испании чрезвычайно легки: одного разговора в кофейной достаточно, чтоб иностранец был приглашен в дом, при обычной фразе: *mi casa está a la disposición de usted*[23]. Кроме того, если испанец находится в кофейной в обществе иностранца, он считает для себя непременно долгом не допускать его платить за себя, и они делают это с такою ловкостью, так искусно дают знак прислуге взглядом или жестом, что иностранцу, при всем его желании, никак не удастся заплатить в кофейной, когда он находится в обществе испанцев. Этот обычай поставил меня однажды в загадочное положение. Раз приглашаю я одного моего приятеля

ля с женою, у которого в доме я очень близок, отобедать в ресторацию, предварительно заказав обед. Наш обед был весел, говорлив, словом, прошел как нельзя лучше; но когда спросил я у слуги счет, вдруг слышу, что счет уже заплачен. Меня это рассердило. Мой испанец оправдывался своими обычаями, говоря, что, конечно, я волен сердиться, но что он, со своей стороны, не может изменить долгу испанца, по которому рекомендованный ему иностранец есть *всегда* гость его. Даже находясь между собою, в кофейной, испанцы как бы пикируются, кому удастся заплатить за других. Эта черта тем более поразительна, что здесь средства у всех ограничены. Но испанец прежде всего *caballero*[24]. Вскоре по приезде моем в Мадрит я отыскивал одну улицу, где мне надобно было сделать визит. Улица была далеко, и я расспрашивал о ней у прохожих. Между прочим, отнесся я к одному бедно одетому человеку. «Если хотите, я провожу вас туда», — отвечал он. Мы пошли. Дорогой вздумал я сделать еще несколько визитов, и, намереваясь заплатить этому человеку за труд его, просил дожидаться меня на ули-

це. Визиты мои продолжались часа три; во-
жатый мой говорит мне, наконец, что он не
может долее оставаться со мною. Я подаю ему
дуро (5 руб. асс.), благодаря его за одолжение.
«No, señor, no, muchísima gracia» (нет, сударь,
нет, покорнейше благодарю). — «Но почему
же вы не хотите получить за ваши труды, я
отнял у вас время...» — «No, señor, gracias, soy
robre, pero soy caballero» (нет, сударь, благода-
рю, — я беден, но я кавалер), — и, раскланяв-
шись, кастильянец ушел от меня, оставив ме-
ня в замешательстве и с деньгами в руке. Ни-
когда не случилось мне, давая за труды при-
слуге, встретить недовольную мину. Если слу-
га испанский очень доволен, это выражается
только тем, что он прибавит к своему обыч-
ному «gracias» (благодарю) «gracias, caballero»
(благодарю, кавалер). Вообще чувство лично-
го достоинства в этом народе поразительно;
недаром существует у него пословица: «Ко-
роль может делать дворянами, один бог дела-
ет кавалерами»^{82}.

Мне не придется видеть в Мадрите боя бы-
ков — *corrida de toros*: они уже здесь прекра-
тились до весны^{83}; но мне обещают, что я еще

застану их в Андалузии. Здесь мне случилось видеть только *corrida de novillos*. *Novillos* называются здесь молодые быки, и забава состоит в том, что их пускают поиграть с молодыми людьми. Это самая любимая забава молодежи; ни один деревенский праздник, ни одна маленькая ярмарка не обходится без *corrida de novillos*; они заменяют здесь фокусников и комедиантов. В Караванчеле, деревне верстах в четырех от Мадрита, случился приходский праздник, и мне сказали, что непременно будет и *corrida de novillos*^{84}. Действительно, на скорую руку была сделана арена, окруженная забором из досок, складенных так, чтоб в щели можно было пролезть человеку; вокруг подмости для зрителей; за вход по два реала (около 50 коп. асс.)^{85}. Каждый заплативший имеет право идти на арену играть с быком^{86}. Игра эта состоит в том, что молодые люди (ни оружия, ни палки иметь при себе не дозволяется) дразнят быка своими красными кушаками или снятыми с себя куртками; бык беспрестанно бросается на них, они рассыпаются; во всем этом — легкость, увертливость, ловкость поразительны.

Смеющаяся, шумливая ватага наблюдает удивительный такт в своих движениях; нет в ней ни замешательства, ни столкновений; она знает все приемы и взгляды быка, — все в ней живо, внимательно; она рассыпается и собирается снова, беспрестанно развлекая внимание быка, наблюдая друг за другом. Глупое животное не знает, в какую сторону броситься, делает прыжки, обороты — молодежь разливается вокруг него, как вода. Вдруг бык заметил одного молодого человека, который больше всех вертелся около него с своим широким, красным распущенным поясом; бык бросился на него, тот увернулся. Бык за ним; молодой человек, заметив решимость раздраженного животного, в один прыжок очутился у забора и уже пролезал в него... но бык тоже в один прыжок подскочил к забору; еще одно мгновение — и молодой человек вне опасности, но бок чуть-чуть оставался еще наруже, и один рог быка уловил его за ребры, с страшною силою вырвал из забора и с бешенством побежал с ним по арене... Это была минута страшная. Смех и крики мгновенно утихли, тяжкая, томительная тишь

пробежала по зрителям. На matado, ha matado (убил, убил)! — раздалось со всех сторон. Обезжавши два раза арену, бык сбросил с рог молодого человека; между тем, впустили рабочих волов, чтоб в их сообществе вывести быка из арены⁽⁸⁷⁾. Молодой человек лежал без движения, с посинелым лицом... Эта сцена так потрясла мои непривычные нервы, что я не в силах был оставаться ни минуты долее и в страшном волнении тотчас же отправился в Мадрит. Когда я сажился в коляску, на арене раздались снова смех и крики; значит, тело убрали, впустили нового быка, и молодежь снова принялась играть с ним. Страшная смерть была уже забыта.

Мадрит. Июнь.

Я все еще в Мадрите, несмотря на его удрушающие жары и знойный воздух, несмотря на его беспрестанные смуты. Чем больше всматриваюсь здесь в людей и события, тем больше убеждаюсь, что для суждения об Испании и волнующих ее смутах должно прежде всего отложить в сторону всякое сравнение ее с Европою. Общеввропейская точка зрения, приложенная к Испании, может вести только к ложному о ней понятию. Разве Европа не считала Испанию страню самых прочных монархических учреждений, разве она не считала народ испанский типом самой щекотливой и обидчивой национальности? А этот народ с совершеннейшим хладнокровием смотрел, как Фердинанд, лишив инфанта *дона* Карлоса законного наследственного престола Испании, отказал⁽⁸⁸⁾ его иностранке⁽⁸⁹⁾, Марии Христине, равнодушно смотрел, как испанский инфант бродил скитальцем в горах Наварры! Европа считала Испанию страню самую католическою в мире, а ис-

панский народ резал или по крайней мере дал резать своих монахов, дал светской власти обобрать свои церкви и монастыри и, наконец, с тем же равнодушием смотрел, как уничтожили его монастыри, и нисколько не тревожится тем, что уже лет десять папа прекратил все духовные сношения с Испаниею⁽⁹⁰⁾. Право, страна эта — живая загадка, для которой Европа до сих пор никак не может найти разрешения. Брошенная в революцию, она движется в ней как раба высших инстинктов, которые насильно стремят ее к совершению судеб своих. Но какие это судьбы? Испания сама не знает их. Она идет, не зная, куда приведет ее дорога ее, идет без определенной цели, без всякого плана и в совершенном незнании о завтрашнем дне. Никогда Европе не представлялось еще такого зрелища!

Если насчет Испании так часто ошибаются и если так трудно не ошибиться на счет ее, не оттого ли это, что на Испанию смотрят не из нее самой, не из ее собственной истории, а из общей истории Европы, тогда как при наружности, почти совершенно сходной со всеми неограниченными монархиями, Испания на

самом деле имела историческое развитие, совершенно различное от остальной Европы; кроме того, элементы, из которых сложилось испанское общество, и по началу своему, и по направлениям совершенно различны от тех, которые лежат в основе прочих европейских государств. Посмотрите, например, на положение и значение дворянства испанского. Во Франции, стране равенства, народ враждебно смотрит на дворянство и аристократию; в Испании, где чувство равенства гораздо сильнее, аристократия не только не возбуждает против себя ни ненависти, ни зависти, но пользуется в народе уважением. Мне кажется это обстоятельство довольно любопытным, и я, имея теперь под рукою некоторые материалы, хочу воспользоваться ими, чтоб сказать несколько слов о дворянстве в Испании и об отношении его к народу. Мне кажется, что, уяснив себе эти отношения, мы будем лучше понимать современные события Испании и еще более извиним народ ее за его равнодушные к ним.

После падения Римской империи (простите, что я начинаю так издавека) вся Европа

была завоевана и занята варварами⁽⁹¹⁾; племя победившее и племя побежденное поселились на одной и той же земле, одни как властители, другие как вассалы. Ведь история Франции и Англии есть не что другое, как постепенное освобождение племени завоеванного. Казалось бы, что французская революция, провозгласив политическое, гражданское и религиозное равенства, должна была заглушить самое воспоминание о прежней взаимной борьбе и ненависти; но такова глубина этой ненависти, что она пережила даже и самую причину ссоры. До сих пор случается во Франции слышать возгласы на аристократию⁽⁹²⁾; и как ни бессмысленны, как ни пусты эти возгласы, они еще пробуждают в народе смутное раздражение. Знать, воспоминание веков не изглаживается в один день! Но оставим эту простительную щекотливость молодого общества и обратимся к Испании.

В Испании не найдете вы ничего подобного; здесь дворянин не горд и не спесив, простолудин к нему не завистлив; между ними одно только различие — богатство, и нет никакого другого. Здесь между сословиями цар-

ствуют совершенное равенство тона и самая деликатная короткость обращения^[93]. И не только гражданин, но мужик, черноработчий, водонос обращаются с дворянином совершенно на равной ноге. Если им открыт вход в дом испанского гранда, они пойдут туда, придут, сядут и говорят с своим благородным хозяином в тоне совершеннейшего равенства. Причина таких удивительных для нас отношений должна заключаться в самой истории Испании, и именно в том, что в Испании никогда не было плебейства, простонародья, что испанский мужик не принадлежит к племени завоеванному, а дворяне — к племени завоевательному. Новая Испания началась с изгнания мавров; только с этого времени здесь ведут свое начало права на владение землею. Но самое это изгнание показывает, что в Испании остались одни только победители. Известно, как после завоевания маврами всей Испании горсть смелых и непреклонных людей, укрепившихся в горах Астурии, сделалась впоследствии спасителем и знаменосцем национальной независимости^[94]. По мере того как силы их увеличивались, завоевали

они постепенно провинции Леон, Кастилью, Арагон, оттесняя мавров далее и далее, и, наконец, взятие Гранады уничтожило политическое значение мавров в Испании. Тогда духовенство принялось истреблять самые следы исламизма. Инквизиция приняла побежденных арабов в свое ведомство, предавала их пыткам, принуждала отказываться от своей одежды, языка, наконец изгнала их всех из Испании. Быть низкого происхождения, по понятиям испанца, значило иметь в своих жилах кровь арабскую, кровь племени, вдвойне презираемого как неверное и как побежденное. По той же самой причине дворянство испанца состоит прежде всего в том, чтоб быть старинным христианином; и это одно достоинство старинного христианина, — если его считает за своим родом самый последний носительщик, он гордится им, и в глазах его оно равняет его с самыми важными лицами в государстве. Между здешними *aguadores* (водоносцами), которые все почти из Астурии, много дворян; они знают это и величаются своим происхождением. *Yo soy mejor que mi amo* (я больше дворянин, я благо-

роднее моего хозяина), — говорит aguador, приняв гордый вид и держа свое ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные фамилии стараются отыскивать начало своих родов преимущественно в Астурии. А так как в прочих провинциях все равно участвовали в изгнании арабов, то всякий гордится на свой манер, и все обращаются между собой на равной ноге, потому что, повторяю, самое великое и главное событие испанской истории есть борьба против исламизма; от нее ведут начало свое и собственность, и дворянство, и только из нее можно объяснить политическое могущество духовенства в Испании^{95} и огромные владения дворянства.

Партизан.





Франт.

Причина того всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были первоначальными освободителями Испании от ига арабов. Тогда как народ занимался земледелием, дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. Отсюда происходит почтение, оказываемое ему народом, но опять в этом почтении не было ничего подданнического, именно потому, что между дворянином и самым последним мужиком здесь не лежала бездна завоевания, как в остальной Европе, а только одна различная степень деятельности и храбрости. Теперь несколько слов о владениях дворянства.

Короли Кастильи и Арагона обыкновенно награждали за услуги, оказанные им в войнах против арабов, частью завоеванных земель. Иногда эти маленькие владетели, имея деньги, прикупали себе новые участки; случалось также, что иной caballero строил себе крепость вблизи арабской границы и держал-

ся в ней с своим гарнизоном; крестьяне приходили селиться под защиту крепости, и когда испанская граница распространялась дальше, владелец крепости естественно становился и владельцем земли, которую он долго покровительствовал и защищал от нападений арабов. Таким образом, владения дворянства в источнике своем, как видите, ничего не имели ненавистного для народа. Духовенство, проповедуя истинную веру, и дворянство, защищая ее мечом, естественно должны были собрать все лучшие плоды победы над неверными, победы, которая была вместе и национальной, и религиозной. Кроме того, майоратство^{96}, учреждение чисто феодальное, беспрестанно сосредоточивало и без того значительные владения в одних лицах, которые чрез это становились по могуществу своему почти независимыми от короля, — так что теперь, при всем своем жалком состоянии, при всей разоренности своей, дворянство испанское, после уничтожения монастырей и конфискации их имени, составляет в Испании класс самых больших владельцев и имеет в своих руках самые лучшие земли^{97}.

Но по этой же самой причине, по феодальной значительности своей, дворянство испанское никогда не было в милости у королей. Во многих случаях, когда тяжкие войны истощали денежные средства королей, они принимались поверять дарственные грамоты своих предшественников, по которым дворянство владело землями, и если эти грамоты оказывались неточными (а в этом случае придирались ко всему), их объявляли недействительными и отобранные имения поступали снова в королевскую казну. Но совершенный упадок испанского дворянства начался со вступления на испанский престол Бурбонов⁽⁹⁸⁾. Когда, по интригам Людовика XIV, слабоумный Карл II⁽⁹⁹⁾, распорядившись Испаниею как своею частною собственностью, завещал ее внуку Людовика XIV, дворянство испанское было против этого завещания и держало сторону австрийского дома. Этого Бурбоны, разумеется, не забывали, и с тех пор прекратилось политическое значение дворянства в Испании. Бурбоны, кроме упомянутых поверок прежних дарственных грамот, постоянно держали дворянство вдали от правительства. С тех пор

не встречается уже в истории Испании ни одно из старых дворянских имен, знаменитых при прежней испанской монархии; вместо их являются на сцену иностранцы, дворянство второстепенное или вовсе новое.

Удаленная от правительства, аристократия испанская, наконец, постепенно утратила и свои предания, и способности. Дети ее, владея, подобно английской аристократии, огромными состояниями, но не имея перед собою никакого поприща для политической деятельности, совершенно пренебрегали всяким основательным образованием и, наконец, даже в Испании отличались своим невежеством; забавы, беспутство и расточительность были их единственными занятиями. Следствием этого сделалось то, что дворянство испанское стало еще беднее. Бóльшая часть знатных фамилий обременена долгами; и, как большие землевладельцы, они чрезвычайно пострадали в войну за независимость, с 1808 по 1814 год, а уничтожение майоратства теперь нанесло последний удар и их значению больших земельных владетелей^{100}.

Впрочем, и другие причины способствова-

ли к разорению дворянства. Кроме политики королей бурбонского дома, которые постоянно держали его в отдалении от государственных дел, дворянство в Испании обложено было огромными налогами. Каждый дворянин, при получении отцовского наследства, обязан был испрашивать у короля позволения на вступление во владение, если не имением, то титулом, принадлежавшим его отцу, и при прошении должна была прилагаться значительная сумма, в виде приношения королю. Кроме этого, дворянство должно было платить большие пошлины за каждое свое титуло, а как некоторые из дворянских домов имеют их до 20 и 30, то легко понять, что пустая почесть именоваться грандом Испании, герцогом, маркизом и графом и оставаться в шляпе в присутствии короля не доставалась даром. В последних событиях почти все дворянство стало на стороне конституционной монархии и признало Изабеллу. И это понятно: в большей части европейских государств дворянство и королевская власть, ведя свое начало из феодальных времен, обыкновенно опирались друг на друга и шли рука об руку. Дво-

р-анство казалось необходимым и естественным спутником королевской власти. В Испании, где ни королевская власть, ни дворянство не основаны были на завоевании, где жители деревень никогда не имели надобности освободиться от угнетения⁽¹⁰¹⁾ и где духовенство, вооруженное инквизициею, вполне достаточно было для искоренения новых идей, которые большею частию ходят в городах, королевская власть, как замечено было, давно отдалила от себя дворянство, как не совсем удобного подданного, обременила его разными поборами и уничтожила его политическое значение. Во всех последних событиях дворянство испанское блистало только своим ничтожеством.

Я говорил выше о равенстве тона и обращения, которое установила здесь между дворянством и народом одинаковость племени; но если от отношений чисто нравственных перейдем к интересам положительным, материальным, к отношениям землевладельца и наемщика земли, то еще становится понятнее, как это национальное единство, выработанное в Испании своеобразным историче-

ским развитием, имело влияние не на одну только всеобщую вежливость обращения, но и на собственность, — этот общий источник всех политических ссор, — так что и собственность здесь носит на себе глубокие следы этого уроденного равенства.

Собственность в Испании — двух родов: собственность земли и собственность десятинного сбора⁽¹⁰²⁾. Дворянство исстари чрезвычайно кротко обращалось с наемщиками своих земель; есть крестьянские семейства, которые в продолжение 200 и 300 лет имеют в найме ту же землю, так что давность этих отношений придала им особенный семейный характер. Кроме того, большие земельные собственности владельца, продолжительность и прочность, которую майоратство вводило во взаимные интересы, часто позволяли собственнику отсрочивать плату за наем, что почти невозможно в тех странах, где дробность и беспрестанное движение собственности заставляют всякого скорее самому искать кредита, нежели давать его. Самые законы особенно покровительствовали наемщика. Хотя здесь в каждой провинции свои обычаи

и законы и можно их изучать только на местах, но есть из них некоторые, общие всем средним и южным провинциям и которые особенно замечательны. Например, если наемщик дурно платит, то владелец не может принуждать его к исправнейшему платежу; если он вовсе не платит, владелец может отказать ему, но должен предупредить его об этом за год вперед, в иных провинциях — за два года. Если другой наемщик предлагает владельцу дороже, прежний, давши такую же цену, имеет право остаться даже против воли владельца. В Андалузии и Эстремадуре наемщик может, несмотря на заключенное условие, требовать после жатвы переценки земли, а так как оценщики всегда берутся из класса земледельцев, то наемщик никогда не остается в накладе от переценки. Вы видите, что если здесь кто и терпит, то уже вовсе не крестьянин. Кроме этого, здесь еще существует следующего рода наем: землевладелец уступает свою землю на условии ежегодной и раз навсегда определенной платы, и с сей минуты наемщик, платя исправно условную сумму, пользуется землею как своею полною

и неограниченную собственностью^{103}; он может на ней строить, садить — удешевить ценность земли: владелец никогда не смеет требовать от него ничего больше условной платы. Упадок ценности в деньгах несколько не изменяет силу раз навсегда сделанного условия, так что есть много семейств, владеющих значительным количеством земли за самую, по теперешним ценам, ничтожную плату.

Десятинная подать вовсе не возбуждает в испанском народе той враждебности, с какою смотрели на нее в Германии, во Франции и теперь смотрят в Ирландии^{104}. Она принадлежит к самым старым обычаям Испании. Начало десятинной подати здесь относят к временам карфагенян^{105}. Даже римляне не сами ввели его, а только приняли, следуя в своих многочисленных и различных владениях вообще правилу — оставлять завоеванные народы управляться своими законами, с обязанностию платить Риму подать. По крайней мере, здесь полагают, что именно распределение этой подати на каждого гражданина и составляло десятинный сбор. Готфы наследова-

ли его от римлян, арабы, принесшие с востока тот же обычай, нашли его уже с давних пор установившимся в Испании. После изгнания арабов десятина была сохранена как налог, платимый короне на военные издержки. Корона, с своей стороны, при нужде в деньгах, продавала десятины дворянству; в других случаях давала ее духовенству, соборам, монастырям в виде даров. С давнего времени в Испании десятина была продаваема и покупаема, как всякая другая собственность; если же она теперь находится большею частию в руках дворянства, то не потому, что оно дворянство, а потому, что дворянство, владея большими собственностями, было прежде очень богато и покупало ее, как теперь покупают государственные векселя. Вы видите, что десятинная подать в Испании не есть феодальная подать, происшедшая от завоевания, какою была она в остальной Европе; здесь она не более как форма поземельной подати. Но вот что замечательно: если наемщик земли вводил на ней новую обработку, то избавлялся на 10 лет от платежа десятинной подати; то есть, выходит, что владелец десятинным сбо-

ром платил собственно за земледельческое нововведение; наконец, капитал, представляемый десятинною податью, всегда включается в оценке земли, так что она вовсе не посторонний налог, а просто наемная плата за землю.

После всего этого возможен ли в испанском народе дух революционный? Можно ли опасаться здесь таких народных движений, какие несколько раз потрясали Германию, Англию, Францию?^{106} Можно ли бояться извержений народного волкана в стране, где, как я сказал уже, у самого беднейшего мужика есть всегда вдоволь хлеба, вина и солнца, и где даже у нищего есть на зиму и шерстяные штаны, и шерстяной плащ! Вот почему здесь народ так равнодушно смотрит на политические события. Как нация, он без всякого сомнения бесконечно выиграет от возрождения Испании, но собственно как народ, в своих отношениях к дворянству, к среднему сословию — ясно, что не он именно здесь особенно нуждается в освобождении. Если здесь что действительно страдает, так это интересы среднего сословия — просвещение, торговля,

промышленность... но об этом до другого письма⁽¹⁰⁷⁾; а теперь собираюсь на юг Испании.

Кордова.

Я уже в Андалузии! Но сначала несколько слов о дороге. От Мадрита она идет прежними пустыми полями; по дальним окраинам их — синеют горы; по полям — ни одного дерева. Восемь или десять превосходных мулов, запряженных попарно, быстро везут низкий дилижанс; всегда равнодушный и молчаливый кондуктор сидит на передке, рядом с кучером, или точнее — место кучера рядом с кондуктором; сам же кучер ни минуты не остается на своем месте: он беспрестанно вьется около мулов, погоняет их, ободряет, бранит, зовет по кличкам — *capitana*, *coronela*, *pulla*, *gitana*[25], и каждый мул отзывается на свою кличку движением ушей. Только разве на крутую гору мулы идут шагом; кроме этого, или сильною рысью, или вскачь; тогда кучер (*zagal*) прицепляется сзади дилижанса или вспрыгивает на свое место; но только что мулы начинают умедлять бег, он снова вертится уже около них, бич хлопает, и дилижанс постоянно скачет,

несмотря ни на какую дорогу, ни на толчки, которые достаются путешественникам. Но в этом отношении испанцы — самые веселые товарищи: в дороге они совершенно оставляют свою обычную важность и серьезность, становятся шутливы, говорливы; толчки, все неудобства здешних путешествий возбуждают только шутки и веселость: никто не жалуется ни на что. Если обед дурен, он делается предметом насмешливых шуток и острот; я никогда не слыхал, чтоб кто-нибудь из испанцев серьезно пожаловался на что-нибудь в дороге. Нет народа более уживчивого и терпеливого, да и нет страны менее избалованной удобствами, как Испания. Путешествуя верхом по горным дорогам или по пустынным, ненаселенным равнинам (*despoblados*), оставаясь в одиноких вентах, поневоле забудешь претензии на разные удобства и привыкнешь довольствоваться необходимым. Около вечера приехали мы в Аранхуэс (*Aranjuez*). Сад его, который воображал я некогда раем, читая первую сцену «Дон Карлоса» Шиллера^{108}, оказался просто садом, какой только может быть в окрестностях Мадрита:

Тахо (Тајо), протекающий по парку, живит эту иссушенную солнцем испанскую землю, но чудно богатую питательными соками. В самом деле, представьте себе, среди этих пустынь, где, кроме покрытых пылью кустов розмарина, не видать никакой зелени, вдруг встают гигантские платаны, тополи, великолепнейшие дубы. Эта почва, за несколько шагов совершенно бесплодная, приобретает от живительной влажности реки растительность удивительную, невиданную. Дворец очень обыкновенен^{109}; в нем всего замечательнее (по богатству отделки, но нисколько — по хорошему вкусу) небольшой павильон Карла IV^{110} (Casa del labrador)^{111}, на который он, рассеяваясь от своих всяческих несчастий (кто не слыхал о похождениях его супруги с известным князем Мира^{112} и с другими?), употребил миллионы, распоряжаясь по своему доброму королевскому усмотрению налогами с своей бедной Испании.

За Аранхуэсом тотчас же начинается прежняя пустыня; но после небольшого городка Оканья характер ее изменяется. Мы в Ла-Манче. Эта унылая провинция вся состоит

из равнины, на которой нигде нет воды, ни одного холма, ни одного дерева. Глаз свободно уходит в даль, не встречая ничего, кроме красно-серой почвы и темно-голубого, чистого неба; только к югу, словно густой туман, что-то виднеется в этой пустыне: это Сиерра-Морена; изредка, через два, три часа езды, встречаются по дороге не деревни, а одинокие венты; по краям дороги нет ни кустарника, ни даже травы. Я не знаю, что есть еще в мире печальнее этой пустыни! Представьте при этом мертвом молчании ослепительную яркость жгучего солнца, от которого трескается обнаженная земля. Это действительно пустыня, но только самая прозаическая, без Африки, без моря песку, без могучего ветра, взвешивающего его. Кое-где попадаются небольшие городки, которых дома сподряд покрыты этою вечною серо-кирпичною краскою; только около редких селений видишь небольшие рощи олив и виноградники, которые тотчас же сменяются прежним бесплодным, пустынным полем. Здесь и на людях отразилась суровость природы: житель Ла-Манчи, которому нечего ждать от своего труда, вследствие

этого ленив, беден, сален, бродяга. В каждом селении дилижанс окружали толпы нищих, дети в лохмотьях, дети вовсе голые, старый и малый, — все просят милостыни. Манчеге на вид хилы и вялы, одежда их самая неживописная: темно-коричневая, всегда с заплатами длинная куртка, такие же короткие штаны и такие же длинные штиблеты. Кроме всего этого, жители Ла-Манчи имеют в Испании самую скверную репутацию: из них будто бы все состоят мелкие шайки пеших воров, gateros⁽¹¹³⁾, грабящих и большею частью убивающих одиноких путешественников, в противоположность всем уважаемым caballistas, разбойникам конным, которые только грабят, а убивают лишь по необходимости. Кстати прибавлю, что в последнюю войну шайки карлистов, грабившие по большим дорогам, преимущественно состояли из манчегов. Да, я забыл сказать, что вино Ла-Манчи пользуется в Испании большою известностью, особенно из виноградников около города Val de Peñas: оно не похоже на все испанские вина; некрепко и очень приятно; это единственное вино в Испании, которое можно пить за сто-

лом без воды. Если бы оно не воняло кожаным мешком своим!

Но самая громкая слава Ла-Манчи — ее бессмертный Дон-Кихот. Здесь, в этой печальной стране, родился и умер рыцарь печального образа с своим знаменитым конюшим, и народ до сих пор показывает места их подвигов. За несколько миль от города Quintanar de la Orden мне показали Toboso, отечество Дульцинеи, а потом тот постоялый двор (venta), где Дон-Кихот был посвящен в рыцари. Простой народ даже верит действительному существованию Дон-Кихота! «Слыхали вы о Дон-Кихоте?» — спросил я в одной деревне мужика. — «Да, señor, он был манчего и очень храбрый caballero». — «Давно ли он жил?». — «Давно: больше тысячи лет». Хозяин одной венты, где мы останавливались пить воду, с гордостью сказал мне, что в его венте останавливался и ночевал Дон-Кихот.

Во всю Ла-Манчу меня преследовали рассказы об ограбленном за несколько дней дилижансе. Всех приводило в негодование не то, что он был ограблен: это казалось совершенно в порядке вещей; а то, что разбойники

начали свое нападение тем, что выстрелили из trabuco в купе дилижанса: к счастью заряд упал ниже окна. Нам в первый раз рассказали об этом в Оканье, и вдруг лица у всех приняли озабоченный вид. Так как я решился уже за удовольствие встречи с разбойниками поплатиться тремястами франков, то ожидал ее не без приятного ощущения, очень похожего на то, с каким ждешь поднятия занавеса новой и интересной пьесы.

Кроме некоторых приморских мест и немногих частей Андалузии и северных провинций, Испания — земля природы унылой, суровой и пламенной: голые скалистые горы да пустынные поля; если где-нибудь на них и встречаются деревья, они скорчились от зноя и засухи, бедны и приземисты. Мертвая тишина по пустынным полям; пенья птиц не услышишь; одни орлы да коршуны виднеются в небе, перелетая между горами. Утомленные пустынею глаза лишь изредка встречают небольшие бедные деревни да обвалившиеся башни и стены укреплений, оставшихся от арабов или от старых внутренних войн. Пустынные картины Кастильи и Ла-Манчи ис-

полнены какой-то пламенной, страстной меланхолии. Иногда встречаешь на них пастуха дикого вида, со стадом; неподвижно опершись на окованную железом палку или на ружье, лениво и равнодушно взглянет он на проезжих; иногда по пустынной дороге тянутся гусем мулы, навьюченные товаром, на котором сидят хозяева с ружьями, или попадает путешественник hidalgo[26] верхом, с своим неразлучным escopeta (ружьем); а кроме этих редких встреч, — яркое, знойное, голубое небо, пустое степное поле, пустая дорога. Но эти же причины делают одинокие венты очень интересными: так как во время жару весь этот странствующий люд не едет, а останавливается в вентах, то они принимают чрезвычайно живописный и оживленный вид. Сведя мулов и лошадей в конюшню, проезжие обыкновенно располагаются под длинным сводом въезда. Я уже говорил, что в Испании каждая провинция имеет свой костюм; а здесь их 40 провинций! Можете представить, какой маскарад встречаешь в иной венте. Кастильянец носит куртку какого-нибудь степенного цвета, короткие с пуговицами

штаны и непрременный плащ; манчего весь одет в темно-коричневый цвет, куртка его длиннее кастильской и сшита на другой покрой. Валенсиянец носит обыкновенно голубую бархатную куртку, короткие до колен, ужасно широкие белые шаровары, с широким красным поясом, на ногах сандалии (alpargatas)⁽¹¹⁴⁾, вместо плаща — кусок пестрополосатой шерстяной ткани (manta). Они обыкновенно садятся на землю, поджав ноги калачом, голова всегда острижена у них под гребенку, лишь на затылке оставляют несколько длинных локонов; шляп не носят, а голову повязывают платком, на манер тюрбана. У кастильцев вид всегда серьезный и важный; они пользуются в Испании отличной репутациею, и конечно, недаром существует пословица: honrado como un castellano (честен, как кастильянец). Валенсиянца узнаешь по арабскому типу бронзового лица, бодрым, легким движениям и по дикому огню глаз. Но всех удалее андалузец в своей шитой арабесками куртке, с шелковым цветным платком на шее, концы которого продеты в золотое или серебряное кольцо, в своей ни-

зенькой с загнутыми полями шляпе, всегда надетой набекрень и из-под которой висят сзади длинные концы пестрого шелкового платка, обвязывающего голову. Особенно поражает своею оригинальностью одежда марагатов: это какое-то самостоятельное племя, с своими обычаями, нравами, характером. Они живут в горах леонской провинции, около Astorga^{115}. Замечательно, что особенности их выходят у них вовсе не из религиозных причин; они живут только между собою, чуждаясь всего, что не марагато. Все они исключительно занимаются перевозом товаров на мулах и честности необыкновенной. Это самые верные люди в целой Испании; посылка денег, например, особенно в значительных суммах, поверяется здесь не почте, а марагатам, и не было еще примера, чтоб кто-нибудь из них обманул своих доверителей. Вообще эти люди характера серьезного и молчаливого! У всех погонщиков мулов (arrieros) дорогой не проходит ни минуты без пенья, одни марагаты никогда не поют. Их лица имеют несколько сухое и строгое выражение, какое встречаешь обыкновенно на лицах сектаторов^{116}. Еще в

Мадрите всегда поражала меня их одежда XVII века (очень похожая на ту, в какой обыкновенно рисуют Кромвеля), и я даже надоел своим мадритским приятелям расспросами о них. Но, несмотря на это, ничего не мог узнать о них положительного. Живя в горных деревнях, марагаты связаны между собой обычаями: например, никто из них не должен носить платья другого покроя и другого цвета, кроме черного; женятся они только между собою; в одежде женщин очень много восточного. В одном обществе, в Мадрите, какой-то ученый каноник, ссылаясь на историка Мариану^{117}, рассказывал мне о происхождении марагатов целую и преспутанную историю^{118}.

Я уже говорил, что перевозчики товаров на мулах здесь называются *argieros*; для безопасности они обыкновенно по дорогам присоединяются друг к другу. Вы поймете, как интересно встретить в иной венте соединение всех этих разнообразных и разноцветных лиц и одежд. Весь этот люд небрежно отдыхает на своих пестрых коврах, которыми обыкновенно покрывают товары на мулах, и ку-

рит свои неразлучные сигары или папироски. Народ, да и вообще все испанцы, всегда сами вертят себе сигаретки, и с удивительным искусством. Они обыкновенно чрезвычайно малы, не более как для двух, трех хороших глотков дыму. Здесь сигара играет большую роль: она завязывает разговор, служит изъявлением учтивости; и кстати предложенная сигара доставляла мне не раз самое обязательное знакомство. Испанский мужик исполнен достоинства; вид его горд, все манеры знатного барина. Он говорит с кем бы то ни было тоном совершенного равенства. И немудрено! Знаете ли, что еще не далее как в 1621 году ужасное запустение полей заставило Филиппа IV^{119} давать дворянское достоинство тем, которые станут заниматься обработыванием земли! Не знаю, многие ли старались этим путем достигнуть дворянства, но во всяком случае и это обстоятельство, между многими другими, о которых я уже говорил, имеет следствием то, что испанский мужик насколько не считает себя хуже кого бы то ни было или занятия свои сколько-нибудь унижительными. А вот еще одна из оригинально-

стей Испании: в образованных странах Европы праздность считается пороком, в Испании нисколько. В Европе всякий старается разбогатеть, чтоб выйти из своего низшего положения, — испанец богатеет для того, чтоб остаться тем, что он есть. Может быть, во всем мире нет работника лучше испанца, но он работает только для того, чтоб иметь самое необходимое, а все остальное время он предпочитает по целым дням стоять, завернувшись в плаще, на городской площади, разговаривать о разных новостях или молча вертеть и курить свои *papelitos* (папироски). Каждый водонос, наконец, нищий так искренно убеждены в своем равенстве со всеми, что никогда не считают за нужное доказывать словами или поступками, чем бы то ни было, это равенство, полученное ими при рождении, и слепой нищий, желая закурить свою сигару, скажет, чему я не раз был свидетелем, гранду Испании: «¿Tiene ud lumbre, Marqués?» (есть у вас огонь, маркиз?), и маркиз подает ему свою сигару без малейшего удивления, но зато и нищий никогда не перестанет оставаться нищим, сын мужика никогда не подумает

сделаться владельцем или маркизом. В Испании никто, кроме офранцуженного среднего сословия, не старается стать выше своего звания. Не в этом ли и причина, что наука, искусство, промышленность, торговля — все, что служит степенью для честолюбия людского, — находятся здесь в таком небрежении?

Ничего не может быть ужаснее кухни, которая преследовала меня в вентах Ла-Манчи: это полное царство того дурного оливкового масла, называемого у нас деревянным; его примешивают и в суп, и в яичницу, в нем подают и маринованные рябчики, жарят рыбу. По вечерам дают еще здесь нечто вроде нашей окрошки; эта холодная похлебка состоит из салада, испанского перцу, луку, томатов, уксусу, масла, воды, соли, хлеба и называется газрасчо. Я принужден был обедать шоколатом и яйцами всмятку, заедая все это салатом с одним уксусом. Плодов в Ла-Манче нет, а сливочное масло — редкость даже и в больших городах Испании; счастье еще, если в ином селении можно отыскать свиного сала.

Чем более приближались мы к Сиерре-Морене, тем ровная почва Ла-Манчи станови-

лась волнистее. За эту массу лиловых гор лежала Андалузия! Постепенно холмы становились пригорками, наконец горами, утесы, скалы — выше и выше, и в Puerto de los perros (Собачьи ворота)^{120}, где темные, голые, громадные скалы встают страшными массами, я уже с уважением смотрел на Сиерру-Морену, вспоминая сотни романов, читанных мною в детстве о ее знаменитых разбойниках^{121}. А действительно, еще не далее как в половине прошлого века проезд чрез Сиерру-Морену был ужасом путешественников. Через эти нависшие одна на другую скалы пролегла лишь тропинка, по которой с трудом взбиралась лошадь, зимою вовсе не было проезда от стай волков; шайки разбойников жили тут постоянно, как в неприступных крепостях. Если в 1831 году Фердинанд VII принужден был договариваться с знаменитым атаманом разбойников — Хозе Мариа^{122}, — убедясь, после многих лет, что все преследования войск и полиции решительно не могут остановить его грабежей, можно представить, что было в Сиерре-Морене за сто лет до нас, при ее непроходимых дебрях! Теперь превосходное

шоссе проходит через Сиерру-Морену, красивые мосты перекинуты чрез пропасти; вместо прежних заброшенных в горной глуши одиноких вент, притонов разбойничьих шаек и ловушек путешественников теперь встречаются небольшие веселые селения с возделанными вокруг полями. Эти дороги, селения, это завоевание страшной Сиерры цивилизацией суть плоды философии восемнадцатого века. Да, и она на что-нибудь пригодилась в этом прекрасном мире! хоть на проложение дороги чрез Сиерру-Морену.

В половине прошлого века небольшая горсть испанцев, страстных последователей философии своего времени, приняла на себя подвиг преобразовать закоснелую в старых обычаях своих католическую и монашескую Испанию. Умный Карл III понял, оценил их, но не в силах был защитить от ненависти духовенства и преследований инквизиции.

Философия энциклопедистов в Испании и еще в королевском совете! Запирайтесь после этого от духа своего века! В этой классически-католической Испании, в самом отечестве Доминика и Лойолы^{123}, инквизиции и

иезуитизма, в стране, навсегда, казалось, отрезанной ими от Европы, недоступной ее влиянию, чуждой ее идеям, движениям, интересам, — и в эту околдованную темными силами страну добралась философия XVIII века! Таможни не заметили ее, даже сама инквизиция проглядела. Она пробралась духом века, самую силою вещей, эту таинственную необходимость, стремящую род человеческий к совершению судеб своих.

До Карла III⁽¹²⁴⁾ (1750) все влияние Европы на Испанию состояло почти в одной только одежде. Филипп V только что уселся на своем престоле, стоившем столько крови и денег Испании и Франции, как тотчас же объявил войну национальной испанской одежде. И в Испании новая история началась с преобразования платья! Говорят, будто Филипп V даже сочинил латинскую сатиру на какую-то испанскую народную одежду, называемую *golilla*⁽¹²⁵⁾. Впрочем, все его преобразования ограничились одним введением французского кафтана, который далее придворных не распространился. Но если Бурбоны привезли с собой в Испанию очень мало ума и таланта,

зато привезли они французский язык, который всего лучше мог тогда познакомить испанцев с Европою и ее движениями. С этой стороны восшествие Бурбонов на испанский престол было для Испании действительно великим событием; этой всячески изнуренной, задыхавшейся в своем средневековом невежестве стране открыто было наконец окно в Европу; семя новой жизни было брошено на испанскую почву, хотя о нем, разумеется, вовсе не думали ни великолепный Людовик XIV, ни ограниченный внук его^{126}. Новые понятия, сначала робко пробираясь между мадритскими академиками, вдруг неожиданно находят себе покровительство у Карла III (сына Филиппа V) и, наконец, становятся правительством в лице министра графа Аранды^{127}, Кампоманеса^{128}, графа Олавиде^{129}.

Чтоб показать, с какими трудностями должна была бороться эта горсть новых людей, эти реформаторы монашеской и средневековой Испании, стоит только напомнить судьбу, постигшую строителя и колонизатора этой превосходной дороги через роковую Сьерру-Морену, — графа Олавиде. Он был пра-

вителем Севильи. Но еще прежде, принужденный для поправления своего расстроенного состояния жениться на богатой вдове и заниматься торговыми спекуляциями, должен был он по делам своим жить часто в Париже. Тут он познакомился с Вольтером, со всем, что было тогда в Париже замечательно в философском и литературном отношении. В его доме играли «Заиру», «Меропу», весь репертуар того времени, переводимый на испанский язык самим хозяином^{130}; актерами были молодые испанцы, любители французской литературы. В это время граф Аранда, сделавшись министром, вызвал к себе Олавиде. В их мыслях и чувствах было большое сходство; они подружились; Олавиде принял горячее участие в новой администрации и назначен был правителем Севильи. Сиерра-Морена тогда, как я сказал, была словом, возбуждавшим ужас, да и недаром называлась она Черною горою. Олавиде задумал ввести цивилизацию в этот вертеп, колонизировать его. Но никакие выгоды не могли туда заманить испанцев; Олавиде вызвал колонистов из Франции, Швейцарии, Германии. Не было во-

ды, а Олавиде утверждал, что она непременно есть в горных лесах, потому что эти места были же некогда заселены арабами, и действительно вода была найдена. Олавиде сам устраивал колонистов, заботился о них неусыпно. Аранда, бывший тогда в большой силе, всячески содействовал ему; Кампоманес, соображаясь с мыслию основателя, составил fuegos (учреждения и статуты) для его колоний. Олавиде запретил в них основание монастырей и даже так называемых странноприимных братьев, под видом которых заводились всегда монастыри. Даже один находившийся тут старый монастырь был срыт, и на его месте Олавиде выстроил дом для себя. Все это были вещи неслыханные в Испании! Но Олавиде пошел далее: в числе колонистов иные были протестанты; Олавиде воспротивился усилиям духовенства обращать их в католичество или заставлять присутствовать при католических процессиях; он даже позволил им работать в некоторые из бесчисленных испанских праздников^{131}. А сверх всего этого Олавиде был правою рукою графа Аранды в деле изгнания иезуитов из Испании.

В десять лет своего управления Олавиде преобразил дикую и страшную Сиерру-Морену в населенную, промышленную, веселую страну, сам проложил прекрасные дороги, построил города. Правда, от всех этих трудов осталось немного; теперь в главной колонии, Каролине, мало жителей, город пуст и тем более кажется пустым, что выстроен с самою скучною правильностью, длинными широкими улицами, однообразными домами. Но в этом запустении не виноват Олавиде: после его падения бедные колонисты не знали, куда деваться от всяческих притеснений духовенства.

Жена Олавиде, как все испанки того времени, не получила никакого воспитания. Она вовсе не понимала характера мужа, не понимала его видов, его вражды к предрассудкам, его любви к человечеству и приписывала его действия совсем иной причине — какой-то тайной страсти. Любя своего мужа, она сделалась ревнива, подозрительна; его враги воспользовались болтовством ее. Злоба монахов собиралась грозой над смелым нововводителем: орудием их был Ромуальд, немецкий ка-

пущин, пришедший с баварскими колонистами и вкравшийся в доверенность к жене Олавиде. Он обвинил Олавиде перед инквизицией в еретичестве. Около этого времени Карл III захотел лично узнать Олавиде, пригласил его в Мадрит и сам объявил ему, что для него готовится медаль в награду за услуги, оказанные им отечеству.

В продолжение этой поездки Олавиде узнал о кознях монаха Ромуальда, о доносе его инквизиции^{132}. Чтоб как-нибудь отклонить от себя грозу, он решился сам явиться к великому инквизитору, говоря с ним прямо, даже вызвался ему сделать публичное отречение от некоторых слишком смелых мыслей, сознаваясь в необдуманном следовании им. Но это не могло удовлетворить инквизиции, 14 ноября 1776 года граф Мора де Фуэнтес^{133}, верховный альгвасил инквизиции, арестовал его; заключенный в тюрьме инквизиции, Олавиде исчез: ни жена, ни дети, ни друзья не знали два года о существовании его; все думали, что его уже нет в живых.

24 ноября 1778 года шестьдесят высших сановников Мадрита были собраны в восемь

часов утра в одной из зал инквизиции. Созванные по приглашению великого инквизитора (а такие приглашения были повелениями), присутствовавшие совершенно не знали о цели их созвания: то были герцоги, гранды, генералы, высшие чиновники всех советов, всей администрации. Их ввели в самое судилище инквизиции — длинную, темную залу; в ней был стол, два стула для инквизиторов, еще два стула для стражей неизвестного подсудимого и деревянная скамья для них. Прямо на черной стене возвышалось грозное, колоссальное распятие. Герцог Абрантес, граф Мора и другие гранды как верховные альгвасилы инквизиции были тут без шляп и без шпаг, в качестве слуг. Наконец, монахи, в черной одежде и с босыми ногами, ввели подсудимого. На нем было платье желтого цвета — цвета преступников, в руках была зажженная свеча; его посадили на приготовленный для него табурет. То был граф Олавиде.

Началось чтение обвинений; в числе их были и найденные в бумагах его разные заметки. Собственно они не заключали в себе улики ни в каком преступлении, но в них бы-

ли неблагоприятные отзывы о монахах и духовенстве. Потом обвиняли его в отрицании непреложности папы в делах веры, в том, что он велел нарисовать себя среди разных предметов греческой мифологии. Долго исчислять все обвинения; упомяну только об особенно замечательных, например, что Олавиде допустил в свою библиотеку столь гнусные и вредные книги, как энциклопедии^{134}, лексикон Бэля (Bayle)^{135}, «Дух законов» Монтескье, сочинения Вольтера, Руссо. Касательно Вольтера преступление Олавиде увеличивалось еще тем, что он искал с ним личного знакомства, ездил нарочно для этого в Ферне, даже получал от него письма, из которых в одном была следующая фраза: «Надобно желать, чтоб в Испании было побольше таких людей, как вы»^{136}. Еще обвиняли его в неуважительных отзывах о монахах и образах, в предпочтении Марка Аврелия испанским королям и даже отцам церкви, в неисполнении внешних обрядов католической веры, в разных вредных мыслях и проч. и проч. Все действия и поступки Олавиде перебраны были поодиночке, вся жизнь с самого детства, все брошенные мимо-

ходом слова — ничто не ускользнуло из инквизиционного исследования. В заключение прочтен был приговор: несчастный был осуждаем как еретик на восьмилетнее заточение в один из монастырей Ла-Манчи; там ежедневно должен был исполнять наложенное на него покаяние, учить наизусть катехизис и читать следующие книги: «Символ веры», соч. fray Luis de Granada[27], и «Неверующему нет прощения», соч. отца Сегера, и сверх того каждый месяц исповедываться. После восьмилетнего заточения Олавиде запрещалось подъезжать на тридцать миль к столице, к Севилье и к Сиерре-Морене; он лишался своего звания, объявлялся неспособным занимать впредь какую-либо должность; должен был во всю свою жизнь ходить пешком; ему воспрещалось ездить верхом или в экипаже, равно как и носить платье из золотой, серебряной или шелковой ткани, его одежда должна была быть самая грубая и простая. Только из уважения к пожалованному ему ордену св. Иакова избавлялся он от ношения веревки на шее, которую бы должен был носить во всю свою жизнь как еретик.

Олавиде упал без чувств, услышав такой приговор. Когда пришел он в себя, ему велели стать на колени, отречься от своих заблуждений; потом вошли четыре священника в стихарях, с розгами, начали петь «Misereere» и били его по плечам, пока продолжалось пение. После этого осужденного снова отвели в тюрьму, и инквизиторы молча вышли, поклонясь присутствовавшим. Приглашенные были большею частью старые друзья графа. Инквизиция нарочно созвала их, желая дать им косвенный урок. Если бы не особенное заступничество Карла III, Олавиде был бы непременно осужден на сожжение.

В свое время эта история наделала много шуму в Европе, и особенно во Франции. После двухлетнего заточения Олавиде Карл III исходатайствовал ему у инквизиции позволение полечиться водами в Каталонии; оттуда Олавиде бежал во Францию. Но инквизиция принудила короля требовать его выдачи, так что Олавиде должен был уехать в Женеву и уже воротился в Париж при начале революции. Конвент, желая изъяснить страдальцу за дело просвещения свое высокое уважение, при-

знал его принятым гражданином французской республики. Это была в Испании последняя жертва религиозной нетерпимости и преследования^{137}.

Если такие дела случались в Испании в то время, когда уже царствовала у нас Екатерина II^{138}, мне нисколько не кажется сомнительным и следующий анекдот, рассказываемый о Филиппе III^{139}. Этот почтенный сын и наследник Филиппа II, воспитанный им в монастыре, до того был предан духовенству, что с подобострастием цаловал руку всякому встречному монаху. Он любил присутствовать при autos de fé[28] святой инквизиции. Однажды сжигали на костре какого-то еврея; тогда евреев считали проклятым племенем. Еврей шел на костер с покойною торжественностью, с ясным, сияющим лицом. Это поразило Филиппа. «Как жаль, что этот человек должен умереть! — сказал Филипп. — Верно, у него совесть чиста, если с таким бесстрашием он идет на смерть». Эти слова были переданы великому инквизитору: в них заключалась оскорбление святости и справедливости священного судилища. Такие преступления

наказывались сожжением преступника. Но особа короля так же священна, как и инквизиция! В таком затруднительном вопросе великий инквизитор произнес следующее решение: «Палач должен пустить королю кровь из руки — и кровь эта должна быть сожжена». Филипп III покорился решению инквизиции и исполнил его^{140}.

После скал Сиерры-Морены природа начинает значительно изменяться: рощи олив, виноградники встречаются чаще и чаще, и чем ближе к Андалузии, тем растительность сильнее. По краям дороги показывается наконец бирюзовая зелень алоэ, местами попадаются кактусы: характер пейзажа изменился; чувствуешь, что находишься уже под другим небом; климат, архитектура строений, одежда, обычаи — все говорит, что находишься в другой стране. Вышитая пестрыми арабесками куртка сменяет темные ламанческие камзолы; народ бойчее и опрятнее, селения живописнее, женщины красивее и щеголеватее. Их чудные черные волосы широкими клубами связаны на затылке. Заветный испанский

балкон исчезает; дома низенькие, почти без окон на улицу; внутри дома квадратный, с деревьями и цветами, дворик, окруженный галереею и тонкими мавританскими колоннами: на этот двор выходят окна и двери комнат. На всем лежит мавританский колорит, и этот колорит так силен, что до сих пор городки и деревни Андалузии имеют восточный характер.

Кордова — совершенно мавританский город. Невысокие белые дома без балконов и окон, узкие, вьющиеся улицы, по которым ходишь словно между двумя стенами, окон нет, одни двери. Но если иная дверь отворена, то невольно остановишься и засмотришься. Садов в городе нет, и нигде не встретишь зелени; кое-где, правда, из-за белой стены поднимается вершина пальмы; при этом дневном безлюдьи, тишине и однообразии улиц как красиво и задумчиво рисуется вершина пальмы на темно-голубом безоблачном небе и яркой белизне домов! Ничто тут не напоминает о нравах и обычаях европейских. Каждая случайно отворенная дверь открывает очаровательный садик — тут и апельсиновые деревья,

и редкие цветы; он обыкновенно обнесен высокою стеною, за которою скрыта вся зелень. За садом квадратный дворик; тонкие мавританские колонны разноцветного мрамора поддерживают арабские своды окружающей его галереи, на которую выходят окна и двери жилых комнат; посреди шумит фонтан в мраморном бассейне. Крыша этого двора (ratio) состоит или из винограда, которого густая зелень не пропускает сквозь себя лучей солнца, или из холста. В этом прохладном дворе всегда сидит семейство. Ходя по улицам, которых дома — высокие, сплошные стены, вдруг увидишь иную растворенную дверь, и невозможно не засмотреться в нее! Один житель Кордовы, с которым я познакомился в кофейной, водил меня в некоторые богатые дома: в иных по два сада, фруктовый и цветочный. Его же приветливости одолжен я посещением и некоторых отличных конюшен. Известно, что Кордова славится своими заводами андалузских лошадей. Что это за красивое, благородное животное! Андалузские кони развиваются очень медленно и входят во всю свою силу только на седьмом году, но зато и долго

сохраняют ее: здесь часто двадцатилетние лошади бодры и с огнем. Это позднее развитие, может быть, происходит и от образа их воспитания: до трехлетнего возраста их постоянно держат в поле, не дают стойлового корма: они предоставлены вольному, полудикому состоянию. После этого срока их ловят; я видел некоторых, пойманных на днях: они чрезвычайно пугливы и дики, косматы, худы, такие дрянные, что трудно поверить, как из них становятся впоследствии эти сильные, превосходные андалузские кони. Но эта же превосходная форма отчасти причиною и их главного недостатка, который заключается в устройстве задних ног: они слишком круто согнуты и от этого слишком далеко шагают; в скорой рыси задние копыта беспрестанно задевают за передние. В одной конюшне я видел удивительного жеребца: только голова (как вообще у андалузской породы) была несколько велика; шея гнулась крутой дугою; длинная грива висела, словно крупный шелк, густой хвост почти касался земли; у него был гордый, крупный шаг, который так ценят испанцы; а галоп так могуч и порывист, что

словно ему хотелось разбить землю под ногами. Хозяин ценил его в 1500 duros (тысяч 6 асс.). Отличные и крупные лошади в Испании очень дороги и редки. Кстати: мне случилось видеть в Мадрите скачку: они введены там в подражание английской моде; и так как испанская лошадь по самому устройству своему всего менее способна к скачке, то в ней участвовали одни только лошади английской породы, и вы не можете вообразить, какую карикатурную противоположность представляли они перед красивыми андалузскими конями некоторых зрителей.

Я нанял себе красивого андалузского коня, чтоб посмотреть на окрестности. Кордова стоит в поле, окруженная зубчатыми мавританскими стенами. Я был поражен невообразимой прозрачностью этого воздуха, его ярко-золотистым, сверкающим тоном. Далеко извиваясь по полю, терялся Гвадалквивир, между густыми кустами олеандров, которые купами собираются у воды, ища освежения от душающего жара; алоэ принимает совершенно африканские размеры; на широком поле одни только деревья пустыни — пальмы

поднимают свои изящные, нагнувшиеся вершины; вправо — Сиерра-Морена; ее отлогие, последние холмы покрыты густою зеленью; тут рощи олив и виноградники. Мили за три от Кордовы, в одной долине между горами, видел я чудесные, крупные, душистые розы, которые растут тут сами собой, — наследство мавров! Роза была их любимым цветком, и они всюду разводили ее¹⁴¹. По отлогостям гор расположены загородные дома кордованцев, окруженные апельсинными, лимонными деревьями. И в Кордове, и в окрестностях беспрестанно встречаешь молодых людей верхом; лицо у них обыкновенно бледно-кофейного цвета и без малейшего румянца, черные, сверкающие глаза, стан гибкий, движения быстры и легки; их щеголеватый костюм тем более поражает, что здесь все, кроме одежды, в забросе и небрежении. Эти majos (щеголи) верхом — загляденье. Голова и грива лошади обыкновенно убраны лентами того же цвета, как куртка седока, седло и стремяна восточные; на ездеке цветная, вышитая пестрыми арабесками куртка, синие или коричневые в обтяжку короткие штаны с множеством ме-

таллических пуговиц по боковым швам; высокие до колен кожаные штиблеты (polainas), узорчато прошитые шелком, кисточками связанные сверху и снизу икр и открытые в середине, так чтоб виден был тонкий, белый чулок à jour[29]; низкая, с загнутыми полями, набекрень надетая шляпа. Мне, вероятно, случится не раз говорить об андалузском костюме: несмотря на свою общепринятую форму, он удивительно разнообразен; каждый следует в нем своей фантазии. И возле такого щегольского caballero, у какого-нибудь мавританского портика, над которым раскинулись ветви пальмы, несколько оборванных нищих укрывались от солнца и с гордым достоинством смотрели на проезжего иностранца. Я не знаю, как эти люди живут, но из всех нищих на свете испанский всех менее докучлив и никогда не теряет своего достоинства.

В Андалузии женщины выходят из домов только по вечерам, с 8 и 9 часов; днем их видно очень мало; у всех, которые мне попадались, были в волосах сбоку свежие цветы. Какие тонкие черты, что за чудный очерк головы и лица, какая невыразимая живость фи-

зиономий! В манерах и движениях андалуззянок есть какая-то ловкость, какая-то удалая грация... это-то и называют испанцы своим непереводаемым *sal esrañola* (соль испанская). Я уже говорил об этом народном выражении, но и теперь все-таки не умею определить его... Это не французская грация, не наивность и простодушие немецкие, не античное спокойствие красоты итальянской, не робкая и скучающая кокетливость русской девушки... это в отношении внешности то же, что остроумие относительно ума. Разумеется, не все женщины отличаются этою *sal esrañola*, но зато у всех увлекательно дерзкий взгляд и горячо-бледные лица.

Кордова недаром была столицею самой блестящей эпохи мавританского владычества в Испании: они выстроили здесь свою знаменитую мечеть^[142]. На этой прекрасной, исполненной классических воспоминаний земле развился один из самых лучших цветов магометанской жизни. Постоянная борьба с христианскими владетелями обнаружила в испанских арабах какой-то особенный рыцарственный характер, далеко превосходивший

своими доблестями их христианских соперников. Если б в истории всегда побеждали не смелость, сила и хитрость, а честность, образованность и трудолюбие, то, конечно, арабы и теперь еще оставались бы владельцами Испании! История не знает никакого другого права, кроме силы и хитрости^{143}.

Я не знаю ничего фантастичнее в истории человечества, как это внезапное явление, этот чудный блеск и исчезновение мавританского племени! Давно кочевали арабы в Азии бродячими племенами, занимаясь скотоводством, земледелием и разбоем или нанимаясь в службу у азиатских и африканских владельцев. В 610 году по Р. Х. вдруг просыпаются они на голос Магомета. Неслыханный доселе энтузиазм потряс дикие племена пустынь; до того времени неподвижные, они встают, как неотразимый вихрь, разносить по всей земле слово пророка. В несколько лет исламизм владеет уже от берегов Атлантического океана до Гангеса^{144}. Но тут же совершается и перерождение их воинственного духа: вдруг овладевает ими страсть к ученью, к знаниям, и те же самые люди, которые в пылу фанатиз-

ма сожгли великолепную библиотеку Александрии^[145], начинают теперь с жадностью отыскивать и собирать памятники греческой и римской мудрости и распространять их во множестве переводов^[146]. Знаменитый в восточных сказках Арун-аль-Рашид^[147] принимает в Багдаде ученых всех земель, без различия веры, ободряет и награждает их; сын его Аль-Мамун посвящает всю свою жизнь, все свое богатство на служение наукам, делает из двора своего академию, всюду заводит у себя школы и, победивши греческого императора Михаила III^[148], заставляет его купить мир данью, состоящую из греческих книг!.. Самая история этого благородного племени походит на сказку тысяча одной ночи. Ученые путешествия, которые впоследствии предпринимали арабские ученые, беспрестанно увеличивали массу сочинений, вызванных этим всеобщим направлением к знаниям и учению. Все сочинения, как свои, так и переводные, тщательно собираемы были в библиотеки, вход в которые открыт был всякому. В одной арабской Испании было семьдесят публичных библиотек. Калиф Аль-Амед^[149], наприм^{ер}, поручал

управленце главной библиотеки в Кордове брату своему: это была самая почетная должность в государстве^{150}. Библиотека Кордовы была так велика, что один каталог ее имел 44 тома, в 50 листов каждый. Арабы занимались астрономиею, медициною, математикою, ботаникою, музыкою, поэзию; от них переняли испанцы и рыцарство, и свою поэзию романсов, передав ее потом провансальским труверам...

И все сокровища знания арабов погибли с их могуществом. Этот блестящий, поэтический народ исчез с лица земли^{151}, не оставив по себе почти никакого следа, кроме немногих памятников и кой-каких отрывков. Дикий, безумный фанатизм духовенства испанского хотел истребить даже самую память об этом народе, разжигая против него и политическую, и религиозную ненависть. Можно ли поверить теперь, что после взятия Гранады католическими королями в 1492 г. духовенство испанское сожгло с величайшею торжественностию груды книг, принесенных сюда со всех сторон Испании на этот бедственный праздник; современные историки считают

число томов, погибших в этот день в огне, до миллиона. Достаточно было, чтоб рукопись заключала в себе арабские буквы: проклятое имя Корана, которое давали без всякого разбора, тотчас же осуждало ее на сожжение.

Читая историю арабов, и особенно историю их покорения и изгнания из Испании, нельзя без глубокой скорби видеть, как умный, исполненный терпимости народ, в высшей степени промышленный, многосторонняя образованность которого начинала уже изменять строгую и сухую догму исламизма, побеждается и изгоняется варварскими, фанатическими испанцами; как обработанная, богатая, населенная страна предается в жертву инквизиции и становится пустынею. А с другой стороны, если подумать, что это блестящее арабское племя, за 1000 лет до нас совершившее столько доблестных подвигов, возвысившееся до такой образованности и оставившее по себе столь изящные памятники, теперь погружено в такое глубокое варварство, — то, право, трудно не усомниться в этом так называемом бесконечном совершенствовании, особенно когда еще видишь, что

на месте исчезнувшей цивилизации властвуют дикость, невежество и изуверство!

Но обратимся к старым арабам.

Новая религия принесла с собой особый род богопочитания, а оно создало новую форму искусства. Но тогда арабы, как и германцы, нахлынувшие на Римскую империю, не имели никакой самостоятельной образованности и, следовательно, невольно должны были взять в образец те формы искусства, которые нашли в завоеванных ими странах. То были большею частью здания времен упадка римского зодчества, и притом еще в том искаженном виде, какой придало им древнехристианское искусство. Должно заметить, что их-то преимущественно исламизм и должен был взять себе в образец: он, так же как и христианство, был врагом языческого богослужения. К этому присоединился еще и собственно восточный художественный элемент. Даже на римских постройках в Азии и Африке лежал всегда более или менее ощутительный восточный колорит, и весьма естественно, что этот восточный элемент еще более развился у арабов в завоеваниях, при со-

прикосновении их с старыми образованными народами Азии. А так как потом арабы начали уже развиваться самостоятельно, то из всех этих разнородных элементов наконец образовалось то, что теперь обыкновенно зовется мавританским стилем.

По своему источнику искусство магометанское находится в близкой связи с древнехристианским искусством. Но вместе с тем оно отличается от него в одном, и это одно так важно, что через него именно задушено было в самом зерне своем все дальнейшее совершенствование мусульманского искусства. Магомет до такой степени боялся, чтоб арабы не воротились к своему прежнему идолопоклонству, что непременно догматом Корана запретил правоверным представлять в живописи и ваянии людей и животных. Вот причина, почему эти оба искусства были совершенно пренебрежены арабами. Их искусство самое любимое, самое задушевное была поэзия. Из представительных же искусств оставалась им одна архитектура; в ней одной принуждена была в внешних формах разыгрываться пламенная фантазия их. Но архитекту-

ра неразрывно связана с религиозными идеями. Религиозные же идеи арабов кружились около: «нет бога кроме бога, и Магомет пророк его; бог един, бог всемогущ, накажет злых, наградит добрых». При таком одинаком догмате негде было разыгрываться религиозному воображению; при этом ни мифов, ни религиозных преданий — одно голое, сухое единство. Вот отчего архитектурные памятники арабов далеко не соответствуют их образованности. Архитектура их имеет характер однообразный и совершенно чужда развития, какое мы видим в архитектурах древних и новых народов, которых религиозные понятия по разнообразию своему и многосторонности непременно должны были принять мифологическую форму и с нею поэтическое содержание, а следовательно, и развитие.

Итак, тогда как христианство давало созданиям своих художников новое, разнообразное и глубокое содержание^{152}, исламизм видел в этих созданиях одно только преступное подражание божественной творческой силе. И народу, одаренному самою пламенной фантазией, магометанство навсегда закрыло выс-

шую сферу искусства, ту, где художник свободно воплощает индивидуальную мысль свою! На месте образного представления, которое в религиях и искусствах всех народов дает такое характеристическое значение памятникам^{153}, у арабов выступает самый отвлеченный из всех символов, самое противоположное художественное средство — писание, Коран. Впрочем, навсегда оставшись при одних формах древнехристианского зодчества, арабская архитектура запечатлела их своим особенным характером. Я имею здесь в виду высшее выражение мусульманской архитектуры — ее религиозные памятники, мечети. В них особенно заметны два стиля: один принадлежит древнехристианской базилике, другой более приближается к стилю византийскому. Памятники первого находятся в Европе, второй, сделавшийся потом общим мусульманским, принадлежит Востоку. Но этим первообразам своей архитектуры арабская фантазия следовала не рабски, она преобразила их по-своему, примешав еще к ним некоторые формы архитектуры индейской^{154}. Всего более оригинальность арабской фантазии выра-

зились в украшениях, в подробностях, где надобно было избегать всяких определенных форм и образов, находящихся в природе. То была задача, достойная арабской фантазии, и она чудно разрешила ее, создав свои бесконечно клубящиеся и перевивающиеся вереницы линий и фигур, известных теперь под названием арабесков.

Мечеть в Кордове принадлежит к самым древнейшим постройкам арабов: она начата была в конце восьмого века, вскоре после завоевания Кордовы. Первым делом арабов при завоевании всякого города было тотчас же построить мечеть и завести школу. В противоположность всем народам, арабы как в своих колоссальных памятниках, так и в простых домах не только пренебрегали наружностью, но словно с намерением делали ее как можно проще, как можно обыкновеннее, сосредоточивая всю роскошь украшений на одну внутренность здания. Так, наружность мечети (она до сих пор удержала свое название *mezquita*) нисколько не приготовляет к тому поразительному впечатлению, которое испытываешь, войдя в нее. Вдруг вступаешь в лес

мраморных колонн, глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в сумрачной дали; редкие, маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления. Верх этого огромнейшего храма состоит из полукруглых (подковою) арк (прорезанных такой же формы маленькими арками), опирающихся на колонны из белого, желтого, зеленого мрамора, яшмы, порфира. Самым любимым украшением испанских мавров была эта арка подковою; они расточали ее всюду. Спокойная и мягкая форма полукруга, употребляемая античным и древнехристианским искусством, словно не удовлетворяла их: тревожный дух восточных племен требовал формы, которая представляла бы глазам живую игру силы; и действительно, в арабской арке есть что-то кокетливое, смелое, игривое. Не стану говорить о прежних украшениях мечети; довольно сказать, что и теперь еще, несмотря на христианскую переделку середины ее, здесь осталось более 900 колонн! При арабах храм днем и ночью освещался висячими лампадами; их бы-

ДО нескoлькo тьсяч.
Мечеть в Кордове.



В. П. Боткин.
Фотография 1860-х годов.



Словно ходишь по густому лесу колонн, разросшихся в бесчисленные, переплетающиеся своды. Они не очень высоки, но чрезвычайно легки, изящны и без пьедесталей — кажется, словно растут из земли. Колонны большей частью взяты из античных зданий, частью сделаны по их образцу, но с примесью арабской фантазии. Над ними и под навесом главных арк находятся еще небольшие четырехугольные колонки, соединенные между собою полукруглыми маленькими дугами, и сверх всего — плоская дубовая крыша, некогда украшенная роскошными резными, золочеными арабесками. До 1528 года мечеть оставалась нетронутою, хотя и обращенною в церковь, но тогда духовенство Кордовы, несмотря на сопротивление городского совета, выпросило у Карла V позволение проделать окно, и вместо окна сделало в самой середине мечети огромный придел, по величине своей настоящий храм в готическом стиле. Умный Карл V, узнавши об этом, очень жалел, что не сохранили вполне такого колоссального и единственного в Испании памят-

ника арабского религиозного зодчества. Христианская пристройка удивительно грандиозна: испанский готизм отличается от германского своими великолепными, широкими формами, торжественностью и ясностью, но переход из этого высоко и светло вскинутаго свода в низкие, рассыпающиеся и уходящие в сумрачную даль своды мечети производит неприятное впечатление. Везде в другом месте эта пристройка составила бы превосходный собор (особенно замечательны тут деревянные резные хоры испанского художника Pedro Duque Cornejo, над которыми трудился он десять лет, — работа истинно мастерская), но здесь она нарушает только впечатление зодчества восточного. Кроме этого, маленькие приделы обезображивают невыразимую простоту арабского храма, в котором все дышало единством бога и отвращением к идолопоклонству. К счастью, остались возле алтарей некоторые следы богослужения мечети: три или четыре фонтана, служившие для омовения, и *mirhab*, часовня созерцания, — довольно большая ниша, означавшая во всех мечетях ту сторону, где находится Мекка; сю-

да должны были обращаться правоверные в своих молитвах. Надобно видеть, с какою изящною роскошью украсила ее арабская фантазия! Вся она из самого чистого белого мрамора с маленькими колонками, окруженными мозаикою из цветных кристаллов; всюду разбросаны изречения Корана; буквы из золоченых кристаллов, и около всего этого вьются самые роскошные, самые капризные арабески.

Почти в одно время с мечетью, за пять миль от Кордовы, на берегу Гвадалквивира выстроен был арабами дворец. По сказаниям арабских историков, это было здание великолепия удивительного, с 4300 колоннами. Теперь от него не осталось ни малейшего следа. Да и сама Кордова при мавританском владычестве имела 200 000 домов, 90 000 дворцов и 900 бань; 12 000 деревень служили ей предметями. Теперь в Кордове едва ли есть 30 000 жителей, город в самом жалком виде. К невежеству и фанатизму испанцев присоединилось еще и землетрясение, которое в 1589 году разрушило бóльшую часть города.

Гостиница, в которой стою я, есть вместе и

кофейная; хозяин — француз, оставшийся в Испании после 1823 г.^{155} Ее мавританский, с тонкими, изящными колоннами двор (patio), густо покрытый виноградом с огромными темными кистями, дает днем самую отрадную прохладу, которую еще увеличивает бьющий посреди фонтан, обсаженный кринумом^{156}; по вечерам эти великолепные цветы имеют запах упоительный, страшно раздражающий нервы и воображение... Днем patio обыкновенно пуст, вечером наполняется женщинами и мужчинами, приходящими освежаться апельсиновым, слегка замороженным соком (naranjada). Я, по обыкновению, где можно, завтракаю и обедаю почти одними плодами; теперь время разного рода фиг, дынь, гранатов, винограда, но... увы! здешние плоды так сладки, что нет возможности их есть, и я тоскую по арагонским персикам. Жители Кордовы теперь заняты на днях расстрелянным здесь атаманом разбойников, и я по этому случаю наслышался много подробностей о разбойниках испанских. Но об этом классическом предмете надобно говорить обстоятельно. Сегодня вечером должен проехать здесь

дилижанс, в котором я авось найду место до Севильи. Вот уже неделя, как живу в этой унылой Кордове^{157}, и если б не это длинное письмо к вам^{158}, я давно бы смертельно соскучился. Зато вы потерпите за меня.

Посылаю к вам его из Севильи, куда приехал вчера и застал великолепнейшую *corrida de toros* (бег быков); семь быков и 22 лошади остались на месте; но эта *corrida* так поразила и взволновала меня, что я решительно не в состоянии теперь писать. До следующего письма.

Севилья. Июнь.

Находясь в самом сердце Андалузии, могу, наконец, положительно сказать: красота испанской природы, о которой столько наговорили нам поэты, есть не более как предрассудок. Я разумею здесь красоту природы в том смысле, как представляют ее себе видевшие Италию. Правда, на юге Испании растительность так величава и могущественна, что перед ней растительность самой Сицилии кажется северною, но это только редкими местами; африканское солнце, так сказать, насквозь прожигает эту землю; в Алмерии^{159},

например, уже три года как не было дождя, и жители южных берегов Испании беспрестанно переселяются во французские владения Африки⁽¹⁶⁰⁾. Здесь часто случается, что на три мили в окружности невозможно найти воды. Не думайте, однако ж, чтоб эта пламенная природа не имела своей особенной, только ей одной свойственной красоты. Она здесь не разлита всюду, как в Италии; в ней нет мягких, ласкающих итальянских форм: здесь она или уныла и дика, или поражает своею тропическою, величавою роскошью. По дороге из Кордовы в Севилью, например, возле иного cortijo[30] нет ничего, кроме одинокого апельсинного дерева; но надобно видеть, что это за могучий ствол и как широко раскинулось оно своими густыми ветвями; апельсиновые деревья Сицилии покажутся перед ним не более как отростками. Здесь каждую минуту чувствуешь, что имеешь под ногами огненную землю, не любящую золотой середины, на которой или корчится от зноя всякое растение, или там, где влаге удастся охладить жгучие лучи солнца, растительность вырывается на воздух, с такою полнотою красоты и силы, с

такую роскошью, что здесь, особенно в горах, эти чудные оазисы среди каменистых пустынь производят совершенно особенное, электрическое впечатление, о котором не может дать понятия кроткая и ровная красота Италии. Здесь и пустыня (*despoblado*), и голые, рдеющие на солнце скалы, и растительность дышат какою-то сосредоточенной, пламенной энергией.

По дороге из Кордовы сюда все напоминало мне, что я нахожусь на другой почве, между другим народом. Несмотря что летнее солнце жгло здесь уже четыре месяца, местами могучая растительность сохранила еще свою густую, темную зелень. В 4 часа дилижанс наш остановился обедать в Эсихе, и так как в дорогу мы должны были отправиться поздно вечером, то я тотчас же после обеда пошел бродить по городу и нечаянно вышел на площадь. Мавританский элемент не только оставил глубокие следы в Андалузии: он сросся здесь со всем, его чувствуешь и в народных напевах фанданго, и в языке, и в обычаях, и в привычках. Одежда, дома, улица, физиономия — все носит на себе мавританский

тип. Площадь этого городка окружена домами в арабско-испанском вкусе, ярко расписанными. День был воскресный^{161}, и площадь была полна народу в праздничных платьях. Разноцветные андалузские куртки с пестрыми арабесками, короткие, в обтяжку триконовые штаны, синие, зеленые, коричневые, с шелковыми кистями, падающими на белые чулки à jour, цветные башмаки, пестрый, шелковый платок на шее, повязанный в один раз, с концами, продетыми в кольцо, низенькая, набекрень шляпа, — весь народ состоял из щеголей. В этом ловко, в обтяжку сидящем платье андалузцы сохраняют всю свободу, всю непринужденную грацию движений. Начинало уже темнеть; я зашел в первую попавшуюся кофейную освежиться от удушливого жара (Эсиха считается самым жарким местом Андалузии)^{162} и нашел там своих дорожных товарищей испанцев; они пригласили меня сесть с ними. Часа полтора незаметно прошло в разговорах; несколько стаканов слегка замороженного апельсинового сока (naranjada) совершенно освежили меня; время было отправляться к дилижансу. Я отдаю

слуге деньги; «está pagado, caballero» (заплачено), — отвечает он. Я взглянул на моих трех товарищей, никто из них не подавал виду, что заплатил за меня, даже некого было мне поблагодарить за эту приветливость. Это один из множества случаев, которые встречаются здесь со мной беспрестанно, и как, по видимому, ни ничтожны они, но могут встречаться в одной только Испании. Простите, если я надоедаю моими мелкими заметками и повторениями: в стране, нравы и обычаи которой так резко разнятся от общеевропейских, всякая мелочь невольно как-то становится предметом особенного внимания.

Я писал уже, что в самый день моего приезда застал я здесь великолепный бег быков — *corrida de toros* (испанцы не называют боем, а бегом быков). «Как кстати вы приехали: сегодня день быков!» (*día de toros* — так называется день, в который дается бег)^{163}. Этими словами встретил меня хозяин гостиницы, в которой остановился я. «Надобно заранее взять место, после не достанешь; ваша милость охотник (*aficionado*)?». — «Я никогда еще не видал». «Прекрасно! Нигде в Испании

нет таких бегов, как в Севилье; сегодня *шпагой* будет Чикланеро, ученик славного Монте-са». — Наскоро пообедав, отправились мы в цирк. Дорогой встретил я моих дорожных товарищей севильян — и едва узнал их: в дилижансе они были в сюртуках, а теперь в щегольских андалузских костюмах.

Наконец увидел я эти знаменитые корриды! Две корриды в течение двух недель — это было слишком для моих неопытных нервов! С усилием беру перо, чтоб рассказать о моих впечатлениях.

Ничто не может дать такого полного понятия о наслаждениях, страстях, характере и физиономии испанского народа, как *corrida de toros*, самое высшее, самое любимое из его удовольствий. Никакая заманчивая афиша, никакая новая пьеса не возбудят в народе такого живого любопытства, как это простое и всегда однообразное объявление о беге быков; извозчик, *cigarrera*[31], водонос пообедают куском хлеба с чесноком или даже вовсе не будут обедать, но уж ни за что не пропустят бега. За четыре дни красные афиши извещают об имеющем быть *corso de toros*[32]; тут

же подробно объявляется, сколько быков будут поодиночке выпущены в цирк, с означением, с какого каждый пастбища и кому принадлежит; затем следуют имена picadores (сражающихся на лошади с копьями) и matadores (убивающих быка шпагами), участвующих в бое.

Plaza de toros[33] находится за городом: это большой цирк, выстроенный амфитеатром и окруженный ступенями, без крыши, вследствие чего места в тени дороже мест на солнце; для высшего общества назначена верхняя галерея: это самые дорогие места. Деревянный барьер, укрепленный толстыми столбами, отделяет от поля сражения пространство шага в два ширины: здесь убежище toreros — общее название каждого участвующего в цирке в бое с быком. Когда бык сильно теснит или настигает их, они, поставя ногу на уступ, сделанный в заборе, прыгают через него с удивительною быстротою и ловкостью.

Больше десяти тысяч зрителей занимают ступени и галерею амфитеатра, и, смотря на все эти оживленные лица, на страстность движений, разговоров, физиономий, вам бы

трудно было узнать здесь тех испанцев, которых вы считаете таким важным и серьезным народом. Никакой театр в мире не может дать малейшего понятия о том страстном ожидании, об этом тревожном одушевлении, каких исполнена публика перед начатием бега; да и дело здесь, правда, идет не о Рубини^{164}, не о Гризи^{165} или Фредерике Леметре^{166}, а о Севилье-Пикадоре^{167}, о Чикланеро^{168}, la primera espada de España (первая шпага Испании)^{169}, после знаменитого Монтеса^{170}, а наконец и сами дикие быки: это тоже трагедии очень почтенные! Доктор и хирург прибыли, священник с дарами занял место в кулисах театра, пикадоры уже на лошадях в арене; коррехидор (начальник города) подал знак из своей ложи, труба заиграла, ворота барьера отворились.

Бык, выходя из своего темного стойла, ослеплен светом, оглушен криками толпы; бодро выбегает он на арену, с любопытством поднимает голову, осматривается. Он пошел в сторону — это плохой бык: хороший бык должен тотчас же броситься на пикадора. Бык снова останавливается, с удивлением

смотрит вокруг, понурил голову и стал взмывать песок передними ногами. По всему видно, что он не хочет биться; надобно будет раздражить его. Chulos[34] подбегают, размахивая своими кáпами[35]; пикадор подъезжает, становится перед ним: бык должен биться.

Пикадор сидит на скверной лошади, глаза у ней завязаны. Он вооружен копьем, которого острие, длиной с булавку, может только уколоть, но не ранить быка; одежда его состоит из широких замшевых панталон, подбитых железом и деревом, которые защищают ноги от ударов рогов; от этого пешком он едва может передвигать ноги, и когда бывает опрокинут вместе с лошадыю, то не в силах подняться без пособия chulos; на нем андалузская куртка и серая с большими полями шляпа. Седла у них высокие, турецкой формы, стремена железные, на манер высоких галош; только с помощью длинных и острых шпор управляют они своими бедными клячами. Пикадор становится всегда так, чтоб иметь быка с правой стороны: когда бык бросается на лошадь и нагибает голову для удара, пикадор должен остановить этот взмах упором ко-

пья непременно в затылок и в ту же минуту отъехать влево. Если лошадь легка и поворотлива, а пикадор силен и искусен, то удар минует лошадь, но это случается очень редко. Если же пикадор не умел хорошо стать, если удар копыя сделан неловко и неметко — горе ездоку, а главное — горе лошади! Бык поднимает ее на рога и опрокидывает вместе с ездоком. Но в это мгновение chulos окружают их: одни поднимают пикадора, другие, махая красными кáпами перед глазами быка, стараются отвлечь его внимание от пикадора: глупое животное бросается на них, chulos мгновенно рассыпаются в стороны. Но раз, назад тому несколько лет, с знаменитым пикадором Хуаном Севилья⁽¹⁷¹⁾ случилось следующее: выпущенный в арену бык был превосходной андалузской породы, силы и легкости невероятной. Грозно выбежавши на арену, он тотчас же напал на пикадора, нанес лошади страшный удар рогами и опрокинул ее вместе с седоком. Chulos по обыкновению бросились отвлекать его в сторону; но бык, против обыкновения, не обращая на них внимания, устремился на пикадора, с дикою яростью на-

чал его топтать, бодать рогами в ноги; и вдруг заметя, что удары его только скользили по ним, он перескакивает на другую сторону и наклоняет голову: удар рога приходился пикадору прямо в грудь. Хуан Севилья, мгновенно приподнявшись с отчаянным усилием, одною рукою схватывает быка за ухо, а другою запускает пальцы свои в ноздри быку и в то же время прижимает свою голову к голове бешеного животного... Напрасно бык его тряс, топтал ногами, бил об землю: никакими усилиями не мог он освободиться от пикадора и наконец, побежденный человеком в этой страшной борьбе, обратился на chulos. Севилья отпустил его; все думали, что его подымут за мертво; но только что поставили его на ноги, как взбешенный Севилья выхватывает у одного chulos капу и, едва переступая ногами, от тяжести своих подбитых железом панталон, хочет снова привлечь к себе быка. Насильно вырвали у него капу. Ему подвели лошадь; дрожа от гнева, бросается он с копьём своим на быка, среди цирка, не рассчитывая своего положения. Сшибка двух противников была ужасна, и бык и лошадь пали на коле-

Согласитесь, что здесь слава не приобретает даром.

Обыкновенно в цирке два пикадора; два и три других ждут за барьером, чтоб заменить их в случае смерти, раны или сильного ушиба. Двенадцать *chulos* рассыпаны на арене; они все пешком и должны беспрестанно помогать друг другу. Одни из них, как я сказал, отвлекают быка, другие поднимают пикадора и раненую лошадь: рога быка целиком проткнули ей живот... Вы думаете, что она не двинется уже с места! — Напротив: что нужно, что бедное животное ранено насмерть, что кровь льется из двух его зияющих ран, что внутренности его висят и влачатся по земле, что его ноги путаются в них, — ничего: пока лошадь может держаться на ногах, она годится еще для одного удара. Если лошадь подняться не в состоянии, пикадор выходит с арены и тотчас же въезжает на нее на свежей лошади.

Андалузские быки знамениты своею дикою яростию: они невысоки, с ногами очень тонкими и так легки, что догоняют лошадь на

бегу и иногда перепрыгивают через трехаршинный барьер; шерсть у них гладкая и лоснящаяся, рога длинные и заостренные. Если бык хорош — на языке цирка это значит не трус, то один оставляет на месте пять и шесть лошадей и как мячи катает пикадоров по земле. Тогда-то раздаются страстные рукоплескания: «Bravo, bravo, togo!»[36] — кричат со всех сторон. Но не умер ли пикадор? Не ушибся ли, не ранен ли? Э! об этом никто не заботится: это дело священника и хирурга. Правда, что это не часто случается, да главное в том, что об этом никто не думает. Но как хорош, как красив бык, когда, опрокинув трех, четырех пикадоров, он один гордо бегаёт по завоеванной им арене! Chulos не смеют более раздражать его; его бешеные, налившись кровью глаза исполнены дикого торжества; арена пуста, на ней лежат только трупы убитых им лошадей; в ярости он снова поднимает их на окровавленные рога свои, взбрасывает, раздирает...

Подают знак бандерильерам.

Ловкие, быстрые, увертливые, одетые великолепно, на манер Фигаро в «Севильском

цирюльнике»: шелковые чулки, башмаки, атласная с шитьем куртка и штаны, — бандерильеры (banderilleros) выбегают на арену, держа в руках две коротенькие палочки, или, точнее, стрелки с загнутым острием, обернутые цветной разрезанной бумагой. Бандерильеро прямо бежит к быку, который, удивленный такою дерзостью, вскачь бросается на него. Уж бык держит его почти между рогами, но в ту самую минуту, когда он наклоняет голову, чтоб поднять его на рога, бандерильеро втыкает ему две свои стрелки, по обеим сторонам шеи, быстрым, мгновенным, невероятно увертливым движением корпуса уклоняется от удара и убегает. Заметьте, что он не может воткнуть свои стрелки иначе, как ставши совершенно близко и прямо перед быком, почти между рогами его. Какое-нибудь развлечение, малейшая нерешимость, сомнение тотчас могут погубить его. За одним бандерильеро, при мне, бык бросился в погоню; уж бандерильеро поднимал одну ногу на барьер, как бык настиг его и взбросил на воздух... бандерильеро встал невредим, только атласная куртка на левом боку была разорвана: он

попал между рогами. Если бандерильеро, втыкая стрелки, по несчастью упал, то должен лежать без движения. Бык редко бьет лежащего, не из великодушия, а потому, что, нанося удар, он большею частию закрывает глаза и, таким образом, пройдет по человеку, не заметя его. Но иногда он останавливается, начинает его обнюхивать, точно ли он мертв, и потом, отойдя несколько, наклоняет голову, чтоб поднять его на рога. Но *chulos* и товарищи бандерильеро тотчас же отвлекают его в сторону.

Надобно видеть быка, который, чувствуя в себе боль от воткнутых крючков стрелок, носится с ними по арене, трясет их, прыгает, яростно мычит; тут прибегает другой бандерильеро и втыкает ему две другие стрелки, потом третий, четвертый. Если же бык не из храбрых, если он не тотчас же нападает на пикадоров, а более отходит от них в сторону, — *fuego, fuego!* (огня, огня!) — раздается со всех сторон, — надобно раздражить быка огнем. Тогда бандерильеры втыкают ему стрелки, обвитые фейерверком с фитилем из тлеющего трута. Фейерверк загорается, трещит,

хлопает, жжет шею быка — и что за прыжки, что за удивительные скачки тогда делает бык и что за безумный хохот овладевает зрителями!

Наконец ярость животного достигла высшей степени, и теперь только должна начаться настоящая битва, битва один на один: звук трубы вызывает матадора. Бешеное животное мечется по арене, chulos и banderilleros скрылись, арена пуста. Тогда входит на нее матадор в самом великолепном андалузском костюме, красный плащ небрежно накинут на левое плечо, в правой руке держит он короткую шпагу, в левой красное покрывало (muleta). Он идет с важностью, каждый шаг его обдуман и рассчитан. Он шпагой отдает честь коррехидору, городовому правлению и останавливается.

Тут наступает минута торжественная. Бык, задыхаясь от бешенства, завидя матадора, бежит на него — и, словно почуя страшного врага, вдруг останавливается, наблюдает его, рассчитывает свой удар. Чикланеро молод, прекрасен, одет в атлас, бархат и золото, гибок, сложен удивительно. Он сбрасывает с плеча

красный плащ; каждое движение его исполнено решительности и хладнокровия. Подумайте об игре, которую играет этот человек, подумайте, что редкий матадор умирает в постели, а почти все оканчивают жизнь свою на поле битвы! И от чего зависит его жизнь? От одного неверного шага, от одного чуть-чуть уклончивого движения быка, от малейшего камешка, который покатится у него под ногами. Ошибка в расчете на один шаг — и его ждет неизбежная смерть; он сделает два круга по арене — на рогах у быка, как это случилось с Ромеро^{173}, в свое время «первой шпагой Испании». Удалясь на старости лет на родину, честно жил он плодами своих прежних подвигов, как, не знаю, по случаю какого-то торжества, Мария Луиза^{174}, жена Карла IV и мать покойного короля, желая придать этому торжеству больше блеска, непременно захотела, чтоб Ромеро участвовал в «беге быков», назначенном по этому случаю. Ромеро отказался: «Я уж состарился, — говорил он, — бог сохранил меня от стольких опасностей, не должно искушать милосердие божие». Но тут замешался каприз женщины и королевы, на-

добно было сделать по ее желанию, и глава матадоров погиб жертвою своей стоворчивости. Неизвестно, что именно, какой неожиданный случай обманул его опытность и обычную ловкость: бык уловил его, поднял на рога и, словно зная, какого врага победил он, бешено помчался с ним по арене.

Но в корридах есть свои законы, как в дуэли; нарушить их так же постыдно, как постыдно изменнически убить своего противника; например, матадор должен наносить быку удар не иначе, как в то место, где оканчивается шея и начинается спинной хребет. Удар должен быть сверху вниз. В тысячу раз почетнее для матадора умереть, нежели нанести удар снизу, сбоку или сзади. Шпага матадора не длинна, но широка, толста и остра с обеих сторон; рукоять ее очень мала, для того чтоб при ударе можно было упирать ее в ладонь. Но чтоб убить быка, матадор должен сперва узнать в подробности его характер. От этого знания зависят не только слава и мастерство, но самая жизнь матадора. Каждый бык имеет свой особенный характер, который необходимо узнать. Быки вообще разделя-

ются на прямых, простых, ясных (*francos, sencillos, claros*), на раздражительных (*de sentido*) и хищных (*abantos*); на тех, которые легко поддаются обману мулеты (кусоч красной ткани на дереве, которую держит матадор в левой руке), и на таких, которые, напротив, не упускают из виду движений человека. Есть быки коварные (*sobardes*), которые наносят удары неожиданные, не подавая о них прежде ни малейшего вида. Кроме этого, бывают быки, которые хорошо видят вблизи и дурно вдали, и наоборот; наконец, такие, которые хорошо видят одним глазом и дурно другим, и проч. Все эти особенности каждого быка должен всякий *torego*, а тем более матадор, изучить тут же на месте, в арене, потому что первое и необходимое условие бега, чтоб быки никогда прежде не были в цирке, даже для шутки, как это случается на деревенских праздниках с молодыми быками (*novillos*), о чем я уже говорил. Такого рода опытный бык делается очень опасным.

Нельзя представить себе ничего увлекательнее этого страшно волнующего зрелища, когда матадор и бык приближаются друг к

другу; каждый наблюдает за своим противником. Беспреданно меняют они свои маневры, словно отгадывая взаимные намерения. Иногда бык не тотчас устремляется на матадора, а подходит медленно, чтоб взять себе больше пространства и напасть на своего противника только тогда, когда он будет к нему так близко, что не может уклониться от натиска. Словно по какому-то предчувствию, бык не вдруг бросается на матадора: или, может быть, это спокойное, грозное по своему хладнокровию ожидание его удара внушает быку некоторую робость. Почти всегда он останавливается перед матадором и всматривается в него; с видом угрозы трясет головою, скребет копытом землю и не хочет двинуться вперед; иногда начинает медленно отступать, стараясь привлечь матадора на середину цирка, где он не в состоянии от него уйти. Иной бык, вместо того чтоб, по обыкновению, нападать прямо, подходит сбоку медленно, прикидываясь усталым, и, рассчитав удобное для удара расстояние, вдруг, мгновенно бросается на матадора. Но это исключение; большею частью бык останавливается прямо перед ним.

Оба стоят как вкопанные; каждый следит за движениями своего противника. Малейшее движение головою, ухом, взгляд в сторону — все это для опытного и искусного матадора верные признаки намерений его врага. Матадор взмахивает мулетой и опускает ее, закрывая ею от быка свои ноги. Это движение раздражило быка, он бросается на матадора: сила взмаха такова, что удар, кажется, разбил бы целую стену... легким, почти незаметным движением тела уклонился матадор от удара, подставив ему свою мулету и подняв ее над рогами бешеного животного.

Но матадор только еще изучает своего врага; несколько раз повторяет он эти так называемые *pases de muleta* и, уже вполне узнавши быка, располагает нанести ему смертельный удар. Он становится прямо против него и ждет. Эти минуты надобно видеть, надобно испытать их: восклицания, остроты умолкают; десять тысяч зрителей словно каменеют; ни один вздох не прерывает мертвой, томительной тишины. В эти минуты юное, прекрасное лицо Чикланеро покрывалось матовою бледностью, из которой ярко

сверкали его большие черные глаза, ноздри расширялись. Бык делает шаг вперед и снова останавливается; они так близко друг к другу, что матадор уже прицеливается шпагою... еще секунда — и бык бросается... но в то самое мгновение, как бык делает головой размах, чтоб поднять матадора на рога, он, чрез его наклоненную голову, вонзает ему всю шпагу в то место, где оканчивается шея и начинается хребет... бык вдруг прерывает свой взмах, несколько капель крови брызнули ему на шею, ноги его дрожат, подгибаются, бык падает без движения. Надобно видеть, что за минута бешеного восторга следует за томительными, невыносимо тяжкими минутами битвы! Слово каждый избавился от давившего его кошмара; дикий, необузданный энтузиазм овладевает зрителями, как будто каждый празднует свое избавление от смертной опасности. Что перед этим восторгом все возможные восторги театральной публики! Никогда никакой актер в мире не получал себе такой награды. С лицом, на котором медленно исчезает бледность, обходит матадор цирк, приветствуемый зрителями. К нему ле-

тят шляпы, его встречают восторженные рукоплескания: «bravo, bravo, Chiclanero!» Понятно, что для таких минут обожания рискуют жизнью.

Но отличный удар случается не всегда: на двенадцати убитых быках я видел его только четыре раза. Если удар верен, то есть, если лезвие, пройдя между шеей и хребтом, достало до сердца, бык тотчас падает, словно пораженный молнией; но чаще всего матадор принужден раза два, иногда три, повторять свой удар. Может быть, в энтузиазме зрителей за отличный удар участвует и благодарность за избавление их от неприятного зрелища смертных страданий быка; чрезвычайно тяжело видеть, как сильно раненный бык начинает шататься по арене, пренебрегая *капами* *chulos*, жалобно мычит, захлебываясь своею кровью, ищет места умереть, сгибает передние ноги, ложится, протягивает голову и умирает; если же смертные судороги продолжаются, к нему сзади подкрадывается *sachetero* и дает удар кинжала в затылок, чтоб покончить его страдания. Замечательно, что у быка всегда есть любимое место в аре-

не — это то, на котором он остановился тотчас по выходе из стойла в арену. Иногда с трудом можно заставить его с него сойти. Большею частью он идет умирать на это место или ложится возле убитой им лошади. После этого отворяются одни из ворот барьера, выезжает пара роскошно убранных мулов, вывозят постепенно трупы убитых лошадей и быка; на кровавые следы посыпают песку и впускают нового быка; так продолжается до шести и даже до восьми быков. Это называется полубегом (*media corrida*)⁽¹⁷⁵⁾; в прежнее время полная коррида состояла из 16 быков.

Я не в состоянии описать того мучительно-го, невыносимого волнения, которое овладело мною при бое матадора с первым быком; при втором, третьем, четвертом оно все усиливалось. Бой каждого быка не есть одно только повторение предыдущего: я уж сказал, что каждый бык имеет свои особенности, свой характер, и потому бой с каждым представляет свои случайности, свои неожиданности, каждый бой есть отдельная, новая драма. А этот красивый, великолепный юноша с своего маленькою шпагою против животного, разъ-

яренного до бешенства, — юноша, которого жизнь зависит от малейшей неверности руки, потому что во время удара один рог быка проходит у него под мышкою и раз даже вырвал у него платок, выставившийся из кармана на груди... волнение мое сделалось невыносимым, но я не в силах был отвести свои глаза от цирка, в голове у меня мутилось, я готов был упасть в обморок и не мог дожидаться смерти пятого быка. Когда я вышел из цирка, солнце закатывалось, в воздухе разливался чудный золотистый пар, вечерний прохладный ветерок напоен был запахом апельсиновых деревьев.

При втором беге я был уже несколько покойнее и хотя в страшном волнении, но мог досмотреть его до конца. После него выпущен был в цирк молодой бык (*novillo*) для забавы зрителей: толпы бросились в арену. На рогах у быка надеты были деревянные шары, обтянутые кожей, чтоб удары его не могли быть смертельны. Боже мой! Всякий наперерыв старался раздражить быка плащами, поясами, шляпой; сколько плащей разлетелось в куски, сколько в этой свалке истоптал бык

народу! Несколько человек вынесены были без чувств. Но зато и сколько смеху, остроумия, радостного хохота...

Не думайте, впрочем, что достаточно только смелости и ловкости, чтоб избегать ударов раздраженного животного: для этого необходима особенная наука. Передо мною лежит книга знаменитого Франсеско Монтеса, теперь «первой шпаги Испании», под названием: «*Tauromaquia completa, o sea el arte de torear en plaza tanto a pie como a caballo*» («Полная тавромахия, или Искусство биться с быками в арене пешком и на коне»)^{176}. Я советую всякому путешествующему по Испании прочесть ее: бой с быками получит для него особенный интерес, именно интерес искусства. Книга начинается историческим обзором этой забавы в Испании и защитой ее от нападок иностранцев. Прежде бой с быками был исключительною забавою высшего дворянства, Даже сам Карл V убил копьем несколько быков на празднестве, бывшем в Вальядолиде, по случаю рождения его сына Филиппа II^{177}. Все прежние короли Испании были страстными любителями этой забавы, в

числе матадоров находятся имена первых испанских фамилий^{178}. Это была дворянская забава, в которую простой народ не мешался: он бывал только зрителем. Так продолжалось до восшествия на испанский престол Бурбонов. Филипп V терпеть не мог боя с быками; Карл III презирал людей, в нем участвующих, и, наконец, вовсе запретил эту забаву^{179}. Но в конце прошлого века она снова воскресла в прежнем блеске и перешла уже от дворянства к простому народу. Покойный Фердинанд VII до того был страстен к ней, что основал в Севилье королевскую школу тавромахии, в которой — говорит мой автор — преподавалась как теория, так и практика этого искусства самыми опытными профессорами (por los más experimentados profesores)^{180}. Теперь эта забава всеобщая, только гранды стыдятся выходить на арену, хотя в одной из севильских *corridas* нынешней весны и участвовал какой-то маркиз. Школа тавромахии и теперь еще существует здесь и каждое утро осаждена толпою любителей и зрителей.

«El torero, — говорит Монтес, — должен иметь от природы некоторые особенные ка-

чества, которые не очень часто встречаются соединенными в человеке. Условия, необходимые для того, суть: храбрость, легкость и совершенное знание своего дела. Два первые рождаются с человеком — последнее приобретает. Храбрость так необходима для того, что без нее он никогда им не будет. Не должно простираť эту храбрость до безрассудной отваги или тем более трусливо уклоняться от ударов быка: в обоих случаях может постигнуть несчастье и даже смерть. Если того, чтобы показать свою храбрость, станет делать что-нибудь с быком, тогда как бык не находится *в должном положении*, — покажет одно только безрассудство, незнание и случайно разве избегнет от удара рогов. Равным образом и тот, кто от робости упустит должную минуту представить быку капю (красную ткань) или не разочтет подхода быка, — как ни будет он легок на ноги, но подвергнется опасности получить удар рогов (*сogida*), потому что нужно *знание* для избежания этого удара. Этого рода крайностей надобно особенно стараться избегать. Под словом храбрость разумею я такую, которая поддерживает нас

перед быком в той душевной ясности и спокойствии, как бы его вовсе не было перед нами, — я понимаю то настоящее *хладнокровие*, которое позволяет в минуту опасности с достоверностью размышлять о том, что должно делать с животным. Тот, кто владеет такой храбростью, имеет самое важное качество *torego* и приобретет легко все другие. Он будет играть с быками без малейшей опасности. Легкость также в высшей степени необходима тому, кто хочет заниматься этим искусством (*torear*). Но легкость *torego* не в том, чтоб быть в беспрестанном движении, перебегать с места на место: это признаки дурного *torego*. Легкость, о которой говорю я, состоит в том, чтоб бегать скоро, прямо, с величайшею быстротою останавливаться и оборачиваться, изменять направление. *Torego* должен уметь прыгать; но всего лучше узнается его легкость в движениях, в уклонениях от удара рогов на самом близком расстоянии. Должно заметить касательно этого рода легкости, что владеющий ею *torego*, даже состарившись, может играть с быками, и между матадорами случались такие, которые, имея более 70 лет,

но обладая быстротою движения, убивали быков с легкостью невероятною».

Боясь наскучить дальнейшими выписками из книги Монтеса, я замечу только, что в этом искусстве все рассчитано, все предусмотрено: каждое положение быка, привычки, свойственные породе, законы его движений и мускулов. Монтес — рассказывал мне здесь один его близкий приятель^{181} — смолodu долго посещал бойни быков, для изучения анатомии этого животного, и беспрестанно водился с горными пастухами для узнания его характера. При знании движений быка — говорит Монтес — опасность делается ничтожною; правда, что на правильности движений быка рассчитано и все искусство *torero*, но иногда случаются быки, которые не подходят под эти общие правила, и тогда всякое такого рода исключение есть почти всегда — смерть человека. Недаром Монтес требует от *torero* хладнокровия. Находчивость и хладнокровие этих людей в самых крайних опасностях поразительны. Монтесу случалось иметь дело с быками, которые вместо *мулеты* бросались прямо на него, но никогда это

не было для него неожиданным, потому что все движения, которые намеревается делать животное, можно видеть в глазах его, но иногда эти движения были исполнены с такою быстротою, что Монтес едва успевал поставить ногу между наклоненными рогами быка и перепрыгнуть ему через голову в то самое мгновение, как бык хотел вскинуть его на рога. Часто думали зрители, что он делает это с намерением показать свою ловкость, но в действительности это было единственное средство для спасения своей жизни.

Немногие из *togeros* доживают до старости; если они не умирают в цирке, на рогах у быка, то по причине ран и сильных ушибов принуждены рано отказываться от своего ремесла. Знаменитый в свое время матадор Пепе-Ильо получил в жизнь свою 25 ударов рогов, 26-й покончил его^[182]. При такой опасности плата матадору и его кадрили[37] за бег, то есть за бой с шестью или семью быками, ничтожна: матадор получает 1000 реалов (250 р. асс.), пикадор 80 руб. асс., каждый бандерильеро по 50 руб. асс. Но в том-то и дело, что деньги всего меньше входят в расчет этих

людей. Матадор есть всегда матадор по страсти: Монтеc, например, не может присутствовать при бое с быками без того, чтоб не принять в нем участия; а потом — энтузиазм тысяч, рукоплескания, слава, — вот что заставляет их беспрестанно рисковать своей жизнью. Но в то же время цирк не прощает ничего ради этой славы, он бывает и мстителен, неумолим к своим героям. Малейший признак робости возбуждает свист, насмешки; самые грубые остроты сыплются со всех сторон на матадора; говорят даже, что если робкая медленность матадора возбуждает сильное негодование зрителей, то, по их требованию, алгвазил заставляет матадора, под опасением тюремного заключения, тотчас же напасть на быка. Сам Монтеc, слава и гордость Андалузии, был страшно освистан и обруган в Малаге, назад тому два года, за то, что убил быка не по *правилу*; этот бык при необыкновенной дикости, легкости и силе был самым *темным* и *коварным*. Монтеc нанес ему удар в голову, шпага коснулась мозга, и бык упал мгновенно, — удар, строго запрещенный законами тавромахии. Зрители знать не хотели, что

Монтес принужден был к этому удару самую крайнюю необходимостью; нет! свист и ругательство посыпались со всех сторон: мясник, убийца, разбойник, каторжник, палач! Самое горячее участие было к убитому быку и все презрение к Монтесу.

При этих страшно потрясающих зрелищах присутствуют не одни мужчины, но и женщины, даже дети; вероятно, вследствие привычки, зрелище крови, этот отвратительный вид раненных в живот лошадей, влачащих свои падающие внутренности, наконец, эта томящая душу опасность матадора, кажется, не производят ни малейшего впечатления на чувствительность испанок. На их прекрасных лицах видно одно только страстное внимание; мне рассказывали, что, когда один француз при виде смертельно раненной лошади не мог удержать жалобного восклицания, одна очень хорошенькая женщина, оборотясь, бросила на него презрительный взгляд, прибавив: «corazón de manteca» (сердце из сливочного масла)!

Вот *corso de toros*! Простите, если в описании моем не найдется ничего нового, ничего

драматического: бой с быками описан был столько раз, что все не видавшие его имеют о нем уже ясное понятие. Впечатление, произведенное им на меня, поразительно, необыкновенно. Верьте, ни один актер, никакая драма не могут дать и тени такого необычайного потрясения, которое здесь овладевает душою и давит своею кровавою действительностию. Я хотел было закрыть глаза, чтоб перевести дух, — невозможно: в этом зрелище есть что-то магнетическое, обаятельное, против воли приковывающее к себе глаза, и только тут можно понять рассказ блаженного Августина о страсти друга его, Алипа, к цирку римских гладиаторов. Алип, по советам Августина, давно перестал посещать эти зрелища, но раз товарищи насильно увлекли его. Алип не мог отклониться, но решился присутствовать в цирке с закрытыми глазами. «О если б он зажал себе уши! — говорит блаженный Августин, — потому что во время одного боя, потрясенный внезапным восклицанием всего народа, он, забывшись, открыл глаза: в эту минуту один из гладиаторов получал смертельную рану. Только что Алип увидел теку-

щую кровь, ненасытная жадность крови овладела им; он не в силах был уже снова закрыть своих глаз, устремив их в цирк, так сказать, медленно впивая в себя, сам не замечая того, бешенство и жестокость, наслаждаясь этими ужасными играми и опьяняясь этим кровавым сладострастием...»[38]

Вид самого цирка, эти тысячи голов, волнующихся, как море, эти страстные движения, эти крики, рукоплескания, свист — все это живо, одушевлено, величаво, напоминает об играх римского цирка. В самом деле, трудно предположить, чтобы мавры с своими рыцарственными, утонченными нравами могли завещать Испании эти дикие игры; скорее — это темное предание, оставшееся в Испании от римского цирка^[183]. Эта кровавая забава, в которой человек играет своею жизнью, это равнодушие толпы к гладиатору, которого она за минуту осыпала восторженными рукоплесканиями, этот энтузиазм толпы к бешеному животному и холодность к раненому человеку — разве это не римское, не языческое? А христианский священник, приходящий с дарами присутствовать при этих варварских

забавах, которые он, так сказать, освящает своим присутствием, — не свидетельствует ли это, как закон милосердия и любви бессилен еще над дикими инстинктами этого энергического и благородного племени, великолепного и кровожадного, изящного и еще столь глубоко варварского?

III

Quien no vió a Sevilla,

No vió maravilla.

(Кто не видал Севильи, не видал чуда).

Андалузская поговорка^{184}.

Севилья. Июль.

Я зажил в Севилье; но как иначе! Если в Испании сохранился еще город, в котором отражается вся прежняя романтическая Испания с своей гитарой, дуэньями, низкими балконами и ночными свиданиями у окон, то это, конечно, Севилья. Мне бы следовало говорить прежде всего о великом Мурильо, который жил и умер здесь, о дивном севильском соборе, о мавританском дворце, который, несмотря на переделку испанских королей,

сохраняет еще всю свою арабскую физиономию; но настоящая Севилья интересует меня теперь более всей прошлой Испании. Я уже говорил о Кордове: этот город до сих пор сохраняет весь свой восточный характер; в Севилье, напротив, испанский элемент слился с мавританским, и из этого слияния вышло нечто необыкновенно привлекательное, оригинальное, поэтическое — словом, вышла Севилья. Но в то же время я не знаю, как передать вам эту особенную прелесть ее: у ней нет великолепного местоположения, как у Неаполя, нет роскошной итальянской природы: Севилья стоит среди широкого поля, окруженная ветхими мавританскими стенами; даже ее Гвадалквивир бежит не через нее, и в нем отражаются не «дивные ножки», продетые в железные перила^{185}, а грязные дома предместья Триана, наполненного цыганами, да зубчатые арабские башни старинных укреплений Севильи. Красота ее не от природы и не от искусства: ее улицы узки и извилисты, дома чужды всякого архитектурного стиля; очарование Севильи заключается в ее жителях, в обычаях, в нравах.

Дома здесь, усеянные балконами, почти все в два этажа; двери домов железные решетчатые, сквозь них видны мавританские внутренние дворы (patios) с их тонкими, грациозными колоннами, фонтанами и цветами. Эти дворы составляют щегольство севильян. Дверь нарочно делается большая, чтоб сквозь решетку ее двор весь был виден с улицы. Его украшают как только возможно: тут и картины, и фонтаны, и зеркала, и цветы, и деревья. Днем дверь завешивается от жару. Здесь, как известно, спасаются от дневного зноя только тем, что закрывают все отверстия, в которые может проникать на двор или в комнаты жгучий воздух, и днем здесь в комнатах царствует постоянный сумрак. Если нет натуральной крыши из винограда, то двор на день задергивается сверху полотном. Днем Севилья пуста; окна и балконы закрыты ставнями, будто из всех домов хозяева выехали. Севилья, словно ночная, нервическая красавица, оживляется лишь тогда, как становится темно. Занавесы дверей тогда отдергиваются, каждый двор освещен лампами, фонтаны блещут; ставни балконов и окон открыты; в каждом окне

сверкает несколько пар темных глаз. Это пробуждение Севильи имеет в себе что-то чарующее. Здесь экипажи не ездят; и как ездить по этим улицам шириною в 5 и 6 шагов! Кроме старинных, уродливых колесин⁽¹⁸⁶⁾, стоящих за городом и нанимаемых только в окрестности, я не видал здесь никаких экипажей. Эти улицы, пустынные днем, вечером полны толпами гуляющих. Tomar «el» fresco — брать прохладу — может быть вполне понято только в южной Испании, где дневной ветер лишь жаром пышет в лицо, деревья корчатся от палящих лучей солнца, отражаемых камнями мостовых, и где сумрачный день — такое редкое счастье; где небо неумолимо постоянно в своей темно-голубой яркости, и только одна ночь с своей сильной росой приносит некоторую прохладу. И вся Севилья выходит «брать прохладу». Черные толпы женщин словно с какою-то жадностью высыпают на улицы. Шляпка не проникла еще в Севилью; разнообразия костюмов нет: черная кружевная мантилья, черное шелковое платье, черные волосы, черные глаза, и на этом черном фоне голые до плеч руки, открытая шея и слад-

страстно-гибкий стан просвечивают сквозь складки мантильи, прозрачными фестонами окружающей тонкую, нежную белизну лица или его смуглую, горячую бледность. В Андалузии часто встречается у женщин особенный цвет кожи — бронзовый. Эти темные женщины (*mogenas*) составляют здесь аристократию красоты; романсы и песни андалузские всегда предпочитают *морену*: и действительно, этот африканский колорит, лежащий на нежных, изящных чертах андалузского лица, придает ему какую-то особенную, дикую прелесть. У испанок румянца нет; матовая, прозрачная бледность — вот обыкновенный цвет их лица. Но южная испанка (андалузка) есть существо исключительное. Поэтическую особенность их породы уловил один Мурильо: в его картинах самые яркие, тяжелые для глаз краски проникнуты воздушностью, и, мне кажется, эту дивную красоту своего колорита взял он с женщин своего родного города. Эти чудные головки, которые, можно сказать, гнутся под густою массою своих волос, — самой изящной формы; как бедна и холодна кажется здесь эта условная, античная красота!

Невыносимая яркость и блеск этих черных глаз смягчены обаятельною негой движений тела, дерзость и энергия взгляда — наивно-стию и безыскусственностью, которыми проникнуто все существо южной испанки. И какая прозрачность в этих тонких и вместе твердых чертах! Рука самой ослепительной формы, и маленькая, узкая ножка, обутая в изящнейший башмачок, который едва охватывает пальцы. Вся гордость андалузки состоит в ее ногах и руках, и потому они носят только полуперчатки *à jour*, чтоб виднее было тонкое изящество их рук. Походка их обыкновенно медленна, движения быстры, живы и вместе томны: эти крайности слиты в севильянках, как в опале цветá.

Только смотря на этих женщин, понимаешь колорит Мурильо: в России, в Германии, во Франции он должен казаться изысканным. Если вы сколько-нибудь любите живопись, если какая-нибудь картина хоть раз в жизни тронула вашу душу и дала вам одну из тех минут, которые остаются навсегда в памяти и лучше всех эстетик в мире вдруг раскрывают для вас значение искусства — поезжайте в Се-

вилью, поезжайте смотреть великого Мурильо! Я знаю, как скучно читать впечатления картин, которых мы никогда не видали, и, зная эту скуку по опыту, я все-таки не в силах удержаться, чтоб не сказать вам о том новом, никогда не испытанном мною наслаждении, какое доставил мне этот гениальный художник. Не думайте, что, изучив мастеров итальянской и фламандской школ, зная Рафаэля, П. Веронеза и Рубенса, вы уже извели все очарование кисти; если вы не знаете Мурильо, если вы не знаете его именно здесь, в Севилье, верьте, целый мир, исполненный невыразимого очарования, еще неизвестен вам^{187}. Этому человеку все доступно: и самая глубокая, сокровенная мистика души, и простая вседневная жизнь, и самая грязная природа; все представляет он в поразительной истине и реальности. У Мурильо сила и воздушность колорита, запечатленного африканским солнцем, слиты со всею нежностью и деликатностью фламандской школы. Никто в мире не выражал лучше его религиозного экстаза, мистического стремления души к божеству. Это единственный религиозный жи-

вописец, какого только я знаю, но религиозный не в символическом смысле, не в наивном и бесхарактерном смысле старых итальянских и немецких мастеров, а в самом светлом, поэтическом, в самом страстном смысле этого слова.

Настоящая католическая живопись развилась только в Испании. В Италии она всегда была проникнута преданиями античного искусства; даже в мастерах, предшествовавших в Италии XVI веку, христианство является гораздо более в форме, нежели в чувстве и содержании искусства. В искусстве итальянцев идеалы древнего мира так перемешаны с идеалами христианства, что трудно решить, к каким из них художники итальянские чувствовали больше влечения. Мне кажется, они преимущественно брали формальную сторону христианства: его внутренняя, страстная, мистическая сторона осуществилась в живописи испанской. Я думаю так не потому только, что испанские художники не писали картин мифологического содержания, но потому, что в этой школе решительно прекращается влияние античного мира, разливающего такое

равнодушное и величавое спокойствие в со-
зданиях итальянских мастеров, которых глав-
ною целью были прекрасная форма, изящная
природа. В Испании живопись развилась на
почве, возделанной фанатизмом и инквизи-
цией (которые так отразились в мрачном,
кровавом Риберо^{188}), под влиянием духовен-
ства самого невежественного и варварского.
Итальянские художники, изучая прекрасную
форму в произведениях древних, нечувстви-
тельно приняли в себя и их пантеистический
дух. Испания, издавна враждебная к римля-
нам и прежде всех европейских стран сделав-
шаяся вполне христианскою, еще более была
отрезана от античных преданий завоеванием
арабов. Семивековая борьба с исламизмом со-
хранила испанскому католицизму страст-
ный, восторженный характер, знаменовав-
ший первые века христианства, между тем
как в Европе он давно уже был ослаблен, с од-
ной стороны, изучением древних и их панте-
истическим влиянием, с другой — критиче-
ским направлением умов^{189}. Испания, заня-
тая своею семивековою борьбою с маврами,
и, после покорения их, открытием и завоева-

нием Америки, осталась чуждою всех движений европейской цивилизации, постепенно освобождавшейся от средневекового варварства. Короли испанские в начале XIV века лично председательствуют при казнях инквизиции; в конце XV инквизитор Торквемада^{190} сжигает ежегодно по две тысячи человек и, кроме того, с лишком по 15 тысяч осуждает на разные муки. В продолжение восемнадцати лет этот человек губит в Испании бог знает сколько тысяч жертв, жжет все книги, кажущиеся ему еретичными, и, наконец, доходит до такого фанатического неистовства, что сам гнусный Александр Борджиа (папа Александр VI)^{191} смущается от его подвигов во славу и преуспеяние веры и хочет лишить его сана великого инквизитора^{192}; но между тем временем Торквемада преспокойно умер. Доминиканец Деса, сделанный после его верховным инквизитором^{193}, в восемь лет своего председательства «святого Трибунала» осудил до 40 тысяч человек, из которых 2600 были сожжены. В то время как Карл V наполнял Европу своею пустою славою, кардинал Хименес^{194}, наместник его в Испании и вер-

ховный инквизитор, осудил 52 522 испанца, из них 3564 были сожжены...^{195}

Вот на какой почве возросла испанская живопись, и понятно, что среди всемогущего, фанатического, варварского духовенства, подозрительный глаз которого проникал всюду, среди общества, одурелого от страха и невежества, можно ли было художникам лелеять себя игривыми фантазиями древнего мира, которые в Испании считались порождением дьявола. Для испанцев, как для первых христиан, мифические идеалы греков и римлян были образами греховными, созданными нечистой силою. Если в 1782 году инквизиция вменила в преступление графу Олавиде то, что он велел нарисовать себя между мифологическими изображениями, — что же было за полтора столетия прежде? Живопись испанская, сосредоточенная в одном католицизме, из одного его принуждена была черпать свое вдохновение, могучий дух испанцев бросился в него со всею стремительностью своей огненной природы и создал свою исключительную, единственную в Европе религиозную школу живописи^{196}. Два предмета оставались

испанским художникам — природа и религия. Никто в мире не уловил природы во всей ее животрепещущей действительности, как Веласкес; портреты итальянцев и фламандцев бледны и мертвы перед его портретами. В Мурильо воплотилась страстная, любящая, поэтическая сторона католицизма. Ни один художник не представляет такого глубочайшего слияния самой живой реальности с самым мистическим идеализмом. Все сокровенные ощущения религиозной души Мурильо осуществил в своих картинах. Никогда поэзия более мистическая, восторженная, идеальная не являлась на полотне в такой яркой действительности, облеченная в такую живую форму, доступную самому простому смыслу. Чтобы чувствовать величие Мурильо, не нужно быть знатоком: этот художник даст откровение живописи и таким, которые не почувствовали его при Рафаэле и Тициане. Но и гробовая, мертвящая сторона католицизма нашла себе также великого представителя — это мрачный Сурбаран⁽¹⁹⁷⁾. Он писал одних кающихся монахов: что это за зловещие образы! Какой ад невыразимых мук носят они в душе!

С каким убийственным, тяжким раскаянием рвутся они к небу! Что за свирепый, кровавый фанатизм дышит в этом раскаянии!

Мурильо родился в Севилье в начале 1618 года⁽¹⁹⁸⁾; родители его были бедны и не дали ему никакого воспитания; неизвестно, как провел он свои молодые годы. Страсть к живописи обнаружилась в нем с самой ранней юности. Некто Хуан дель Кастильо, артист во все неизвестный, из сострадания давал ему кой-какие советы. Без дельного руководителя, без всякого серьезного изучения, принужденный кистью добывать себе пропитание, бедный Мурильо лишен был всякой возможности усовершенствоваться. Он писал на маленьких дощечках образа божией матери и дюжинами продавал их корабельщикам, отправлявшимся в Америку, которые сбывали их новообращенным мексиканцам. Мурильо было 24 года, когда привелось ему увидеть в первый раз портрет, писанный Веласкесом; этот портрет решил судьбу его. С небывалым рвением принялся он за свои образа, наготовил их несколько дюжин, собрал себе денег на дорогу и пешком отправился в Мадрит —

учиться у Веласкеса. Веласкес принял его ласково, доставил ему вход в королевскую галерею; три года работал Мурильо под его руководством. Но картины, написанные им в Мадриде, не имеют еще той высокой оригинальности, какою отличаются его позднейшие произведения; лишь по возвращении своем в Севилью, после 1646 года, Мурильо является во всей своей силе, и все его лучшие картины принадлежат к этому времени. У Мурильо были три манеры: испанцы называют их холодной, горячей и воздушною (*fría, cálida, varorosa*); замечательно, что все его мальчики и нищие — в манере холодной, экстазы и видения святых — в горячей, а все мадонны и особенно вознесения — в воздушной. Иногда, впрочем, соединял он вместе горячую и воздушную. Но вообще колорит каждой картины у него соответствует содержанию ее.

До 1837 года в 68 монастырях Севильи рассеяны были картины Мурильо; после уничтожения монастырей городское правление обратило один из них в музей, переделало кельи в залы, и теперь в одной из них находится 16 больших картин Мурильо, самой луч-

шей манеры. Невозможно представить себе большей красоты в выборе красок; ни один колорист в мире не был столь ярким, пламенным и вместе столь воздушным; это природа со всею своею плотию и кровью, и вместе провеянная какою-то невыразимою идеальностью. В природе тени прозрачны, и именно своими тенями, проникнутыми светом, Мурильо превосходит всех колористов; в его кисти сосредоточилось все, что только итальянцы и фламандцы имели высокого и мастерского. Об очаровании, какое, производит он особенным, одному ему свойственным расположением света и тени, невозможно дать даже приблизительного понятия. Мистический сумрак облекает всегда картины его, но глаза свободно уходят в самые темные части их; свет падает у него только на главные фигуры, так что тотчас чувствуешь мысль картины. В этой кроткой, воздушной яркости света, в этом прозрачном мраке теней дышит какая-то преображенная, поэтическая жизнь. Прибавьте к этому особенную, принадлежащую одному Мурильо неопределенность контуров, сливающихся с воздухом, и нежущую

глаза гармонию красок: это истинно очарование!

Я знаю, что есть эстетики и критики, которые упрекают Мурильо в неверности рисунка, в излишней натуральности, наконец, в недостатке высокого классического стиля. Я не знаток в живописи⁽¹⁹⁹⁾ и потому не знаю, до какой степени первый упрек справедлив. Упрек в излишней натуральности смешон; что же касается до недостатка классического стиля, то именно в этом-то недостатке, по моему мнению, и является гениальность Мурильо. Влияние древнего мира было благотворным противодействием средневековому воззрению, запутавшемуся в своих фантазмагориях, оно было необходимо, чтоб снова навести человека на прекрасную форму и материю, попорченные им во имя так называемого духа. Но эта античная форма, которая дала итальянским художникам их классический стиль, с одной стороны, заслонила собой от них их современность и историю, а с другой — придала их христианским представлениям не свойственный им характер... Мурильо не был знаком с древними, никогда не

видал созданий античного искусства, в которых, по моему мнению, есть всегда нечто условное, типическое^{200}. Образцом и идеалом Мурильо были природа и его собственное чувство. Фантазия его никогда не производила ничего болезненного, нравственно-страдальческого; вместе с тем в нем нет ни малейшего следа чувственности и того пантеистически равнодушного элемента, который непременно более или менее входил в создания итальянских мастеров. В этом отношении это единственный религиозный живописец, какого только я знаю. Замечательно, что в Испании, где нравы были всегда так свободны, живопись отличается величайшим целомудрием. В образах Мурильо нет ничего сверхчеловеческого: это не обожествленные, а в высшей степени облагороженные люди. В его мадоннах нет той неземной, холодной святости, того неопределенно-изящного выражения, какими отличаются мадонны итальянских мастеров: мадонны Мурильо — увлекательно-прелестные севильянки, со всею живостию и выразительностию своих физиономий; в них нет рафаэлевской серьез-

ной и неестественной наивности и того китаизма^{201}, каким отличаются мадонны его первой манеры. Мадонны Мурильо или прекрасные андалузки, во всей своей яркой, характеристической индивидуальности, или воздушны вроде фантастического видения. Но гениальность Мурильо особенно обнаруживается в искренности выражения, какой исполнены лица его святых, в изображении религиозного экстаза: здесь он не имеет себе соперника. Религиозность Мурильо страстная, пламенная, замирающая в восторге мистических видений, и в то же время не чуждая, не враждебная миру, нежная и любящая. В лицах его нет зловещей бледности монахов Сурбарана: это все свежие, бодрые, далеко не старые люди. Любимые предметы его — религиозный экстаз, благодатные видения, сила и чудо молитвы.

Но Мурильо равно велик и в своих картинах милосердия. Между прочими в музее особенно поразила меня в этом роде одна: св. Фома, раздающий милостыню нищим, покрытым самыми ужасными рубищами^{202}. На переднем плане дряхлая старушка с мальчиком

с торопливою радостью рассматривают монету, только что полученную ими от святого; около них больной мальчик тревожно дожидается своей очереди подойти к нему. Св. Фома стоит на небольшом возвышении у стола, полунагой нищий, с изнуренным, но прекрасным лицом, принимая милостыню, стал на колени; святой слегка наклонился к нему, от этого глаз его не видать, но чувствуешь его взгляд, исполненный кротости и сострадания; на губах его мелькает грустная улыбка; в лице святого нет ни малейших следов изнуренности или старости, но это благородное лицо дышит невыразимою кротостию и самым искренним участием. Подобная же картина милосердия находится в мадритском музее: св. Елисавета, обмывающая головы прокаженным мальчикам, покрытым гниющими ранами^[203]. Мурильо представил Елисавету прекрасной женщиной, вовсе не чуждою физического отвращения от принятого ею на себя подвига; но отвращение побеждается в ней — это читаешь на лице ее — глубоким, искренним желанием помочь бедным страдальцам. Равнодушие молодых, красивых

женщин, сопровождающих Елисавету, придает особенную силу главной идее картины: между этими прекрасными лицами и выражением лица Елисаветы — целая бездна; уже одно это дает картине характер глубокой мистической драмы. На переднем плане одна старушка смотрит на святую с таким чувством нищеты, благодарности и безответной преданности, что нет возможности равнодушно видеть это лицо. В одном доме мне удалось здесь видеть картину Мурильо следующего содержания: среди горных дебрей разбойник бросается к ногам идущего монаха с молением принять его исповедь. Лицо монаха удивленное, кроткое, отражающее ясную, чистую душу; лицо разбойника страшно-энергическое, запечатленное преступлениями и дикою необузданностью страстей; но оно проникнуто таким неутолимým, сердечным рыданием, такою жаждою спасения, таким энтузиазмом раскаяния, что ясное лицо монаха, никогда не возмущаемого земными страстями, кажется возле него лицом ребенка...^{204}

Можете представить себе, какое наслажде-

ние испытываешь перед картиною такого мастера! В Мурильо невообразимое отсутствие всего условного, типического, рутинного, это такая свобода и смелость, о которых итальянская школа не имела понятия; словом, это природа во всей своей индивидуальности, яркой жизни, проникнутая поэзией сердца, идеальностию, но не условною, не теоретическою или сверхъестественною, а глубоко человеческою идеальностию, понятною всякому простому, неопытному глазу, идеальностию восторженного чувства, экстаза. В церкви городской больницы (de la Caridad), бывшем монастыре, есть между прочими картинами Мурильо одна колоссальная: Моисей, в пустыне источающий воду из скалы, или, как здесь называют ее: el cuadro de las aguas[39]. Никогда не видал я на полотне такого вдохновенного лица, как лицо Моисея. Картина состоит из 28 фигур в натуральную величину и исполнена поразительной истины. Моисей среди картины, чудо только что совершилось, вода так живо стремится из скалы, что хочется прислушаться к журчанью ее; голова Моисея обращена кверху, руки воздеты к

небу, лицо горит вдохновением; в эту минуту из черных облаков падает необыкновенный свет, освещая собой главную сцену. Аарон стоит вправо от Моисея в созерцательном удивлении. Эта главная группа окружена людьми и животными, стремящимися утолить жажду: каждая фигура есть отдельная картина, исполненная истины, драматизма и высочайшего мастерства.

Но, наконец, не покажется ли вам мой энтузиазм к Мурильо подозрительным или, по крайней мере, слишком наивным? Да и не пора ли мне пощадить вашу снисходительность: сам же я сначала заговорил о скуке читать описания картин, а теперь рассказываю на нескольких страницах о Мурильо... В оправдание свое скажу только одно: мне хотелось разделить с вами мое наслаждение. В этой же церкви de la Caridad похоронен дон Хуан де Марини^[205], сделавшийся впоследствии в Европе таким знаменитым, фантастическим лицом благодаря поэтам. Такова всегда история образования мифических представлений! Этот веселый caballero жил в Севилье (в XVI веке), был большой гуляка, имел

много любовных походов, но под старость раскаялся в своих грехах и умер самым прозаическим образом в постели, изъявив желание быть похороненным в дверях церкви de la Caridad, чтоб набожные люди проходили по его могиле. А в уважение раскаяния дона Хуана монахи похоронили его внутри церкви. Здесь же видел я странную картину Хуана Вальдеса^{206}: художник хотел, конечно, изобразить переходимость земного величия и представил трупы королей и пап в полном гниении, покрытые толстыми белыми червями, которые словно копышатся в рыхлых телах, приподнимая свои красные головки. Все это написано превосходно, с такою поразительною натуральностью, что глаза сами собой отворачиваются, и странное впечатление остается на душе перед этою гадкою, но неизбежною перспективой...

В Севилье в редком доме нет нескольких отличных картин; но самое замечательное собрание принадлежит дому Анисето Браво; этот страстный диллетант купил дом, в котором жил и умер Мурильо, и собрал в нем превосходную галерею картин исключительно

одной севильской школы. Он водил меня по ней с самым обязательным радушием, наслаждаясь моим удивлением. Я видел тут превосходные картины художников, имена которых совершенно неизвестны в Европе. Дон Анисето — самый ревностный испанец, и для него весь мир существует только в Испании. Впрочем, все испанцы таковы. Нет народа, который бы с большим негодованием бранил, всячески порицал свою страну, видел в ней только одно дурное, и в то же время я не знаю народа, более гордящегося своею национальностью. Особенно иностранцу надобно быть осторожным при этом негодовании испанцев, если он хочет сохранить себе радушие своих здешних приятелей: пусть только присоединит он свой голос к их страстным порицаниям, то, при всей изящной вежливости испанцев, он тотчас же увидит, с какою враждебностью смотрят они на все иностранное и как каждый здесь от всей души убежден, что все, что ни пишут в Европе об Испании, есть вздор и ложь. По их словам, Испания и богата, и сильна, и промышленна: стоит только устроить хорошее правительство, и Испании

некуда будет деваться от благоденствия. Но при слове «правительство» тотчас же начинаются разногласия. «Умеренные» ненавидят правительство прогрессистов, прогрессисты — правительство умеренных. Трудно представить, до какой степени сильны здесь политические ненависти: один адвокат в Мадрите признавался мне, что теперь в кофейных нельзя ни о чем другом говорить, как о театре и самых пустых предметах; всякий разговор, касающийся политики, ведет к ссорам и неприятностям, и самые искренние друзья становятся врагами. И, к сожалению, должно сказать, что причина этому не столько убеждения, сколько места и жалованья. Здесь не только каждое новое министерство, то есть каждая торжествующая партия, но просто каждый новый министр непременно отставляет чиновников своего предшественника и помещает на их место своих. Замечательно; что испанский министр не определяет от своего имени ни одного даже самого мелкого чиновника, а все это делается по-прежнему, от имени королевской власти. Казалось бы, что утверждение королевы должно

упрочивать чиновников на занимаемых ими местах. Нисколько: первый новый министр одним почерком пера переменяет весь свой департамент; но так как, по испанским привычкам, все, что делается от имени королевы, должно оставаться *непременным*, то выключенные чиновники (здесь, разумеется, чинов нет, я употребляю это название для ясности; здесь чиновник есть *empleado*, то есть имеющий должность, место) все-таки сохраняют свое звание чиновников, *empleados*, с правом на половинное жалованье, между тем как места их заняты другими чиновниками, получающими жалованье. Вследствие этого здесь два класса чиновников: *cesantes*, отставные, и *jubilados*, находящиеся в действительной службе с жалованьем^{207}, из которого, сказать мимоходом, в иной год они получают половину, а в иной треть. Можете представить, какую огромную массу составляет здесь класс чиновничий! Иной был в должности месяца два, три, и остается на всю жизнь чиновником, *empleado*, с правом на половинное жалованье. Конечно, оно, при ужасном расстройстве финансов, никогда им не выдается, и

право это в сущности ничего не значит, но тем не менее оно существует по закону. При наследованном испанцами от их средних веков пренебрежении к торговле и промышленности, при настоящей их ничтожности в Испании, а всего более от того, что торговля и промышленность требуют постоянной и упорной деятельности, к которой испанцы не привыкли, здесь всякий, получивший хоть самое малейшее воспитание или просто знающий только читать и писать, непременно метит в чиновники, примыкается к какой-либо партии или просто к человеку в ходу, наконец, добивается места, теряет его при первой министерской перемене и, оставшись с званием *empleado* и с надеждою опять когда-нибудь, при политическом перевороте, получить себе место, уже не занимается никаким делом, во-первых, потому, что праздность по испанским понятиям *благороднее* работы и тем более — ремесла, а во-вторых, потому, что звание чиновника дает ему в обществе и в его партии некоторый вес. Это главные двигатели политических партий, и масса чиновников всего более поддерживает политическое

волнение Испании. То же самое и в армии: восстания и временные торжества одной партии над другою перемешали в армии всю военную иерархию. С одной стороны, провинциальные хунты во время своих pronunciamientos раздавали чины офицеров и полковников людям, которые иногда вовсе не были в военной службе, с другой — Христина, выгоняя Эспартеро в 1843 году^[208], дала штаб-и обер-офицерам двойное повышение; а все офицеры, в преданности которых «умеренная» партия не была уверена, получили бессрочный отпуск, конечно с правом на половинное жалованье, но им не выдают и солдатского пайка на прокормление себя. С своей армией в 100 «тысяч» человек Испания имеет офицеров и генералов с лишком на 700-тысячную армию. То же самое и в судопроизводстве: в 1840 году, например, Эспартеро, после изгнания Христины^[209] принужденный распустить часть армии по неимению в казне денег на жалованье и содержание ее, для утишения негодования отставленных офицеров разместил множество из них по судам судьями да, кроме того, издал постановление, по

которому молодым офицерам зачиталось по судейской иерархии все время, проведенное ими в армии. Конечно, правосудие испанское от этого нисколько не потеряло, но в глазах народа и общества звание судьи утратило свой прежний авторитет, когда увидели, что всякий офицер может быть судьей.

Но ведь в бродячих шайках карлистов не все чиновники и офицеры — они состоят из простого народа; откуда же набирается этот народ? — спросите вы.

Едва ли есть в истории восстание более благородное, более героическое, как восстание всей Испании против Наполеона в 1808 году. Оно показало Европе, что Испания не умерла еще. Чтоб хорошенько понять это восстание, надобно представить себе положение Испании в эту эпоху. Воинственный дух испанцев давно потух в бедности народа, беспечность правительства слилась с арабскою беспечностью нации. Европа шла вперед; Испания спала. Костры инквизиции не пропустили в нее идей, двигавших Европу; философские идеи XVIII века прошли в лице людей, о которых упоминал я в предыдущем мо-

ем письме, не оставив в обществе почти никакого следа^{210}. Народ, предоставленный самому себе администрацией, чуждою всякой мысли, или равнодушно переносил свою бедность, или выходил на большие дороги с оружием в руках. В самом деле, среди общественного спокойствия и при *устроенном* правительстве Испания наполнена была множеством отлично устроенных шаяк разбойников, которые договаривались с королем как равные с равным. Вся страна была одним обширным полем грабежа: грабили судьи, грабила администрация, грабили разбойники. Медленно угасала Испания: общественное истощение достигло своего высшего предела. Нападение Наполеона вдруг подало знак ко всеобщему восстанию, которое, изумив собою мир, обнаружило живучую натуру испанцев.

Вся нация восстала на битву без армии, без генералов, без правительства. Но это героическое потрясение совершилось в народе, лишенном всякого общественного устройства. Административный беспорядок истощил общественное тело до самых костей. Всякой рад был схватиться за оружие — сколько из пат-

риотизма, столько же из желания выйти как-нибудь из своего бедственного положения. Простолюдин, не научившийся владеть сохою, вообразил себе, что ружье прокормит его. Отсюда появление тысячей вооруженных людей, этих guerrillas, бьющихся вне всяких военных правил. Эта подвижная жизнь, эта жизнь наудачу, имела непреодолимую прелесть для масс, привыкших жить под открытым небом, в совершенной беспечности о завтрашнем дне, и о которых заботилась одна только хитрая и дальновидная благотворительность монастырей. Восстание победило Наполеона, но вместе с этим приготовило величайшее затруднение торжествующей Испании. Предоставленный своим страстям, весь этот народ, привыкший на шестилетней службе отечеству к безусловной независимости, должен был надолго сохранить к ней охоту. Трудно было сдержать в определенных границах это вторжение грубых и вооруженных пролетариев, а тогдашнее правительство, вместо того чтоб употребить в пользу эти руки, усталые от битвы, принялось гнать воскресавший общественный дух и патрио-

тизм, предводивший этими руками, а усмирение простого народа взяли на себя монастыри.

Отсюда ведут свое начало нынешние смуты Испании, здесь источник ее междоусобной войны. Защищая престол своего пленного короля, простой народ, не видя перед собой никакой отрадной будущности, осужденный на безвыходную нищету, привык насильственно добывать себе значение и пропитание. Имена начальников guerrillas, достигших высших военных чинов, остались в памяти народа живыми трофеями⁽²¹¹⁾; что же касается до средства приобретать деньги, то, во-первых, на свое правительство испанцы с давних пор смотрели как на общественного врага, которого грабить вовсе не предосудительно, а, во-вторых, во времена, когда общество лишено всякого разумного направления, не очень бывают разборчивы на средства добывать деньги: всякий тогда бьется за свой собственный счет, всякий предлог хорош, насилие заменяет право. Когда негде искать покровительства, всякий покровительствует сам себя, — словом, это то состояние, которое обыкновен-

но называют анархией. Таково положение Испании. Оно идет издалека, но правление Фердинанда VII еще более разбередило раны ее: с тех пор Испания осуждена была на долгие смуты. Семя своеволия было брошено в народ, и всякое важное событие должно было вызывать это своеволие на свет: нужен был только какой-нибудь предлог. Отрешение дона Карлоса от престола представило его. Шайки Кабреры были сборищем всего того, что жило прежде по большим дорогам: мало было им нужды до торжества претендента и духовенства. Если они приняли их сторону, то только из того, чтобы безнаказанно бить и грабить. Если б начальникам их вздумалось ввести между ними дисциплину или принудить их к регулярной войне, эти шайки тотчас бы разбежались. Некогда была в Испании шайка разбойников, известная под именем siete niños de Écija (семь ребят из Эсиха), в недавнее время знаменитый Хозе Мариа, потом сменили их Кабрера, Палильос^[212], а теперь бродячие по Каталонии шайки карлистов...

Главное несчастье Испании в том, что она

отстранена была от того движения, которое составляет почву новой истории Европы, и не только это движение здесь нисколько не проникло в народ, даже высшие классы остались ему чужды. Вот существенная причина этой удивительной неопределенности всех политических движений Испании. Она хочет и ищет формы, не уяснив себе сначала сущности, не усвоив содержания; а потому, несмотря на все внешние реформы, несмотря на то что нигде теперь правительство не составляет больше законов и проектов для всякого рода улучшений, несмотря на нескончаемые речи, которые говорятся в палатах кóртесов, — финансы, судопроизводство, администрация остаются в том же виде, как они были при блаженной памяти испанских королях, — и продажность, подкуп, взятки властвуют по-прежнему.

В продолжение последних 8 лет законы делались, переделывались и уничтожались с такою быстротою, что испанцы потеряли всякое уважение к ним и всякое понятие о законности; усталые от этих беспрестанно меняющихся маленьких деспотов, которые ду-

мают только о своих карманах, испанцы начинают теперь мечтать о твердой энергической власти, которая внесла бы порядок в этот общественный хаос. Эспартеро пользовался сначала большим народным доверием, но, к несчастью, это был человек ограниченный, и для Испании не сделал он ничего. Это был только храбрый и честный генерал — и несколько государственный человек; у него не было никакой определенной цели — ни на что не умел он откровенно решиться, запутался в дипломатических тенетах, подставленных ему Людовиком Филиппом, и опротивел всем — и друзьям, и врагам. Испанцы, которые отличаются такою меткостью в даваемых ими прозвищах, в последнее время его регентства прозвали его *Duque de nada* (герцог Ничего). Если его имя упоминается в народных смутах, особенно в Мадриде, то это потому только, что он устроил и вооружил гражданскую гвардию. Она совершенно уничтожила влияние армии и правительства, делая каждую провинцию небольшою самостоятельною республикой. Это положение дел было отрадою для индивидуальной гордости

испанцев, для их чувства провинциальной независимости. Состояние постоянного волнения было для них то же, что для рыбы вода. Народу, привыкшему ко всякого рода лишениям, без промышленности, без торговли, нечего было терять в этих волнениях. Армия трепетала народной милиции, при ней никакое правление не может быть прочным. Наконец, полтора года тому, министерство Нарваэса отобрало оружие у гражданской гвардии и распустило ее. Вся сила прогрессистов была уничтожена этою мерою. Но есть провинция в Испании, которой народ, несмотря на уничтоженную милицию, сохраняет по-прежнему свою гордую самостоятельность: это Каталония, и преимущественно Барселона. В последних волнениях Барселоны²¹³, по случаю введения конскрипции, назад тому 4 месяца, батальон солдат вышел разгонять толпы народа. Они оробели перед ружьями. «Ведь мы можем умереть только один раз! — закричал один работник. — Обезоружим солдат!». Все это произошло с такою быстротою, что передние ряды едва успели выстрелить, как батальон был обезоружен; может быть, и

солдаты не делали большого сопротивления. Следствием этого было то, что начальство вывело весь гарнизон из Барселоны. Нарваэс знает энергическую самостоятельность каталонцев и старается избегать с ними столкновений, и для «модерадосов» (умеренных — партия, в руках которой настоящее правительство Испании) спокойствие Каталонии значительнее расположения всех остальных провинций именно потому, что каталонцы каждое свое pronunciamiento поддерживали с неколебимою энергиею. От этого вся Испания смотрит на Каталонию с почтением, и в смутное время глаза всех провинций устремлены на нее. Всякое движение, в котором Каталония не примет участия, не может иметь успеха. Во время последних беспокойств в Мадриде, по случаю увеличения налогов, прогрессисты ждали, как манны, известий из Каталонии, думая, что новая система налогов приведет в исполнение в Барселоне вместе с Мадридом. Но «умеренные» поступили умнее, нежели как надеялись прогрессисты: они слишком хорошо знают Каталонию, и до сих пор еще новые налоги не введены в Барсело-

не. С другой стороны, «умеренные» начали с того, что хотят сначала приобрести к себе расположение фабрикантов и рабочего класса; для этого они приняли самые строгие меры против контрабанды, обещали самый запретительный тариф, и фабричная Барселона теперь совершенно покойна.

Без всякого сомнения, в испанском народе столько же нравственных сил, как и в любом европейском, — может быть, даже более, — и все данные, чтоб стать наряду с первыми европейскими народами; но для достижения этого нужны не слова, не возгласы, не убаюкивание себя прежнею славою, а работа в поте лица, народное воспитание, промышленность, трудолюбие^{214}. В истории нет волшебных жезлов, которые в одну минуту дают государству и славу, и богатство, история не знает внезапных откровений, которые вдруг делают народы и богатыми, и сильными, — и здесь кстати напомнить слова Гизо^{215}, сказанные им, впрочем, лет 20 назад: «Les empires n'ont point de jours ni d'années critiques; leur fortune ne dépend pas de l'influence des corps célestes; ils n'ont d'autre génie et ne connaissent

д'аутре destin que la bonne ou la mauvaise administration» (Государства не знают ни дней, ни годов критических; их благоденствие не зависит от влияния небесных тел; для них нет иного гения, они не знают иной судьбы, кроме хорошей или дурной администрации).

Но пора нам воротиться к нашей Севилье: второе чудо ее, после великого Мурильо, — собор. В конце XIV века соборный причет вздумал на месте арабской мечети, обращенной в церковь, построить новый храм, но такой, подобного какому не было бы в целом мире^{216}. Неизвестно, кто был его архитектором, но замечательно то, что на постройку его почтенный причет отдал все свои доходы, оставя себе одно только необходимое, и через 90 лет мир имел здание, по огромности своей уступившее впоследствии одному только храму св. Петра в Риме. Каковы же были доходы севильского соборного причета! Внутренность храма состоит из пяти сводов самого чистого готического стиля, разделенных колоннами; средний свод высоты невероятной: внутренность готических храмов Германии,

Франции, Англии, даже самого миланского собора, бедна перед этою страшною громадою; колонны, толщиною с башни, кажутся тонкими и легкими в неимоверной высоте этих сводов; 80 огромных расписанных окон освещают храм; боковые трубы органа походят на трубы пароходов, но под сводами храма звуки этих поистине иерихонских труб разносятся мелодически. Вокруг идут приделы, каждый в обыкновенную церковь, но колоссальность здания такова, что их не замечаешь. Главный алтарь (retablo) посреди церкви и с трех сторон, во всю страшную вышину, покрыт резьбою из дерева в самом фантастическом готическом вкусе: это бесчисленные башни, ниши, статуи, ветви самой тщательной работы. Позади алтаря похоронено было прежде тело Христофора Колумба; памятника нет, только на медной доске, покрывающей могилу, вырезаны слова:

*A Castilla y a León
Mundo nuevo dió Colón.*

*(Кастилье и Леону
Новый мир дал Колумб).*

Впоследствии тело Колумба перевезено было в собор Гаваны^{217}.

Художественное богатство собора поразительно, тем более что, кроме Мурильо (здесь, между прочим, его «Св. Антоний» — создание удивительное), имена Сурбарана, Кампана^{218}, Моралеса^{219}, Вальдеса, Эрреры^{220}, Кано^{221} все неизвестны нам, а между тем все это художники первоклассные, исполненные той энергической смелой жизни, о которой не знала итальянская школа. Картины их наполняют приделы, залы, галереи — не знаешь, куда смотреть: я целую неделю ходил в собор и каждый день выходил оттуда с новым изумлением: столько рассыпано тут искусств, великолепия, изящества, рассыпано с тою величавою, небрежною роскошью, о которой может дать понятие одна Италия. Описывать севильский собор нет возможности; для этого надо было бы написать целую книгу. В приделах его соединены все стили: и строгий готический, и «Возрождения», и особенный испанский, называемый здесь *plateresco*, отличающийся самую безумною расточительностью украшений; тут есть и рококо, — каж-

дый век строил свой придел и свой retablo, и при всем том собор еще не вполне отделан. Эти храмы средних веков строились какими-то титанами: в наше время подобные здания невероятны, безрассудны, невозможны... Но в противоположность всем готическим церквам в Европе наружность собора очень проста: без великолепных порталей, без кружевных башен; колокольню ему служит бывший арабский минарет, построенный в X веке арабским архитектором аль-Гебор, будто бы изобретателем алгебры^{222}. В XVI в. архитектор Эскориала^{223} Эррера^{224} поднял ее на несколько этажей; теперь это самая оригинальная, изящная колокольня в мире.

Я нарочно три воскресенья провел в соборе, чтобы посмотреть на испанскую набожность; и все три воскресенья число присутствовавших при обеднях едва превышало пятьдесят человек, да и то большею частью были старухи и старики; огромный храм был совершенно пуст. Вот вам эта некогда знаменитая религиозность испанская, вошедшая в пословицу. Европа все считала испанцев самым католическим народом в мире; как

вдруг одним утром читает в своих газетах, что испанцы жгут монастыри и режут монахов. Но испанцы не ограничились уничтожением монахов, они сделались равнодушными и к религии: их храмы теперь пусты^{225}; в Кордове мне попался на улице пожилой священник, бедно одетый; он просил у меня милостыни, говоря жалобным голосом: «Soy padre, soy padre» (я священник). И священники в Испании утратили свое прежнее влияние на народ, по крайней мере на городских жителей. Но, к сожалению, свои прежние фанатические верования народ здесь не заменил еще никакими другими, высшими верованиями: религиозность в народе остается как привычка, но как привычка вялая, ленивая, скучная. Слово «религия» потеряло совершенно, в Испании свое серьезное значение: о ней никто не говорит, никто не заботится, никто не думает. А святая инквизиция, кажется, с должным усердием подвизалась на укреплении веры, жгла и мучила людей, чуть-чуть подозреваемых в вольнодумстве, жгла все книги, какие только казались ей еретичными, — словом, бывший секретарь инквизиционного

трибунала и автор истории инквизиции в Испании Льюранте^[226] говорит, что инквизиция, считая изгнание евреев и мавров, уменьшила народонаселение Испании до десяти миллионов человек[40]. Рвение, конечно, похвальное, но к чему послужило оно, когда через двадцать пять лет после уничтожения ее (инквизиция была уничтожена первыми конституционными кортесами в 1812 году) народ жег монастыри, резал монахов, забыл свои церкви и забыл свою прежнюю религиозность? Можно утвердительно сказать, что испанцы «объевропеившиеся» пренебрегают ею, а народ просто не думает о ней. Напоминать же о ней ему теперь некому: о чудесах, после уничтожения монастырей, слухи замолкли; монахи по деревням не ходят; а так как в деревнях церкви редки, потому что монастыри были повсюду, то с уничтожением их и деревни остались без духовных пастырей. Инквизиция запрещала народу думать и рассуждать о религии, и народ теперь нисколько не думает и не рассуждает о ней: успех полный, цель достигнута...

Мне случалось говорить с видевшими Ис-

панию до 1830 года: они говорят, что тогдашняя и теперешняя Испания не имеют между собой ни малейшего сходства. В пятнадцать лет не осталось даже следа того общества. Тогда как народы Европы стремились отбросить от себя невежественное наследие своих предков, полные надежды возрождения и обновления, одна Испания упорно продолжала жить одними идеями, полученными ею от своих отцов, набожно собирала пыль с своих средневековых созданий и недвижно сидела на своих развалинах, не зная, что у соседей ее окончательно стирали с земли все старые памятники. «Но трудно, — говорил один путешественник⁽²²⁷⁾, видевший Испанию в 1831 году (за полтора года до смерти Фердинанда VII), — трудно было предвидеть, чтоб все пошло так быстро, что мщение будет так неумолимо, разрушение так ужасно, превращение так внезапно. Я видел всю страну во власти монахов, народ на коленях перед своими священниками, видел средние века во всем цвете в нации XIX века; можно ли было думать, чтоб это важное, серьезное общество было маскарадом, исторической шуткой! Кто

бы мог уверить меня тогда, что эти видимые властители государства, это всемогущее духовенство были не более как призраки, которых рассеять достаточно одного дуновения? Кто мог подумать, что даже свидетельства веры народа были пустым обманом, его молитвы — словами, лишенными смысла? Я смотрел на эту страну как на последнее убежище католицизма, тогда как в сущности это была страна призраков, рутины и лжи!..»^{228}.

Здесь уцелел *Алькасар*, дворец арабских владетелей Севильи: снаружи высокая стена с узкими воротами, внутри изящные, фантастически легкие залы. Нельзя себе представить, до какой легкости арабы преобразовывали камень: в их постройках он теряет всю свою массивную плотность. Это кружевная ткань, самая тонкая филогранная работа. Основной характер мавританской нерелигиозной архитектуры есть изобилие, расточительность мелких украшений, или, точнее, вся эта архитектура их есть одно только украшение. Правда, что к ней скоро присматриваешься, но первое впечатление мило, увлекательно: точно все эти комнаты сделаны из кисеи.

Комнаты обыкновенно выходят на внутренние дворы, с колоннами, галереею и фонтаном. В некоторых потолки сделаны куполами наподобие сталактитов, в иных дубовые с резными арабесками и золоченые; без всякого сомнения, *рококо* обязан своим изобретением арабам^{229}. Надобно заметить, что у арабов все эти стены, выделанные фантастическими узорами, были с необыкновенною тщательностию расписаны разноцветными красками с позолотою. Какой-то варвар губернатор севильский, лет тридцать назад, нашел, что дымковый колорит, которым века покрыли эти украшения, очень грязен, и в порыве своем к опрятности все велел покрыть белую известью. Недавно правительство решилось восстановить этот драгоценный памятник арабского искусства: комнаты отделяваются в том виде, как они были до чистоплотного коменданта, но стоит только взглянуть на амбразуры окон главной залы, в которых уцелели прежние украшения, чтобы убедиться, как это поновление мало походит на арабское изящество^{230}. К Алькасару примыкает сад в восточном вкусе с апельсинами, пальмами и

кипарисами; садовник, показывая его, говорил, что он содержится в том виде, в каком испанцы взяли его от мавров.

В Андалузии народная одежда не представлена одному только простому народу, как в прочих провинциях Испании: здесь, особенно в праздники, не только молодые люди среднего сословия, но и гранды Испании одеваются по-андалузски. В этом отношении *día de toros* (день быков) — важный день для сельских щеголей (*majos*). В цирке, кроме новоприезжих иностранцев, никого не увидишь в общеевропейском костюме. Но настоящий *majo* — здесь особенный народный тип. Это удальцы и сорви-головы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас. Эти-то *majos* дают тон севильским щеголям, даже высшего общества, которые стараются подражать в модах и манерах их андалузскому *шику*^{231}. На днях случилось мне видеть поединок двух *majos* на ножах. Нож — народное орудие испанцев: он очень широк и склад-

ной; сталь его имеет форму рыбы, вершка четыре^{232} длиною; его обыкновенно всякий носит в кармане. Им не колят, а режут, и самым ловким ударом считается разрезать живот до внутренностей. В такого рода поединке каждый обертывает левую руку плащом, а за неимением его — курткой, и отражает ею удары противника. Противники стали шагах в восьми друг от друга, круто нагнувшись вперед; ножи держали они не за ручку, а за сталь в ладони: как только один бросался, другой уклонялся в сторону, они быстро кружились; каждый норовил нанести удар (разрезом) противнику сбоку; но все дело кончилось легкими ранами, их розняли.

Надобно видеть по воскресеньям Alameda Cristina^{233} (сад за городам, на берегу Гвадалквивира), чтобы поверить, до какой степени здесь щегольство в нравах народа. Я не говорю уже о majos, но платье иного работника стоит дороже платья любого щеголя Парижа или Лондона. И какая изящная свобода в их движениях, как они великолепны! Трудно поверить, чтобы этот народ с трудом добывал себе пропитание. Обыкновенный андалуз-

ский костюм стоит не менее 300 руб. асс., и бог знает откуда этот народ берет деньги на щегольство. Женщины одеваются далеко не так изысканно, как мужчины: знатная дама и швея одинаково носят черное платье и мантилью, и душистый нард так же ярко белеется на черно-синих волосах швеи, как и на волосах маркизы; разница только в том, что кружевная мантилья иной маркизы стоит рублей 700, а мантилья швеи 50. Впрочем, Севилья дает только тон национальным модам; а все наряды свои севильянки получают из Франции. Испанские перчатки à jour очень грубы и недостойны покрывать удивительные ручки андалузок, кружевные мантильи и веера получаются из Парижа; одни только севильские башмаки в своем роде художественные произведения, и ножки андалузок нашли мастеров, достойных себя.

На театре здесь труппа плохая, но зато как чудесно танцуют на нем андалузские танцы {234}: обаятельные танцы — страсти и раздражающих форм, единственные танцы в мире, вдохновляющие обожание к красоте человеческого тела. Пьесы испанского происхожде-

ния, какие мне случилось видеть, отличаются решительною пустотою. Каждый спектакль заключается сайнетом (sainete); это ряд народных сцен, связанных между собой каким-нибудь и большею частью самым пустым случаем. Как плохи испанские актеры в больших комедиях и драмах, так они превосходны, увлекательны в народных сайнетах. Принужденные представлять в этих комедиях и драмах, почти всегда взятых с французского, положения, находящиеся вне их жизни и образования, — бедные артисты играют свои народные сайнеты с явным наслаждением. Эти сцены, при ничтожности завязки, исполнены необыкновенной живости и остроумия; в высшей степени натуральная игра делает их истинно увлекательными. Сайнет, всегда наполовину импровизируемый, отчасти походит на арлекинады неаполитанского San Carlino; но Сан-Карлино^{235} надоедает своим однообразием. Главный интерес этих милых арлекинад прежде составляло свободное остроумие Пульчинелла, но с тех пор как цензура и полиция доброго и набожного короля обеих Сицилии привязали Пульчинеллу язык

^{236}, арлекинада потеряла весь свой огонь и жизнь. Арлекинада представляет народную неаполитанскую жизнь, но с насмешкою над ней, сайнет ограничивается одним верным воспроизведением испанской народной жизни; арлекинада не выходит из шутовства, сайнет никогда не смеется над национальными обычаями: испанцы слишком любят свою народность и никогда не позволяют представлять ее в комическом виде с какой бы то ни было стороны. Содержание сайнетов составляют вечеринки, ссоры, волокитство, в которых иногда замешан англичанин, или француз, или испанский щеголь на французский манер; они всегда играют смешную или плачевную роль в соперничестве с андалузским тајо; иногда замешиваются сюда провинциальные соперничества, бой на ножах, и все оканчивается народными песнями и плясками. Я видел один сайнет, наполненный насмешками над духовенством, которые, впрочем, нисколько не касались до сущности предмета; но тем не менее мой товарищ француз (!)^{237} был неприятно поражен, когда дьячок, главное лицо сайнета, начал на весь

театр петь «De profundis»^{238}. Замечательно, что в сайнетах супружеская верность всегда остается торжествующею; кроме того, сайнет — всегда горячий защитник всего национального и враг всего чужеземного. К сожалению, я не привык еще к севильянскому наречию, и многое характеристическое в сайнетах ускользает от меня; в Севилье, да и вообще в Андалузии произношение горловое, кроме того, андалузцы в выговорах перемешивают s, z и c (последние две буквы, как известно, произносят кастильцы как английское th); а в словах и причастиях, оканчивающихся согласною буквою, они скрадывают ее; от этого севильянское наречие для слуха чрезвычайно мягко.

Гвадалквивир течет за стенами Севильи; по ту сторону его лежит предместье Триана, в котором живут ремесленники, цыганы и всякий сброд. Вчера был там праздник и танцы: танцевали больше фанданго и качучу (фанданго танцуется всегда в одну пару, качуча — в две и четыре). Оркестр состоял из двух гитар. Андалузские танцы танцуются не ногами, а корпусом: что за обаяние в этих сладо-

страстных перегибах стана! Но чтоб хорошо танцевать их, не довольно иметь гибкий стан (его имеют и балетные танцовщицы): для андалузских танцев нужны вдохновение, страстное безумие. Немногие из танцевавших давали чувствовать раздражающую, огненную поэзию андалузского танца. Да и в том виде, как танцует их народ, андалузские танцы всего вернее можно сравнить с пантомимным признанием в любви. Но тут были две пары, танцы которых выражали не одно признание: то были порывы и замирания, томная нега и все безумство наслаждения. Особенно привела всех в восторг одна пара majos, танцевавшая ola — танец нижней Андалузии. Ola собственно называется движение волны^{239}. В этом танце не делают ни малейших прыжков, нога не отделяется от земли: он состоит из одних движений тела, выразительных, страстных, порывистых, при которых женские формы являются в такой чарующей красоте, что я, только смотря на ola, понял... нет, больше, нежели понял, — обожание тела^{240}. В Европе этот танец показался бы ужасно безнравственным: я помню, в какое изумление при-

ведены были даже парижане, когда Лола Монтеc^[241] протанцевала им на сцене Большой Оперы настоящий андалузский jaleo[41]. Но всего замечательнее то, что севильянка, танцевавшая oía, при сладострастных движениях тела сохранила какую-то целомудренную грацию: это был сладострастный экстаз, исполненный всей бессознательной девственной стыдливости.

Пение oía (известно, что все испанские танцы поются) начинается вздохом; гитара брэнчит тихим мольным аккордом; гармония состоит только из двух аккордов, попеременно сменяющихся, сперва тихо и медленно, потом все сильнее и скорее. Куплета через два вышли девушка и молодой человек в щегольском костюме тајо, стали друг против друга и взмахнули руками: застучали кастаньеты; с каждым куплетом фигура танца изменялась; постепенно танцующие, гитаристы, певцы приходили в одушевление: «¡qué ruñalada!» (вот лихой удар ножа!) — раздавалось в толпе при ином ловком порывистом взмахе корпуса танцовщицы, — «¡rechiquetita, pero bien dada!» (мал, да славно дан!), «¡Máteme Usted la

curiana!» (бейте мокрицу!)[42] — вскрикивал в одушевлении гитарист, ускоряя темп... Эти долгие замирающие вздохи, которыми начинался и оканчивался каждый куплет, этот задышающийся от страсти танец под меланхолическую, тоскующую мелодию, при живом, стремительном темпе — все это вместе производит впечатление, которого я не умею передать...^{242} Но для таких танцев, как ola и jaleo, не довольно страсти и гибкого стана: для них нужно еще уменье, и Севилья и Кадис славятся учителями андалузских танцев. Народ же обыкновенно танцует фанданго, болеро и сегидилью. Когда мужчина хочет танцевать с какою девушкою, то бросает у ног ее свою шляпу; девушка после танца всегда обнимает, а иногда и целует своего кавалера, музыкантов и певца. Куплеты сегидильи и фанданго большею частию импровизируются, и если танцовщица очень хороша, то для получения ее поцалуха всегда являются охотники, из которых каждый, в свою очередь, поет свой куплет (copla), приноровленный к танцовщице и состоящий обыкновенно из четырех стихов. Вот несколько куплетов фанданго^{243}, которые

удалось мне запомнить по их особенной наивной оригинальности:

*La maldición que te echo
Desde hoy en adelante:
Es que los bienes te sobren
Pero que el gusto te falte.*

(Отныне и навсегда вот какое дам тебе проклятие: да будет у тебя много богатства, но да не будет у тебя вкуса).

*Toma, niña, esta naranja
Que yo cogí en mi huerto:
No la partas con cuchillo —
Porque mi corazón está dentro.*

(Возьми, дитя, этот апельсин, что я сорвал в своем саду: не режь его ножом, потому что в нем мое сердце).

*Mil almas que tuviera
Te diera juntas:
No las tengo, mas toma
Mil veces una.*

(Если б во мне была тысяча душ, я б их все вместе отдал тебе: нет во мне их, возьми лучше тысячу раз одну).

*No vos engría, señora,
Ser de alta esfera:
También para las torres
Hay escaleras.*

(Не важничай, синьора, что ты высокого рода: бывают лестницы и для высоких башен).

К сожалению, испанцы плохие певцы и во все не отличаются голосами. В Италии любой уличный мальчик удивит иностранца звучностью своего голоса и широкою манерой пения; а здесь по улицам большею частью слышишь только однообразный напев фанданго, который при дурном пенье в нос, свойственном андалузцам, походит на какую-то татарскую песню^{244}. Мелодия фанданго монотонна, однообразна и оканчивается словно меланхолическим вздохом, а танец жив, увлекателен. Испанская народная музыка для непривычного уха кажется очень резкою: может быть, это происходит от внезапных переходов из одного тона в другой. Но в этих острых и грустно-страстных мелодиях чувствуется вольная и смелая жизнь, которая не успела еще уло-

житься в европейские формы. Энергический, смелый, всегда тревожный очерк испанских мелодий так противоположен спокойному и широкому рисунку мелодий итальянских; но особенная оригинальность их в том, что они при меланхолической мелодии имеют всегда самый живой, стремительный темп. Манера народного пения очень похожа на манеру наших цыган, и я думаю, что наши цыганы должны превосходно петь испанские песни. В андалузских песнях беспрестанно употребляются слова цыганского наречия, и каждая сколько-нибудь увлекательная мелодия называется или цыганскою (*canción gitana*), или оцыганенною (*agitanada*). Удивительно, как цыганы повсюду верны своей природе и как могуч этот тип, если он в течение стольких столетий и на таких противоположных концах Европы, как Россия и южная Испания, сохраняет оригинальность и тождество своего характера²⁴⁵. Но здесь трудно отличить их от испанцев, только волосы у них курчавее и цвет кожи желтее, а цыганки, кроме этого, еще любят преимущественно одеваться в яркие цвета. Несмотря на то что здесь цыганы

не ведут кочевой жизни, как у нас, а живут оседло по городам, несмотря «на то», что благодаря инквизиции они исповедуют католическую религию^[246], — их привычки, характер, занятия те же, что и у нас. Я часто хожу к ним в Триану. Если есть охота посмотреть на их танцы, стоит только купить на две пиацеты (2 р. 50 асс.) вина и лакомств, и цыганы готовы петь и танцевать до упаду. У цыган oia сделался самым циническим танцем.

Комнаты «Fonda de la Europa»[43], в которой живу я, выходят на мавританский двор — ratio (здесь это необходимая принадлежность каждого дома; так устроены и кофейные, и гостиницы), со всех сторон обставлен он тонкими мраморными колоннами; посреди, в большой мраморной чаше, бьет фонтан, окруженный гущею южноамериканских растений и цветов, которые здесь так же привольно растут, как в своем отечестве. Во время жара над двором натягивается полотно, и в этой душистой прохладе мы завтракаем, обедаем, читаем газеты. Здесь ratio то же, что в гостиницах Франции и Германии общая зала путешественников. Комнаты, идущие около «двора»,

освещаются только своими стеклянными дверьми, выходящими на двор; окон нет. Внутренние комнаты севильских домов вовсе не соответствуют их изящным «дворам». Например, эта «Fonda de la Europa» — самая великолепная из всех виденных мною гостиниц Испании, а вы не можете представить себе более скромного убранства жилых комнат: стены выкрашены белой известью, самая простая кровать, обтянутая наглухо зеленой кисеею — от ночных мух, маленький стол из простого дерева, над которым висит маленькое, в четвертку, зеркальце; три стула, на полу плетеный соломенный ковер. Обед здесь сносен: одно уже то хорошо, что он готовится не на зеленом вонючем оливковом масле, а на свином сале. Кофе везде в Испании варят дурно, но зато в самом последнем крестьянском доме вам подадут такой шоколат, какого вы не найдете у любого гастронома в Европе^{247}.

По вечерам с 8 и 9 часов начинается гулянье на *alameda del Duque*. На юге нет наших долгих сумерек: ночь наступает тотчас по захождении солнца. *Alameda del Duque* —

небольшая площадь; обсаженная высокими, густыми акациями и освещенная множеством фонарей; по обеим сторонам сделаны скамьи, среди огромный фонтан, широким, рассыпающимся букетом бросающий воду и постоянно освежающий удушливо-теплый воздух. Около площади расположены кофейные, лавочки с холодного водою, лимонадом. Alameda del Duque — царство черных севильянок. Не ужасно ли, что эта поэтическая красота не показывается при дневном свете, а бывает видима только по ночам. К счастью для меня, теперь стоят яркие, лунные ночи. Что за живые разговоры, что за откровенный смех раздаются на этом гулянье! О свободе, царствующей здесь, в Европе не имеют понятия: здесь словно каждый у себя дома. Эта непринужденность, этот громкий смех, эта живость разговоров, как все это не походит на европейские гуляния, а тем менее на наши, на которые мужчины и женщины выходят с такими натянутыми, заученными лицами и манерами. Но что особенно замечательно — эта непринужденность, эта свобода, проникнутые здесь самую изящного вежливо-

стью; это не заученная, не условная вежливость, принадлежащая в Европе одному только хорошему воспитанию, а, так сказать, врожденная; вежливость и деликатность чувства, а не одних внешних форм, как у нас, и которая здесь равно принадлежит и гранду, и простолюдину. Испанец вежлив не из приличия, не с одними только порядочно одетыми людьми — в этом отношении здесь одежда не значит ничего; он равно вежлив со всеми, и денди здесь не стыдится поклониться одетому в плащ с заплатами или сказать, что он *знаком* вон с тем лавочником. У женщин в живости разговора иногда мантилья спадает с головы; эти мурильовские головки с нардом или жасмином в великолепных волосах, освещенные луною, производят впечатление обаятельное; ночной запах цветов, особенно нарда, страшно раздражает нервы: надобно быть здесь среди этой жаркой ночи, освежаемой фонтаном, ходить между этими толпами золотисто-бледных женщин, одинаково одетых в черное, одинаково покрытых черными кружевными мантильями, видеть эту яркую живость физиономий, этот африканский блеск

глаз, сверкающих из-за веера, наконец, дышать воздухом, напоенным нардом и жасмином из этих волос, — словом, надобно испытать одну такую ночь, чтоб понять все очарование Севильи.

На alameda не слышно слов señor и señora, а только doña Dolores, don Fernando; doña Angeles, don Luis; здесь еще более, чем в средней Испании, следуют обычаю звать друг друга по именам. Подумаешь, что находишься на каком-нибудь семейном празднике. А как вам покажется следующий обычай: на alameda можно заговорить с своим соседом или соседкой на скамье... не смейтесь над моими словами, не судите о Севилье по обычаям европейским и не спешите из этого заключать о легкости севильянок. Здесь это не удивляет, не оскорбляет женщины: здесь это в нравах. От этого нет города в Европе, в котором было бы больше случаев к знакомству и сближению. Но, по странному противоречию, для девушек здесь больше свободы, нежели для женщин. В Севилье вообще женщин втрое более, нежели мужчин; следствием этого то, что здешние девушки томятся не одною только

любовью, но и желанием выйти замуж, и в андалузских нравах каждой девушке иметь своего *novio* — жениха. Если вы понравились девушке, она тотчас даст вам это заметить; заговорите с ней, когда она вечером прогуливается, и хоть бы с матерью, она ответит вам и скоро позволит прийти ночью к ее окну. Прогулка по Севилье ночью особенно интересна. Беспреестанно видишь у окон мужчин в плащах и андалузских шляпах: на ночные беседы у окон и балконов непременно ходят в простонародном костюме. Мужчина при вашем приближении заворачивается в плащ так, что закрывает им свое лицо; разговор прервался — и, проходя мимо окна, вы увидите в стороне его два сверкающих глаза... глаза андалузки и в темноте сверкают! Но остерегайтесь по несколько раз проходить перед окном, у которого идет таинственная беседа: вас могут принять за подсматривающего соперника, а здесь никто не ходит на ночное свидание, не запасясь стилетом или по крайней мере ножом. Даже ночные патрули уважают кавалеров ночи, позволяя себе только невинные остроты на их счет. Мать знает, что дочь

ее разговаривает по ночам у окна с молодым человеком; дочь говорит, что это ее novio — жених. Бóльшая часть браков составляется посредством этих ночных разговоров; случается, что иные разговаривают так по целому году и после женятся, выдаясь только или у окна, или в церкви. Если novio отстал, на девушку это не бросает ни малейшей тени, да и на его место тотчас же является другой. Сколько иностранцев, приехав сюда на неделю, заживаются здесь по году и более, между тем как в Севилье, кроме «бега быков» и плохого театра, нет никаких развлечений. Но эти нравы имеют столько романтической прелести, в этих чудных женщинах столько потребности любить (здесь это их единственное занятие!), и я понимаю, как в двадцать лет, при горячей крови, пылком, увлекающемся сердце, и если при этом стремление к наслаждениям преобладает над всеми другими стремлениями, — я понимаю, как можно в Севилье прожить целые годы в самом блаженном сне, который, право, стоит многих других, деловых снов. Но я должен, однако ж, сказать, что здешние молодые люди жалуются на севиль-

ских девушек, будто они имеют постоянную целию выйти замуж и в своих сближениях с молодыми людьми, в своих ночных свиданиях у окон следуют советам матерей, с которыми будто бы заключен у них оборонительный и наступательный союз. Впрочем, мне случилось удостовериться и в противном. Я знаком здесь с одним молодым американцем из Нового Орлеана: он приехал взглянуть на Севилью — и живет здесь уже восьмой месяц. Он любит и любим. Мать запретила даже его любезной сидеть по ночам у окна, оконная рама была заделана железом, но дочь все-таки нашла средство видеться с ним... Правда, что здесь нет, ничего легче, как познакомиться с девушкою и получить от нее свидание у окна, но между этого рода сближением и ее любовью — далеко. Первое есть, может быть, не более как страшное средство раздражить чувственность и привязанность, чтоб заставить жениться; другое... да другое не требует объяснений...

Андалузка в высшей степени кокетлива; она тотчас чувствует на себе глаз мужчины и никогда не переносит его равнодушно. Надоб-

но привыкнуть к тону севильских женщин: в их манере есть что-то резкое; но это резкое не от грубости, а от необыкновенной живости, стремительности чувств; может быть, отсюда происходит и фамильярность здешних женских обществ, фамильярность, исполненная самого тонкого, так сказать, внутреннего приличия, этой изящной вежливости, так непохожей на приторную церемонность северных обществ (не исключая и парижского), которую, бог знает почему, считают за хороший тон. При всеобщей одинакости черного платья и мантильи, севильянкам невозможно щеголять модными костюмами: их главное щегольство — в маленьких ножках, и надобно сказать, что их руки и ноги — формы совершеннейшей. Если о *породе* женщин можно судить по рукам, ногам и носу, то, без всякого сомнения, порода андалузок самая совершеннейшая в Европе. Я думаю, щегольство маленькой ножкой заставляет севилянок даже выносить страдания: они носят такие башмаки, в которых нет возможности поместиться никакой ноге в мире; кроме того, их башмаки едва охватывают пальцы ноги. Глаза се-

вильянок состоят из мрака и блеска, mucho negro у mucha luz — много тьмы и много света, — как выражается одна севильская песня; и действительно, за черным блеском их не видать белка, и столько в них дерзкой выразительности, что, поверьте, нужно обжиться здесь для того, чтоб не чувствовать от них особенного волнения. У испанцев есть особенный глагол — ojear, бросать взгляд, и каждая севилянка владеет этим в совершенстве. Она сначала потупляет глаза и, поровнявшись с вами, вдруг вскидывает их: внезапный блеск и пристальность взгляда действуют, как электричество. А это еще взгляд равнодушный!

Здесь женщины ничего не читают; и это отсутствие всякой начитанности придает андалузкам особенную оригинальность: их не коснулись книжность, вычитанные чувства, идеальные фантазии, претензии на образованность^{248}. Ведь остроумное невежество лучше книжного ума. Невежество севилянки при ее живом воображении, при огненной подвижности ее чувств, при этой врожденной, свойственной одним южным племенам тон-

кости ума, исполнено прелести увлекательной, перед которою так называемая образованность европейских дам кажется приторною книжностью. Нигде не встречал я такого странного слияния детской наивности с дерзостью и удалью: это и ребенок, и вакханка вместе. В наружности севильянки нет и тени того спокойствия, которое более или менее отличает женщин всех наций в Европе; это в высшей степени нервическая натура, но только не в болезненном, северном смысле этого слова. Я думаю, никакая женщина в Европе не может возбудить к себе такого энтузиазма, как андалузка. В глазах их нет выражения кротости, как в глазах северных женщин, — в их глазах блестит смелый дух, решительность, сила характера. Того, что мы называем женственностью, сердечностью, — не ищите у них. В кокетстве андалузки прорывается что-то тигровое, в их улыбке есть что-то дикое; чувствуешь, что самое прекрасное лицо тотчас может принять выражение свирепое... и что ж удивительного! Эти обаятельные головки, эти женщины с невообразимою негою движений, эти глаза, о выразительно-

сти которых невозможно иметь понятия, не бывши в Андалузии, — они нынче утром наслаждались убийством, равнодушно смотрели на лошадей, которых внутренности влачили по земле, они знают до тонкости все подробности смертных судорог, они смотрели на смерть с увлечением, со страстию... а вечером вы слышите здесь, как слышал я вчера, поздно возвращаясь к себе домой, меланхолические аккорды гитары, и те же с дикою улыбкою уста задумчиво поют:

*Más vale trocar
Placer por dolores
Que estar sin amores.
Donde es agradecido
El dulce el morir;
Vivir en olvido
Aquél no es vivir;
Mejor es sufrir
Pasión y dolores,
Que estar sin amores.
Es vida perdida
Vivir sin amar
Y más es que vida
Saberla emplear;
Mejor es penar*

*Sufriendo dolores
Que estar sin amores.*

(Лучше променять радость на горе, чем жить без любви.

В счастья и умереть сладко; жить в забвении — все равно, что не жить; лучше переносить страданье и печаль, чем жить без любви.

Жизнь без любви — пропащая жизнь, а уменьье употребить жизнь важнее самой жизни; лучше томиться, перенося горести, чем жить без любви).

IV

Кадис. Август.

Ранным утром, когда верх арабской колокольни севильского собора был еще пурпуровым от первых лучей солнца, взошел я на пароход, который по Гвадалквивиру отправлялся в Кадис. Несколько молодых женщин, завернувшись в свои мантильи от утренней прохлады, сидели на скамье набережной; вышли ли они подышать свежестию утреннего воздуха или посмотреть на отплытие парохо-

да — не знаю, но замечательно то, что с ними не было ни одного молодого человека. Вероятно, следуя севильским нравам, каждая из них провела ночь в разговорах у окна с своим любимым; но сохрани бог, если бы этот повид проводил ее, например, на прогулку: это считается крайним неприличием и безнравственностью. Можете посудить, сколько страстей и огня сосредоточивает для благодатной ночи это дневное отдаление, сколько эта стыдливая скромность дня говорит за непринужденность ночи и сколько, например, английская фамильярность между молодыми людьми и девушками способствует к развитию в них бесстрастности и холодности. Английские матери вернее поняли человеческую природу...

И вот поплыли мы по Гвадалквивиру, мутно-рыжей реке, обставленной самыми скучными берегами. Около Севильи небольшие селения, лежащие на самом берегу и окруженные апельсиновыми и оливковыми рощами, еще веселят изредка глаза; но далее всякий признак обитаемости исчезает. Пустыня, аравийская пустыня — вот существенный

пейзаж Испании. Характер живописной, умеренной красоты, который лежит на пейзажах европейских стран, здесь совершенно неизвестен. Южная Андалузия так же пустынна, как и каменистые долины старой Кастильи. Здесь красота не живописная, а величавая; прибавьте к этому редкость человека и следов его присутствия. Нигде здесь природа не имеет спокойного, ласкающего характера. Иногда в расщелине скалы, около горного ручья, вдруг поразит вас невыразимая роскошь пламенной почвы, и потом надолго голые, зардевшиеся на солнце скалы или дико-пустынное поле. Не от этого ли и основу испанского характера, как мне кажется, составляет какая-то страстная грусть, переходящая иногда в страстную же веселость. Это всего более чувствуется здесь в музыке: в ее выражении грусти нет ни малейшего сходства с кроткою, мечтательною меланхолиею жителей севера; вместе с тем она отличается и от итальянской грации. В мелодиях испанских нет того, что называют классическим стилем: это или монотонная, ноющая жалоба, или страстный, удалой порыв.

При впадении своем в океан Гвадалквивир расширяется; в продолжение двух, трех часов пароход наш шел по океану. Вдали лежал белый, как снег, Кадис. Чем ближе подъезжаешь к нему, тем вид его становится величавее. Город расположен на мысе, выдавшемся в море: узкой полосы земли, связывающей его с материком, не видать, и Кадис с своими ослепительно белыми зданиями, украшенными башенками, издали походит на громадный, лежащий в океане замок. Вид с высоких берегов города на ярко-голубое море очарователен. Невозможно представить себе этой мягкой, яркой прозрачности воздуха, в котором мачты самых дальних судов обозначаются с ясною определенностью. Но гавань Кадиса вовсе не оживлена. Кроме совершенного упадка торговли с отделившимися американскими владениями, Кадису сильно вредит соседство Гибралтара, сделавшегося центральным местом контрабанды, а следовательно, и внешней торговли Испании. И торговля Кадиса не подыметя, пока не изменится теперешний испанский тариф. В последнее время раз уже сделано было кортесам предложение

объявить гавань Кадиса свободною (puerto franco), но против этого депутаты фабричной Каталонии подняли такую грозную оппозицию, что предложение осталось без всякого действия.

Кадис отличается от всех городов Испании: красивые здания, светлые улицы, удивительная чистота домов, их ослепительно белый цвет, повсюду необыкновенная опрятность, наконец, совершенное отсутствие в архитектуре феодального и мавританского характера — все это делает Кадис решительно непохожим на прочие испанские города. Здесь жители особенно стараются о внешнем украшении своих домов (чего нет нигде в Испании): ежегодно белят их; балконы и плоские крыши домов, обнесенные перилами, уставлены цветами; на всякой крыше башенка (mirador), чтоб любоваться оттуда морем. На улицах во всякое время дня множество народа (а в остальной Испании выходят только вечером), всюду характер праздничный, оживленный; словом, все свидетельствует здесь, что город этот создан не средневеково-го, феодально-рыцарскою Испаниею, а инте-

ресами нового времени, не воинственно земледельческими нравами, а элементом, столь чуждым остальной Испании, — торговлею. Кадис — город торгового сословия. Его прямые, мрамором вымощенные улицы, красивые площади, мраморные дома, огромные магазины напоминают еще о том недавнем времени, когда Кадис был богатейшим торговым городом мира. События низвергли его, и вместо прежнего знаменитого торгового города теперь это одна из неприступных крепостей Европы. Стены трех- и четырехэтажных домов так же массивны, как стены укреплений: строившие их, очевидно, рассчитывали на бомбардирование неприятеля; лестницы домов большею частью из белого мрамора, полы в домах выложены разноцветным; яркая белизна домов, особенно сверкающая при темно-голубом небе, необыкновенная чистота улиц, окрашенные зеленою краскою перила крыш и балконов, уставленных цветами, — все это так нежно, пестро и мило, что больше походит на игрушку, чем на город. Землетрясения несколько раз разрушали Кадис; а в 1596 году англичане большую часть его со-

жгли; вот отчего из города, может быть, самого древнейшего на Пиренейском полуострове, Кадис стал самым новейшим городом. Необыкновенная оживленность улиц, примыкающих к гавани, и этот праздничный, изящно-опрятный вид заставляют сначала подумать, что это все еще прежний цветущий, торговый Кадис; но стоит только выйти из улиц, примыкающих к гавани, — и между мраморными плитами мостовой растет высокая трава, длинные улицы пусты, всюду признаки падения и запустения. Главные торговые дома Кадиса имеют теперь немецкие и английские фирмы.

Здесь чувствуется, что европейская цивилизация глубоко проникла в умы и нравы жителей; на всем лежит общеевропейский колорит. Конечно, художник, дорожащий внешнею оригинальностью нравов и обычаев, не останется долго в Кадисе; но кому лежат к сердцу успехи цивилизации, кто смотрит на историю и общественность не с одной только артистической стороны, тот порадует-ся за Кадис, несмотря на то что он всего менее может дать понятие об остальной феодаль-

но-мавританской Испании, — порадуется, что Кадис смотрит не в федеративную муниципальность прошедшего, а вперед. Не от этого ли происходит, что здесь редко встречаешь мужчин в национальном андалузском плаще, а везде видишь только европейские сюртуки и пальто; житель Кадиса (gaditano) одевается по-андалузски только тогда, когда едет внутрь Испании или живет за городом. Правда, простой народ держится еще своей андалузской одежды, но он оставил уже пестрые арабски своей куртки, ее фантастические украшения и вместо коротких, с множеством металлических пуговиц, панталон надел европейские панталоны. Отчизной настоящей андалузской одежды остаются теперь Севилья и Гранада.

Вероятно, к английским нововведениям принадлежит здесь и страсть к бою петухов: каждое воскресенье бывает сражение в осободля того устроенном амфитеатре. При мне публика состояла человек из полутора ста. Каждый из участвовавших держал своего петуха у себя под местом. Перед началом боя петухов свесили, и только петухи равного весу

допускались к битве. По окончании предварительных приготовлений начались заклады, которые во все продолжение боя беспрестанно предлагались и принимались. Некоторые из петухов отличились уже в прежних боях: их знали охотники по виду и держали за них самые большие заклады. Постепенно пущены были шесть пар петухов. Один убил своего противника с первого же удара шпорами. Иной, чувствуя превосходство своего противника, бежал от него прочь, продолжая бегать вокруг небольшой арены; противник за ним и, описывая меньший круг, уже настигал его, как вдруг преследуемый оборачивался, быстро нападал на своего преследователя и после короткого боя повергал его на землю... и надобно видеть энтузиазм публики к победителю. Иногда петух ослепляет другого или бегущая из раненой головы кровь мешает ему смотреть; в таком случае хозяин раненого петуха может взойти на арену и, держа за хвост своего петуха, направлять его движения. И как скоро слепой петух замечал близость врага — тотчас же с рьяностью нападал на него, и до тех пор не отстают они друг от друга, по-

ка один из них не падет замертво: такая уж храбрая натура петуха! Но убивают они друг друга редко. По окончании боя выносят обе враждующие стороны, пускают им кровь и кладут в холодную воду. Большею частью они поправляются, и хорошие петухи берегутся к следующим битвам.

При этом бое, равно как и при бое с быками, особенно интересны живость и самостоятельность народного характера. В Испании более, нежели в какой-либо стране Европы, каждая провинция подсмеивается над другой, и о каждой ходит в народе особенная поговорка. Жители северных провинций обыкновенно подсмеиваются над андалузцами, называя их хвастунами, храбрецами на словах и трусами на деле. Может быть, и действительно у жителей северных провинций больше твердости, настойчивости и энергии (о бискайцах говорят, например, намекая на их настойчивый характер, что они колотят в стену гвоздь не острием, а шляпкой); но зато андалузцы — самые отважные бойцы с быками, и все лучшие матадоры — из южной Андалузии; кроме того, андалузцы самые смелые контрабанди-

сты, и у них беспрестанно кровавые сшибки с таможенною стражею. Но вообще натура андалузца изнеженная и мягкая; он больше всего любит покой и свои привычки. Будучи в душе прогрессистом, андалузец прежде всего сибарит. Прогрессист он потому, что его торговые интересы требуют прежде всего неприкосновенности личности и собственности, и во время восстания дона Карлоса вся Андалузия была на стороне королевы. Торговый класс в Андалузии многочисленнее, нежели в других провинциях; но андалузец хотя и самый искренний прогрессист, в то же время слишком изнежен, чтоб для общественной пользы ставить свой лоб под пули. Таков в Испании средний класс вообще, в Андалузии — от изнеженности и богатства, в северных провинциях — от малочисленности и разъединенности. Одни каталонцы составляют исключение, но там это имеет прямую причину в промышленных интересах. Что же касается до простолюдина андалузца, если есть у него женщина, апельсины, гитара и солнце, то выше этого блаженства и не мечтает его воображение. На днях в кофейной, где я

пью после обеда кофе, один житель Кадиса, разговаривая со мной, отвечал мне на мое замечание о неусыпной деятельности и богатстве англичан: «У англичан много денег, это правда; да я не возьму всего их золота, чтоб вести их жизнь. Мы, испанцы, счастливы, когда есть у нас несколько сигар и хорошенькая девушка (*muchacha*); мы наслаждаемся тем, что нам бог посылает. Англичанин никогда не доволен. Я сам занимался торговлей в Гибралтаре, знал много почтенных англичан, но никак не мог ужиться там от скуки: нет там ни *corridos*, ни андалузских песен, ни болеро, — нет таких женщин, как у нас, в Кадисе!». Конечно, андалузец был совершенно прав; но, не знаю почему, мне тут же пришел на память ответ одного испанца, который на совет приняться за работу, чтоб избавиться угрожающей нищеты, заметил глубокомысленно: *señor caballero*, человек сотворен на земле для того, чтоб ничего не делать.

Но этого нельзя применить к бискайцу, каталонцу или жителю Арагонии. Закал северного испанца далеко отличается от южного; к тому же у андалузца мало нужд, да и те с из-

лишком удовлетворены. Если случится у него беспокойный позыв к славе, к приключениям, конечно, он не пойдет их искать на поле сражения, а сделается *caballista*, то есть добудет себе лошадь и станет бандитом, чтоб в деревне его рассказывали о нем, как рассказывают о знаменитом бандите Хозé Мáриа. Андалузец — контрабандист по сердечной склонности и большой любитель «рыцарства больших дорог». Но и тут наполовину входит страсть к приключениям. Во всяком случае, он готов скорее сделаться вором, нежели солдатом, потому что ничто так не противно душе его, как военная дисциплина; и в этом отношении арабские привычки его сохранились еще во всей силе.

Ни в каком другом городе Испании и уж, конечно, ни в каком городе Европы иностранец не найдет себе такого радушного приема, такой приветливой вежливости, как в Кадисе. Несколько обыкновенных рекомендательных строк или разговор за *table d'hôte*[44], из которого сосед ваш узнает, что вы иностранец и незнакомый с городом, — этого совершенно достаточно здесь, чтобы вы тотчас же

введены были в порядочный дом и потом через него познакомились и с лучшими домами города. В этом отношении Кадис самый любезный город в Европе. Здесь нет тонкой чопорности французских салонов, нет и серьезной вежливости мадритских кружков. Кадис сжат в такое тесное пространство, что все жители его знакомы между собою; конечно, в этом есть своя, и очень дурная, сторона, но она уже принадлежит всем небольшим городам. Нравы Кадиса более всех других городов Испании отличаются тонкою аристократическою вежливостию, соединенною с самою простодушною, непринужденною доверчивостию, которая, кажется, принадлежит здесь равно всем сословиям, но в особенности женщинам. Домашние общества имеют здесь такой же характер, как и в Севилье. Андалузцы не приносят в них с собою этих пустых и важных лиц, которые, бог знает почему, считаются в европейских салонах за хороший тон. Часа на два, на три сходятся здесь поболтать, пошутить; самая откровенная веселость составляет существенную черту андалузского характера. Угощение состоит из холодной во-

ды с *azucarillo* (очищенная и отвердевшая пена сахара), иногда из лимонада. О непринужденности, с какою женщины обращаются с мужчинами, вы не можете составить даже приблизительного понятия, и в какое бы благородное негодование пришли наши дамы, если бы видели, что за свободный тон царствует здесь в разговорах. Здесь молодые девушки часто говорят о предметах, о которых наши дамы не позволили бы себе даже намека; а дамы здесь, разумеется, откровеннее. От этого элемент двусмысленностей и тонких намеков, которые придают особенную прелесть французскому разговору, здесь почти не существует. Замечательно, что в южных странах об этого рода приличиях имеют совершенно другие понятия, нежели в северных; и чувство *тела* вообще присутствует с большею искренностию в сознании южного человека, нежели в сознании северного. Разрыв между духом и телом, против которого теперь начинают восставать естествоиспытатели, далеко не так силен в сознании южного человека^[249]. Природа и тело, несмотря ни на какие эксцентрические учения, не получили

в глазах его того клейма отвержения, какое поставили на них северные народы. В этом легче было убедить северного человека, окруженного угрюмою, суровою природою, и которого холодная кровь не расположена была протестовать против этой опалы. На юге, где древнее созерцание глубоко сохранилось в горячей крови народов, где природа так дружелюбна и так очаровательно хороша, опала на тело, воздвигнутая средневековым воззрением, несмотря ни на какие учреждения, осталась без успеха.

А как прекрасны здесь женщины! Эти города южной Андалузии — совсем особенный мир. Нет других развлечений, кроме любви, нет других занятий, кроме волокитства (дурное слово, которое не знаю, чем заменить). Днем (но это не идет к Кадису: в нем нет андалузской исключительности) делают siesta (отдых), затворяются от жару по домам, — вечер и ночь посвящены интригам и любви. Женщины приветливы и любезны. Это какая-то наивная любезность, вьющаяся около вас как плющ и располагающая чувства к самым задушевным ощущениям. И это тем удивитель-

нее, что женщины здесь обязаны всем одной только природе; цивилизация едва научила их (да и то изредка) читать и писать. Разговор их не блещит ни образованностью, ни сведениями, не вертится около современных явлений литературы или политики — ничего этого нет, и со всем тем при этом милом лепете, при этой «музыке речей» забудешь о самых идеальных и назидательных дамах. В Андалузии нет любви открытой, покоящейся на лаврах своих, принявшей вид супружества, как, например, во Франции: здесь она не прогуливается рука об руку по улицам, не ходит в кофейные и театры: она любит здесь ночь, уединение, таинственность. Ночь, эта южная, влажная, теплая ночь, — богиня андалузов. А никто бы в мире, кажется, не должен так любить солнца, как южная испанка, чтоб во всей яркости видна была красота ее, соединяющая в своих смелых, энергических и нежно-томных линиях Микельанджело с Мурильо. А эти большие, влажно-бархатные, оттененные длинными ресницами глаза! Этот впивающийся, сверкающий взор! Даже в темноте сверкают глаза южной испанки. Между

севильянками и женщинами Кадиса есть некоторая разница: здесь они не так смуглы, как севильянки; их лица цвета белого полированного мрамора, при котором особенно выступают их тонкие изящные черты; кроме того, они несколько полнее и выше севильянок. Говорят, что в свободе нравов Кадис далеко превосходит Севилью; не знаю, насколько это справедливо, по крайней мере и здесь также по ночам беспрестанно встречаешь novios (женихов), разговаривающих у окон с своими любезными; иной стоит с гитарой; когда подойдешь, разговор прерывается и раздаются аккорды гитары; отойдешь несколько шагов, аккорды умолкают и беседа начинается снова. Я еще в письме моем из Севильи говорил, что в южной Андалузии проводить девушке ночи у окна в разговорах с молодым человеком считается самым обыкновенным делом, на которое здесь вовсе не обращают внимания, и обычай этот существует равно в низшем, как и в высшем классе, где тоже девушке дозволяется иметь своего ночного novio и даже менять его сколько ее душе угодно.



Разбойник.

Марагат (представитель этнической группы марагатов).

Здесьшний коммерческий клуб получает множество газет; тут я видел газеты Америки, Мексики, Бразилии; журнальная комната особенно отличается комфортом, совершенно необыкновенным в испанских нравах, которых доходящая почти до лишений умеренность во всем, что касается до образа жизни, истинно удивительна. Во всей Испании, исключая Кадиса, вы не найдете комнат, оклеенных обоями; мебель в самых порядочных домах простая, крашеная, всегда полинявшая и такой странной уродливой формы, что, конечно, она пережила уже несколько поколений. В Кадисе, по крайней мере в тех домах, где мне случилось быть, заметно сильное влияние общеевропейской уборки комнат и уродливая полинялая мебель не встречается. Но меня особенно удивила образованность жителей Кадиса, их здравые понятия о положении Испании и особенно отсутствие в них исклю-



чительной национальности. Минувшая слава и могущество Испании здесь не первое слово, как, например, у кастильца: здравый практический смысл торгового города оставил в покое прошедшее, он устремлен в настоящее и будущее. Кроме того, самый характер жителей Кадиса как-то резко отличается от характера жителей других городов Испании. Может быть, это происходит от особенного положения его: здесь всегда живет множество иностранцев, здесь постоянное сообщение с разными национальностями; может быть, и особенно действует еще и величавый вид океана, со всех сторон облегающего город. Неподвижность в образе жизни и нравственная сидячесть составляют отличительную черту остальной Испании, особенно средней, а в Кадисе съездить в Гавану считается прогулкою, и здесь, кажется, всякой побывал там; отсюда ходит пароход в испанские колонии, наконец, гавань Кадиса служит станциею для пароходов между Англиею, Гибралтаром и Египтом; словом, здесь беспрестанно представляется случай ехать во все части света. Может быть, вследствие всего этого в Кадисе менее

национальных элементов, чем в прочих городах Андалузии, или, вернее сказать, в нем менее национальной исключительности и предрассудков, потому что жители Кадиса не раз доказывали, что они дорожат честью и достоинством Испании^{250} и что любовь к отечеству состоит не в относительной любви к национальной одежде, старым преданиям и обычаям^{251}. На обычаях здесь лежит сильный европейский колорит, и андалузский блестящий костюм — большая редкость. Этого жаль! национальные особенности одежды, обычаев, словом, жизни, имеют часто такую прелесть, а цивилизация в своем начальном действии пробуждает в обществе так много пустого обезьянства, такую безличность и бесхарактерность и такой прозаический уровень, что сколько раз здесь, смотря на какого-нибудь франта средней руки, карикатурно подражающего парижским модам, и видя возле него андалузца в своем изящном национальном платье, невольно спрашиваешь себя: неужели национальное так противоположно общечеловеческому, что первое стремление цивилизации всегда — стереть национальную

одежду, обычаи, — словом, то, что больше всего лежит к сердцу народа. Конечно, национальный характер, освобождаясь от предрассудков исключительности и опираясь на науку и терпимость, поднимается свободнее, могущественнее, чище; но все-таки, смотря на первоначальные действия цивилизации, я не могу удержаться от сожаления, что, истребляя плевелы, она часто вырывает вместе с ними и прекрасные цветы. Только женщины здесь в этом отношении составляют исключение: они сохранили свою грациозную мантилью, не обменяли ее на безобразную шляпку. Во всем остальном жители Кадиса — истинные андалузцы: они веселы, в высшей степени общительны; кофейные и гулянья здесь всегда полны народу. Даже, я думаю, нигде столько не гуляют, как в Кадисе, особенно женщины, которые, я и забыл вам сказать, слывут самыми грациозными во всей Испании, los cueros más salerosos de España. Нигде лучше их не умеют носить мантильи, владеть веером. Утром гуляют здесь за Puerta de tierra, единственные ворота, которыми сообщается город с твердою землею; в половине дня — под ар-

кадами plaza de San Antonio; по закате солнца и до поздней ночи — на очаровательной Alameda, на берегу моря. В обществах здесь самая любезная, свободная простота, и иностранец тотчас становится как бы членом семейства. Поговорив немного с хозяйкою, гость, если хочет, может выбрать себе место возле какой-нибудь дамы или девушки, где-нибудь в углу, и просидеть с ней целый вечер: это никому не бросится в глаза.

Мне случалось слушать о нравственности Кадиса не очень лестные отзывы; правда, что я слышал их здесь только от людей пожилых или угрюмых. Не знаю, до какой степени отзывы эти справедливы. Но мне кажется, тот очень ошибается, кто так называемую безнравственность Кадиса примет за бездушную легкость нравов, которая так обыкновенна в Париже. В этом отношении между парижскими женщинами и андалузскими такая же разница, какая между комической оперою Обера и лирическою Россини или Беллини, между вдохновением и капризом, энтузиазмом и простым ощущением. Послушайте, что говорит Байрон о женщинах Кадиса, и назы-

вайте их после этого безнравственными, если можете:

«О, не говорите мне больше о климатах севера и английских дамах! Вам не суждено было, как мне, видеть милую (lovely) девушку Кадиса. Нет у ней голубых глаз и белокурых английских локонов; но как превосходит ее выразительный взор — лазурь томных очей!

«Как Прометей, она похитила у неба огонь, темным блеском сверкающий сквозь длинные шелковистые ресницы ее глаз, которые не могут удержать своих молний. Смотря, как на белую грудь ее падают волнующиеся пряди ее черных волос, вы сказали бы, что каждый их локон одарен чувством и, змеясь по этой груди, ласкает ее.

«Прелести наших молодых англичанок обольстительны на вид, но уста их очень медленны на признание в любви. Рожденная под более пламенным солнцем, испанка создана для любви, и если вас полюбила она, — кто восхитит вас так, как девушка Кадиса!

«Молодая испанка не кокетлива; она не наслаждается трепетом своего любезного: в любви ли, в ненависти ли — она не знает

притворства. Ее сердце не может быть ни куплено, ни продано: если оно бьется, оно бьется искренно, и хотя его нельзя купить золотом, — оно будет вас любить долго и нежно.

«Молодая испанка, которая принимает вашу любовь, не огорчит вас никогда притворными отказами, потому что каждая мысль ее устремлена к тому, чтоб доказать вам всю свою страсть в час испытания (*in the hour of trial*). Если чужеземные солдаты угрожают Испании, она бросается в бой, разделяет опасности, и когда любезный ее падает, она схватывает копьё и мстит за него.

«Когда, при вечерней звезде, она вмешивается в веселое болеро или поет под звонкую гитару о христианском рыцаре и мавританском воине или когда, при мерцающих лучах Геспера, перебирает она прекрасною ручкою свои четки или присоединяет голос свой к набожному хору, поющему сладостные, священные гимны вечерни...

«Словом, что бы она ни делала, невозможно видеть ее без сердечного волнения. Пусть же женщины, менее ее прекрасные, не пори-

цают ее за то, что грудь ее не наполнена холодом! Я бродил под разными климатами, видел много милых, чарующих женщин, но нигде в другой земле (и очень мало в моей родине) не встречал подобную черноокой девушке Кадиса»[45]^{252}.

Не знаю сколько тому лет, положено было с каждого пиастра, приходившего сюда из Южной Америки, собирать по реалу (25 коп. асс.) на постройку в Кадисе собора. В 1772 году начата постройка его, и с год тому как собор окончен внутри^{253}. Это одно из лучших произведений новой архитектуры. Вся внутренность (в позднейшем стиле Возрождения)^{254} из превосходного белого мрамора; со всех сторон вьются арки, поддерживаемые коринфскими колоннами: я не знаю ни одного храма, который бы имел столько веселой, воздушной грации. Грация древних была строга и величава; грация храмов средних веков обнаруживалась только в украшениях и подробностях, подчиненная созерцательно-мистическому характеру целого. А нашему времени где взять чувства и идей для созда-

ния храмового стиля! Теперь нужен огромный талант даже для того только, чтоб выйти из общей рутины храмового стиля, — все равно — итальянского, византийского или готического. Теперь художники придумывают для храма такой или другой религиозный характер, *соображаясь* с привычками и характером народа, среди которого они живут. Но живой симпатический союз между художником и народом разорван. Искусство не терпит всего того, что не истекает из внутреннего стремления и свободной фантазии; оно не терпит придуманности и расчета и с жалостью смотрит на труды нашего века по части храмового стиля. Архитектор собора в Кадисе, кажется, решился выстроить просто прекрасное здание — и успел в этом вполне: сердце бьется безотчетною радостью под этими светлыми, играющими арками. Как весело раскинулись эти своды! Как игриво сгруппировались колонны! Словом, собор Кадиса есть лучший новейший собор, какой только я знаю.

Сверкающая синева здешнего неба и удивительная прозрачность атмосферы, можно сказать, ослепляют глаза и придают природе

и всему окружающему такой восхитительный, праздничный вид, какого я не встречал даже в Сицилии, где тоны воздуха и природы гораздо гуще, влажнее и оттого мягче для глаз. От одного этого мои северные органы ощущают здесь какое-то нервическое наслаждение. Для жителей Севера путешествовать по этим странам — все равно что пить самое раздражающее, огненное вино. Но эта же родственность с Африкой, которая придает здешнему небу и природе такую обаятельную красоту для северных глаз, делает Кадис иногда невыносимым. Я говорю о ветре, поднимающемся со стороны Африки, называемом здесь *el viento de Levante*[46]: это симун, ветер пустыни. Он захватывает дыхание, мертвит природу; самый океан теряет при нем свой лазурный блеск и при совершенно ясном небе принимает цвет свинцовый; волны встают горами. Этот ветер приносит с собой знойную температуру Африки, даже пыль пустынь ее; окрестность скрывается за серою пылью, цвета и тоны воздуха исчезают, солнце тускло, воздух тяжел; кровавый цвет заката сменяется серою ночью, беспрестанно

освещаемой молниею без грома. Ко всему этому нервы находятся в страшном раздражении: три дня я страдал от этого ветра. Мне говорили, что здесь большая часть убийств совершается в те дни, когда дует раздражающий viento de Levante.

В Кадисе, где контрабандная торговля, по самому положению города, вокруг замкнутого стеною, связана с большими трудностями, теперешняя система таможенная возбуждает против себя больше противоречий, чем в других приморских городах Испании, где контрабанде не так трудно отыскивать себе дорогу. В Андалузии, да и во всей Испании, почти нет фабрик; одна Каталония, и преимущественно Барселона производит мануфактурные изделия для всех остальных провинций. Отсюда богатство Каталонии, ее предприимчивый, деятельный, решительный характер, и отсюда же политическая важность ее. Но, без всякого сомнения, Барселона не может удовлетворить мануфактурным потребностям всей Испании, тем более что товары ее, отправляемые вьюком на мулах вовнутрь и на север Испании, при высоких ценах провоза, обходятся

там очень дорого. Несмотря на это, иностранные изделия обложены здесь огромною пошлиной и для обогащения одного города вся остальная Испания должна платить за его изделия втридорога. Но политическая важность Барселоны такова, что трудно уменьшить привозный тариф. Отсюда понятна ненависть андалузцев к каталонцам, понятно, почему андалузец смотрит на контрабанду как на самое праведное дело и почему, наконец, она так процветает в Испании.

Сколько я мог заметить, Кадис, как вообще все приморские города, расположен к безусловно свободной торговле или, по крайней мере, к такому понижению пошлин, которое сделало бы контрабанду невозможною. Но жители Кадиса знают, что теперь эти надежды несбыточны, и потому просят уменьшения привозной пошлины только на 25 процентов с фабричной цены иностранных изделий; а они теперь большею частью обложены такою пошлиною, что контрабандисты берутся провозить товары, обеспечивая их в случае потери, и получают за это от 60 до 80 процентов с ценности товара. Вот еще оригинальная

черта испанского тарифа: здесь таможня берет пошлину не с рубля фабричной цены товара, а с рубля той цены, по какой продается он в испанских лавках; и выходит, что пошлина берется вместе и с цены провоза, комиссии и самой пошлины. Это одна из политико-экономических особенностей Испании, которые здесь поражают на каждом шагу. Метр казимира, например, который английский фабрикант продает за 15 реалов (3 руб. 75 к. асс.), должен бы заплатить, по испанскому тарифу, прямой пошлины $2\frac{1}{2}$ реала, считывая ее с фабричной цены, как это делается во всех странах; но испанская таможня, по своим расчетам, берет с него 7 реалов (1 р. 75 к. асс.). Метр английского сукна в 60 реалов приходится испанскому купцу по этой системе вместо 80 — 97 реалов; а на другие товары пошлина далеко превышает самую ценность товара.

Ничто не служит таким верным барометром степени просвещения, на какой находится общество^{255}, как его политико-экономическое устройство и его политико-экономические понятия, меры и распоряжения, и самое

верное изображение цивилизации какой-либо страны было бы описание ее экономических отношений и учреждений. Политическая экономия, на которую романтики и люди феодальные смотрели как на науку слишком материальную, лавочную, как на науку торгашей, в наше время стала наука государственного управления, и Англия доказала высокую степень своей цивилизации особенно тем, что поставила законы политико-экономические в основу своего государственного управления. Каких, например, результатов может ожидать государство от такой таможенной системы, как испанская! Она поведет за собой сильное развитие контрабанды и вследствие этого ущерб государственных доходов, потому что через таможни повезут только безделицу; главные же массы товаров войдут контрабандой, которая при таком тарифе, несмотря ни на какие законы, никогда не будет считаться в общем мнении предосудительною торговлею, а в конечном результате всего этого — стоячесть национальных фабрик, которые, пользуясь огромным охранительным тарифом, мало будут стараться об

улучшении и дешевизне своих произведений. Ко всему этому в Испании самая простая таможенная операция влечет за собою множество формальностей, причиняющих торговле большие затруднения и потери, между тем как от этого нет ни малейшей выгоды ни государству, ни национальной промышленности. И надобно заметить, что это множество формальностей нисколько не мешает обманам и плутням. Здесь отправление дел до того запутано и затруднено, что даже есть особый род таможенных агентов, которые при таможене заступают лица купцов, как адвокаты — лица подсудимых перед судом. Да и агенты сами, несмотря на давнее знакомство свое с этими делами, часто должны употреблять по несколько дней на очищение пошлины самого обыкновенного товара. Один французский путешествующий торговец часами, живущий в одной гостинице со мною, не желая платить денег агенту, должен был употребить целую неделю на выручку своей партии часов из таможи, несмотря на то что дело его было совершенно чисто и он ходил в таможню каждый день.

Но я бы долго не кончил, если бы стал рассказывать все, что слышал здесь об испанском таможенном управлении.

Впрочем, эта страна феодальных привычек, рыцарства и войны с давних пор с пренебрежением смотрела на промышленность и торговлю. Тотчас же после окончательного покорения мавров в испанском народонаселении образовались два класса — *hidalgos* и *pecheros*[47], дворян и податных. Рассматривая Испанию, не должно забывать, что она в продолжение многих веков занята была войною с маврами. Отсюда произошло, что в этой стране один военный человек имел значение политическое и нравственное; на народонаселение, которое, будучи перемешано с маврами, занималось только ремеслами, смотрели как на недостойное, как на самое жалкое народонаселение. Кто мешал ему, взявшись за оружие, облагородить свое положение? Если мужик храбро бился, если гражданин отличился сколько-нибудь на сражении, тот и другой легко делались идальгами и вступали в ряды дворянства. Отсюда гордый вид мужика перед знатым и их взаимное уважение;

отсюда значение в Испании маленького землевладельца — земледельца-солдата, и отсюда же совершенное ничтожество в общем мнении человека *только* ремесленного или купца. Я говорю о старой Испании, но ведь настоящее можно только объяснить из прошедшего. Для возвышения своего нравственного достоинства честолюбивые идальги старались вступить в услужение в дома грандов и дворян: это считалось почетнее какого-нибудь ремесла. В северной и средней Испании, где преимущественно господствовал воинственный дух, мужик и гражданин суть большею частью идальги; они жили бедно, но *благородно*. Те, которые для пропитания себя занимались ручной работою, в глазах старых испанцев принадлежали к тем, которые никогда не брались за оружие на освобождение своего отечества. Это был низкий класс. Просить милостыни в Испании нисколько не было стыдно (как и теперь): просили не излишнего, а необходимого. Работник и мужик предпочитали просить милостыню в монастырях, нежели заниматься малоприбыльною работою на этих бесплодных горах или в

городах своих, лежащих среди пустынных полей. Кроме того, по праздности и безделью, они также некоторым образом становились идальгами. Самое ремесло разбойника, контрабандиста, как связанное с битвами и опасностями, имело в общем мнении что-то благородное; во всяком случае в общем мнении оно было благороднее ремесла купца или ремесленника.

Итак все, что не было благородным, было *ресеро*. Законы особенно покровительствовали идальго: нельзя было за долги взять ни дома его, ни лошади, ни оружия, а тем менее посадить его в тюрьму. Идальго освобожден был от платежа налогов. *Ресеро* (простолюдин) обрабатывал землю, занимался ремеслом, торговлею, фабриками (особенно в Андалузии, где долгое житье между промышленными маврами приучило испанское народонаселение к промышленности) и нес на себе общественные налоги. В этой классической стране феодальной чести скоро вся промышленность заклеямена была некоторого рода отвержением. Унизительно было работать и торговать, *подобно тем низким лю-*

дям. В общем мнении особенно были в презрении ремесла, вероятно потому, что ремеслами большею частью занимались арабы; и занявшийся ремеслом навсегда бесчестил себя во мнении старых испанцев. Дворяне, жившие работой, теряли свои благородные привилегии, потому что чрез это они примыкали к сословию податному, и дети их не могли уже получить никакой государственной должности. Ни один город не согласился бы иметь своим начальником (*corregidor*) человека, некогда занимавшегося ремеслом; кортесы — пишет *Marina* — не потерпели бы между собой депутата, разбогатевшего промышленностью^[256]. В таком же положении были и купцы. Честь торговца хрупче чести девической (*el honor de un comerciante es más delicado que no el de una doncella*), говорит до сих пор испанская пословица^[257]. Средства, употребляемые торгового изворотливостию, были противны кастильской чести: торгующий дворянин лишался прав дворянства. Вследствие этого разорившиеся дворяне предпочитали вступать в услужение. Лопе де Вега говорит в одном месте: «В Испании все такого

хорошего рода, что одна только нужда идти в услужение отличает бедного от богатого»^{258}. Вот что рассказывает де Лабурд в своем «Itinéraire descriptif de l'Espagne»[48]: «Граф Фроберг, с которым я путешествовал, искал себе нанять слугу; к нему явился какой-то родом из гор, около Сантандера. Граф, условившись с ним в цене, велел ему принести к себе одобрения тех, у кого он жил прежде. Человек этот, не поняв, чего требовал от него граф, принес ему самые достоверные свидетельства своего старинного дворянского рода»^{259}. А автор «Relation de voyage en Espagne fait en 1679»[49] говорит, что он был свидетелем, как один повар, которому хозяин его погрозил, отвечал ему: «Я не могу сносить побой, я старый христианин, такой же идальго, как король»^{260}.

Презрение к торговле имело ту же причину, как и презрение к промышленности. Потомки старых христиан — словом, идальги — презирали обычаи жидов и мавров. В конце XVI века торговля была уже во всеобщем презрении. Простолюдины оставляли трудолюбивые привычки своих отцов; обедневшие

старались вступать в монастыри, где, кроме всеобщего почтения, наслаждались они еще и довольством и праздностью; другие шли в военную службу, чтоб величаться званием «кавалеров и благородных солдат короля» (*caballeros y nobles soldados del Rey*). Богатые купцы учреждали майораты для старших сыновей, чтобы чрез то возвысить их в звание идальгов. Младшие братья, лишённые чрез это всего наследства, стыдились, однако ж, заниматься ремеслом отца и вступали в ряды тех кавалеров-нищих, которых тип так превосходно вывел на сцену Кальдерон в лице дона Мендо («*El alcalde de Zalamea*» [50])^[261]. Мадрит, Севилья, Гранада, Вильядолид были набиты этими кавалерами в лохмотьях. Испания и до сих пор, может быть, единственная страна в Европе, где бедный не тяготится своею бедностию и с гордостью говорит: «Богатство не делает богатым, а только занятым, не делает господином, а управителем» (*las riquezas no hacen rico, mas ocupado, no hacen señor, — mas mayordomo*). В конце XVII века было в Испании 625 тысяч дворян, и самая большая часть, конечно, походила на дона

Мендо. В XVII веке иностранные купцы жили в Мадриде около своих посланников — «для охранения себя от тысячи оскорблений», — писал посланник Людовика XIV^{262}. При Карле II (в конце же XVII века) объявлен был в Мадриде купцам приказ переселиться в одну улицу (calle de Atocha), и все те, которые в течение месяца не переселятся туда, подвергались конфискации; Посланники жаловались, протестовали, но без всякого успеха. Правительство Карла II отводило купцам особый квартал, словно прикосновение их имело в себе что-то нечистое. На них смотрели, как Европа на жидов в средние века: под самым пустым предлогом их обирали, оскорбляли всячески и выгоняли.

Можете себе представить, каково было, при таких общественных понятиях, положение промышленности и торговли в Испании. В этом отношении история ее похожа на летопись безумства, читая которую, едва веришь собственным глазам. Особенно вскружило головы испанцам открытие Америки и ее золотые прииски. Думая, что только в золоте состоит богатство, Филипп II строго запретил

вывоз его за границу и в слитках, и в деле. Следствием этого было накопление драгоценных металлов в Испании и понижение их ценности. Это понижение должно было возвысить рабочую плату и вместе с нею ценность промышленных произведений. Сильный привоз золота из Америки сделал то, что в течение XVI века драгоценные металлы потеряли четыре пятых их прежней ценности; и следовательно, цена промышленных произведений должна была подняться в такой же пропорции. Кроме того, беспрестанные переселения в американские колонии и потом изгнание из Испании мавров, народа самого промышленного, уменьшив число рабочих рук, еще более возвысили заработную плату и вместе цену произведений. Фабрики Испании не в состоянии были удовлетворять требованиям колоний, потому что работников было мало, да и недоставало первых материалов. Севильские купцы, торговавшие с Америкой, должны были иногда покупать за шесть лет вперед произведения национальных фабрик по беспрестанно возвышавшимся ценам. Но, несмотря на это, монополия торговли с коло-

ниями Америки одна могла бы поддержать национальную промышленность: колонии давали так много золота, что фабрикантам можно было продолжать работать, несмотря на дороговизну рабочей платы. Но — дело невероятное! — обмен произведений национальной промышленности на золото Америки казался испанцам величайшим бедствием: этому-то обмену приписывали они возрастающую дороговизну фабричных и земледельческих произведений. Общее мнение восстало против вывоза их из Испании, и кортесы получили прошения столь странные, что трудно было бы теперь поверить этому, если бы современные историки не приводили их в подлиннике. Вот для примера одно такое прошение, поданное кортесам в конце XVI века:

«Беспрестанно возвышается цена жизненных припасов, сукон, шелковых и других материй, выходящих из фабрик королевства и в которых необходимо нуждаются жители. Известно, что дороговизна происходит от вывоза этих товаров в Америку... Ныне это зло сделалось столь великим, что жители не в состоянии долее бороться с возрастающею дорого-

визною жизненных припасов и других необходимых предметов... Между тем тоже известно, что Америка в изобилии производит шерсть — лучше испанской; почему же жители ее сами не делают из нее сукон? Многие провинции Америки производят шелк; почему же сами они не делают бархата, атласа и прочих материй? Разве Америка не в изобилии производит кожи?.. Мы умоляем короля и кортесов запретить вывоз всех этих произведений в Америку...»^{263}.

Такие прошения, главное, выходили от дворянства и духовенства. Правительство и кортесы, состоя под прямым их влиянием, удовлетворяли их требованию. Сначала запрещено было торговать с Америкой всем другим городам, исключая одной Севильи; потом ограничили число кораблей, ежегодно снабжавших Мексику и Перу произведениями Испании. Вместе с тем, в надежде уменьшить высокие цены товаров, правительство издавало повеления, благоприятствовавшие покупщику насчет продавца; потом запрещено было, под опасением конфискации, вывозить из Испании хлеб и скот; затем запреще-

но было вывозить сукна и вообще шерстяные изделия, и шерстяные фабрики начали постепенно падать. Заводы кожевенные и сафьянные, столь цветущие при маврах, рассылавшие свои произведения по всей Европе, тотчас же уменьшились, как скоро запрещено было фабрикантам, *под смертную казнию*, продавать за границу свои произведения. Потом правительство само установило цену на кожи и тем окончательно разорило все кожевенное производство. В половине XVI века испанцы посылали свои шелковые товары в Турцию, Флоренцию, даже в Тунис; в конце его запрещено уже было вывозить шелк, сырец и фабрикованный: шелковые фабрики закрывались постепенно. Кортесы особенно надзирали за исполнением запретительных законов. Несколько раз жаловались они, что мулы и ослы стали дороже прежнего, и требовали, чтоб увеличены были наказания за вывоз их за границу. С тем вместе просили они о дозволении ввоза иностранных шелковых материй, чтоб заставить этим своих фабрикантов сбавить цену на шелковые товары; но цена от этого не убавлялась, а фабрики закры-

вались. Напрасно правительство употребляло усилия на восстановление прежней дешевизны необходимых предметов потребления, напрасно издавало приказания, обязывавшие фабрикантов продавать свои товары по установленным правительством ценам: все эти распоряжения только разоряли фабрикантов, не восстанавливая прежней дешевизны. При Карле II (в конце XVII века) увеличены были наказания за вывоз за границу шелковых материй; кроме этого, запрещен был вывоз железа, стали, шерсти. Потом, чтобы удобнее было надзирать за фабрикантами, издан был закон, по которому шелковые фабриканты не должны были продавать товары свои нигде, кроме Гранады, Малаги и Альмерии. Алькальды должны были их весить, печатать и наблюдать до дня, назначенного для продажи. В Гранаде велено было ввозить их в одни только ворота. При продаже нужны были двое свидетелей: если купец не хотел продать своего товара по цене, установленной законом, то покупателю предоставлялось право взять товар, заплатить за него только десятую часть той цены, какую он давал, и проч.,

и проч. Надобно заметить, что при Карле II все народонаселение Испании состояло из 5 700 000, и в этом числе 650 тысяч дворян, 180 тысяч духовных, и столько было праздничных дней, что во многих епископствах третья часть года состояла из праздников, в которые никто не работал.

Что же удивительного после всего этого, что некогда населенная, промышленная Испания стала такою пустынною страной и что в одной только Кастилии находится 194 местечка и деревень, совершенно опустелых и оставленных!

Правда, что с восшествием Бурбонов на испанский престол притеснения против торговли и промышленности ослабли; но, как новая и чуждая нации династия, Бурбоны не могли прямо идти против национальных предрассудков; реформы их ограничивались полумерами. Для Испании нужен, был монарх, который, подобно Петру Великому, своротил бы ее со старой дороги на новую. Такого монарха в Испании, к несчастью ее, не было. Все нынешние смуты ее суть не что иное, как борьба старых элементов Испании с новою, возник-

шею в ней гражданственностью.

В виду Кадиса (на парохоме час езды) лежит залив и город Puerto Santa María, и от него полтора часа езды до Хереса. Влекомый желанием попробовать знаменитое вино в самом его источнике и имея с собой рекомендательное письмо к г. Гордону^[264], одному из главных торговцев винами в Хересе, отправился я одним ясным утром в Puerto S. María. Я не знаю, впрочем, бывают ли в Испании сумрачные дни: вот уже пятый месяц эта постоянная ясность неба меня неумолимо преследует. Все холмы и пригорки около Хереса усажены виноградом. О силе здешней растительности можно заключить уже по алоэ, которое беспрестанно попадает здесь вышиною сажени в 2½, а иногда в 3. Так как в Хересе нет ничего интереснее винных погребов, да и мне хотелось воротиться к вечеру в Кадис, то я счел за лучшее прямо отправиться в погреб г. Гордона. Но собственно это совсем не погреб, а огромный корпус со множеством окон наверху, открытых на той стороне, где была тень. Тут лежали одна на другой бочки хере-

су, пахарете и амонтильядо, иные совсем полные, другие только наполовину; у иных отверстие было слегка прикрыто, у иных вовсе открыто. Посреди этой громадной залы стоял стол с несколькими стульями; здесь приглашен я был сесть и отведать лучшие вина, начиная с легкого сухого амонтильядо, сладковатого пахарете до 60-летнего хереса, сделавшего два раза путешествие около света, отчего это вино, как известно, становится крепче и лучше^[265]. Но — увы! — херес и на месте так же мало был по моему вкусу, как и херес из погребов Депре и Рауля^[266]. Херес, подобно всем южным винам, без примеси водки не может выносить перевоза: чистый херес можно пить только вскоре после сбора винограда^[267]. Впрочем, южноиспанские вина и без того содержат в себе очень много алкоголя; от этого они требуют с собой особенного обращения: действие воздуха, например, для них очень выгодно, и потому место, где лежит это вино, должно быть открытым, да и бочки оставляются полузакрытыми. Жесткие и алкогольные частицы вина чрез это улетучиваются, и вино становится приятнее. Бочка в

600 бутылок хорошего хересу стоит здесь 50 фунтов стерлингов, лучшего качества 70 и 80 фунтов, а самый высокий 100 фунтов.

Херес лежит среди широкого холмистого поля. Здесь-то была Испания одною только битвою завоевана у готфов арабами (711 год). Тут сама победа и ее следствие необъяснимы, тем более что битва при Хересе не имела других историков, кроме арабских, которых смутные известия о ней собраны покойным Конде в его «Истории арабов в Испании»^{268}. Два года спустя не оставалось уже на всем полуострове, исключая самого верхнего уголка его, гор Астурии, ни одного клочка земли, который принадлежал готфам; а с небольшим через сто лет потом самый народ утратил и свою национальную особенность, одежду, нравы, даже свои национальные воспоминания, так что в IX веке из 100 христиан едва ли один мог молиться по-латыни. Такие странные события заставляют предполагать, что готфы, после своего 300-летнего владычества в Испании, сделались до такой степени хилыми и ничтожными, что арабам почти не стоило никаких усилий разогнать их: на поле Хе-

реса сделаны были похороны готфскому племени в Испании. Впрочем, то же самое совершилось и со всеми другими народами, нахлынувшими на Римскую империю и образовавшими из ее обломков новые государства. Эти государства до того лишены были всякой внутренней, народной силы, что все до одного разрушились при первом порыве ветра. В Африке, например, эти, некогда железные, вандалы после трех поколений так выродились, что даже изнеженные греки, под предводительством Велисария, в два года совершенно уничтожили их^{269}. В Италии остроготфы исчезли перед лангобардами, а потом и само Лангобардское государство разрушилось при первом напоре карловингов^{270}. Саксонская Англия досталась в добычу ватаге датских морских разбойников, и потом, после одной только битвы, — норманнам^{271}. А какое жалкое существование влачит Франция в продолжение целых столетий! Арабы владеют ее нынешним Провансом, норманны завоевывают ее лучшие северные провинции...^{272} Все эти народы, недавно еще так могущественно разгромившие всемирное владыче-

ство римлян, словно отравлены были согнившей цивилизацией побежденных. Приняв ее в свою варварскую, девственную народность, они вдруг ослабли, разложились. Племя, происшедшее от совокупления их с римлянами, не в состоянии было поддержать дела своих отцов; ему недоставало чувства патриотизма, национального сознания. Так и жители Пиренейского полуострова в VIII веке не были уже римлянами; вместе с тем они перестали быть и готфами, а кастильцами еще не сделались. Только после долгой работы веков из римских и германских племен сложились новые национальности, и только тогда вступила крепкая жизнь в их организм. Арабское владычество в Испании пало не оттого, что пренебрегло горстью готфских беглецов, засевших в Астурийских горах, а потому, что эти астурийцы образовали зерно будущей кастильской нации. Завоевание Испании у арабов совершилось медленно потому, что оно шло вместе с образованием новой кастильской национальности.

Нападение арабов на Испанию связано в старых испанских романсах с событием, ис-

полненным большого драматизма. Готфский король Родриг влюбился в Каву, дочь графа Хулиана (Julian), одного из своих вельмож, владевшего в Тарифе (прямо против берегов Африки). Напрасно уклонялась Кава...

Родриг, овладев ею, возненавидел ее и бросил. Граф Хулиан в жажде отмщения Родригу призвал арабов на Испанию.

«Я выбрал бы, — восклицает старый граф, — богу то известно, я выбрал бы, если бы я мог выбирать, другое мщение, не столь ужасное и кровавое; но никакое другое мщение мне невозможно. Пусть же либиец (африканец) вторгнется чрез Тарифу, пусть опустошит все и умерщвляет даже в моей области и землях моих; жребий брошен: что мне до того — гибелен он мне или нет! Кость катится по столу — никто не помешает катиться ей.

«И вот уже в Сеуте дон Хулиан, в Сеуте, доброназванной; хочет он в те стороны отправить послание; старый мавр писал его, граф диктовал, и когда кончил мавр писать, граф убил его. То послание горя, горя для всей Испании: то письмо к маврскому царю, в котором граф заклинал его, что если даст он ему

все, что нужно, — Хулиан дает ему за это Испанию... Испания, Испания, горе тебе! Так в мире величаемая, лучшая из стран, лучшая и самая любезная, где родится тонкое золото...», и проч.

В шестнадцати романах рассказывается это бедствие, постигшее Испанию. Старый романсего то сочувствует горю Хулиана, то делает ему горькие упреки! «О, изменник, граф Хулиан! Чем же оскорбило тебя твое отечество?». То, обращаясь к королю Родригу, говорит: «Обратите очи свои, Родриг, обратите их на свою Испанию: посмотрите, как опустошает ее ваша любовь к Каве. Посмотрите на кровь, проливаемую вашими воинами в битве, — то месть невинной крови, пролитой вами...», и проч. Наконец, описывает роковую битву, поражение Родрига, скорбит о нем, забывает его вину при виде столь великого несчастья; нет у него для него других слов, кроме слов самого нежного сострадания и участия. Особенно замечателен последний романс о смерти Родрига. Разбитый при Хересе, он бежит раненый в горы и, скитаясь там, находит хижину отшельника. Раскаиваясь о

грехах своих, просит он отшельника указать ему путь ко спасению души его. Отшельник, помолясь, говорит, что должен Родриг лечь со змеей в яму, и если змея ужалит его, то будет знаком помилования божия. Три дня лежит в яме дон Родриг, а змея не жалит; усерднее молится отшельник; наконец на четвертый день приходит он посмотреть на Родрига. «Господь помиловал меня, — говорит ему Родриг, — змея ужалила меня, ужалила...»[51], и прочее^{273}.

V

Гибралтар. Конец августа.

Пароход, на котором я взял место до Гибралтара, должен был идти из Кадиса в пять часов вечера; но море так разволновалось, что час, назначенный для отъезда, давно прошел, а на пароходе и огня не думали разводять. Все пассажиры были уже на борте; но капитан говорил, что ранее полуночи он не надеется сняться с якоря. На палубе ветер страшно свистел между снастями, собранными парусами и дул с такою силою, что мой плащ несколько не защищал меня от его

пронзительности. Я сошел в залу: там один пассажир сел было за фортепьяно, но качка заставляла его вдруг нападать на такие неожиданно дикие аккорды, что он принужден был бросить играть. Я взял было книгу, но движение корабля так качало лампу, что не было никакой возможности читать: глаза ломило от напряжения. Ничего другого не оставалось, как лечь спать. У иных начиналась уже морская болезнь. Волны бросали пароход во все стороны; сотрясения от якорной цепи были так сильны, что и спать не было возможности. Соскучась вертеться в койке, я снова оделся и пошел наверх. На палубе была мертвая тишина; один только вахтенный ходил взад и вперед; огня в машине еще не разводили. Небо было совершенно ясно; ветер стих, но волнение несколько не уменьшалось; волны сверкали сильным фосфорическим блеском, с страшным гулом ударяясь в стены Кадиса. Облокотясь на борт, долго смотрел я на темную, фосфорически сверкающую, суровую массу воды, уходившую в черную, зловещую даль; вдали кое-где виднелись в разные стороны качавшиеся мачты судов. На

городских часах пробило полночь. Мне стало скучно и уныло на душе; нигде ничтожность человеческого существования перед этой всеобъемлющей, неодолимой жизнью природы не делается так очевидною и ощутительною, как на море. Могучая жизнь стихий, пробуждая сначала энтузиазм, сжимает потом сердце скорбным, тяжким чувством своего бессилия и ничтожности. А человек вообразил себе, что он царь природы, тогда как самые мудрейшие из людей суть только послушные рабы ее или робкие раздражители. Ветер стал подниматься, сырой и студеный; я опять сошел в залу и на этот раз уснул. Меня разбудил стук поднимаемого якоря и гул вырывающегося пара; было уже пять часов утра. На палубе все было в движении; скоро пароход тронулся.

Попутный ветер, резкий и пронзительный, дул в наши паруса; море сильно волновалось, и не прошло получаса, как бóльшая часть пассажиров страдала морской болезнью. Испытав уже несколько бурь на море (а особенно раз у берегов Голландии бурю, продолжавшуюся двое суток), я привык к качке корабля

и не страдаю тошнотою. Между тем звезды понемногу скрывались, красноватая полоса на востоке становилась шире и пурпуровее; белая пена волн покрылась нежным розовым отливом, он постепенно становился гуще и гуще и скоро перешел в пурпур, по которому вдруг пронесся золотистый блеск... солнце показалось. Хорош был в эту минуту вид сильно взволнованного моря. Пенившиеся верхи волн словно были из кипящего золота; в темных углублениях, между волнами, сверкало голубое, пурпуровое, желтое пламя: в эту минуту океан походил на необъятный котел с кипящим, сверкающим разными цветами металлом. Капитан велел поднять большой парус, и пароход наш летел, врезываясь в клубящуюся пену волн. Скоро после полудня мы начали сворачивать из океана в пролив, и вдали завиднелись скалы Гибралтара. Небо было ярко и совершенно чисто, только над африканским берегом лежала масса белых облаков. Вдруг эта масса начала расти с необычайною быстротою и постепенно чернеть. Ветер упал; волны, стремившиеся по его направлению в одну сторону, стали перемещи-

ваться, сшибались одна с другой, били в одно время во все стороны парохода: явно было, что ветер изменялся — не прошло десяти минут, как подул поминутно усиливающийся со стороны Африки; с ним с ужасающею быстротою неслась на нас та белая масса облаков, которая стала теперь грозною тучею. Я взглянул вверх: она была уже над нами и так черна, что дым парохода не замечен был на ней; вдруг яркая молния разрезала ее в нескольких местах, и гром с оглушительным треском разразился над нашими головами. Несколько матросов бросились по веревочным лестницам собирать паруса, другие принялись ставить на мачтах громовые отводы; первый лейтенант сам взялся за руль, к нему на помощь бросились двое самых сильных матросов. В эту минуту послышалось глухое, быстро усиливавшееся шипение; я взглянул направо: с этой стороны моря быстро рос над нами громадный вал; гребень его становился все острее и прозрачнее; потом вал вогнулся внутрь дугою и упал на пароход с страшною, оглушительною силою; за этим валом рос другой еще выше и также опрокинулся; паро-

ход тяжело опустился в глубь, образовавшуюся между этими громадами, и тотчас же был снова поднят новым восходившим валом так высоко, что колеса едва касались воды, и с ним снова полетел стремглав в глубь... Волны перебрасывались через борт; пена, срываемая ветром с вершин валов, разлеталась и падала белым, шипучим дождем, как пролитое на стол шампанское. Я уже был давно промочен насквозь и сошел вниз: стулья и столы там были опрокинуты, лампы разбиты; в этой зловонной духоте невозможно было дышать; кроме того, удары волн о борты парохода отдавались внизу как удары таранов: пароход весь трещал и скрипел. После великолепно-го вида бурного моря не было возможности оставаться в этой душной тюрьме: здесь торжественность бури отдавалась только ударами волн, потрясавшими все существо парохода, и тяжким, зловещим скрипом массивного его корпуса; в иную минуту точно он надламывался. В койке невозможно было лежать иначе, как держась обеими руками за края ее, чтоб не быть выброшену взмахами качки. Буря отзывалась здесь уныло и грозно, лишен-

ная величия своих стихий. На душе стало становиться тоскливо; я опять кое-как вскарабкался по лестнице на палубу, охватил обеими руками одну из толстых веревок снастей и предоставил волнам обливаться мною сколько им угодно. Туча все еще висела над нами, черная и крутящаяся; по-прежнему яркая молния беспрестанно вилась по ней; валы шли один за другим горами; вся сторона к Африке была одним вьющимся мраком, а на противоположной стороне небо было чисто, ясно, спокойно, и испанский берег ярко освещен был солнцем. Пароход наш как мячик прыгал между волнами, то сбрасываемый в разверзающуюся глубину, то взлетая на вершину валов: машина кряхтела и пыхла, словно готовилась лопнуть; вся основа парохода дрожала и трещала. То опрокидывало его на сторону, так что одна половина его окунывалась в воду и поднявшееся колесо на другой стороне попусту вертелось в воздухе. Узкость пролива удесятряла силу и напор валов; ветер с визгом свистел между снастями, валы один за другим с оглушающим гулом опрокидывались на палубу, гром раздавался без умолку.

Во всем этом было дикое, уничтожающее величие. Несколько парусных судов, шедших по одному направлению с нами, старались с самого начала бури выбраться в открытое море, чтоб не разбиться о берега; но одно судно находилось еще между нашим пароходом и берегом и тщетно старалось выбраться на широту пролива: волны и ветер все больше и больше прибивали его к берегу. Вот оно остановилось и несколько минут качалось на одном и том же месте — верно, бросило якорь; но потом опять быстро понеслось к берегу — верно, якорный канат лопнул. Мы видели, как оно выставило флаг, просящий о помощи; но пароход наш не мог идти к нему на помощь: подойдя ближе к берегу, он сам был бы в опасности разбиться о береговые отмели. Вдруг судно исчезло под волнами, и тотчас же снова показался его темный остов, но на нем не видно было и признака мачт... судно разбилось... крик экипажа не донесся до нас!

Контрабандист.





VALLEJO

GASPAR

Каноник.

Между тем ближе и ближе выказывались перед нами скалы Гибралтара. Капитан давно бросил свою сигару, сам стал у рулевого колеса и отдавал приказания за приказаниями. По всем движениям экипажа заметно было, что пароход находился в критическом положении; но тут буря стала утихать; черный цвет тучи изменился на бледно-серый, и берега Африки обозначились. Англичане давно заметили опасное положение нашего парохода и беспрестанно делали нам сигналы со скалы Гибралтара, давая знать, как мы должны плыть. В эту минуту прибой волн к скалам был удивительный, белая пена взлетала к самой вершине маяка. Мы благополучно вошли в безопасную гавань Гибралтара.

Всякий приезжающий сюда из Испании должен иметь так называемую *licencia*, то есть свидетельство испанской полиции, в котором обозначено, что едешь в Гибралтар; за эту лицензию надобно платить деньги испанской полиции, хотя в ней и сказано, что она выдается безденежно. Без этого в Гибралтар

не пускают, даже иностранцев. Но лицензия дает только право приехать в Гибралтар; если же хочешь остаться в нем более дня, то должно представить за себя ручательство одного из жителей Гибралтара, и только тогда выдается карта безденежно (английская полиция денег не берет). Впрочем, все это одна пустая формальность; гавань Гибралтара наполнена людьми, предлагающими свое ручательство; оно стоит полкроны (семьдесят копеек серебром) на какое угодно время.

Трудно представить себе что-нибудь величавее вида Гибралтара: это громадная скала, рассеявшаяся натрое. На срединном и самом высоком отделе ее гордо веет английский флаг; южный отдел образует легкий скат, оканчивающийся мысом, называющимся Punta de Europa, — это крайний пункт Европы; северный отдел — высокая, перпендикулярно поднимающаяся из моря скала. Все три отдела прорыты подземными батареями; ряд плавающих бочек обозначает перед гаванью линию английских владений, за которою стояли несколько английских военных кораблей. Дожидаясь на набережной, пока испол-

нены будут все формальности для получения вида на прожитие, рассматривал я густую толпу, толкущуюся у порта. Тут были англичане, шотландцы, итальянцы, жидаы, испанцы, мавры, негры, мулаты; все это толпится вместе в своих национальных одеждах. Особенно бросаются в глаза мавры — по их живописной одежде, но еще более по необыкновенно гордому спокойствию их белых, матовых, прекрасных лиц, с лоснящимися черными бородами, которые ярко оттенялись на их белых, как снег, тюрбанах и бурнусах. Африканские жидаы носят какую-то полувосточную, полугерпейскую одежду, похожую на бурнусы, только с рукавами; вместо тюрбанов у них на головах кожаные ермолки и на ногах черные туфли, тогда как у магометан желтые. На востоке черный цвет есть цвет презрительный. Англичане перенесли на эту африканскую землю не только свою цивилизацию, но и все свои лондонские привычки. В этом отношении Гибралтар очень любопытен; это Англия и Испания лицом к лицу, запад и восток, деятельность севера и южный сибаритизм, промышленность и фантазия,

цивилизация и природа. Люди средних веков пренебрегают всеми усовершенствованиями своих соседей, оставаясь верными своей лени. Переселенцы Англии принесли сюда всю свою терпеливую деятельность, всю свою угрюмость, обыкновенную у людей, жадных к прибыли. Представьте, что модный сезон здесь тоже бывает летом, как в Лондоне, несмотря на африканский жар здешнего лета. У англичан внешние формы жизни составляют род какого-то фатума, против которого все бессильно. Под этим пламенеющим небом они настроили себе дома на английский манер, перетащили сюда весь свой лондонский comfort и вместе с ними все свои английские предрассудки^{274}. Я никогда не забуду той неги, которая разлилась по всему моему существованию, когда, столько месяцев живя в грязных испанских фондах^{275}, я в Гибралтаре увидел себя в превосходной английской гостинице, чистой, с прекрасной постелью, исполненной всех самых мелочных удобств, по-видимому, излишних, но удивительно способствующих к изящному ощущению жизни. Улицы Гибралтара похожи на улицы всех маленьких

английских городов^{276}, дома без балконов, у окон английские зеленые решетки; но на каждом шагу поражают вас следы самой высокой цивилизации и торговой деятельности. Множество сигарных фабрик (отсюда контрабанда снабжает сигарами всю Испанию, которая, владея Гаваною, держит табак на откуп и ради дешевизны продает табак прескверный: настоящих гаванских сигар очень трудно достать внутри Испании), винные погреба, портерные лавки, магазины, книжные лавки... я не знаю, чего нельзя найти на этом маленьком клочке земли. Между магазинами встречаются лавки мавров; молчаливо, с трубками сидят они на подушках, перед низкими столиками, на которых разложены произведения Африки: шерстяные и шелковые женские покрывала, розовое масло и другие ароматические эссенции. Иногда негры подают им кофе в маленьких фарфоровых чашечках. Эта смесь высокой северной цивилизации с восточными нравами придает Гибралтару особенный характер. Прибавьте к этому, что воскресенье соблюдается здесь с такою же точностью, как в Лондоне. Протестантская

нетерпимость принуждает даже и жидов на этот день запирать свои лавки. Театра здесь нет; но офицеры гарнизона составили из себя труппу, дают по временам представления и берут за вход по пиастру. Женские роли играют молодые офицерами. Предрассудки сословий, столь сильные в лондонском обществе, перенесены и на эту девственную почву. Жены офицеров, например, решили, что здесь *высшее* общество не должно быть смешанным, и потому принимают в свой круг только офицеров и иностранцев. Между английскими купцами есть люди с отличным умом и образованностию, но они видятся только между собою. Мне случилось быть в *высшем* обществе Гибралтара, состоящем из офицеров и их семейств: оно было невыносимо скучно; разговор вертелся только около предметов, касающихся службы и повышений; притом дисциплина преследует их даже в самых гостиных; этикет страшный. Чтоб понять, сколько смешного в этом напыщенном этикете, в этих домашних церемониях, надобно их видеть не в Лондоне, где они сглаживаются кипящею деятельностью и тонут в

страшной массе народонаселения, а здесь, в таком маленьком гнездышке, как Гибралтар. Возле испанских нравов, проникнутых врожденным изяществом, это придуманное, сочиненное изящество англичан, их так называемая фашионабельность^{277}, кажется смешною карикатурою и пошлостью.

Превосходное шоссе вьется до самой вершины срединной скалы. Эта дорога представляет ряд удивительных картин; сквозь широкие расселины проглядывают то мягкие линии берегов Испании, то берега Африки, с их острыми, резкими очертаниями гор, то голубая влага океана. Беспреданно попадают домики, уютные, красивые, чистые: это окрестность Лондона, перенесенная под африканское небо, на дикую скалу. Шоссе усажено по обеим сторонам олеандрами и густыми кустами ерани^{278}. Вокруг нескончаемые бастионы, батареи, часовые; из каждого куста олеандра и ерани торчит солдат; куда ни взглянешь, везде пушки. С вершины скалы открывается вид поразительного величия: берега Африки до Тетуана и дальше — цепь гор, постепенно возвышающихся до Атласа, кото-

рого снеговые вершины теряются в небе. Отсюда видны вместе Испания до Малаги, Средиземное море, океан, узкий пролив Гибралтара; внизу суда кажутся раковинами, люди — едва заметными муравьями. В формах этого пейзажа нет той гармонии, к какой мы привыкли в европейских пейзажах: эта несообразность, эта необъятность странно действуют на непривычный глаз, но в то же время пробуждают чувство какого-то необъятного могущества. И все отсюда равно ярко, прозрачно, без границ, очертания неуловимы для зрения, глаза свободно уходят в бесконечную лазурную даль; земля, небо, море — все тонет в золотисто-лазурном свете; нет ни линий, ни теней. При закате солнца чудный вид становится еще великолепнее: горы Африки покрываются пурпурно-лиловым паром и снеговые вершины Атласа на темно-голубом небе светятся розовыми переливами. Эта оторванная скала Гибралтара явно есть следствие одного из величайших переворотов земли, и, без сомнения, теперешняя Африка прежде составляла один материк с Европой. Но когда это было??

Вся скала прорыта подземными галереями: это укрепления Гибралтара. Для обозрения их нужно особенное позволение губернатора, но в нем никогда не отказывают, только надобно просить через консула. Не знаю, правда ли, но мне говорили люди, по-видимому, знающие военное дело, что все эти подземные батареи не имеют той важности, какую им приписывают, потому что при продолжительной стрельбе они до такой степени наполняются дымом, что артиллеристам нет возможности выносить его; даже при ученьях случается с ними от этого обморок. Кроме того, линии батарей лежат слишком высоко, так что трудно рассчитывать на верные выстрелы. На вершине скалы стоит сторожевой домик; он поручен шотландскому сержанту, который обязан наблюдать в море и извещать гавань сигналами об идущих кораблях. На склоне скалы, обращенном к Испании, живут обезьяны: это единственное место в Европе, где эти животные водятся в диком состоянии. Они укрываются в маленьких пещерках и расселинах, кормятся молодыми отростками низких пальм, которые по ту сторону горы

растут во множестве. Мне удалось их видеть только раз, с дюжину: они быстро цеплялись по скалам, прыгали; сержант говорил, что иногда они появляются толпами штук в 40 и 50^{279}. Гибралтарские обезьяны желто-серого цвета и без хвостов, величиною четверти в три, точно такие же, какие водятся в Северной Африке и которых я видал в Кадисе на рынке^{280}. В Гибралтаре под большим штрафом запрещено ловить их или убивать.

В Гибралтаре тысяч двадцать жителей. Несмотря на то что они состоят, кажется, из всех возможных наций и из всякого сброда, здесь господствует удивительный порядок, хотя полиции и нигде не заметно. Воровства чрезвычайно редки, тем более что в скалах Гибралтара укрыться очень трудно, а всякий пойманный вор тотчас осуждается на виселицу. Это обстоятельство держит гибралтарских бродяг в таком страхе, что здесь, выходя на берег, можно поручить свои вещи первому встречному. Все национальности здесь находятся под равным покровительством закона, так что никакие столкновения невозможны между ними. Особенно замечательно то, что

тогда как путешественники при малейшей неисправности их паспортов должны целые часы дожидаться у ворот города, политическим преступникам, бегущим из Испании, тотчас дозволяется вход в город. При этом удивительном гражданском устройстве особенно странным кажется откровенный эгоизм, с каким британцы наблюдают здесь свои интересы насчет Испании: мало того, что они овладели этим драгоценным местом, несмотря на свои торговые трактаты с Испанией, они явным образом покровительствуют контрабандной торговле. Самое цветущее время ее было время регентства Эспартеро, который, желая приобрести расположение Англии, сквозь пальцы смотрел, как контрабанда наводняла в это время Испанию. Да и теперь все жалобы испанского правительства по этому предмету остаются без малейшего удовлетворения. В 1704 году, во время войны, поднявшейся за испанское наследство, Англия, принявшая сторону австрийского дома, заняла Гибралтар именем эрцгерцога Карла австрийского и осталась тут. Утрехтский трактат утвердил Гибралтар за ними^[281].

Сколько ни старалась с тех пор Испания вернуть его себе, все было безуспешно. Одно время даже и северная часть Марокко принадлежала Англии. Она уступлена была ей в 1662 году Португалией, которая тогда владела ею; но в 1684 Англия потеряла ее. Нельсон⁽²⁸²⁾ беспрестанно говорил о важности Марокко для Англии, и что если случится Англии вступить опять в европейскую войну, то непременно надобно ей или вступить в тесный союз с мароккским императором, или овладеть Танжером. Теперь мароккский император находится совершенно под влиянием Англии.

Как ни интересен Гибралтар в первые дни приезда сюда, но едва ли найдется много охотников жить здесь без дела и необходимости. Здесь живешь словно в темнице; окрестности Гибралтара ограничиваются скалою, а для прогулки за город, то есть в Испанию, нужно брать у испанского консула позволенный пропуск, без которого испанская пограничная стража не пускает через границу. В 8 часов вечера раздается с горы выстрел, после которого тотчас же запирают ворота, ведущие в гавань. Шотландский полковой ор-

кестр выходит на площадь и начинает играть свою варварскую музыку. Он состоит весь из их национальных инструментов — волынок и дудочек, с присовокуплением кларнетов и барабанов; ничего не слышал я отвратительнее этого писка и стука. В 9 часов раздается второй выстрел, после которого запираются все городские ворота.

Гибралтар получает все свое продовольствие из Танхера и из Испании, равно как и воду, потому что колодцев здесь нет, а есть только систерны — водохранилища, в которых сохраняется дождевая вода; но эти систерны и провиантские магазины так велики, что могут вмещать в себя провианта на три года. Странное свойство имеет здешний воздух: это тонкий, сокровенный яд, от которого, говорят, можно умереть, не чувствуя его действия. Сначала ощущают томление, слабость во всем теле, которая переходит потом в безотчетную грусть, и человек истаевает без физических страданий, без болезни. Так умирает здесь бóльшая часть северных жителей, переселяющихся сюда. И, однако ж, воздух, которым дышишь здесь, исполнен мягкости,

благоухания, неги, а организм разрушается, испытывая самые сладостные ощущения. Так все дающее сильное наслаждение — гибельно. Впрочем, даже в последние летние месяцы термометр здесь редко возвышается за 27—28° по Реомюру; но именно продолжительность этой теплоты и придает особенное свойство здешнему климату. И в Москве бывают летом жары с лишком в 30 градусов, но они беспрестанно сменяются холодами. Мы не знаем наслаждения продолжительной, неизменной теплотой. У здешнего лета нет перемен; здесь в продолжение семи месяцев теплота водворена во все, чем человек дышит, во все, что его окружает; это-то постоянное действие теплоты, говорят, и гибельно для северных организаций. К концу лета земля здесь издает такие ядовитые испарения, что переносить их могут только родившиеся здесь. Даже купанье в море не освежает, а только раздражает нервы; нега, которую ощущает тело, увеличилась, а купанье не освежило, не успокоило. И этот-то экстаз, это блаженство тела есть признак близкой смерти — смерти от невыносимой полноты жизни:

грудь становится тесна, организм не в силах переносить своей неги...

Соскучась дожидаться парохода, на котором располагал я доехать до Малаги, отправился я в Альхесирас, испанский город, лежащий против Гибралтара, у моря. Вид желтой скалы Гибралтара утомил мои глаза, я начал тосковать по воздуху поля, по зелени; тотчас же по приезде в Альхесирас взял верховую лошадь и три дня с утра до вечера бродил по окрестностям, освежаясь гранатами и фигами, отдыхая в гуще лавровых рощей и вдыхая в себя их ароматический воздух. Окрестности Альхесираса прекрасны; горы покрыты густою, темною зеленью; дома крестьян окружены апельсинными садами, из которых пальмы поднимают свои развесистые вершины; двухаршинные листья бананов ярко отделяются своею прозрачною зеленью от темной гущи лавровых и апельсинных деревьев. Нигде в Испании не встречал я такой великолепной, почти тропической растительности. В Альхесирасе особенно интересен был повар скверной и грязной гостиницы, в которой остановился я, куда потом приехал и один

французский путешественник, с которым познакомился я в Севилье. Повар был уже лет 50 и худ, как спичка. Когда-то в молодости судьба занесла его во Францию, где он оставался с год. Вследствие этого развилась в нем претензия на поваренное искусство и на французский язык. Он возымел к нам особенное расположение и потому выдумывал для нас самые неслыханные блюда. С самодовольною улыбкою приносил он нам какой-нибудь изобретенный им соус, приправленный на испанский манер стручковым перцем и зеленым оливковым маслом (называемым у нас деревянным), хотел непременно, чтоб мы его ели, и, прищулив один глаз, повторял: «а, каково?», но этих чудесных блюд не было никакой возможности есть. При этом он нам говорил таким французским языком, в котором мы не понимали ни одного слова. Напрасно просили мы его говорить по-испански. Когда в столовой мы были с ним одни, он еще оставлял свой французский язык, но если тут случался кто-нибудь из хозяев или из прислуги, наш повар никак не хотел упустить случая блеснуть перед своими домашними и нес та-

кую безалаберщину, что мы едва удерживались от хохоту. При всем этом он был жаркий политик, а до вечерам брэнчал на гитаре и постоянно пел какую-то протяжную песню, в которой только и повторял: «No quiero vivir u no quiero morir» (Не хочу жить и не хочу умирать). Через три дня, наконец, показался вдали дым парохода, шедшего в Малагу, и мы поспешили в Гибралтар, чтоб взять на нем места.

Танхер. 1 октября.

Вместо Малаги я попал в Африку. Танхер интересовал меня больше Алжира, который успел уже офранцузиться^{283}, тогда как Танхер — город бедуинов, в котором только деятельное покровительство европейских консулов спасает европейцев от насилия и убийства. Накануне нашего отъезда в Малагу, гуляя с французом по пристани Гибралтара, увидели мы нагружавшееся судно. «Куда?» — спросил я. — «В Танхер». А почему же нам вместо Малаги не ехать в Африку? Товарищ мой согласился, тем более что при попутном ветре на переезд из Гибралтара в Танхер нужно не более шести часов. Наш русский консул

в Гибралтаре, богатый английский негоциант^{284}, сказал мне только, что в случае нужды я могу в Танхере обратиться к шведскому консулу. Консул французский дал товарищу моему все нужные сведения, не забыв прибавить, что несколько дней тому арабы удавили там одного итальянца, и наказав нам не ходить по городу без мароккского солдата. Вечером отыскали мы в одной кофейной капитана, уговорились с ним, и на другой день в 7 часов утра мы были уже на судне. Но едва отъехали мы версты, две от Гибралтара, как утренний ветер совершенно стих; паруса наши повисли без движения, и мы стали. Надобно было дожидаться прилива, с помощью которого к вечеру добрались, мы до Тарифы, маленького испанского городка, лежащего в самой середине Гибралтарского пролива. При закате солнца вид с моря на скалы Гибралтара сделался удивительный. Воздух был полон золотистым, прозрачным паром; все самые дальние предметы сохраняли свою яркую определенность и вместе объяты были легкою золотую пылью. Море было тихо и так гладко, что даже струй не видно было на нем. Желтая

скала Гибралтара, которая отсюда имела совершенную форму спящего льва, ярко золотилась на последних лучах солнца; за нею виднелись лиловые вершины испанских гор, прямо перед нами — угловатые горы африканского берега, покрытые густым лесом. Корабли, застигнутые в море штилем, стояли разбросанные по проливу, с опустившимися парусами. Прозрачность воздуха имела в себе что-то восхитительное; на легкой синеве неба и моря белые, как снег, паруса играли золотистыми переливами, и все тонуло в золотом сиянии, все проникнуто было такою нежущею глаза воздушностью, что душа таяла в спокойном экстазе, и невозможно было отвести глаз от этой восхитительной картины. То была какая-то просветленная природа.

К вечеру, несомые приливом, пристали мы к Тарифе. Но в надежде, что утром подует попутный ветер, капитан не пустил нас ночевать в город. Надобно было как-нибудь располагаться на ночь между кипами товаров, которыми доверху нагружено было судно. Экипаж наш состоял из пяти матросов, шести мавров из Феца, одного еврея из Гибралтара,

отлично говорившего по-испански, и, наконец, меня с товарищем. Капитан еще при договоре объявил нам, что мы сами должны позаботиться о своем продовольствии; рассчитывая на шесть часов езды, мы запаслись только двумя фунтами говядины, белым хлебом, корзинкою винограду и двумя бутылками отличного хереса. наших припасов нам стало только на завтрак: мы пригласили еврея разделить его с нами — и к вечеру, ужасно проголодавшись, велели мы привезти к себе из Тарифы обед; конечно, он состоял только из яиц всмятку и ветчины; но кто знает испанскую кухню, тот поймет, с каким восхищением приняли мы такой обед. Испанцы умеют превосходно готовить ветчину, верхний жир обкладывают они легким слоем сахара; не знаю, от этого или от другого, но она имеет самый мягкий, нежный вкус. Нам привезли еще две бутылки превосходной сухой малаги (она очень похожа вкусом на белый портвейн), и вы не можете себе представить, как весел был наш обед. В южной Испании нет русских продолжительных, отрадных вечеров; здесь темнота быстро сменяет день;

через четверть часа после заката солнца здесь становится уже совершенно темно. Ночь была тихая, звезды так ярко светили, что без луны было ясно. Завернувшись в плащи, расположились мы на палубе. Мавры совершили свою вечернюю молитву; из них один, старик, молился с большим усердием. Мне особенно понравилось его умное, благородное лицо; я подсел к нему. К счастью, он говорил кое-как по-испански. Я спросил его, о чем он так усердно молился. Мавр подумал немного. «Кто может сказать, — отвечал он, произнося испанские слова на арабский манер, — какие грехи там сочтутся за нами? И вы о том знать не можете. У вас есть рай здесь, на земле, а там вверху, где наш рай, там не будет уже для вас рая». Это был мавр, видевший Европу; он бывал в Гибралтаре и чувствовал преимущество европейской цивилизации перед магометанским Востоком. Но в то же время он был искренний магометанин. Ответ мавра показывал, как верующие арабы, видевшие Европу, утешают себя, чувствуя духовное и гражданское превосходство европейцев над ними. Они признают это превос-

ходство; но, толкуя его таким образом, гордость их нисколько не чувствует себя униженнойю.

— Из какого ты народа? — спросил меня старый мавр.

— Я русский, — отвечал я.

— Об этом народе я никогда не слыхал. А зачем едешь в Танхер?

— Из любопытства, посмотреть вашу землю.

Мавр подумал несколько и потом медленно проговорил, с тем величавым, спокойным достоинством, которое принадлежит одному Востоку:

— Аллах велик! Никто не может знать, какой дорогой он ведет его. Но сохрани аллах, чтоб я мог оставить свою землю из любопытства видеть другие земли. Мы, мусульмане, ездим только по делам или по предписанию пророка в Мекку, где ключ всех законов.

Между тем мавры закурили трубки и в кружок подсели к старику. Случившийся возле меня был красивый мужчина, лет 30, но он знал по-испански лишь несколько слов, так что вопрос мой — много ли у него жен? —

должен был повторить ему еврей по-арабски. Мавр с самодовольствием ответил мне, мешая испанские слова с арабскими и добавляя знаками, что в Феце у него три жены: одна для хозяйства, другую взял он потому, что она очень хороша собой, а третья негритянка, — о ней мавр отзывался с особенным чувством, хваля ее пламенные качества. Как молчаливы были мавры днем, так сделались болтливы между собою вечером. Они говорили все вместе, не слушая один другого и сильно махая руками. Иногда кто-нибудь из них запевал что-то гнусливым голосом и словно декламировал, отчего все сильно смеялись. Потом один, казалось, овладел разговором, и все стали слушать его очень внимательно. Явно было, что он рассказывал что-то. Еврей наш, знавший по-арабски (он был родом из Танхера), тоже внимательно слушал.

— Что говорит мавр? — спросил я еврея.

— Он рассказывает сказку.

— Ах, пожалуйста, запомните ее хорошенько и расскажите потом мне.

— Извольте.

Но сказка была страшно длинна. Судно на-

ше не шелохнулось. Ночь была такая тихая, что до нас донесся чуть слышный выстрел вечерней пушки в Гибралтаре. Звезды ярко горели. Любуясь фосфорическим блеском моря, я задремал. Середь ночи морской туман сделался так влажен, что мой плащ промок и я проснулся от холода. Мавры и матросы спали, и на палубе нашего судна раздавался могучий храп.

Утро обмануло ожидания нашего капитана. Ветер встал сильный, но противный, так что нам невозможно было отойти от Тарифы. На этот раз капитан отпустил нас в город, говоря, что ветер не изменится до вечера, но чтоб на ночь мы приходили на судно. Француз, я и еврей отправились в Тарифу, и за завтраком же в кофейной я попросил еврея рассказать мне сказку мавра. Мне показалась она такою интересною по своей бестолковой оригинальности, что я тут же записал ее. Вот она.

«В древние времена в Аммаре жил погонщик верблюдов по имени Хамед-бен-Солиман. Почувствовав, что конец его приближается, призвал он к себе свою жену и своего

маленького сына и так сказал им: „Лала-Кабура, мне остается жить немного часов, и я расстаюсь с вами, скорбя, что бог не удостоил меня окончить воспитание моего сына. Мулей-Абсалам умнейший малый и обещает быть чем-то необыкновенным. Но злые джины зарятся на него и стараются его погубить; потому береги его и смотри за ним, дабы род мой не был потерян“.

«И когда сказал он это, схватили его столь сильные боли, что он уже не мог более выговорить ни слова. Лала-Кабура распустила свои волосы и закричала на весь Аммар: „Какая женщина имела столь красивого мужа, как Хамед-бен-Солиман? Был ли когда человек, который умел так обертывать голову кисеей и носить так свой гаик?[52] Где найдут такого погонщика, которого верблюды будут так слушаться, как слушались моего Хамеда-бен-Солимана?“. Все соседи и соседки сожалели о человеке и проводили его на кладбище.

«Мулей-Абсалам был еще мальчиком, когда случилось это печальное событие. Он был очень тих и от самого рождения своего ниче-

го не говорил, кроме „аллагу-акбар“ (бог велик). Когда люди порицали за его чрезмерную молчаливость и насмеялись над ним, отец его всегда говаривал: „Говорите, что хотите; я разделяю мысли моего сына; молчать лучше, чем говорить, и из десяти слов едва ли десятое слово угодно богу“. Но Мулей-Абсалам казался равнодушным ко всему, что около него происходило, и, когда умирал его отец, он, как видели то соседки, пристально смотрел вперед себя, выпуча глаза, и спокойно жевал старые финики. Мать, услышав, что его порицали за это, осердилась и сказала: „Говорите, что хотите; разве пророк не сказал, что достойно человека побеждать свою печаль? Разве великий Омар не усмехнулся, когда умер отец его, и не воскликнул: блаженны мертвые?“. И люди, слышавшие такие ее речи, качали головой и шли своею дорогой.

«Прошло семь годов после смерти Хамеда, погонщика верблюдов, и в продолжение этого времени ничего не случилось, разве только то, что Лала-Кабура приобрела много морщин, а Мулей-Абсалам — бороду. Впрочем, он был таким же молчаливым и по-прежнему не

замечал, что есть на свете люди, кроме его. Совершив свою молитву как правоверный мусульманин, выходил он из дому, кой-как накинув себе свой гаик на плечи, и ложился где-нибудь в поле; но особенно любил он лежать под одной густой акацией. Там лежал он по целым дням; а мать его давала знать с таинственным видом своим соседкам, что у ее Абсалама что-то большое на уме и что подобно пророку и святым людям он ищет уединения, дабы без помехи предаваться своим мыслям. И люди, проходившие мимо его, старались пройти без шума. Мулей-Абсалам все смотрел перед собой; а если иногда какой-нибудь жук, увиваясь около ствола акации, летел вверх, то Мулей смотрел на него с самым углубленным, сосредоточенным вниманием, следуя за его круженьем неподвижно устремленными глазами; потом вставал — но тихо, тихо и становился на цыпочки, чтоб как можно долее не терять из глаз улетавшего вверх жука.

«Однажды, и что причинило значительное удивление всем людям, обнаружилась в нем необычайная деятельность. Под старой ака-

цией начал он рыть яму и вырыл на столько, что весь ушел в нее; только по земле и камням, которые он без отдыху выбрасывал из ямы, заметно было, что он все продолжал рыть ее. Мать его не усомнилась, что Мулей-Абсалам набрел на клад, но очень сердилась на любопытство людское, которое хотело узнать, что все это значило. Целую ночь Кабура не могла заснуть и все думала о несметных сокровищах. Но утром с беспокойством заметила она, что сын ее на ночь домой не приходил, и пошла его отыскивать, думая, что, вероятно, помешало ему прийти домой какое-нибудь злое колдовство. Она пошла прямо к акации, и люди, увидав, как она спешила, говорили между собою: „Машаллах! О чем это так хлопочет Кабура?“. Но в неизвестности оставались они недолго: вскоре услышали они плачевный крик Кабуры, звавшей на помощь. Жители Аммара встревожились, поспешили к известному дереву — и увидали на дне глубокой ямы сидевшего на корточках Мулея. Мать, наклонясь, звала его по имени, кликала всеми возможными ласковыми словами, но напрасно. Голова его неподвижно

лежала на приподнятых коленях. Увидев, что дело худо, принесли веревки тащить его оттуда и, вытащив с большим трудом, положили к ногам матери. Мулей был мертв. Кабура, обнимая его, восклицала: „Беда мне, несчастной! Вот какая напасть случилась со мной! Где найти такого юношу, который мог бы сравняться с тобой в мудрости! Где найдется сын, который подавал бы своей матери такие великие надежды?“.

«В подобных и других словах жаловалась старая Кабура на судьбу свою и заказала своему сыну торжественные похороны. По окончании похорон, поздно вечером, проходил Хаджи-Мустафа с своим зятем Музой мимо ямы и разговаривали о покойнике. Вдруг услышали они со дна ее стон и слова: „Сжальтесь надо мной! Я Мулей-Абсалам, сын Хамеда-бен-Солимана, погонщика верблюдов!“. Услышав это, они весьма испугались, побежали в Аммар и рассказали о том. Тотчас все жители с фонарями пошли к яме и еще издали услышали жалобный стон Мулея-Абсалама: „Бисмиллах! (во имя бога!) Помогите, правоверные! А то съест меня талеб-юсуф (ша-

кал), желтый султан (лев) бродит около меня! Помогите Мулей-Абсаламу, сыну Хамеда-бен-Солимана, погонщика верблюдов!“.

«И все слышавшие это ужаснулись и говорили меж собою: „Разве мы нынче не схоронили Мулея-Абсалама? Или морочит нас злой дух?“. И, говоря это, произносили изречения из Корана и заклинания для прогнания злых духов. Таким образом подошли они к яме и при свете факелов увидели несчастного Абсалама в том самом положении, как нашли его прежде, и снова вытащили. Лала-Кабура громко выла, а все стоявшие вокруг вскрикивали от ужаса. То был тот самый Абсалам, которого они еще сегодня похоронили.

«Ночь эта была самая беспокойная и ужасная для жителей Аммара. Так как во всем этом явно было дело злого духа, то они тотчас же послали за мудрым человеком по имени Сиди-Мохаммедом и просили его заклясть покойника. Мудрый человек явился на черном коне и был при свете факелов приведен к тому месту, где положили покойника, завернув его в большое покрывало. Сиди-Мохаммед велел народу отойти так, чтобы около тела сде-

лался большой круг, и сошел с лошади, отдав ее держать своему негру, потом взял факел, приказав погасить все другие, воткнул его в землю в головах покойника, — зажег благовонные травы и начал что-то тихо бормотать про себя. Глаза его сверкали, пот крупными каплями катился по лбу, а ночной ветер раздувал его широкий гаик. Потом бросил он горсть земли на покойника и, вскричав: „Нет бога кроме бога, а Мохаммед посланный от бога“, — подскочил к своей лошади, вспрыгнул на нее и начал скакать вокруг трупа, все уменьшая и уменьшая круг. Пар шел из ноздрей коня такой, что при свете факелов казался белым огнем; глаза сияли кровавым светом, ноги едва касались земли и силы увеличивались с каждой минутой. „Машаллах, машаллах!“ — шептали про себя люди. Наконец подскакал мудрый человек к трупу, наклонился и вырвал факел из земли, потом слез и погасил его о землю. Заклинание кончилось. Сиди-Мохаммед начал говорить, как надобно завтра поступить при похоронах Мулея, как вдруг люди, которые хотели тащить тело в один отдаленный дом, испустили громкий

крик: покрывало, в котором завернули покойника, было пусто. Весь народ притих от ужаса и обступил мудрого человека, а он, сидя на своем коне, гордо поглядывал на народ. Наконец он сказал им следующее: „Ступайте по домам, правоверные, и спокойно дожидаетесь утра. Или Мулей-Абсалам — возлюбленный пророка, и тогда нам бояться нечего, или с нами джинны играют злую игру — ну, тогда мы найдем средство уничтожить их волшебство“.

«И, утешенный сим, народ разошелся по разным сторонам, восклицая: „Нет бога кроме бога, а Мохаммед посланный от бога“.

«Но на следующее утро случилось еще большее чудо. Кабура, выходя из дому, увидела своего сына — он прошел мимо нее — и слышала, как он сказал ей: „Ассалому алейкум!“ (Да будет мир с тобою!). Чуть она не умерла от ужаса. А он себе, словно ничего не бывало, взял со двора шесть длинных шестов, взвалил их себе на плечи и пошел вон. Кабура — за ним, и все соседи, увидевшие его, говорили: „Мулей-Абсалам, конечно, святой или возлюбленный пророка“. Осторожно шли они за

ним, издали смотря, что он будет делать с ше-стами. И увидели они, что он отправился к своей яме и, когда подошел к ней, сбросил с плеча шести, уперся руками в колени и, вытянув шею, начал смотреть в яму. И смотрел он так долго, что люди даже потеряли терпе-ние; был уже полдень, а Мулей оставался все в том же положении; вот и вечер пришел, и уже послышался вдали жалобный крик шака-ла... Мулей-Абсалам все смотрел в яму. Пока-чивая головой, разошлись жители Аммара по домам с намерением воротиться сюда утром. Но утром представилось им удивительное зрелище: из ямы возвышался страшной высо-ты шест, связанный из многих других, а на верху его торчал Мулей-Абсалам, опрокинув голову на спину, и пристально смотрел на небо. От тяжести его тела шест погнулся, словно колос, на верху которого сидит жук. Люди не знали, что и думать об этом. Целый день он не шевельнулся и все смотрел на небо. Но в эту ночь кончилось колдовство; два кабана проходили ночью этой дорогой; как только самка увидала Мулея, так и закри-чала: „Не этот ли нечестивец хотел проник-

нуть всю глубину и высоту мудрости? Давно уж он был нам, джиннам, сучком в глазу: мы ненавидим прославляющих дело Пророка; но теперь он в нашей власти и не уйдет от нас“. И, раскачав шест, вырвали они его из земли, так что тело Мулея расшиблось в куски о землю. Когда на следующее утро жители Аммара пришли посмотреть на Мулея-Абсалама, то нашли его тюрбан да кой-какие лоскутья одежды, разбросанные по полю»^{285}.

Целый день бродил я по Тарифе и ее окрестностям. Никогда не встречал я города с таким меланхолическим видом: полуразвалившиеся красные стены, пустынные улицы, дома дряхлые, на всем вид печали и скуки. Но несколько раз в этих заглохших улицах доносились до меня звуки гитары и живой темп андалузских песен. Уверяю вас, в таком меланхолическом, опустелом гнезде звуки гитары производят особенное впечатление. В одном доме женский голос пел под акомпаньмент болеро; я остановился, чтоб вслушаться в слова, и запомнил только четыре стиха:

De la dulce mi enemiga

*Nace un mal que al alma hiere,
Y por más tormento quiere
Que se sienta y no se diga.*

(От моего милого врага происходит мое страдание, поразившее мне душу, и, еще к большему моему мучению, это страдание хочет, чтоб его только чувствовали, а не высказывали).

Нигде не видал я таких густых кустов олеандров, как в окрестностях Тарифы. Кстати, здесь даже на нравах сохранился арабский отпечаток: женщины, выходя на улицу, совершенно закрывают себе лицо, так что у них видны только одни их сверкающие черные глаза. А как вам нравится следующая забава жителей Тарифы: каждое воскресенье гоняют здесь по улицам быка^{286}; если же бык очень свиреп, то человек верхом издали держит его за веревку, привязанную к шее. И все, что встречает на улице быка, взапуски дразнит его, мимоходом, предоставляя другим отделяться как знают от раздраженного животного. Женщины еще более мужчин страстны к этой забаве: они смотрят из нижних окон до-

мов, и особенное наслаждение нежных созданий состоит в том, чтоб тех, которые для избежания нападений бегущего быка взбираются на железные решетки окон, колоть булавками и принуждать тем снова спуститься на улицу. Их трусливые ужимки и страх возбуждают дикий, звонкий смех андалузок. Часто случаются опасные раны, даже смерть; но здесь и не думают о запрещении этой милой забавы. Разумеется, в эти дни старики и робкие люди сидят по домам. Это праздник страстных женщин и смелых людей.

Поздно вечером возвратились мы на наше судно. Не желая зябнуть на влажном, холодном морском тумане, как в прошлую ночь, я забрался спать в люк, между кипами товаров. Проснувшись часа в четыре, увидел я, что судно наше тихо подвигалось; легкий утренний ветерок едва колыхал паруса. Вдали чуть мерцал маяк Тарифы; луна была на закате. Перед нами в прозрачном тумане темнелись высокие берега Африки. Ветерок, поднявшийся было на рассвете, к утру стих; прилив нес нас к берегам Африки, их горы становились яснее и яснее. Они не так голы и скалисты, как бе-

рега Испании, но форма их угловатее; отлогости покрыты густым кустарником. Мы были так уже близко берега, что можно было разглядеть, как пасущиеся лошади цеплялись по крутизнам, и слышали голоса шатающихся по берегам арабов. Вдруг раздался выстрел, другой, третий...

— Что значат эти выстрелы? — спросил я матроса.

— По нас стреляют; эти собаки не любят, если христианские суда близко подходят к их берегам, и начинают стрелять по ним из ружей.

За отсутствием ветра матросы тотчас принялись за весла, и мы несколько отделились от берега. Но здесь поблизости Гибралтара арабы смирны, а на запад от Танхера, где море очень мелко, у берегов ежегодно случается, что при тумане, который здесь бывает иногда так густ, что совершенно закрывает берег, неопытные суда, предполагая берег далее, обманываются, попадают на мель и становятся жертвою береговых жителей. Арабы подъезжают тогда к кораблю на маленьких лодках, нападают на экипаж, большею частью убива-

ют его и грабят корабль. Правда, что мароккское правительство, по строгому требованию европейских консулов, всегда находит убийц и вешает их; но жажда у арабов к грабежу так велика, что всегда на место повешенных являются новые. Замечательно, что могущественная Европа до 1845 года платила мароккскому императору ежегодную подать, для того чтоб мароккские корсеры не грабили европейских судов. Часа четыре в ожидании ветра держались мы на море; вдали перед нами белелся чуть видный Танхер. Наконец вдруг поднялся сильный ветер, и на этот раз попутный; паруса наши вздулись, и судно полетело. Скоро открылся нам весь залив Танхера и на скате горы белый, низенький город среди густой зелени. Берег Африки с этой стороны и самый залив совершенно походят на Испанию; самый вид Танхера напоминает приморские берега Андалузии. Укрепления, разрушенные бомбардированием французов, кое-где поправляются^{287}. На узком каменистом мысу сидели в кружку арабы и, куря трубки, смотрели, как грузили быков на единственное находившееся в заливе судно. Судно

наше бросило якорь. Каждый приезжающий в Танхер европеец должен прежде всего отнестись к своему консулу и, так сказать, под его покровительством войти в город. Это сделано потому, что прежде европейцы, приезжающие в Марокко, пропадали часто без вести, а консулы, не зная о них, не могли формально обращаться к мароккскому правительству с требованиями розыска. Но для проезда из Танхера внутрь Марокко нужно еще особенное позволение танхерского паши. Мне рассказывали здесь, что недавно один немец, не взявши этого предварительного дозволения, отправился в Марокко, после шести дней трудной езды приехал к воротам его; но за проезд в город мароккское городовое начальство просило с него 80 пиастров (около 400 руб. асс.). Немец рассердился и воротился в Танхер. Наш консул в Гибралтаре адресовал меня к шведскому консулу^[288]. Так сказал я капитану, который с нашими паспортами отправился к консулам. С ним на лодке поехали и наши приятели мавры. Через полчаса с берега закричали, что можно выходить на берег. Еврей, француз и я отправились в лодке,

но по мелководью нельзя было близко подойти к берегу, и толпа дикого вида полунагих арабов окружила нашу лодку, подхватила каждого из нас на руки, вынесла на берег (причем не преминула вытащить у меня из карманов два шелковых платка) и тотчас потребовала денег. Эти свирепые лица, это коричневатое от загара тело, до колен прикрытое белыми бурнусами, эта животная жадность и дикие восклицания... — никогда не забуду я этого странного впечатления. Дав первую попавшуюся под руку монету, я стал пробираться сквозь толпу. Французский консул прислал к моему товарищу своего переводчика; с его помощью мне удалось наконец овладеть своим чемоданом и плащом, находившимися во власти двух арабов и уже далеко ушедших с ними; но в этой толпе, перед самыми воротами города, потерял я своего товарища с его переводчиком; еврей был известен в Танхере и давно ушел; я пробирался к воротам, как пожилой араб остановил меня, спрашивая по-испански, кто у меня консул. Это был начальник городских ворот. Так как шведский консул, к которому капитан отнес мой паспорт,

никого не прислал от себя к пристани, то этот господин в тюрбане хотел, чтоб я дожидался у ворот города. Но чрез несколько минут товарищ мой воротился за мною, и под покровительством французского консула я вошел в Танхер. Его переводчик сказал мне, чтоб я тотчас же шел к шведскому консулу, к которому я был адресован. В толпе, нас окружавшей, нашелся араб, говоривший по-испански, и повел меня туда. Но, заставив себя дожидаться более получаса, шведский консул вышел ко мне для того только, чтоб посоветовать мне обратиться к английскому. Английского консула не было дома, и я объяснился с вице-консулом, который тотчас же сказал мне, что английское консульство берет под свое покровительство всех, которые не имеют своих консулов в Танхере. Но, кроме этого, я нашел в вице-консуле самого любезного и обязательного человека. Он тут же представил меня своей жене; долгое пребывание в Испании отучило ее от английской неподвижности. Она показала мне свои акварельные рисунки, сделанные с большим талантом; мы разговорились об Испании, об ара-

бах. Она сыграла мне на фортепьяно несколько арабских мелодий, — словом, я с истинным наслаждением провел у них более часа. Отсюда я велел арабу вести меня к одной генуэзке, у которой сговорились мы остановиться и где мой товарищ уже дожидался меня. Французский консул прислал ему переводчика и мароккского солдата, под эгидою которого мы тотчас же отправились осматривать город.

Странное, горькое чувство охватило меня, когда я бродил по Танхеру, смотря на этих людей, полунагих, с печально-дикими физиономиями и величавыми движениями, закутанных в свои белые бурнусы, — на эту мертвенность домов и улиц, на эту душную таинственность жизни. Так вот она, эта Азия! Никогда не выезжая из Европы, я по этому одному клочку Африки предчувствую, что такое должны быть все эти города Турции, Египта, Персии, Аравии. Смотря на эту гордую осанку, на эти прекрасные лица, не верится, что находишься в стране беспощадной тирании. Попадались лица, которые трогали меня до глубины души своим грустно-кротким выражением.

ем. В этих глазах столько покорной печали, в этом долгом, задумчивом взоре Азии столько неги и глубины, что с недоумением спрашиваешь себя: за что же эти народы влачат такое тяжкое существование?

.
.

В наших метафизических системах, выдуманых в тиши кабинетов, среди кипящей живыми силами нашей европейской цивилизации, эта агония Востока^{289}, пережившего свою цивилизацию и не понимающего другой, чуждой ему, кажется делом таким простым и естественным: нет, взгляните на эти преходящие народы в их странах — насекомые, ползающие в грязи, не возбудят в вас такого чувства, как эти люди; а ведь их миллионы! Предопределение Востока не выдумка и не предрассудок: это его глубокомысленная философия, драгоценный бальзам, облегчающий его предсмертные страдания.

.
.

Они неспособны понять меня, гордо говорит европейская цивилизация, и потому

осуждены уступить место моим племенам или влачить жизнь животных и гибнуть. Так истребились племена, населявшие некогда Америку, и о которых президент Джефферсон^{290} говаривал в раздумьи: «Мне становится страшно за мой народ, когда подумаю о той великой несправедливости, в какой виновен он перед прежними обитателями этих стран»^{291}. Так же, может быть, впоследствии будут истреблены европейскими племенами и племена Азии и Африки. Европейское народонаселение растет, и ему скоро будет тесно в Европе. Но отчего же древняя цивилизация так охотно принималась народами Востока? Отчего она не осуждала их на смерть, а вызывала к жизни?

Европейская цивилизация хвалится общечеловеческими элементами; но отчего она с такими тяжкими насилиями прокладывает себе путь? Отчего эти миллионы народов, живущих возле нее, не только не чувствуют к ней никакого влечения, но соглашаются лучше погибнуть, нежели принять ее? Человекам не должно же быть чуждо человеческое. Не справедливо ли скорее то, что эти мнимые

общечеловеческие элементы, которыми так гордится европейская цивилизация, в сущности еще бедны общечеловеческим. Может быть, этой цивилизации недостает еще многого, может быть, она должна совершенно преобразиться, для того чтоб пристали к ней Азия и Африка; может быть, в ней и нет тех человеческих элементов, на которые могла бы откликнуться одичалая, но все-таки человеческая природа Востока.

В Европе так часто и много при всяком случае говорят и пишут о человечестве, что слово это сделалось даже каким-то общим местом, а многие ли отдают себе строгий отчет в значении этого громкого слова? Если взять понятие, в каком его обыкновенно употребляют, в его существенном значении и если принять в соображение, что у миллионов народов Азии и Африки жизнь сложилась совершенно противоположно европейским стремлениям, то выходит, что под громким словом «человечество» Европа в сущности понимает, сама того не сознавая, только племена, принявшие ее цивилизацию. На какое же меньшинство, беднейшее в сравнении с народона-

селением земного шара, сведется звучное слово «человечество»!

Городской базар Танхера состоит из площади, окруженной множеством маленьких лавочек со всякой всячиной: тут продают и мясо, и мед, и хлеб, и оружие, и туфли, и порох. Здесь беспрестанно толпится народ; иные сидят на земле, поджавши ноги, в совершеннейшей апатии; зелень и плоды продают женщины в покрывалах. В толпе мелькают и евреи; здесь они последние из последних; встречаясь с мавром, еврей тотчас дает ему дорогу, и мавр проходит, не удостоивая его даже взглядом. Вечером базар освещен, то есть в каждой лавочке горит светильник на масле; красноватый отблеск их придает картине еще более грязный и бедственный вид. Главную промышленность Марокко составляет выделка кож, а особенно сафьяна — он здесь превосходен. Здешние шелковые ткани толсты и тяжелы; но цвета их яркие и подобраны со вкусом. Всего лучше делают здесь оружие, и без всяких машин, одною ручною работою. Я видел отличные ружья и клинки дамаскированные, с золотом, серебром или ко-

раллами. Такое ружье здесь купишь за 15 пиастров (около 75 р. асс.). Все они очень длинные (6 футов). Мы зашли в кофейную, и кофе был очень хорош. Кофейная состоит из маленьких комнат; в каждой из потолка висит светильник; на полу, поджав ноги, сидели полунагие арабы, курили трубки, запивая кофе. В одной из лавочек близ кофейной сидел старый мавр — прежний алькайд (губернатор) Танхера. По своему уму он и теперь находился во всеобщем уважении. В Марокко нет различия состояний: самый последний из мавров может быть милостию султана облечен высшею должностью и потом по той же воле властителя низвержен в прежнее положение. Таким образом прежний губернатор Танхера снова стал мелочным лавочником и продавал туфли. Деньги — единственное средство, которое могло бы здесь быть началом различия сословий, скрывают всеми силами. Если паше захочется отнять их, он всегда найдет к тому средства. Власть мароккского султана гораздо неограниченнее власти султана турецкого; здесь в сущности все принадлежит ему: и деньги, и имение, и жизнь

подданных. Как потомок Мохаммеда он повелитель правоверных, высший судья, непреложный истолкователь законов Корана и исполнитель их. По восточным понятиям, как бог правит миром, так султан правит страню: могущество его ограничено только одним — невозможностью исполнения.

За городом, около стен, есть другой базар; сюда жители гор и степи приезжают продавать свои произведения; тут около колодца лежали десятка три верблюдов, навьюченных шерстью и кожами шакалов. За город мы могли пройти не более как на полверсты; далее, солдат наш сказал, ходить опасно, а надо ехать верхом и взять с собою шесть солдат в провожатые. Но меня эта прогулка не интересовала, тем более что, несмотря на солдата, в горы все-таки нельзя было ехать: берберы не боятся солдат и грабят их наравне с прочими. Около Танхера растительность самая могучая: гигантские кактусы, алоэ, высокий тростник, индейские фиги, пальмы, гранаты; с пригорков, сквозь чащу зелени, просвечивала песчаная степь. Но как отрадно нежила глаза эта темная зелень на ярком, золотистом фоне

пустыни, облитой солнцем, без теней, на которой лазурною полосой слегка обозначались далекие горы. Около городских стен находится сад, принадлежащий датскому консулу, весь из огромных апельсинных деревьев, величиною с наши старые вязы. Но дом его, выстроенный тут, совершенно опустошен берберами во время бомбардирования Танхера французами в 1844 году. Сын мароккского султана, стоявший с войском около Танхера, отступил с первого же французского выстрела, не подумав хоть защитить город от грабежа берберов. Губернатор, собрав около себя всех способных носить оружие в Танхере, едва отстоял его. Могадор же после бомбардирования французов^{292} был весь разграблен горными племенами.

Народонаселение Марокко состоит из различных и частью враждебных между собою племен — мавров, арабов, берберов, евреев и негров. Самую лучшую часть народонаселения составляют мавры; они живут в городах; из них же назначаются и должностные лица. Арабы частью живут в деревнях, частью ведут кочевую жизнь, бродя по пространным

равнинам внутри Марокко. При перемене одного кочевья на другое они должны платить султану определенную подать на основании того, что вся земля принадлежит ему. Самое дикое из всех племен — берберы; они живут в горах, занимаются грабежом, охотой и в постоянной вражде с маврами и арабами. Северная часть Марокко, в которой лежит Танхер, населена большею частию ими.

Евреи живут по городам и занимаются ремеслами^{293}. По своей деятельности и промышленности, несмотря на все презрение, оказываемое им маврами, они сделались им необходимы. В Танхере живут они где хотят, но во всех других городах Марокко им отведены особые кварталы, которые запираются после заката солнца, и ни один еврей не должен выходить из них. Евреи не имеют права носить в городах оружие, ездить верхом на лошади, а только на осле или муле; цвет одежды их должен быть черный, и никакого другого цвета носить им не дозволяется. Я говорил уже, что на Востоке черный цвет есть цвет презрительный. Проходя мимо мечети, они должны снимать с себя туфли и идти боси-

ком. Мальчишка-мавр может бить взрослого еврея, и он не должен сметь поднять на него руки: в противном случае за это бьют его палками. Еврей, желающий выехать из Танхера в Европу, хотя на короткое время, должен внести губернатору Танхера значительную сумму; даже женщины не изъяты от этого (мавры и арабы не платят за это ничего).

Можно ли требовать, чтоб при таком страшном угнетении это несчастное племя сохранило в себе какое-нибудь чувство собственного достоинства! Физически здесь оно несравненно превосходнее, чем в Европе; все евреи, мужчины и женщины, которых мне случалось видеть, имеют удивительно прекрасные лица, особенно женщины: это совершенно особый тип, нисколько не похожий на евреек в Европе. Здесь они не высоки и далеко не худощавы; цвет лица бледный, горячо-бледный, лицо овальное и довольно полное, губы толсты, влажно мягки и резко выдаются вперед, как на древних статуях египетских женщин; глаза большие, черные, всегда подернутые электризующей маслянистостью; взгляд медленно-задумчивый и долгий, ка-

кой-то страстно-меланхолический; движения лениво-спокойны... я не знаю другого типа женщин, в которых было бы более какой-то рдеющей неги, спокойной, ленивой и неутомимой. Но лица их с самым задумчивым выражением; в больших, огненных глазах их столько грусти, столько тихого, кроткого уныния, что у меня болело сердце, смотря на них. Двери мусульманских домов всегда заперты, но в каждую отворенную дверь смело можно войти: это дом еврея. Еврейское семейство принимает европейца с трогательным, грустным радушием. Мы даже были приглашены на одну еврейскую свадьбу. На голове молодой была повязка из мелкого жемчугу, а сверху ее белое кисейное покрывало, шитое золотом, падавшее на плечи. В этом уборе еврейка была очаровательна. Маленькая комната, в которой происходила свадьба, была наполнена евреями, еврейками, гостями и зрителями. Двое музыкантов сидели на полу по-восточному; один играл на большой скрипке, похожей на старинный *viole d'amour*[53], держа ее как виолончель; другой — на тамбурине, подпевая арабские песни, в которых никак я не

мог уловить ни ритма, ни мелодии. Возле музыкантов стояла чашка, куда гости и всего более молодой клали деньги. Мы тоже положили. Жених был лет 18, с острым, худощавым лицом; молодые сидели на небольшом возвышении, поджав под себя ноги. Танцевали одни женщины, без мужчин. В восточных танцах главное правило — нисколько не прыгать и не трогаться с места: танцующая движет корпусом, держа в руках большой платок. Музыка постепенно ускоряет такт, певец прерывает ее какими-то ноющими речитативами. Когда такт ускорялся, танцующая переставала действовать корпусом, а двигала ляжками и плечами. Я в этих танцах не нашел ничего приятного.

Генуэзка кормит нас очень вкусным обедом, который запиваем мы отличною сухою малагою. Эта добрая старушка уже двадцать семь лет живет в Танхере. Она с мужем приехала сюда искать счастья и кормилась, держа маленькую гостиницу для европейских путешественников. Муж давно умер, и — чудовище привычка! — старушка потеряла даже охоту видеть свою родину.

Алькайд, или губернатор Танхера, живет в большом дворце, старой и прекрасной мавританской постройки. Два солдата стоят у ворот. В нижнем этаже тюрьма. На большом дворе его мы были свидетелями восточного судопроизводства: человека с полуобритою головою и испитым лицом били палкою по оконечностям пальцев. Бедные арабы тюрбанов не носят, а бреют себе голову, оставляя на ней клочок волос. Наружно племена различаются между собой тем, что носят этот клочок волос справа или слева, спереди или сзади. Провожавший нас солдат объяснил нам, что этот человек обманул другого, за что алькайд осудил его на двадцать ударов палкою по пальцам. Здесь все судопроизводство совершается словесно; алькайд руководствуется Кораном и не должен получать никакой платы с тяжущихся. Но на деле выходит, что и у алькайда подарки суть самые лучшие доказательства правоты дела. Тяжущиеся стороны могут обращаться еще к султану, но так как и там самыми лучшими доказательствами все-таки служат подарки, то к этой последней инстанции обращаются лишь богатые, да и то редко.

Нас интересовала конюшня губернатора. Разговаривая со мной об арабских лошадях, английский вице-консул с восторгом говорил мне об одном арабском коне, находящемся у паши. Мавры держат своих лошадей не в конюшнях, а на открытом дворе. Конь действительно был удивительный. Здесь для султана и войска его берут самых лучших лошадей, каких только могут отыскать, владельцам выдается за них сколько вздумается султану или паше: по здешним законам, все лошади в сущности принадлежат султану. Если у кого есть отличная лошадь, горе ему, если она понравится паше: он должен скорей уезжать в горы, а то паша найдет средство отнять ее. Мавры особенным образом держат своих лошадей: они их никогда не подковывают, лошади стоят всегда связанные, так что едва могут двигаться. Мавры думают, что лежанье делает лошадь неповоротливою и ленивою. Конюшни их всегда на открытом дворе; солома кладется не под лошадей, а перед ними, так что лошадь должна вытянуть шею, чтоб достать ее: от этого у них шея делается длиннее и гибче. В Марокко, да и во всей южной

Испании, кормят лошадей только соломой и сеном, а овес считается нездоровым. Впрочем, солома здесь особенного качества и, вероятно, в себе содержит более питательного вещества, чем европейская, что можно заключить по ее тонкому, ароматическому запаху. Лошадей поят только раз в день, зато часто купают и моют, но никогда не чистят скребнем: щетки и скребни здесь вещи неизвестные. Мавры любят своих лошадей, как арабы пустынь — своих верблюдов. Если у мавра есть хорошая лошадь, он скорее разделит с ней последний кусок хлеба, нежели продаст ее. Утром, прежде молитвы, мавр идет к своей лошади, цалует ее в лоб, благословляет, говорит с ней как с другом и убежден, что она его понимает. Если она дика и непослушна, он пристально смотрит ей в глаза, говорит ей с сосредоточенным вниманием, дышит ей в ноздри или пускает туда табачный дым.

Танхер грязен; узкие улицы его, по которым валяется всякая падаль, похожи на коридоры, дома без окон, как стены, с дверьми, всегда запертыми: все это больше походит на тюрьму, чем на город. По вечерам из иных до-

мов раздается звук тамбурина: верно, забавляются им женщины. Если встретишь женщину на улице пустой и она уверена, что никто из магометан не замечает за ней, она непременно приподнимет свое покрывало. Таким образом видел я одну, прехорошенькую: проходя мимо нас, она быстро раскрыла свое покрывало и показала прекрасное темное лицо, на котором как две искры сверкали большие черные глаза. Женщины в мечети не ходят, а молятся дома; впрочем, как о существах низших, здесь о их спасении не заботятся. Ни малейшего следа не осталось у мавров от их прежней цивилизации. Но ни глубочайшее невежество, ни страшный деспотизм не могли сгладить их прекрасного, благородного вида, исполненного смелости и достоинства. Никогда не забуду я этих величавых лиц мавров, в созерцательном покое сидевших в своих маленьких лавках. При черных, лоснящихся бородах их прекрасные, белые, матовые лица имели в себе что-то прозрачное, как мрамор, когда сквозь него просвечивает солнце. Кроме домов консулов, ни у одного дома в Танхере нет окон на улицу:

прошедши зубчатую стену города, входишь между других стен, и таково здесь однообразие жизни, что здесь, я думаю, можно скоро перестать верить в возможность другого существования, как среди холодной зимы иногда не верится, что будет лето.

.
.

Европа — страна взаимных уступок и сделок, и вследствие этого — страна терпимости и кротких нравов. В Азии и Африке всегда все доводилось до последней крайности. В таком же отношении была религия древних греков к религиям Малой Азии, Египта и Финикии. Европа — самая непоследовательная страна в мире.

Расположение махоммеданских домов в Танхере (я заключаю это по домам евреев) то же, что расположение домов в Андалузии: непременно с внутренним двором, на который выходят двери окружных комнат. Внутреннее устройство католических монастырей всего лучше дает понятие о расположении мусульманских домов. Здесь на всяком шагу чувствуешь родственность между Андалузи-

ею и Африкою; только Андалузия здесь в зародыше, в зерне, — в ее развитии участвовали другие элементы. Между монотонным напевом *argiëro* (погонщика мулов) и мавританскими мелодиями — сходство, поразительное; только они здесь еще грустнее и завывательнее.

После четырехдневного пребывания в Танхере я начинал уже страшно скучать; его мертвое однообразие утомило меня, а уехать не было никакой возможности: судно, которое привезло нас, дожидалось груза, а в гавани не было ничего, кроме маленьких мавританских лодок. Зайдя раз к английскому консулу, вдруг слышу от него, что завтра будет праздник в Танхере — половина Рамадана или другой какой, не знаю^{294}. С восьми часов вечера муллы уже начали во всю мочь кричать и трубить с мечетей. Утром разбудили нас писк дудок и дикие крики: праздник открыла толпа фанатиков вроде дервишей, из которых каждый воображает, что в нем сидит душа какого-нибудь зверя. В Марокко они составляют особенную секту, в главе которой стоит воображающий себя львом. Каждый

держит себя сообразно с зверем, которого душу в себе воображает. Говорят, что иногда они заживо разрывают кошек и собак. Этим чудакам очень редко дозволяется ходить по городу; в Тунисе, чтоб прекратить разные бесчинства дикарей этой секты, сам бей вступил в их братство, в качестве льва.

После завтрака мы отправились на большой базар: там был главный праздник. На улице попадались нам толпы вооруженных мавров, забавлявшихся следующей игрой: из каждой толпы отделяются по двое и по четыре человека, выбегают вперед, вертятся, махая во все стороны ружьями и делая высокие прыжки; обе партии подбегают друг к другу, опускают ружья стволом вниз, каждый к ногам стоящего против него, — стреляют, потом вскрикивают, прыгают — и скрываются опять в толпу. Эту игру арабы называют *фантазия*. На большом базаре, образующем довольно обширное пространство, было множество народу, особенно женщин: сидя на земле, закутанные в свои белые покрывала, они точь-в-точь походили на мешки с мукою. На холмистой, усеянной буграми и ямами почве базара мав-

ры производили *фантазию* верхом. Отделения в 6 и 8 человек пускались легким, сжатым галопом, усиливая его до самого полного скака и взбрасывая высоко ружья, — потом брали поводья в зубы, клали ружье на левую руку, стреляли и мгновенно останавливали лошадь, так что иная опрокидывалась с всадником. Во всем этом быстрота и легкость были поразительны. Женщины громко вскрикивали, изъявляя свое удовольствие гортанным визгливым дребезжаньем. Потом показался торжественный поезд из ворот в город: впереди шли вооруженные мавры, забавляясь *фантазией*; за ними верхом на лошади ехал мальчик лет 6 или 7, в тюрбане и бурнусе; на ногах у него были красные сафьянные полусапожки. Лошадь была богато убрана: красные, шелковые поводья, высокое седло из малинового бархата; по обеим сторонам шли мавры, ведя лошадь за поводья, сзади — несколько женщин. Мальчика везли в мечеть, для обрезания. За этим поездом следовало несколько подобных, тоже в мечеть. Когда поезда кончились, на середину базара вышел араб; оливковое тело его едва прикрыто было

коротким бурнусом; он принадлежал к какой-то секте Сиди-Назира, которая утверждает, что находится под особенным покровительством пророка, так что ни яд, ни укушение ядовитых животных не может вредить ее последователям. Араб вышел с закрытою корзиною, в которой были змеи, вынул из нее двух самых ядовитых, раздражил их и дал себя ужалить, потом тотчас же высосал ужаленное место: он жевал что-то во рту, что, может быть, служило ему противоядием. Потом вынул он большую змею, теребил ее, раздражал — и тотчас же приводил в повиновение; наконец достал еще из корзины змею, длиною в аршин с небольшим, и принялся ее есть с хвоста, делая самые дикие кривлянья. Змея извивалась, вертелась, рвалась, жалила его; он уже половину ее съел, а она все еще вертелась...

Этим праздник окончился.

VI

Малага. Сентябрь^{295}.

Последнее письмо писал я к вам из Танхера. Не знаю, сколько бы еще времени пришлось мне сидеть в этом грязном мароккском гнезде, если бы, на мое счастье, по случаю болезни брата мароккского султана, губернатор Гибралтара не прислал сюда военного парохода с доктором. Английские военные пароходы не перевозят путешественников за деньги; только по рекомендации английского консула я был принят на пароход вместе с моим спутником французом. Дорогою капитан обращался с нами, как с обоими гостями, пригласил нас к завтраку, показывал свою библиотеку и вообще оказывал то лестное и вместе нисколько не отяготительное внимание, которое умеют оказывать одни только англичане, когда хотят быть любезными. Резкий противный ветер и непроницаемый туман заставили пароход употребить восемь часов на проезд от Танхера до Гибралтара, и на другой же день с пришедшим из Кадиса пароходом отправился я в Малагу, откуда и пишу к вам

эти строки. Никогда не забуду я того радостного ощущения, когда, разбуженный стуком якорной цепи, вышел я на палубу. Солнце только что показалось из-за волн; белые дома Малаги были покрыты чудесным розовым отливом, при котором утренняя глубокая синева неба казалась темно-яхонтовою; за этою ярко-розовою кучею строений лежали горы с самыми мягкими очертаниями, покрытые густою темно-зеленью... в первый раз еще природа Испании имела для меня кроткий, ласкающий характер.

И вот уже с лишком месяц живу я в Малаге, любуясь на ее чудных женщин, на ее веселые нравы. Гостиница, где живу я, стоит в углу небольшой площади, площади Мавров. В день моего приезда — это было воскресенье — площадь была полна народа; я был поражен этою звонкою, беззаботною веселостию. Близ гостиницы цирюльник сидел на пороге своей лавки с солдатом, наигрывал ему что-то на гитаре, а тот внимательно прислушивался к его игре; перед ними стояла молодая девушка и, постукивая кастаньетами, качалась корпусом, как обыкновенно делают

при начале всякого испанского танца; на углу ближней улицы, выходявшей на площадку, плясали фанданго; отовсюду слышалось бряцанье гитар, живые, меланхолические аккорды испанских танцев. И каждый вечер в Малаге словно праздник: песни и звуки гитар, самое беззаботное веселье, живые мелодии, смех и говор счастья и... юности, хотел я сказать, — но это слово шло бы к Европе, где поселится одна юность; в Андалузии и старики также веселы, и если они не танцуют с молодыми людьми, то всегда любят смотреть на их веселье, играть для их танцев на гитаре, подпевать им песни и не упускают случая импровизировать свой куплетец (*coplita*) в честь ловкой танцовщицы. Надобно узнать Андалузию вечером, чтоб понять все очарование этой южной жизни.

Малага как город вовсе не красива; но она лежит очень живописно; у ней прекрасный порт и самая изящная *alameda* (городское гулянье). Это длинный, сажень в пять шириною, бульвар, обсаженный густыми южноамериканскими растениями, между которыми расставлены мраморные бюсты римского време-

ни, вырытые в окрестностях Малаги^{296}. Здесь теперь тысяч шестьдесят жителей, и народонаселение постоянно возрастает. Бóльшая часть города сохранила еще свой мавританский характер, и в его вьющихся, темных улицах легко заблудиться. Старые, мавританские башни и ворота с своей аркой-подковою беспрестанно напоминают о времени владычества мавров, при которых Малага была значительным торговым и промышленным городом. Alcazaba, самая старая часть города, где живет теперь бедное простонародье, сохранила всю свою мавританскую стену. Это был некогда укрепленный замок гранадских владетелей. Красивые арабские ворота ведут в Alcazaba, а внутри построены бедные хижинны, и между развалившимися зубцами стен растут дикие фиговые деревья и фантастические кусты кактусов. От старой мавританской крепости на горе, господствовавшей над городом, остались одни только полуразвалившиеся стены; сверху ее — обширный вид на море, голубое и сверкающее, усеянное множеством парусов, которых белизна ярко отделяется от яхонтового цвета неба и моря. Но горы, обста-

вившие это великолепное море, поражают своею величавою обнаженностью: по берегу — ни дерев, ни жилищ, ни зелени; далеко тянутся одни только голые горы, крутые, суровые скалы, на которых лежит африканский пустынный и знойный колорит. Таков вид этой земли, знаменитой своим вином и мягкою теплотою своей атмосферы, — и такова прозрачность здешнего воздуха, что с старой мавританской крепости, особенно когда вечернее солнце освещает южный горизонт, ясно виднеются красноватые скалы горы Гибль-аль-Кибир в Африке, хотя по прямой линии до нее отсюда более 100 верст. Только улицы, прилегающие к гавани, выстроены в европейском стиле; огромная площадь, где сделана *alameda*, вся обстроена превосходными домами, в которых живет купеческая аристократия Малаги. Здешняя гавань уступает только барселонской в количестве приходящих кораблей, и из всех испанских городов Малага после Барселоны самый значительный торговый город, хотя и торгует только одними произведениями своей роскошной почвы. Все окрестные горы покрыты виноградниками,

которые производят более пятнадцати сортов вин, и то, что выдают в Европе за мадеру, херес, белый портвейн, суть большею частию произведения малагской почвы; кроме того, много выделяется здесь оливкового масла, не говоря уже о сушеном винограде (изюме), апельсинах и лимонах. Гавань постоянно наполнена английскими, французскими и американскими судами, осенью огромные массы винограда вывозятся отсюда в Россию, Англию и Америку. Множество иностранных купцов, привлеченных выгодными оборотами, беспрестанно селятся в Малаге, и город постоянно оживлен. Жители здесь и в одежде, и в нравах не отличаются от других андалузцев, хотя сильная контрабандная промышленность и легкость добывать деньги и придали нравам их какой-то особенный удалой колорит, тем более что от ремесла контрабанды здесь самый близкий переход к ремеслу *saballista* (разбойника верхом). Легкость добывать деньги привлекает сюда, как всегда бывает при больших торговых портах, множества всяких бродяг, и окрестности Малаги пользуются очень дурной славой, так что в

моих частых прогулках в горах мне советовали носить при себе оружие. Но в продолжение моего шестинедельного здесь пребывания, несмотря на то что я целые дни проводил один, верхом в горах, со мною решительно ничего не случилось, и пара заряженных пистолетов, которые я таскал с собою, оказалась совершенно бесполезною. Впрочем, эту безопасность приписывают здесь теперешнему губернатору (señor Ordoña); а не далее как за полтора года даже улицы Малаги были так опасны, что ночью невозможно было ходить по ним без оружия. Жители Малаги вообще веселый, удалой народ, мало имеют потребностей и в неделю работают только несколько дней, чтоб на выработанные деньги погулять в воскресенье. Огненное вино, дешевизна жизненных припасов, мягкость климата и в особенности удивительная красота и грация здешних женщин сильно развивают страсти, и здесь беспрестанно слышишь о riñaladas (ударах ножа) и убийствах, но причиною их не воровство, а ссора, мщение или ревность.

Погода стоит теперь здесь чудесная; после

недавних дождей все окружающие горы покрыты зеленью, словно при начале весны. Весна и осень здесь самые лучшие времена года; летом бывает несколько жарко, и, несмотря на мою любовь к теплу и солнцу, здешний зной иногда утомляет меня. Притом, чтоб быть здоровым, надобно вести очень воздержную жизнь в этом климате и непременно следовать примеру андалузцев и вообще испанцев: так же мало есть, как они, и так же мало пить вина. У южного человека страсти гораздо требовательнее желудка, у северного наоборот. С половины июля вся Андалузия, сожженная своим африканским солнцем, становится голою пустынею, и зелень виднеется только по берегам полувысохших рек. Но в конце сентября начинают изредка перепадать дожди, зелень снова возвращается: скаты гор и поля покрываются нарцисами, гиацинтами и белыми колокольчиками; в конце ноября все это снова исчезает; проливные зимние дожди сбивают нежные листья южных растений; одни только вечнозеленые деревья апельсиновые и лимонные сохраняют свои листья и, обмытые сильными дождями от летней пыли,

являются к зиме словно с свежими листьями. Тут в их темной, густой зелени начинают желтеть апельсины, и январь едва успеет кончиться, как уже распускающиеся цветы миндальных деревьев возвещают наступающую весну. Такой здесь райский климат!

Четыре провинции, которые составляют Андалузию, сохраняя между испанцами свое старое название королевств, оставшееся за ними со времени владычества мавров, суть Хаэн, Кордова, Севилья и Гранада. Эта южная часть Испании была всегда предметом привязанности народов, проникавших в нее и пораженных удивительным богатством ее почвы. Действительно, едва ли есть другая страна в мире, так роскошно одаренная природою: железо, медь, ртуть, сера, свинец, серебро, даже золото и теперь еще составляют здесь предмет больших приисков; в горах множество самого разнообразного мрамора и превосходного алебастра, солончаков, которых соль не требует ни малейшей обработки; кроме того, здесь разводится самый лучший скот, мериносы, не говоря уже о хлебе, самых разнообразных плодах, вине, оливковом масле, льне,

пеньке, шелке, хлопчатой бумаге, сахарном тростнике; и, несмотря на все это, страна находится в запустении и в горах ее царствует могильная тишина. Во времена мавров, сделавших Андалузию самую богатую и просвещенною, по тогдашнему времени, страню в Европе, по берегам Гвадалквивира было 12 000 деревень, а теперь едва ли наберется 800; народонаселение ее теперь вдесятеро меньше тогдашнего, и в этой плодоносной Андалузии есть такие пустынные места, которые не уступают запустением своим африканским песчаным равнинам. Только в немногих местах, прилегающих к Средиземному морю, сохранилась роскошная растительность. Эти долины, между горами, на вершинах которых лишь в последние летние месяцы стаивает снег, орошены множеством ручьев; жгучий жар африканского солнца освежается в них ветром, охлажденным ледниками; вода везде под руками и в изобилии; по южному берегу, начиная от Малаги, находятся плантации сахара и хлопчатой бумаги; кофе и индиго могут свободно разводиться; бананы растут в садах, так что на пространстве

десяти верст, поднимаясь от долин к снеговым вершинам, здесь можно наблюдать постепенность всех климатов, от тропической растительности долин до суровых дебрей горных вершин, напоминающих самые унылые тундры нашей Сибири.

Из всех городов арабской Андалузии ни один не оказал испанцам такого геройского сопротивления, ни один не отстаивал с таким мужеством своей независимости и веры, как Малага. Трехмесячная осада Малаги Фердинандом и Изабеллой в 1487 году составляет одну из самых поразительных драм гранадской войны. С каким отчаянием держались мавры за свою прекрасную Андалузию, с каким страшным упорством отстаивали они каждый шаг ее! Словно предчувствуя свою горькую судьбу, они давно уже оплакивали свое отечество. Есть один арабский романс XIII века, написанный после взятия испанцами у арабов Севильи арабским поэтом Абульбаки-Салехом^{297}; послушайте, сколько скорби, сердечного рыдания, сколько тяжкого предчувствия в этом романсе или, вернее в этом плаче араба над своим народом, своею верою

и свою возлюбленную Андалузию! Упомянув о преходимости всякого земного величия и счастья, араб продолжает:

«Где могучие повелители Йемена, где их короны, их диадемы?

Неотразимая судьба постигла их...

Она произвела царей, царства и народы; а что они ныне? — нечто похожее на призраки сна.

Неисцелимое бедствие постигло Андалузию, а с нею и весь исламизм.

Города и провинции наши опустели...

Спроси у Валенсии, что случилось с Мурсией, где Хаэн и Хатива?

Спроси, где Кордова — жилище знания, что случилось с мудрыми, обитавшими в ней?

Где теперь Севилья с ее очарованиями, с ее рекою вод светлых и кротких?

Дивные города, вы были столпами страны; как же не разрушаться стране, когда она потеряла столпы свои?

Как любовник, оплакивающий свою любезную, исламизм оплакивает свои провинции, опустелые или обитаемые неверными.

Там, где были мечети, ныне стоят церкви с

своими колоколами и крестами.

Наши святилища стали немым камнем и плачут, наши налои — деревом безжизненным и тоскуют!

О ты, небрегающий указаниями счастья, ты, может быть, спишь, но знай, что счастье всегда бодрствует.

Ты ходишь гордый и восхищенный своим отечеством. Но разве у человека есть отечество после потери Севильи?

О, это бедствие заставляет забыть все прежние бедствия, и никакое не заставит забыть о нем.

Вы, носящиеся на быстрых, красивых скакунах, летающие, подобно орлам, между стелющимися мечей, —

Вы, вращающие острые мечи Индии, которые сверкают, как огни между черными облаками пыли, —

И вы все, там за морем живущие мирно и обретающие в своих странах славу и силу, —

Разве не дошло до вас вести об андалузах? А посланные давно уехали известить вас о наших несчастиях.

Сколько злополучных умоляло вас о помо-

щи! Но ни один из вас не встал помочь им, и они теперь мертвы или в плену.

Что это за смуты между вами? разве вы не те же мусульмане! все братья, служители одного бога.

Неужели нет между вами душ гордых и великодушных? Разве уже нет никого защитить исламизм?

О, как они унижены ныне неверными, эти андалузцы, еще недавно столь славные!

Вчера еще они были властителями у себя — теперь они рабы в земле неверных.

О, если б ты видел, как плакали они, когда их продавали, ты обезумел бы от печали.

Да и кто бы мог перенести, видя, как они бродят оторопелые, не имея другой одежды, кроме лохмотьев рабства?

Кто мог бы перенести, видя горы между ребенком и матерью, все равно, если б была стена между духом и телом;

Видя в слезах и тоске молодых девиц, прекрасных, как солнце, когда встает оно, все из кораллов и рубинов, — гонимых варварами на унижительные работы?

О, от такого вида сердца разорвались бы от

скорби, если бы оставалась еще в сердцах хоть капля исламизма!».

Но восторженная эпоха исламизма давно миновалась; Африка равнодушно смотрела на бедствия своих андалузских единоверцев; наконец, отнята была у них их последняя «светлая звезда неба», их обожаемая Гранада. Раздраженные семисотлетней борьбою, испанцы не довольствовались уже совершенным покорением мавров: началось преследование религиозное. Победенных приняла в свои руки инквизиция и начала обращать в католичество. Им велено было оставить свой родной язык и одеваться по-испански: арабская одежда была запрещена, женщинам велено было ходить с открытыми лицами. Кроме того, запрещены были арабам употребление бань, музыка, пение, все их обычные забавы. Напрасно молили они о пощаде: фанатизм не знает чувств милосердия; инквизиция нарочно вызывала восстания для того, чтоб еще более преследовать неверных. Особенно осталось в памяти испанцев последнее восстание мавров, вспыхнувшее в Альпухар-

рах (Serranía de Ronda)^{298}, горных цепях, с обеих сторон облегающих Малагу. Много испанцев и в особенности монахов погибло при этом восстании, которое кончилось, как и предшествовавшие, еще большею гибелью для мавров. Их вера, их обычаи, их права были у них отняты; в начале XVII века им осталась только земля, на которой они жили. То была уже не простая политическая борьба: дело шло об истреблении всего племени.

Еще в 1602 году епископ Валенсии Хуан де Рибера представил Филиппу III записку о необходимости изгнания его неверных подданных. В ней советовал он королю оставить только юношей, разослав их по каторжным работам, и младенцев, для воспитания их в католической религии. Архиепископ толедский, дон Фернандо де Сандоваль, напротив, требовал немедленного истребления вообще всех мавров с женами и детьми. Записка Риберы была принята благосклонно. Ободренный этим, Рибера представил в 1609 году другую с целью: 1) доказать необходимость изгнания мавров, если желают спасти государство от немедленного вторжения неверных, и

2) успокоить короля касательно сомнений, могущих тревожить его совесть.

«Да возьмет себе государь в образец своих славных предшественников, которые изгнали из своих областей жидов, хотя жидаы были гораздо безопаснее мавров, ибо они никогда не были еретиками или отступниками и никогда не были обвиняемы в сношениях с врагами государства[54].

«Славный предок короля, Карл I(V), самый мудрый и великий государь своего века, повелел маврам принимать святое крещение или оставлять Испанию. Он надеялся, что, приняв крещение, они соделаются смеее с христианами и верными подданными. Но ныне не подлежит сомнению, что он обманулся в своем ожидании.

«Пагубные последствия, происшедшие от терпимости к тем, которые изменили истинной вере, всего лучше можно видеть во Франции. В течение почти полувека католические подданные этой страны постигнуты были всеми ужасами междоусобной войны; а если бы короли французские исполняли меры, предписанные церковию, и предали бы смерти

или изгнали бы из своего королевства своих еретичных подданных, то, конечно, избежали бы несчастных последствий своего послабления и сохранили бы чистоту веры.

«Выгоды духовные и светские необходимо требуют изгнания мавров; иначе мавры в непродолжительном времени завладеют всеми богатствами королевства; ибо не только в их руках находится промышленность, но они бережливы и воздержны, работают за небольшую плату и довольствуются барышом весьма умеренным, чего невозможно испанцам. От этого происходит то, что испанцы большею частию не могут заниматься торговлею и работою и находятся в бедности. Деревни, обитаемые испанцами в Кастильи и в Андалузии, весьма беднеют жителями, тогда как деревни мавров преуспевают в народонаселении и довольстве. Испанцы, наемщики земель самых плодородных, не в состоянии платить денег за наем; мавры же, возделывающие землю самую дурную, заплатив владельцам ее третью часть сбора, не только могут сами кормиться, но еще ежегодно увеличивают свое состояние. Повсюду перемешаны они

с христианами, повсюду пример их разливают яд магометанства; церкви и алтари поруганы их лицемерною покорностию и лишь наружным исполнением святых обрядов католической религии. Кроме того, они говорят также по-кастильянски, ум их более просвещен, им лучше известно настоящее положение Испании, и вследствие того они могут иметь опасные сношения с державами, враждебными могуществу Испании».

Рибера выводит из этого, что через несколько лет мавры превзойдут христиан богатством и числом и Испания подвергнется величайшим опасностям, если король не решится немедленно выслать из нее всех мавров, «удержав тех из их детей, которые не достигли еще пятилетнего возраста, для воспитания их в католической вере. Впрочем, и молодых может король удержать, употребив их частью на работы на галерах или на золотых приисках в Америке, а часть продав в рабство в Испанию и Италию. И такая строгость была бы, конечно, весьма справедливою к людям, заслуживающим, по своим преступлениям, смертного наказания. Перевоз же их в

страны, имеющие одинаковую с ними веру, будет особенным знаком милосердия королевского».

Архиепископ толедский пристал к мнению Риберы; главный министр Филиппа III герцог Лерма одобрил его: изгнание было решено и повеление о нем обнародовано в 1609 году.

Оно предписывало маврам в течение трех дней, считая от обнародования его, изготовиться к отъезду в назначенные им приморские города, откуда суда будут перевозить их в Африку, и, кроме того, под смертною казнию, запрещалось им, до приезда королевских комиссаров, которым поручено было отправление их в приморские города, выезжать из тех мест, где застало их повеление. Также под смертною казнию запрещалось им вывозить с собой золото или серебро. В Бургоне повешены были 23 мавра за то, что нашли при них скрытые деньги и дорогие камни.

Знатным владельцам земель в провинции Валенсия дозволено было оставить у себя шесть мавританских семейств из ста, чтоб они учили христиан рафинированию сахара,

сбережению риса в магазинах и поддерживанию каналов и водопроводов^[299]. Дети моложе 4 лет могли с согласия своих родителей остаться в Испании; равным образом дозволялось также остаться всем тем из мавров, которые представят свидетельство священников своего прихода об их совершенном отречении от магометанства и о, точном исполнении всех католических обрядов.

Я привожу здесь только главные пункты повеления. Мавры были поражены ужасом; напрасно предлагали они правительству вносить утроенные налоги, напрасно просили они заступничества у французского Генриха IV, который был тогда в раздоре с Филиппом III, напрасно предлагали Генриху IV принять протестантство; религиозный фанатизм не хотел принимать никаких условий; Генрих, занятый своими смутными делами, не обратил почти на них внимания, и роковое повеление было приведено в исполнение. Порученные фанатическим, жадным к добыче матросам, множество мавров погибло в переезде. Испанский историк того времени Фонсека («*Justa expulsión de los Moriscos*»)[55] назы-

вает двух капитанов кораблей, которые бросили в море всех мавров, принятых ими для перевоза в Африку. Кроме того, множество судов, нагруженных маврами, были занесены бурей на береговые отмели и разбились, так что в продолжение некоторого времени береговые жители Прованса называли сардины — *гранадинами*, по имени гранадских мавров, и не ели их, полагая, что они питались человеческим телом⁽³⁰⁰⁾. Немногим были счастливее и те, которым удалось, наконец, достигнуть берегов Африки: большая часть их погибла от голода и лишений среди знойных пустынь.

Трудно определить в точности число мавров, подвергшихся изгнанию; известно только, что из одной провинции Валенсии вывезено было их 140 000. Целые провинции, тысячи деревень и местечек обезлюдели; поля преданы были запустению, и земледелие упало до того, что преемник Филиппа III принужден был, для поощрения его, давать дворянские почести тем, которые займутся обработыванием земли. Но заброшенные поля Испании до сих пор свидетельствуют, как мало имела успеха эта мера. Тяжело отозвалось это

изгнание на торговле и промышленности. Мавры особенно были склонны к торговле и фабричным работам. Сукна Мурсии, шелковые материи Альмерии и Гранады, кожи и сафьян Кордовы продавались тогда по всей Европе. Мавры устроили в Испании дороги, прорыли каналы, очистили для судоходства реки, соединили торговыми сношениями все города Испании. После изгнания их исчезли даже самые предания их промышленности, фабрики пали по недостатку рабочих рук, за ними торговля и промышленность; поля лежали невозделанными, искусственные водопроводы развалились, опустелые дома деревень разрушились, и вместо трудолюбивой, живой деятельности в горах Андалузии воцарилась тишина кладбища.

Для меня, жителя северных равнин, южные горы имеют какую-то необъяснимую прелесть; глаза, привыкнув с младенчества свободно уходить в смутную даль, ограниченную темною и мертвою линиею горизонта, с какою-то ненасытною негою блуждают по этим высотам, на которые каждый час дня кладет свои особенные тоны колорита. В равнинах —

природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше — одно небо и пустое пространство, которое невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и склонность к мечтательности в жителях равнин. В горах надо проститься с этою туманною беспредельностью: глаза всюду встречают не однообразную, серую даль, а яркие переделы зелени или утесы и скалы, которым солнце и воздух сообщают нежные радужные цвета. Я думаю даже, что живописец, живущий в равнинах, едва ли будет хорошим колористом: только в горах можно понять все очарование солнца и тени и радужную их игру. Утром горы лежат в синем, чуть прозрачном тумане, сквозь который едва отделяются их очертания; облака, застигнутые на отлогостях и в ущелиях затишьем вечера, ранним утром розовые, потихоньку встают и уходят; постепенно, как солнце возвышается, туман становится прозрачнее и голубее; вот начинают обозначаться зеленые отлогости, красноватые скалы, темные ущелия. В этой воздушной, радужной, игре цветов и лучей есть что-то музыкальное: не живопись — перед этими крас-

ками все наши краски кажутся грязью, — а симфония, сыгранная оркестром, может только дать понятие об этом чудном разнообразии и гармоническом сочетании цветных тонов. Как смелы, резки и вместе нежны эти переходы! Каждая неровность, каждый уступ кладут свои оттенки, которые беспрестанно меняются с движением солнца, пробегающие тени облаков еще более разнообразят эту игру света. В полдень туман исчезает, оставив по себе лишь прозрачный голубой пар, в котором чувствуется что-то знойное и сонное. Есть в полдне минута, когда солнце стоит на самой высоте горизонта и лучи его падают перпендикулярно: яркость их так сильна, что все разнообразие горных тонов исчезает, утопая в свете; горы теряют свою массивность и становятся воздушными, словно прозрачными: в эти минуты они принимают какой-то идеальный вид.

Чем ниже опускается солнце, тем становится золотистее светло-голубой эфир, облегающий горы: снова начинает выступать разнообразие цветных тонов. Но косвенные лучи солнца уже изменили прежнее расположение

их: зелень, скалы и ущелья начинают выступать с новыми оттенками. Постепенно исчезает золотистый пар, раскрывая горы во всей их осязательной массивности. Радужная дымка, лежавшая на них с самого утра, совершенно исчезла: теперь картина гор начинает походить на заключительные, восходящие аккорды симфонии. В эти минуты чувствуешь, что то же очарование, которое для ушей лежит в звуках, для глаз заключается в цветах. Вот горы покрылись золотисто-палевым цветом; но скоро начинают пробегать по ним легкие, лиловые тоны, и все сильнее и все гуще, и через минуту горы облиты лиловым сиянием; как нежатся, утомленные яркостью прежних цветов, глаза на этом мягком, ласкающем цвете, с каким-то задушевым стремлением хочешь подолее насмотреться на него! Но все больше и больше рдеют лиловые горы, и мгновенно разливается по ним яркий огненный пурпур; с минуту стоят они словно объятые красным пламенем... нет сил смотреть на этот ослепительный блеск... он слабеет уже — это заключительный аккорд горной симфонии. Последние кровавые лучи заката

едва на мгновение обольют еще горы алым светом, как уже низовые отлогости их тонут в сером ночном тумане; солнце скрылось, и только легкое розовое мерцание догорает кой-где на высоких вершинах.

И каждый день с ненасытной негой смотрю я на горы, и каждый день все мне кажется, что только сейчас увидел их. Сколько раз благословлял я судьбу за то, что я родился и вырос в стране равнин и унылой природы, а не на юге: тогда бы мои глаза давно привыкли к горным красотам южной природы и не ощущали бы этого наслаждения, сердце не билось бы этим блаженством; я не чувствовал бы тогда во всем существе своем этой неги, которая проникает мой организм среди южной природы.

В моих частых прогулках верхом по окрестностям Малаги не раз случалось мне заблудиться в горах; однажды, отыскивая дорогу к городу, встретил я крестьянина лет пятидесяти, с выразительными, острыми чертами лица, загорелого до бронзового цвета. Он был в темном изорванном плаще. На вопрос мой он отчетливо рассказал мне о дороге к го-

роду и шел со мной с полчаса, разговаривая, наконец остановился, вежливо снял шляпу и в отборных словах поблагодарил меня за честь, которую я доставил ему своим обществом, прибавив, что ему надобно свернуть в сторону, в ближайшее селение. Я счел это желанием получить что-нибудь за труд и опустил уже руку в карман за мелкой монетой, как крестьянин, увидев мое движение, поспешно надел свою шляпу и замахал рукою, говоря:

«Нет, нет, синьор, я беден, но я кавалер, — и, уходя, еще прибавил: — да, мы бедны, но мы все кавалеры».

Как несправедливо ходячее по Европе мнение о враждебности испанцев к иностранцам! Постоянно я встречаю здесь только дружелюбных, услужливых людей, в которых никогда не замечал я даже тени враждебного чувства к иностранцам, которое так живо, например, во французском народе. Лодочники, содержатели верховых лошадей, деревенские жители, работающие на виноградниках, с которыми вступаю я в разговор, прогуливаясь верхом, зажиточный поселянин, к которому

иногда заезжаю ошибкою, считая дом его за венту, — во всех равно нахожу я приветливость, врожденное достоинство и обхождение, исполненное самого тонкого приличия. Но, кроме этого, андалузец натурально изящен, *élégant* и *distingue*[56], вовсе не думая об этом. Разумеется, испанский простолюдин и к себе требует такой же учтивости, какую оказывает сам, и очень неловко будет здесь тем, которые вздумают обращаться с испанским простолюдином так же повелительно и с таким же гордым пренебрежением, с каким обращается в Европе горожанин с мужиком. Пословица «по платью встречают» здесь не имеет приложения: величайшая учтивость здесь повсеместна, и это без всякой приторной снисходительности с одной стороны, равно как и без малейшей требовательности с другой. Впрочем, вы не думайте, чтобы простой народ в Испании, даже погонщики мулов, был так же груб и невежествен, как в других странах Европы, не исключая и Франции: напротив, старинная испанская церемонность и вежливость проникли здесь в самые низшие общественные слои; кроме того, в разговорах

между собою мужики постоянно употребляют «ваша милость» (Vuestra merced, в сокращении Usted), и это до того вошло в испанский язык, что даже дети, играя на улице, не иначе говорят друг другу, как «ваша милость». Какое-то самоуважение, какая-то важная церемонность, вероятно, сложившаяся из старинных рыцарских[57], монархических и религиозных нравов, лежит на всех манерах, даже на быте испанца, и в этом отношении они гораздо более приближаются к народам Востока, нежели к европейцам.

Раз случилось мне провести в горах очень занимательный день. Чудное, свежее утро очень рано потянуло меня за город. Я поехал по направлению к Ронде. Долго спускаясь и поднимаясь с горы на гору, не встречал я ни одного жилья; наконец, в самом романтическом местоположении увидел я совершенно одинокую венту. Было уже гораздо за полдень, лошадь моя устала, и сам я чувствовал большую пустоту в желудке. Я подъехал к дому; хозяин, вероятно, услышав шаги моей лошади, вышел ко мне навстречу: это был молодой человек, красивый и статный, как вооб-

це все андалузцы. Попросив его позаботиться о моей лошади, я вошел в дом. Тут встретил я жену его: это был самый лучший тип того, что называется здесь morena andaluza (темная андалузка). На ней было черное платье с бахромою; в черно-синих волосах полураспустившийся алый месячный розан; большие черные сверкающие глаза отсвечивали у ней каким-то красноватым блеском; лицо желто-бронзового цвета, от него веяло здоровьем и свежестью, как от желтого, зардевшегося на солнце персика. Несколько прихотливая грация ее движений показывала, что андалузка знала и чувствовала красоту свою. С кокетливою заботливостью очистила она мне свою комнату, в которой висели на стене пара кастаньет и две гитары; внизу их на столе лежало множество романсов и песен, напечатанных на скверной серой бумаге. Освежившись холодною ключевою водою от солнечного зноя, который все утро палил меня, я воротился в общую залу, которая была собственно кухней. Хозяйка хлопотала около огромного очага за приготовлением обеда. Тут увидел я еще двух молодых людей, очень красиво оде-

тых по-андалузски и вооруженных. Мы молча раскланялись. Мне известно было, что горы между Рондою и Малагою, по причине своих ущелий и трудных дорог, служили главным путем провоза контрабанды, и легко было понять, что вента, по своему уединенному положению, непременно была в близких сношениях с контрабандистами; но я знал также, что в качестве иностранца я с этой стороны не должен был опасаться для себя никаких неприятностей. И, действительно, как я мог заметить по некоторым их вопросам, они сначала приняли меня за француза, желающего найти подрядчика Для провоза контрабанды. Когда я сказал, что я русский путешественник и из Малаги, гуляя, нечаянно заехал сюда, молодые люди и хозяин, которые держали со мной какой-то деловой тон, стали очень разговорчивы и приветливы. Эта приветливость началась, как здесь водится, с сигар, которые предложил мне один из молодых людей, причем не преминули расспросить о России. Впрочем, вопросы их ограничивались одним: «Очень холодно в России? В России всегда зима?». Обед состоял из густого супа с горохом и

ветчиною и потом жареной баранины; все это мы запивали белою, несладкою малагою. После обеда anisado (анисовая водка, которую здесь пьют после обеда) еще больше расположила к веселости; мы вышли и, закурив сигары (после обеда я поспешил им предложить свои сигары), легли на траву, перед вентою. Хозяин принес гитару и бренчал на ней, подпевая вполголоса какую-то песню. Вид со всех сторон был великолепный: вента стояла в углублении высокой, крутой скалы; около нее из ущелия падал быстрый ручей, распространяя около себя освежающую влажность, благодаря которой вента окружена была сильною растительностию и густыми апельсиновыми деревьями. Такие из скал падающие ручьи очень часты в здешних горах; их называют здесь nacimientos — рождениями; они-то и поддерживают местами тропическую растительность в этих раскаленных солнцем местах. Вокруг подымались скалистые горы, большею частию темного цвета. Один из молодых людей оказался искусным певцом; он взял из рук хозяина гитару и с большою ловкостью пел андалузские песни, мелодии кото-

рых не столько требуют искусства, сколько особенной ловкости, как наши цыганские песни. Кроме этого, андалузские песни отличаются от песен остальной Испании необыкновенным удальством и чувственностью содержания, так что большая часть из них непереводаима. Я, для примера, приведу только одну, которая поется не в одном простонародье, а во всех классах, равно мужчинами и девушками, и никому здесь в голову не придет находить тут что-нибудь предосудительное; мелодия ее очень увлекательна.

*Tu Zandunga y un cigarro
Y una caña de Xerés,
Mi jamelgo y mi trabuco,
¿Qué más gloria puede haber?
¡Ay manola, qué jaleo!
No ya tanto zarandeo,
Que me turbo, me mareo
Sólo al ver tu guardapiés.*

*Con tu pierna y tu talle
Vas derramando la sal
Y a los hombres dejas muertos
Con tu modo de mirar.*

*¿Quién me disputa el derecho
De gozar tu blanco pecho,*

*Cuando me encuentre deshecho
Al mirar tu guardapiés?
Eres tan zaragatera
Cuando empiezas a bailar
Que con ese cuerpecito
Me haces desesperar.
Otro salto que me obligas.
Vuélveme a enseñar las ligas,
Que estoy pasando fatigas
Por mirar tu guardapiés.*

«Когда у меня ты, моя красавица[58], сигара да бутылка хереса, мой конь и мой трабуко [59] — какого еще счастья желать мне? Ах, душа моя, вот так жизнь! Да не вертись так — у меня кружится голова от одного вида твоей оторочки[60].

Своей ножкой и талией ты рассыпаешь вокруг себя очарование[61] и мертвишь мужчин своей особенной манерой смотреть. Кто посмеет оспорить у меня право наслаждаться твоей белою грудью, если я становлюсь вне себя уже от одного вида твоей оторочки!

И такая ты быстрая и легкая, когда начнешь танцевать, что это милое, маленькое тельце приводит меня в отчаяние... Одолжи, вспрыгни... дай увидеть мне твои подвязки...

я уж весь истомился, смотря на твою оторочку».

Но возвращаюсь к моему молодому певцу. Солнце между тем стало закатываться, и тоны гор сделались разнообразнее; вдали от лиловых отлогостей резко отделялся ряд совершенно красных скал, и так ярко горели они на последних лучах солнца, что я невольно проговорил, указывая в ту сторону: вот удивительные красные скалы!

— Это, сеньор, гора Бермеха, — отвечал молодой человек, — там пролилось много христианской крови; а вот этот утес, что наклонился и потемнее, — это «скала влюбленных».

— Много пролито крови? В то время, когда здесь были французы?

— Нет, сеньор, во времена мавров.

Надобно заметить, что здесь все народные рассказы, начиная от рассказов о кладах, непременно ведутся от времени мавров и очень похожи между собою. Я не стал спрашивать, опасаясь, что андалузец начнет одно из тех длинных повествований о мав-

рах, от которых мне не раз приходилось ску-
чать; но вместо рассказа молодой человек
взял оставленную им гитару и, после продол-
жительного ряда мольных аккордов, запел
старинный, прекрасный романс о том, как в
одном из восстаний мавров погибло в этих
местах испанское войско. Рот он в переводе:

*Рио-Верде, Рио-Верде![62]
Ты течешь, покрыта кровью, —
Христианской свежей кровью,
А не кровью мавританской.
Меж тобою и Бермехой
Много рыцарства погибло.
Пали герцоги и графы,
Пали храбрые сеньоры.
Там убит был Урдiales,
Человек большой отваги.
По крутому горы скату
Убегает Сааведра;
Следом гонится отступник,
Хорошо его знававший,
И, воскликнув очень громко,
Речь такую к нему держит:
«Сдайся, сдайся, Сааведра.
Хорошо тебя я знаю,
Я видал, как забавлялся
Ты на площади севильской*

Славной рыцарской забавой;
И родных твоих всех знаю,
И супругу, донью Клару.
Был семь лет твоим я пленным,
И житье мне горько было,
А теперь моим ты будешь,
Иль я сам расстанусь с жизнью».

Сааведра то услышал
И как лев он обернулся.
Мавр пустил в него стрелюю,
Но стрела промчалась выше;
Тут копьем своим тяжелым
Его ранит Сааведра —
Мертвый падает отступник
От великой такой раны.

Окружили Сааведру
Больше тысячи арабов
И в великой своей злобе
На куски его разняли.
В это время дон Алонсо
Бой выдерживал великий:
Перед ним был конь убитый,
За конем, как за стеною,
Прислонясь спиной к утесу,
Он отважно защищался.
Много мавров перебил он,
Да в том пользы было мало.
Потому что нападают

*Все сильнее и сильнее,
Нанося большие раны,
И такие, что он мертвый
Пал меж вражьими толпами.
Тяжко раненный, спасался
Граф Уренья с человеком,
Все тропинки твердо знавшим;
Много мавров перебил он
Храбростью своей великой,
Но гнались за добрым графом
Те, которые остались.
Пал убитый дон Алонсо,
И жизнь новую нашел он
В славе вечной и бессмертной
За свой подвиг и за храбрость[63].*

С какою удивительною свежестью сохранились здесь исторические воспоминания! Память о битвах с маврами так еще жива в андалузцах, так горяча, как будто недавно только кончилась борьба эта. Здесь каждый крестьянин знает замечательные события своей провинции за три и четыре века назад — разумеется, без хронологического порядка, и постоянно мешают их с разными поэтическими преданиями, потому что знает их не из книг, которых он не читает, а из расска-

зов и романсов, перешедших через двадцать поколений.

Ехать мне было поздно, и я решился переночевать в венте. В пять часов утра лошадь моя была уже оседлана, и на желание мое проститься с моими вчерашними знакомцами хозяин отвечал, что они ушли еще на рассвете. Расспрашивать о них я счел неприличным, уверенный в их ремесле.

Несмотря на все строгости, какими испанские таможи мучат путешественников, контрабанда здесь так же сильна, как и при Эспартеро, которого французская партия упрекала особенно в том, что он будто бы сквозь пальцы смотрел на контрабанду из угождения друзьям своим англичанам. Правда, я видел раз торжественное объявление малагской таможи о том, что она где-то на берегу захватила несколько кип запрещенных товаров, но здесь, между тем, известно, что на каждую захваченную кипу спокойно проходит в другом месте сотня кип. В официальном английском отчете о внешней торговле за 1845 год (*Progress of the nation by Portes*)[64], который нашел я здесь в Коммерческом клу-

бе^{301}, значит, что в последние десять лет вывезено из Гибралтара в Испанию табаку на восемь миллионов фунтов стерлингов (около 50 миллионов серебром). А ввоз табаку в Испанию решительно запрещен; следовательно, все это ввезено посредством контрабанды. Французы, которые в журналах своих с таким бескорыстным негодованием упрекают англичан за их контрабандную торговлю, сами весьма деятельно занимаются ею через свою пиренейскую границу. Например, в отчете французского министра торговли, случайно мне попавшемся здесь в руки, значит, что в 1843 году вывезено из Франции в Испанию бумажных товаров на 36 миллионов франков. Но ввоз в Испанию бумажных товаров запрещен испанским тарифом, поддерживающим каталонские фабрики; следовательно, вся эта масса товаров провезена контрабандою. В Каталонии сами фабриканты занимаются контрабандою; получа таким образом французские или английские изделия, они ставят на них свое фабричное клеймо и безопасно продают за испанские. Люди, хорошо знающие эти дела, говорили мне здесь, что в Байоне,

Перпиньяне и Марсели есть банкирские дома, застраховывающие контрабандный ввоз, смотря по товару, от 15 до 50 процентов с франка ценности товара. Не думайте, впрочем, что контрабандисты в Испании принадлежат к тому классу несчастных бродяг, которые рискуют своею жизнью из-за какой-нибудь безделицы; напротив, они составляют здесь род военно-коммерческого общества и пользуются уважением; их считают в Испании более 50 000 человек. Во всех других землях контрабандисты вербуются из самого дрянного и грубого общественного осадка: здесь контрабандист не только должен иметь значительный капитал, но еще и репутацию честного, ловкого и храброго человека. Я разумею здесь контрабандного подрядчика, который, сторговавшись с хозяином товара, берет на себя провоз его. Он должен иметь наготове значительное число мулов. Конвои его хорошо вооружены верхом и доходят, смотря по опасности, до 50 человек; он должен еще отвечать за честность каждого из своих людей. Разумеется, ему случается иногда мирно улаживать дело; но, обеспеченный со стороны

береговой стражи, он должен входить в сношения с начальством гражданским. Груз ста или более мулов невозможно за один раз ввезти в город, он должен делить его на несколько партий и для ввоза каждой входить в сделку с разными ведомствами гражданского управления. Случается, что вследствие невыгодных сделок контрабандист несет убытки и разоряется; тогда он делается *caballista* — вором верхом. Эти два класса в Испании постоянно поддерживают друг друга, потому что разбогатевший *caballista* снова делается контрабандистом, и на той дороге, где возится контрабанда, никогда не является шайка разбойников.

Мне еще не случалось говорить об одной из оригинальных особенностей Испании, именно об ее разбойниках. До сих пор мне удалось не встречаться с ними, и я готов бы считать их за выдумку путешественников, если б множество рассказов, слышанных мною здесь о них, и на днях, расстрелянные двенадцать человек в Гранаде поневоле не убеждали меня, что в Испании не перевелась еще одна из ее принадлежностей. И, несмотря на

это, я с удивлением узнал, что суды здешние гораздо больше внушают ужаса в мирных людях, нежели рыцари больших дорог. Если здесь в городе случается убийство, то вместо разыскания убийцы прежде всего берут тех, которые подняли убитого, желая подать ему помощь, или жителей дома, возле которого найдено тело. Если на улице послышится крик о помощи, двери ближних домов тотчас наглухо запираются, но не из страха воров, а из боязни, чтобы раненый не вздумал искать помощи в каком-нибудь доме; а суд потом придет делать следствие, и чем богаче хозяин, тем хуже для него: как-нибудь припутают его к следствию, и он должен откупаться деньгами. У приехавшего со мной сюда французского торговца часами украли партию часов. Мы стоим в одной гостинице.

— Вы уже дали знать об этом полиции? — спросил я его.

— Нет, и знать не дам.

— Как так?

— Видно, что вы не знаете испанского судопроизводства! Вот я двенадцать лет езжу по Испании и не слыхал никогда, чтобы находи-

лись краденые вещи. Правда, что воры находились, но всегда без вещей... да здесь расходы по отысканию вора суд взыскивает с вас же, потому что надо же ему с кого-нибудь взыскать их, а с вора взять нечего; да он не всегда и находится.

Я сам был свидетелем потом, как пришедшему к нему *escribano*[65] француз отвечал, что не хочет разыскивать своей покражи. Устройство судопроизводства в Испании вообще таково, что здесь процессы выигрываются только деньгами, а исключения из этого, вероятно, редки; иначе суды здесь не внушали бы такого страха. Но обратимся теперь к разбойникам.

Здесь два класса воров: конные и пешие — *saballistas* и *rateros*. Воры на конях соединены в шайки, состоящие из 15, 30 и более человек. Воровство есть у них исключительное ремесло; но они имеют репутацию храбрых и вежливых людей и не иначе, обращаются к путешественнику, как называя его: «Ваша милость». Они мало дорожат платьем, а берут только деньги. Говорят, будто они даже делают условия с перевозчиками товаров и с зна-

чительными фабрикантами и торговцами; путешественники же принимают меры, чтобы и денег много не терять, да и битыми не быть, потому что разбойники сильно бьют того, у кого мало находят денег. Франков 200 считается суммой достаточной; если же находят больше, то обращаются с большою вежливостью и называют *miu caballero*[66]. О сопротивлении никто и не думает: во-первых, потому, что в случае сопротивления путешественников ожидает непременно смерть. *Rateros* находятся в презрении у *saballistas*; это воры больше по случаю, нежели по ремеслу; у них всегда есть какое-нибудь занятие, и трудно их отличить от честных поселян. Они набираются из пастухов, лесных сторожей и даже из настоящих поселян, которым горная земля не доставляет достаточного содержания. Пастухи и лесные сторожа, например, имеют право носить оружие и, случайно сошедшись в числе 6 или более человек, грабят *дилижанс* и потом расходятся по своим местам, иногда на расстоянии нескольких миль один от другого, где полиции и в голову не придет их отыскать. Эти случайные воры го-

раздо опаснее настоящей шайки: боязнь быть узванными заставляет их часто убивать путешественников. С этой стороны для иностранца гораздо менее опасности, нежели для туземца. Главное препятствие, которое встречает стража в своих преследованиях организованной шайки, происходит от того, что разбойники соблюдают строго правило никогда не грабить жителей деревень и всячески быть полезными тем, у кого находят себе прибежище; нарушивший это правило тотчас же у них расстреливается. Так же беспощадно мстят они и за донос об их пристанище. Вследствие этого жители горных деревень смотрят на них очень равнодушно и вовсе не расположены наводить сыщиков на след разбойников. В Испании нет маленьких деревень; народонаселение сосредоточено или в больших городах, или в многолюдных селениях, отдаленных между собою несколькими милями, что еще больше облегчает разбойникам грабеж по большим дорогам, где близкая помощь невозможна. В южной Андалузии беспрестанно встречаются по дорогам низенькие кресты: каждый означает убийство,

сделанное на этом месте. Кресты эти из камня или из дерева и ставятся или местным начальством, или родственниками убитого, и этот обычай до того в народных нравах, что случается, что сами разбойники ставят украдкой такой крест на месте совершенного ими убийства, для того чтоб проезжие поминали душу убитого^{302}. Большие владельцы земель, живущие в своих поместьях и, следовательно, всего более подвергающиеся опасности от разбойничьей шайки, даже платят им некоторого рода подать и оказывают услуги, заранее извещая их о преследовании полиции. Иногда услуги эти доходят до явного покровительства. Лесничий одного близкого родственника генерала Серрано попал под следствие по случаю одного грабежа, и в доме его нашли часть награбленных вещей. Но вместо того чтоб стараться освободиться от вора, он всячески хлопотал о том, чтобы затушить дело. Следственный судья, неизвестно почему, был неумолим, и лесничего осудили на двенадцатилетнюю работу в цепях при малагском порте. Но после двух недель работы генерал-капитан провинции Малаги освободил

его, и лесничий снова воротился к своему хозяину. Можете видеть из этого, с какими трудностями должна здесь бороться полиция, очищая страну от воров, тем более что при розысках всякий, боясь, с одной стороны, привязчивости суда, с другой — мести разбойников, отвечает, что ничего не видал и ничего не знает.

Теперь полиция представляет разбойников, взятых с оружием в руках, уже не в ведение местных судов, а прямо генерал-капитану провинции, и они судятся военным судом. А до этого разбойник с деньгами всегда мог если не затушить свое дело, то тянуть его в ожидании случая убежать из тюрьмы. Замечательно, что в Испании всякий заключенный в тюрьме находит в народе участие и самое большое снисхождение, и цепь каторжного в Испании вовсе не есть клеймо позора^[303]. Народ здесь всегда расположен видеть в осужденном не преступника, а несчастного, и *presidiario*[67], приговоренный на несколько лет к каторжной работе, окончив их, принимается в своей деревне не как преступник, а как несчастный приятель, с которым давно

не видались. В Андалузии самые любимые рассказы в народе суть рассказы о разбойниках. Самое название *caballista* не значит собственно разбойник или вор, а *наездник*, *верховой*. *Un caballista valiente* (отважный наездник), *un jaque* (удалец) — всегда любимые герои народных романсов. В сайнетах (небольшие народные пьесы) главные лица почти всегда контрабандисты или отчаянные удалцы, мастерски владеющие ножом и ружьем и которым ничего не значит отправить человека на тот свет. Иногда даже журналы говорят о разбойниках с некоторым почтением. Вот, например, биография Наварро, с год тому назад господствовавшего в Андалузии, напечатанная в одном мадритском журнале («El Castellano»): «Наварро, этот страшный начальник *caballistas*, грозящий превзойти знаменитого Хосé Мáрию, был привратником в одной школе в Кордове. Брошенный судьбою на дорогу (*al camino*), он теперь стал Абдель-Каде-ром^[304] Андалузии. Его физиономия и дарования ставят его вон из ряда обыкновенных разбойников. Одевается он очень просто, а не так, как контрабандисты и обыкновенные

разбойники, не любит роскоши и не носит ни позументов, ни серебряных пуговиц, а простую куртку (chaqueta) и панталоны. Лошадь под ним превосходная, с заводов Santa Helena. Вооружение его состоит из двух trabucos (короткое ружье с широким отверстием) и охотничьего ружья, которым он очень хорошо владеет. Он благоразумен, умерен и враг насилий, хотя и настоятелен в своих требованиях. Рост его колоссальный (Juan y medio)⁽³⁰⁵⁾. Это настоящий nivelador (уравнитель); никогда не нападает он на бедных» и проч.

Но с тех пор как Нарваэс устроил особенный корпус, по образцу французских жандармов, под названием guardia civil, разбои значительно уменьшились и дороги стали безопаснее. А не далее полутора года между Мадритом и Толедо не было проезда от воров, да и теперь еще беспрестанно читаешь в журналах, что курьер (почта) из Мадрита в Байону был остановлен разбойниками и ограблен. Прошлого года между Севильей и Кордовой господствовала шайка Наварро. Несмотря на частые военные посты, нарочно расставленные по дороге, и даже несмотря на конвой из

осьми драгун, постоянно провожавший дилижанс, редко случалось, чтоб дилижанс не был остановлен отчаянною шайкою, состоявшею из 32 человек и отлично вооруженною, против которой 8 человек конвоя были бессильны; а пока давали знать в ближний пост и подоспевало подкрепление, дилижансы были уже ограблены и шайка рассеивалась на своих отличных лошадях. Наконец дилижансы перестали ездить между Севильей и Кордовой. Наварро смеялся над всеми усилиями местных начальств; простого народа он не опасался, потому что грабил только горожан, а в тех местах, где останавливался с своею шайкою, раздавал бедным много милостыни. Кроме того, он держал себя настоящим *caballero*, и путешественники, попадавшие к нему в руки, иногда не могли удерживаться от смеху при том кавалерском тоне, с каким он принимал их кошельки. Вообще андалузские *caballistas* славут в Испании самыми вежливыми, тогда как *ladrones*[68] старой Кастильи и Ла-Манчи считаются самыми грубыми и жестокими. Андалузские *caballistas* не приказывают путешественникам, как кастильские

ladrones, ложиться boca abajo (лицом вниз), никогда не берут сигар и обыскивают путешественника тогда только, когда подозревают, что он скрывает от них деньги, и только в таком случае бьют его ружейными прикладами. Мне рассказывали здесь одно забавное происшествие, случившееся прошлого года с двумя англичанами. Два богатых джентльмена приехали провести зиму в Севилье. Беспреданно слыша об отваге и смелости Наварро и скучая однообразною жизнью Севильи, они вздумали, для развлечения, сделать визит Наварро. Из Севильи каждую неделю отправлялась в Кордову *галера*[69], на которую никогда не нападала шайка Наварро: в городе известно было, что хозяин этой галеры доставлял Наварро порох и разные нужные вещи. Кто хотел безопасно доехать до Кордовы, отправлялся обыкновенно в этой галере. Англичане обратились к хозяину ее и уговорили его, разумеется, за деньги, чтоб он доставил им случай видеть Наварро.

Наварро, конечно, был уже предуведомлен. Недалеко от Кордовы пригласил англичан хозяин выйти из галеры, подвел их к

небольшому дому, одиноко стоявшему в стороне, и, оставя их тут, отправился с своей галерой. Наварро очень вежливо встретил джентльменов, пригласил их к обеду, напоил хорошим вином и решительно очаровал их своим разговором. Когда стали они прощаться, Наварро попросил их немного повременить и, вынув из стола бумагу, предложил им подписать ее. Англичане сначала не поняли, в чем дело, но, увидев потом, что это был вексель на значительную сумму, адресованный к их банкиру в Севилье, с требованием немедленно заплатить по нем подателю его, они рассердились и вздумали угрозами запугать разбойника. Наварро свистнул: в дверях показались человек десять вооруженных. «Мне было бы очень жаль, caballeros, — продолжал Наварро, нисколько не изменяя своего вежливого и спокойного тона, — если бы с вами случились здесь неприятности; я вас прошу исполнить мое желание, а то, я боюсь, мои люди будут вами недовольны». Англичане, разумеется, подписали и отправились пешком в Кордову. Наварро несколько минут провожал их и потом вежливо откланялся, сказав им,

что он надеется на их молчание, если они дорожат своею жизнью. В той же галере англичане благополучно воротились в Севилью, где еще за два дня до их приезда вексель их был представлен банкиру и деньги по нем заплачены. Вскоре после этого происшествия Наварро попался в руки *guardia civil* и был расстрелян. Шайка его разделилась на две партии: одна скоро была переловлена, но другая, под предводительством Капаротта, любимца Наварро, долго держалась в горах Андалузии. Любопытно как образчик испанских нравов письмо из Лючены, около которой находилась эта шайка, напечатанное в мадритском журнале «*Eco de la revolución*»:

«Несмотря на шайку разбойников, бродящую по провинции, город наш пользуется привилегией) совершенной безопасности, потому что многие из шайки принадлежат к его жителям. Приходят ли они в город, уходят ли, никто не говорит о их делах, не мешается в них, если даже они приводят с собой пленного путешественника. Начальник их ездит, когда захочет, в свою деревню, где спокойно отдыхает, тревожимый только посылаемыми к

нему с просьбами о покровительстве или пощаде. Сборное место шайки между Люченой и Пуэрте в сен-мигельских горах. Случается, что они в продолжение двух недель варят себе пищу в одном месте и в совершенной безопасности, охраняемые своими часовыми, расставленными на самых высоких местах. Когда посылают солдат их преследовать, разбойники всегда скрываются, проходя горными тропинками, известными только им одним, да, кроме того, они всегда заранее извещены о преследовании».

Для рассеяния шайки генерал-капитан Кордовы прибегнул, наконец, к следующему средству: в кордованской тюрьме содержался один молодой человек, осужденный на смерть за какое-то убийство из мщения. Ему обещали жизнь и свободу, если он доставит Капаротто живого или мертвого. Молодой человек, разумеется, принял предложение. Он отправился в горы, вступил в шайку, несколько времени участвовал с нею в грабежах и приобрел доверенность Капаротты. Наконец случилось, что они остались с ним вдвоем; время было после обеда, и Капаротто лег

спать. Молодой человек воспользовался этим случаем: заколол его, отрезал ему голову и в винном кожаном мешке принес ее в Кордову. За это получил он не только свободу, но еще и денежное награждение. Лишенная своего атамана, шайка сама собою рассеялась.

Я хотел уже кончить это письмо, как вспомнил, что я еще не сказал вам о самом лучшем украшении Малаги — о ее женщинах, составляющих вместе с гадитанками (женщинами Кадиса) аристократию женщин Андалузии, которую народная пословица истинно недаром зовет «страною красивых лошадей и красивых женщин — *el país de buenos caballos y buenas mozas*». Но, как я уже говорил вам, здешняя красота вовсе не походит на ту условную красоту, которую признают только в греческом профиле и правильных чертах. Совершенно противоположна античному и европейскому типу красота андалузских женщин: они не имеют того величавого и несколько массивного вида, каким отличаются итальянки; все они очень небольшого роста, гибкие и вьющиеся, как змейки, и более приближаются к восточной, нубийской

породе, нежели к европейской. Но самая главная особенность андалузской женской породы состоит в совершенной оригинальной грации, в этом неопределимом нечто, которое андалузцы называют своим многозначительным словом *sal* — солью, и вследствие этого женщин — *sal del mundo*, *солью мира*. Под этим словом андалузец понимает все, что делает женщину привлекательною, помимо ее красоты, — ее остроумие, ловкость ее походки, несколько удалую грацию ее движений, скромную, наивную и вместе вызывающую, которую имеют только женщины Кадиса и Малаги. Отсюда слово *salero*, которое в Андалузии слышится беспрестанно между просто-народьем; даже простой народ здесь до такой степени любит эту женскую, если можно сказать, замысловатую грацию, так чувствителен к ней, что если по улице идет молодая женщина, которой походка отличается этою особенною, андалузскою ловкостью, то со всех сторон слышится ей вслед: ¡qué salero! ¡qué salero! Отсюда выражение *cuerno salado* (соленое тело), *doña salada* (соленая женщина) и проч.

Действительно, южная андалузка вся состоит из женской прелести; ее грация не есть следствие воспитания, это особенный дар природы, слившийся с их историей, с их нравами и принадлежащий только одним им, потому что он равно разлит в женщинах всех классов. Можно сказать, что андалузка не имеет нужды в красоте: особенная прелесть, которая обнаруживается в ее походке, во всех ее движениях, в манере бросать взгляд (ojear), в подвижности их живых физиономий, — одна сама собою, помимо всякой красоты, может возбудить энтузиазм в мужчине. «В твоей одежде нет ваты, нет подделок и крахмала, твое тело все из крепкого мяса»[70], — говорит народная андалузская песня, и это совершенно справедливо; андалузки не нуждаются в подобных прикрасах женского туалета и не упускают случая посмеяться над ними, потому что у них одних только при изящно развитых формах стан тонкий, гибкий, можно сказать, вьющийся. Но это гибкое, как шелк, тело лежит на стальных мускулах. И для каких же других организаций возможны эти народные андалузские танцы, в которых танцуют не но-

ги, а все тело, где спина изгибается волною, опрокинутый стан вьется, как змея, плечи касаются почти до полу, где после поз томления, в которых ослабевшие руки, кажется, не в силах двигать кастаньетами, вдруг следуют прыжки раздраженного тигра! Самое драгоценное наследие, которое оставили мавры своей милой Андалузии, заключается в этой удивительной породе ее женщин. Я заключаю это из слов одного арабского писателя XIV века[71], которого описание гранадских женщин совершенно применяется к нынешним андалузкам: «Гранадинки красивы, но прелесть их всего больше поддерживается их грациею и особенною утонченностию, которыми они проникнуты. Рост их не достигает средней величины, но нельзя представить себе ничего прекраснее их форм и их гибкого стана. Черные их волосы спускаются ниже колен, зубы белы, как алебастр, и самый свежий пурпуровый рот. Большое употребление тонких духов придает их телу свежесть и лоск, каких не имеют другие мусульманки. Их походка, их пляски, все их движения дышат ловкостию, непринужденностию, которые

восхищают в них больше всех их прелестей». Андалузка, к какому бы званию ни принадлежала она, никогда не затруднится в ответе, не смешается ни от какого разговора: на любой вопрос отвечает она с быстротою и смелостию, которые во всякой другой земле назовут бесстыдством. Так относительны понятия о приличиях! Конечно, здесь женщины необразованны; но эта живость и веселость ума, богатство фантазии, это меткое остроумие — как охотно можно отдать за них книжную образованность самых образованных дам! Дочь всякого немецкого бюргера, без сомнения, знает в тысячу раз больше любой самой образованной андалузской дамы; но андалузка обладает удивительным искусством не нуждаться во всех этих знаниях, постоянно владеть разговором и вести его как ей вздумается. Никакого понятия они не имеют о лицемерной стыдливости (*pruderie*). Свободно и откровенно говорят они о самых недвусмысленных предметах, но это с таким простодушием и, так сказать, наивностию чувства, что вам не пришло бы и в голову найти тут что-нибудь предосудительное. Романтизма, этой

болезни северных мужчин и женщин, в них нет даже тени, и ничего им так не противно в мужчинах, как сантиментальность. Андалузка кокетлива; но она и не думает скрывать своего кокетства; оно в природе ее, и как расхохоталась бы здешняя девушка, если б вздумали упрекать ее, называя кокеткой! Вероятно, вследствие этого они не любят заниматься хозяйством; да южные женщины вообще очень плохие хозяйки и все свое время проводят в визитах, стоянье на балконе, в прогулках или просто сидят в своих комнатах в совершенном бездействии; рукоделья они очень не любят. В Европе женщина большею частью разделяет труды мужчины; испанец, напротив, любит, чтоб жена его держала себя знатной дамой, не заботясь ни о чем. От этого, может быть, они такие охотницы говорить. Но всего более поражает их наивная доверенность: если вы приняты в какое-нибудь семейство, то в течение одной недели женщины расскажут вам все, что делается в этом семействе, посвятят вас во все семейные тайны и обращаются с вами как с близким родственником. И со всем этим этикет испанский за-

прещает на гулянье предложить руку даже близко знакомой даме; рука об руку здесь могут ходить только муж с женой. Равным образом здесь считается неприличным женщине идти одной.

Вечернее гулянье для здешних женщин так же необходимо, как воздух и вода. Они знают, что здесь всего более могут они обнаружить грацию своих движений — *соль* свою. В самом деле, их легкая, медленная, зыблющаяся походка, эта мантилья, которой прозрачность скорее обнаруживает, нежели скрывает пластические формы их стана и груди, эта быстрая, уклончивая игра веера, из-за которого они всего больше любят бросать свой впивающийся взгляд, эта смелость и свобода движений — все это действует необычайно, увлекательно, отрывает от европейской рутины и переносит в совершенно оригинальный, обаятельный мир, точно так же как Мурильо отрывает от рутины классической итальянской школы, перенося в очаровательно простую и всегда поэтическую сферу задушевной жизни. В андалузских церквах нет ни стульев, ни скамеек, пол всегда из

гладкого белого мрамора и тщательно метется по несколько раз в день. Мужчины присутствуют при службе, всегда стоя; женщины, коснувшись пальцами святой воды, тотчас же становятся на колени и, прошептав небольшую молитву, принимают особенную, небрежную, полулежащую позу, в которой складки их полных, черных платьев лежат удивительно живописно. Концы мантильи складываются тогда перекрестно под подбородком, руки лежат на груди крестом, четки в одной руке, в другой веер, который не успокаивается ни на минуту. Южная андалузка представляет собою самый совершенный тип женской артистической натуры. Может быть, вследствие этого здесь на женщин смотрят исключительно с артистической стороны. Но ведь это безнравственно! — заметите вы мне. Что же делать! Подите убедите южного человека в том, что духовные отношения выше чувственных, что недостаточно только любить женщину, а надобно еще уважать ее, что чувственность страх как унижает нравственное достоинство женщины... увы! ничего этого не хочет знать страстная натура южного

〈VII〉

Гранада и Альамбра. Октябрь.

Несмотря на всю тихую прелесть жизни и окрестностей Малаги, мысль о Гранаде не давала мне покоя. Наконец я решился ехать. Между Малагой и Гранадой ходит дилижанс; но он берет влево на Лоху (Loja), объезжая горные цепи, окружающие Гранаду; в нем отправляются большею частью женщины и иностранцы; туземные жители ездят обыкновенно верхом, горною дорогою, соединяясь для безопасности по нескольку человек. Такой переезд был для меня интереснее. Я условился с Лансою, перевозчиком товаров между Малагою и Гранадой⁽³⁰⁶⁾, и нанял у него себе верховую лошадь. Вот еще особенность здешних нравов: все в Малаге знают, что Ланса был контрабандистом и имел постоянные сношения с шайками разбойников, кочевавшими между Малагой, Рондой и Гранадой, но тем не менее Ланса пользуется здесь всеобщим уважением и доверенностью. Никогда товары, посланные через Лансу, или путеше-

ственники, ездившие с ним, не были ограблены. Вероятно, расчетливый Ланса брал за это лишнее, так же как испанские дилижансы, которые во время господства разбойничьих шаек по большим дорогам для безопасности путешественников заключали с шайками условия и платили им оброк, увеличивая за это плату на места^{307}. Теперь дороги в Испании почти очищены от разбоев, а дилижансы все-таки нисколько не уменьшили своих цен, и в этом отношении путешествие по Испании стоит довольно дорого. Ланса обыкновенно отправляется в Гранаду по субботам, и все, которые едут туда верхом, пристают к нему. Несмотря на то, что в этой стороне Андалузии теперь не слышать о разбойниках, воображение до того наполнено рассказами о них, что всякий переезд здесь кажется некоторого рода предприятием. Ланса за день отправил мой чемодан, сам же всегда ездит с путешественниками. Нас выехало из Малаги семеро, большею частью жители Гранады, — между ними один швейцарец, содержащий уже двадцать один год гостиницу в Гранаде и забывший по-немецки. За городом к нам присоеди-

нилось трое верховых, а потом еще двое, так что поезд наш состоял всего из двенадцати человек. У меня была славная лошадь — высокая, сильная, с удивительною гладкою, лоснящеюся шерстью, какую можно видеть только на арабских и андалузских лошадях. Сбруя с длинною красною бахромой, спокойное арабское седло и стремяна, похожие на калоши: андалузские седла и стремяна такие же, какие видел я у арабов в Танхере. У каждого из нашего поезда, кроме меня, висело у седла ружье; и ружья у андалузцев восточной формы — длинные, с фигурно вырезанным, узким ложем. Все одеты были в андалузские куртки; но Ланса отличался от всех своим великолепным костюмом махо (majó): коричневая куртка, вся ушитая арабесками из разноцветного бархата; синие по колена штаны в обтяжку, с серебряными пуговицами вдоль швов; белые чулки и башмаки, покрытые высокими до колен штиблетами из желтоватой кожи, с узорчатым шитьем и кисточками, завязанные только сверху и снизу, так что чулки на икрах были видны; длинные рыцарские шпоры; шелковый малиновый жилет со

множеством висячих серебряных пуговок; на шее красный шелковый платок, концы которого продеты в золотое кольцо; на голове, по андалузскому обычаю, повязан пестрый фуляр, концы которого висели сзади из-под низенькой андалузской шляпы. Это был самый безукоризненный костюм андалузского щеголя.

Первый наш ночлег был в Велес-Малаге, небольшом городке верстах в двадцати пяти от Малаги. Дорога шла все по берегу моря, постоянно самыми живописными местами, среди роскошнейшей растительности. Ночь застала нас в дороге — ночь лунная, теплая, ароматная. К вечеру крик кузнечиков был так силен, что заглушал стук копыт передовых лошадей, и в разговорах нужно было напрягать голос, чтоб слышать друг друга. Окрестности Малаги усеяны пальмами и садами лимонных и апельсинных деревьев; скаты гор покрыты белыми домиками, окруженными виноградниками. Нигде не видал я кактусов и алоэ такого колоссального размера. Здесь из кактусов делают в полях загороды. Они так густы и высоки, что пролезть сквозь них нет

никакой возможности, не исколовшись острыми иглами их листьев. Такой забор лучше всякого другого: тонкие, длинные пучки игл кактусов очень хрупки, при чуть-чуть неосторожном к ним прикосновении входят в кожу, отламываются там и производят жестокое воспаление. Плод кактусов составляет здесь народную пищу: он видом и вкусом похож несколько на фиги, но он мучнистее и в нем гораздо больше питательного вещества. Но что за уродливое растение этот кактус! Исковерканный, вьющийся, приземистый ствол его имеет совершенно вид крутящегося удава; пуховые, плоские, широкие листья, похожие на огромные, кожаные подошвы, торчат, выпалзывая друг из друга. Эта уродливость исполнена такой дикой оригинальностью, что я всегда невольно засматриваюсь на него. Но кактус особенно мил своею нелепостью среди грациозных южных растений, когда топорщит свои уродливые лапы около апельсиновых деревьев, которые здесь всегда раскидываются с идеальным изяществом, или около пальм, и тонких ветвей гранатов, и фисташковых деревьев с их лоснящимися, маленькими,

душистыми листьями. На темном фоне этой зелени ярко отделяется сизо-синее, матовое алоэ, которого колоссальные листья торчат, словно кинжалы. Температура Малаги едва ли не самая ровная в Европе: морозов здесь никогда не бывает⁽³⁰⁸⁾; бананы и все южноамериканские растения свободно растут в садах; в последнее время были деланы здесь опыты разведения индиго и кошенили⁽³⁰⁹⁾ и совершенно удались. Дорога то идет по лощинам, то вьется около береговых гор, по скалам. Не раз мороз пробежал у меня по коже, когда моя лошадь бережно и осторожно пробиралась по узкой тропинке, пробитой в скале на краю глубокого обрыва, внизу которого шумно бились волны. Как ни привык я к горным дорогам, но раз, на одном крутом повороте, где тропинка, имея с одной стороны высокую, гладкую скалу, суживалась до того, что копыта моей лошади ступали не более как на вершок от края обрыва, — я зажмурил глаза, боясь головокружения и стараясь только как можно прямее держаться в седле... Уверяю вас, эти волнения страшно усиливают впечатлительность нервов, настроивают душу

на какой-то торжественный тон, и красоты природы производят в ней тогда необыкновенные ощущения. Вообще наши глаза так скоро присматриваются ко всему, нервы слишком скоро слабеют и притупляются, а мгновенное чувство опасности, так сказать, встряхивает весь организм, освежает его, мгновенно освобождая от рутины привычных ощущений и впечатлений. Правда, что это бывает не надолго и скоро все снова приходит в свое обычное состояние, но зато как отрадны и дороги душе эти ощущения потрясенного и освеженного организма; долго остаются они в памяти, и даже в самом воспоминании о них есть что-то горячее и страстное.

До самой Велес-Малаги идут плантации сахару и хлопчатой бумаги; отлогости гор усеяны домами и селениями; вдали, в голубом, золотистом тумане плавали вершины Альпхарр, из-за которых поднималась снежная Сиерра-Невада. Я видел природу Италии и Сицилии; но в Испании красота ее имеет совершенно иной характер: здесь она величава, необъятна; в ней меньше живописного, но зато несравненно более поэтического. Она боль-

ше говорит душе, нежели глазам. В испанском пейзаже нет той определенности, как в итальянском, меньше разнообразия и картинности, но гораздо больше величия. Между итальянской и испанской природою та же разница, как между поэзию северных и южных народов. В северной меньше определенности, меньше красок и яркости в образах, но зато она сквозь свою туманность уловляет такие оттенки чувства, такие сокровенные движения души, которые никогда не даются яркой и цветистой определенности южных поэтов.

Велес-Малага — небольшой городок, лежащий близ моря, в углублении гор; на смежном с ним холме развалины старой мавританской крепости; вокруг сахарные плантации, апельсиновые сады и виноградники, поднимающиеся до самых вершин гор. Ключи и ручьи попадают беспрестанно; без них в этих углублениях все задохнулось бы от зноя и жару. Было уже довольно поздно, когда въехали мы в Велес-Малагу; но город был еще во всем своем ночном разгуле: на главной улице бродило много народа, беспрестанно слыша-

лось брэнчанье гитар. Я думаю, нет в мире народа, который бы так любил веселиться, как андалузцы, который бы отдавался веселью с таким детским, искренним чувством. Воспитанный своею народною поэзиею романсов, в которых вся история его является опозитизированною, гордый своею национальностью, с этою удивительною способностью совершенно довольствоваться самым необходимым, мне кажется, если этот народ заботится о чем-нибудь, так разве о том, как бы веселее провести вечер... Трудно понять, как могла в этой стране целые десять лет свирепствовать междоусобная война, и такая кровожадная, варварская, неумолимая!

Ужин наш в Велес-Малаге состоял из превосходных кур, увы! — сделанных в соусе с зеленым оливковым маслом; к счастью еще, можно было отличным сыром и виноградом заглушить несносный вкус его. Это скверное оливковое масло — мой единственный и неизбежный враг в Испании! На другой день ранним, чудесным утром снова в путь. Дорога круто поворотила влево, в ту густую массу гор, которых вершины вчера, при закате

солнца, так очаровательно плавали вдали в нежном, лиловом паре. Вблизи — это были совершенно голые, скалистые массы, преддверие непроходимых Альпухарр, в ущелиях которых укрылось много арабских семейств при их общем изгнании из Испании. В этой дичи мы в продолжение дня не встретили ни одной деревни; изредка только в каком-нибудь ущелье, вдали, одинокий домик, или пикет, в котором живут несколько солдат *guardia civil* для охранения дороги от разбойников. Нельзя ничего представить себе пустынное этих мест! Особенную оригинальность андалузской природы составляет именно то, что здесь пустыня — возле самой роскошной растительности, рядом с землею удивительно обработанною. Эти контрасты здесь беспрестанно, и вот отчего впечатления здешней природы так непохожи на впечатления природы других стран, от этого они так новы, так оригинальны. Летний жар в этих горах почти так же опустошает природу, как у нас зима, из ущелий пышет зноем, гранитные скалы лоснятся, как металл, и слепят глаза отражением лучей; в тени их так же жар-

ко, как и на солнце; кругом один желто-медный цвет. По дороге часто попадались грубо сделанные, низенькие каменные кресты, поставленные в память сделанных в этих местах убийств. Я уже прежде говорил о здешнем обычае ставить кресты на месте, где убит человек; на некоторых надписи: aquí mataron a un hombre (здесь убит человек), aquí mataron a Francisco Pérez (здесь убит Франциско Перес) или какое другое имя. Эти кресты среди горной пустыни производят впечатление унылое. «Milagro andaluz» (андалузское чудо), — сказал, засмеявшись, один из наших спутников, кастильянец, указывая мне на один из крестов. Андалузцы называют их чудом (milagros), не понимаю почему, тем более что убийство в этой стране вовсе не принадлежит к таким редкостям, которые заслуживали бы названия чуда. Насчет этого-то и подсмеивался кастильянец, пользовавшийся, впрочем, всяким случаем выказать перед андалузцами превосходство всего кастильского, т. е. старой Испании. Таков уж здесь обычай: каждый хвалит свою провинцию на счет другой; а между андалузцами и северными ис-

панцами непрерывный обмен колкостей и насмешек, под которыми скрывается, может быть, вражда смешавшейся с андалузцами арабской крови к северным испанцам. Особенный характер придают эти зловещие памятники словам: «Vayan ustedes con Dios» (Ступайте с богом, ваши милости), обыкновенному приветствию между встречающимися на дороге. В моих прогулках верхом по окрестностям Малаги и Гранады ни один попадавшийся крестьянин, особенно если время было к вечеру, не проезжал мимо, не проговорив мне с важностью: «Vaya usted con Dios, caballero» (Ступайте с богом, кавалер). В глуши диких гор и при этих дорожных крестах слова приветствия, обыкновенно произносимые медленно и серьезно, получают какой-то торжественный характер.

Севильский собор.



Общий вид на Аламу.

Но тем не менее, несмотря на горную пустыню, мы ехали весело, разговаривая и куря. Завтракали на езде, не слезая с лошадей, и каждый наперерыв старался угощать другого своим запасом. У многих были при седле кожаные фляжки вина, и они обходили круговую. Скоро после полудня показался на дороге довольно большой одинокий дом. Это была *вента* (постоялый двор), о которой еще с утра



говорил мне Ланса, утешая, что мы можем там освежиться от жгучего солнечного жару, который с самого утра палил нас, и дать немного отдохнуть лошадям. Вента состоит обыкновенно только из одной очень большой комнаты, складенной из неотесанного камня, скрепленного известью, с каменными скамьями вокруг стен; пол тоже каменный и огромный очаг. Кстати о здешних вентах и гостиницах: в них надо посылать европейских путешественников учиться терпению!

Поспешность прислуги в них вещь неизвестная: непременно проходит целый час, пока подадут вам требуемую чашку шоколаду; в гостиницах никогда нет ничего готового. В вентах надобно часа два дожидаться, пока дадут чего-нибудь есть; а случается, что хозяину надобно посылать для этого за съестными припасами в ближнюю деревню. Вследствие этого испанец в путешествии сам запасается всем: с ним сыр, хлеб, жареное мясо или ветчина и вино. Кроме того, здесь в домах несравненно больше чистоты, чем в гостиницах. В противоположность Италии да, я думаю, и всем странам в Европе здесь о путешественниках гораздо меньше заботятся, нежели о самих себе, и жадности к деньгам не обнаруживают. Здесь хозяин гостиницы никогда не покажет ни малейшей услужливости и ни на минуту не расстанется ни с своей шляпой, ни с плащом. В венте, куда мы приехали, был только черствый хлеб и ветчина; вино сильно отзывалось кожаным мешком. Мужчин в ней не было, и прислуга состояла из трех девушек, дочерей хозяйки. Андалузские низших сословий не отличаются красотой:

лицо как зардевшийся на солнце желтый персик; взгляд больших черных глаз — дик и жесток; манеры смелые и отрывистые; но они обладают удивительным мастерством говорить и особенным тактом в обращении. Эти три девушки выросли почти в пустыне, общество их состоит бог знает из какого народа, и со всем тем они держали себя с такою уверенностью и простотою, разговор их был так свободен и вместе приличен, что, поверьте, если где особенно бросается в глаза аристократизм испанской крови, так это всего больше в безыскусственных детях природы. У дверей сидел ветхо одетый аггiero (перевозчик товаров на мулах) и ел хлеб с ветчиной. Ожидая, пока мне принесут пить, я стоял близ него, и он тотчас, по испанскому обычаю, предложил разделить со мной свой обед. Этого рода вежливость составляет существенную черту испанских нравов, даже до такой степени, что, когда я в Мадриде пришел на почту брать себе место в Севилью, чиновник, пивший в то время кофе, начал мне предлагать его. Здесь нельзя похвалить какую-нибудь вещь у другого без того, чтоб тот тотчас же не предло-

жил ее вам, с обычными словами: «Она в распоряжении вашей милости — *está a la disposición de Usted*». Разумеется, испанская деликатность требует или отказаться от предлагаемого, или отвечать подарком же.

Было уже пять часов вечера, когда между голыми вершинами, торчавшими со всех сторон, показался вдали город, выстроенный на голой горе. То была Альама (*Alhama*), где мы должны были ночевать. Я подъехал к Ланса, желая что-то спросить его, как вдруг он сделал мне знак глазами на большой обломок скалы, лежавший около дороги. Взглянув по направлению его глаз, я увидел под склоном камня двух человек с ружьями. Ланса, по обыкновению, пожелал им доброго дня; они ответили тем же. «Заметили ли вы этих молодцов?» — спросил Ланса, когда мы проехали камень. Я отвечал, что это, кажется, *guardias de camino*, дорожные сторожа. Здесь «дорожные сторожа» есть особенного рода полиция для охранения дорог; она состоит большей частью из пожилых людей, бедно одетых и вооруженных ржавыми ружьями; существенное их занятие состоит в прощении у

прохожих милостыни под предлогом охранения проезжих от воров. «Хороша guardia de camino! — заметил, усмехнувшись, Ланса. — Это сторожа из ближнего солончака; они имеют право ходить с ружьями, и я знаю наверное, что они не пропускают случая очистить карманы проезжих». Не знаю, хвастал ли Ланса или говорил правду, но достоверно то, что во всю дорогу нам не встретился ни один одинокий проезжий, а всегда по несколько человек вместе и непременно с ружьями. Вооружение проезжих придает необыкновенно оригинальный характер этим, при всей их унылости, величавым местам, — особенно когда эти вереницы проезжих, в своей живописной андалузской одежде, взбираются по горным тропинкам. Никогда туземные жители иначе не ездят, как по несколько человек вместе. Раз встретили мы длинный ряд ослов и мулов, навьюченных товарами; люди лениво покачивались на вьюках, куря сигаретки; у каждого привязано было у вьюка ружье; у иных с другой стороны вьюка торчала ручка гитары. Прерывая свой унылый напев фанданго, которого никогда не оставляет ан-

далузец, важно кивали они головой, проговорив обычное «Vayan ustedes con Dios — Ступайте с богом, ваши милости», начинали снова свою прерванную мелодию фанданго, и долго потом слышалось отражаемое скалами их однообразное пение. Я забыл сказать, что веера здесь употребляются не одними женщинами: мои спутники и даже попадавшиеся нам извозчики на мулах обмахивались зелеными веерами, которыми летом здесь западается всякий отправляющийся в дорогу. Несмотря на множество разных неудобств и лишений, с которыми непременно сопряжено здесь путешествие, живость и глубина ощущений, производимых на душу всем окружающим, вполне вознаграждают за все неудобства. Даже самая мысль об опасности прибавляет какую-то тайную прелесть этой беззаботности и свободной веселости, к которым обыкновенно располагает всякое путешествие, а особенно путешествие верхом. Так завывающий ветер и зимняя вьюга, бьющая в стекла, кажется, удесятятуют наслаждение, которое испытываешь, сидя вечером у тепло тлеющего камина...

После осьми часов езды по голым, каменистым горам добрались мы до Альамы, старой арабской крепости, некогда знаменитой своим неприступным положением. Кроме этого, Альама славилась своими минеральными водами, и гранадские владетели приезжали сюда лечиться^{310}. Взятие Альамы, в самом начале Гранадской войны^{311}, было отважным делом героя этой войны, маркиза де Кадис, который с небольшим отрядом пробрался сюда горными ущельями во время проливных зимних дождей и, воспользовавшись бурною ночью и небрежением арабского гарнизона, овладел крепостью. Неожиданная потеря Альамы, лежащей верстах в пятидесяти от Гранады, страшно поразила гранадских мавров. В собрании старых испанских романсов есть большой отдел романсов, переведенных с арабского или написанных в подражание арабским, *romances moriscos*. Все замечательные события Гранадской войны излагаются в них в чрезвычайно наивной и поэтической форме. Пользуясь случаем, я для примера приведу здесь два мавританских романа, касающихся взятия Альамы, сохраняя по воз-

МОЖНОСТИ наивность, колорит и размер подлинника:

*Ходит, ходит мавританский
Царь по улицам Гранады.
Ходит от ворот Эльвиры
До ворот он Виварамблы.
Ах, моя Альама!*

*Получил с гонцом он письма —
Пишут в них: «Взята Альама».
Он в огонь те письма бросил
И гонца того зарезал.*

Ах, моя Альама!

*Жены, дети и мужчины
Плачут о такой потере:
Всплакались о ней все дамы,
Сколько было их в Гранаде.*

Ах, моя Альама!

*Всюду, в улицах и в окнах,
Всюду траур, скорбь и горе,
Как жена, там царь рыдает...
Велика его потеря!*

Ах, моя Альама![72]^{312}

Романс этот, сочиненный первоначально на арабском языке по случаю взятия Альамы, был так печален, что каждый раз, как его пели на улице, возбуждал плач в народе, и по-

сле завоевания Гранады испанцами его за-
прещено было петь. В следующем романсе
рассказывается, как наказан был несчастный
алькаид (градоначальник) Альамы за потерю
ее:

*Мавр алькаид, мавр алькаид,
Мавр с пушистой бородою!
Царь за то, что ты Альаму
Потерял, тебя схватить
Приказал нам и в Альамбре
Голову твою поставит, —
В казнь тебе, и чтоб другие,
Глядя на нее, дрожали.
Потерял такой ты город —
Драгоценную Альаму!
Отвечал тогда алькаид
И такую речь держал он:
Благородные сеньоры,
Вы, правители Гранады,
От меня царю скажите,
Что ни в чем я неповинен.
Был тогда я в Антекере
У сестры моей на свадьбе...
Пусть огнем сгорит та свадьба,
Пропади и пригласитель!
Дал сам царь мне позволение —
Я без спросу не поехал;*

На десять я дней просился,
А мне царь дал три недели.
Что Альама потерялась,
Вся душа моя скорбует.
Если царь теряет город —
Потерял я честь и славу,
Потерял жену, семейство —
Все, что я любил на свете.
Потерял я дочь-девицу,
Цвет и красоту Гранады.
А зовут, кому досталась
В плен она, — маркиз де Кадис.
Предлагал я сто дублонов —
Он мой выкуп презирает;
Мне в ответ они сказали,
Будто дочь моя их веры,
Будто ей дано уж имя
Донья Марья де Альама.
А она звалась прежде
Мавританкою Фатимой.

Кончил речь свою алькаид,
Увезли его в Гранаду
И, поставивши пред очи
Самому царю, решили:
Голову ему отсечь
И поставить на Альамбре.
Приговор тот совершился[73].

.

Альама, выстроенная на скале, крутыми обрывами упирающейся в узкую лощину, со всех сторон окруженная совершенно голыми скалистыми цепями гор, имеет вид разбойничьего притона. Гора, на которой она выстроена, только с одной стороны чуть-чуть отлога, но так, что лошадь с трудом взбирается по крутой каменистой тропинке, которая вьется, изворачиваясь и пробираясь между развалинами и обрывами. Предоставя мою лошадь попечениям Лансы, я пошел бродить по городу и вышел на площадку. По одной ее стороне стояли невысокие, арабской формы дома, по другой шла низенькая каменная загородка над самым обрывом вниз, глубиною по крайней мере сажен пятьсот^{313}. Вокруг во все стороны тянулись цепи голых вершин; только глубоко внизу, в узкой лощине, совсем сжатой горами, сквозь гущу зелени пробивалась белая пена горного потока, шум которого разносился по всему городу. Разнообразие цветных тонов между ущельями, обрывами и гранитными скалами было удивительно. Солнце заходило, покрывая багрянцем длинные ряды вершин, терявшихся в алом пару, из-за кото-

рого белой, яркой пеленой поднималась снежная вершина Сиерры-Невады. Сколько нужно было усилий и труда, чтоб поместиться в таком орлином гнезде! И среди этой дичи живет народ веселый, вечно поющий: до меня доносились брянчанье гитар и напевы фанданго... Испания! Какое это убежище для людей, скучающих Европою! Здесь не только природа оригинальна — здесь и жизнь сложилась как-то иначе. Бог знает, как и чем живут люди на этой каменной почве, а кажется, у них только и дела, что петь, танцевать, играть на гитаре, нисколько не заботясь о том, что в других странах называется жизнью. Европейский костюм здесь до того редкость, что мое дорожное пальто обращало на себя всеобщее внимание и на меня указывали пальцами. Побродив по узким улицам, я остановился у одной толпы, где танцевали. Пожилой человек в плаще, сидя на камне, играл на гитаре, подпевая мелодию фанданго; перед ним несколько пар танцевали. «Un extranjero! Иностранец!» — пробежало по кружку, и я сделался предметом общего любопытства. Между тем я вынул сигары и, закурив сам,

предложил их стоявшим возле меня двум молодым людям. Эта национальная вежливость тотчас расположила кружок в мою пользу. Андалузки не застенчивы, тут же стали со мной разговаривать и приглашать меня танцевать. Я отвечал, что очень бы рад, да не умею. Мне дали место между сидевшими в кружке девушками и молодыми людьми. Танцы продолжались. Соседка моя, молодая и преудалая женщина, настоящая doña salada, решительно объявила мне, что желает со мной танцевать, подала мне руку, ввела в круг танцующих, застучала кастаньетами — и я должен был кой-как в такт двигать ногами. В простонародье фанданго танцуется довольно грубо; но он исполнен приемов и поз чрезвычайно оригинальных и смелых, которыми подражать невозможно. Мои манеры французского контраданса смешили их до слез; но это еще более сблизило меня с ними: каждый из молодых людей наперерыв предлагал мне свои папелитки[74], угощали вином и обращались со мной самым радушным образом... Да! Я забыл сказать, что после моего комического танца я все-таки получил, по

обычаю, поцалуй от моей танцовщицы.

В сумерки кружок стал расходиться; про- стившись с моего танцовщицею, отправился я в свою posada, где несколько наших дорожных товарищей беседовали вокруг хозяйки. Один из них был студент медицины, только что кончивший курс, необыкновенно веселый малый. Он путешествовал для приискания себе выгодного места. С уморительною важностию выказывал он свою мудрость перед хозяйкою, забрасывая ее медицинскими терминами, которые та слушала разиня рот, давая ему беспрестанно щупать свой пульс. Потом явилась и гитара: без музыки и пения здесь никакая tertulia[75] существовать не может. Какой-то уже пожилой и несколько навеселе житель Альамы начал первый; из забавных его coplas (куплеты — так называется здесь всякая песня) я запомнил только следующие:

— *Grande consuelo es tener
La taberna por vecina.
Si es o no invención moderna
Viva Dios, no lo sé. —
¡Pero delicada fué*

La invención de la taberna!

(Великое утешение иметь трактир по соседству! — Новейшее ли он изобретение, — ей-богу, не знаю; но поистине деликатно было изобретение трактира!)

Гитара переходила из рук в руки; студент, между прочим, пропел в честь хозяйки стихи, которые я, ложась спать (мы спали четверо в одной комнате), попросил его повторить себе и записал:

*La patria más natural
Es aquella que recibe
Con amor al forastero;
Que si todos cuantos viven
Son de la vida correos —
La posada donde asisten
Con más agasajo, — es patria
Mas digna de que se estime.*

(Самое лучшее отечество для чужестранца там, где принимают его с радушием. Если все живущие на свете суть не что иное, как гонцы жизни, то та гостиница (posada), где им хорошо и весело, есть настоящее отечество, совершенно достойное того, кто уважает себя).

Между тем пришел наш вожатый Ланса и овладел разговором, начав рассказывать разные новости: как герцог Монпансье подарил Монтесу брильянтовый перстень, и что тот согласился принять его только с условием, что герцог тоже примет от него подарок, и отдал герцога великолепным платьем андалузского тајо, которое стоило дороже перстня. Потом рассказал о последней *corrida de toros* в Малаге, в которой неожиданно участвовал сам великий Монтес^{314}. *Corrida*, по обыкновению, состояла из шести быков; но из них только один был хорошим (на языке цирка это значит быть храбрым). Публика знала, что Монтес, накануне приехавший в Малагу, был в числе зрителей и сидел в ложе. Последний бык оказался самым диким и яростным; двое матадоров, один после другого, несмотря на все их усилия, на крик, брань и свист зрителей, не могли справиться с ним: один сбобел, а другой хоть и нанес ему удар, но очень неловкий и неопасный, так что бык только больше еще рассвирепел от него. Зрители с криком начали требовать, чтоб Монтес

убил быка. Монтес не выходил. Шум и крик сделались до того неистовыми, что Ayuntamiento (городское правление, всегда присутствующее в особой ложе, в лице своих главных членов) послало от себя просить Монтеса выйти на арену. Монтес послушался; восторженные рукоплескания встретили его. Взявши у прежнего матадора красный плащ, он перекинул его через руку и скрыл под ним шпагу, желая привлечь быка с середины к стороне цирка. Бык бросился на него... вдруг Монтес, не принимая оборонительного положения, начал пристально смотреть ему в глаза: бык остановился и весь задрожал. Не спуская с него глаз, Монтес бросил плащ и шпагу на землю, подошел к быку, взял его одной рукой за рог и повел по цирку, отступая задом и все не спуская с него глаз... Этого зрители не ждали... Все смолкло от тяжкого волнения. Сделав с быком небольшой круг, Монтес подвел его к тому месту, где лежали плащ и шпага, вдруг пустил его, поднял их и накинул ему плащ на голову. Все это было делом нескольких мгновений. Бык словно вышел из оцепенения, с бешенством сбросил с себя плащ и

кинулся на Монтеса. Он легким движением уклонился от удара, быстро поднял плащ и стал в позу — в позу решительного удара. В этой битве все дело мгновений: едва стал Монтес, а уже бык снова напал на него; но едва наклонил он голову, чтоб поднять его на рога, как шпага Монтеса по самый эфес вонзилась в его крестец, капли крови брызнули у рта сквозь пену, бык зашатался и упал... «¡Viva el divino Montes!»[76] — закричали восторженные зрители; дамы срывали с своих волос цветы и бросали их Монтесу; букеты, платки, кушаки полетели к нему в арену... Рассказ прерван был возвещением кухарки, что ужин стоит уже на столе. Давно проголодавшиеся, мы быстро уселись за него, восклицая: «¡Viva el divino Montes!». Вместе с нами за стол сели кухарка и служанка.

Не могу не сказать вам, благо пришлось к слову, об одной преоригинальной черте испанских нравов. Едва ли где, мне кажется, прислуга пользуется таким снисходительным, радушным обращением, как в Испании. В Америке слуга называется не слугою, а «помощником»^[315]; но американец обращается с

своим «помощником» с аристократическим величием. В Испании, особенно в среднем и низшем сословиях, в которые еще не проникли французские нравы, обращение со слугами совершенно особенное. Кроме того, что здесь слугам, как и всем, говорится «ваша милость» и никогда «ты», во взаимном их обращении с хозяевами господствует какая-то добродушная, простая фамильярность, Испанский слуга совершенно чужд приторной прислужливости и подобострастной вежливости, отличающих слуг всей Европы. Он садится при вас, разговаривает с вами сидя, попросит вашу сигару для закурки своей, и это без всякой аффектации, просто и добродушно — и между тем он служит вам приветливо, радушно, благородно. Здесь должность слуги не имеет в себе ничего унижительного, и от этого здесь охотно ищут должности слуг. Но иностранцам очень трудно привыкнуть к обычаям и нравам здешней прислуги. Я помню, как один французский негодянт, недавно поселившийся в Малаге, разговаривая со мной о тамошнем образе жизни, особенно горько жаловался на прислугу: «С здешними слугами

невозможно иметь порядочных комнат, — говорил он (обыкновенное убранство комнат в Испании до того просто и голо, что испанскому слуге, действительно, трудно привыкнуть убирать комнаты, отделанные во французском или английском вкусе), — для них ничего не значит днем оставить вас одних и отправиться гулять или просто спать где-нибудь под деревом, а ночью уйти куда-нибудь танцевать. Если их хорошенько побранишь, они не хотят жить у вас, а сошлешь этих — другие будут точно такие же!». — Недавно в Гранаде я был свидетелем презабавной сцены. У меня здесь есть знакомый француз, химик и дагерротипист. На днях прихожу я к нему; он держал в руке письмо и звал своего слугу, чтоб послать его отнестись письмо по адресу. Слуга только что воротился из аптеки, куда ходил за каким-то химическим составом. Он вошел в комнату, жалуясь на жар, важно посмотрел на француза и решительно объявил, что он теперь не может идти, потому что очень жарко.

— Но мне надо непременно послать это письмо! — кричал разгорячившийся фран-

цуз. — Ваша милость разговаривает как какой-нибудь идальго! Уж лучше бы вашей милости оставаться при своих дипломах!

— А ваша милость думает, что у меня нет дипломов? — возразил очень спокойно слуга. — Есть, да еще такие, каких нет у вашей милости.

— Так зачем же ваша милость пошли в слуги?

— Зачем? затем, чтоб не работать, *para no trabajar*.

Желая поспеть засветло в Гранаду, мы выехали из Альамы очень рано и до самой Гранады ехали легкой рысью. Десять часов такой езды несколько утомили меня. Притом небо было постоянно безоблачно, и, несмотря на конец октября, солнце жгло как в июле. Между гранитными скалами⁽³¹⁶⁾ жар стоял нестерпимый. В этих местах много белого мрамора; матовые осколки его лежали по сторонам дороги точно кучки снегу⁽³¹⁷⁾. Сиерра-Невада была перед нами с самого утра, и все казалось, что до нее не больше получаса езды. Удивительная прозрачность здешнего воздуха обманывает непривычное зрение. Самые отда-

ленные предметы обозначаются здесь с такою яркостью, что совершенно теряешь меру расстояний. Дорога шла все теми же голыми, пустынными горами, беспрестанно поднимаясь и опускаясь, и часто бывала так крута, что надобно было слезать с лошадей. Эти 50 миль от Малаги до Гранады (испанская миля несколько больше французской льё), под жгучим солнцем и по такой дороге, где не стали бы гонять в Европе даже одних ослов, убедили меня окончательно в превосходных качествах андалузских лошадей. В Европе знают о них только то, что они красивы; но сколько еще в них других достоинств! При своей гордой, изящной осанке андалузская лошадь необыкновенно кротка и сносна. Формы у ней гораздо круглее, нежели у арабской, шея круто гнется, взгляд быстр и умен⁽³¹⁸⁾. В нашем поезде было восемь лошадей (остальные ехали на мулах), и при въезде в Гранаду они были бодры, горячи и красивы, как при выезде из Малаги. Особенно они интересны на горных спусках: тропинка, пробитая в граните, скользка, несмотря на изредка вырубленные ступеньки, — осторожно и осмотрительно

ставит тогда лошадь каждое свое копыто, пользуясь иногда мраморным обломком или камешком, чтоб не поскользнуться. Так случилось иногда на краю обрывов, и, признаюсь, сердце у меня тогда сильно билось; но со второго же дня дороги я понял, что лошадь моя гораздо надежнее и осмотрительнее меня, и получил к ней совершенную доверенность. Ни разу в продолжение трех дней езды по горным тропинкам лошадь моя не оступилась; мне не нужно было сделать ни одного удара уздой, ни одного прикосновения каблучком: довольно было легкого движения руки или колен, чтоб заставить ее слушаться. Обыкновенная плата за наем мула или лошади в дорогу с провожатым (если вы едете одни), который здесь обыкновенно помещается сзади вас на кончике седла, около 3 руб. сер. в день. Здесь считается унижительным путешествовать пешком, и до того это не в обычаях страны, что даже самый беднейший поденщик не идет пешком, а непременно едет, хоть на самом плачевном осле, который едва волочит ноги, — но только непременно верхом.

Наконец горы стали понижаться; тропин-

ка постоянно пошла под гору, извиваясь по крутым отлогостям. Вдали понемногу начала открываться широкая равнина, со всех сторон обставленная горными цепями, — равнина густой зелени; вправо лежал город, покрытый золотистым пурпуром заката: то была Гранада. Едва только мы спустились в долину, природа изменилась. От самой Велес-Малаги, с той минуты, как мы своротили в горы, растительность исчезла. Трудно представить себе всю пустынную дикость этих гор рядом с самой великолепной растительностью. Только изредка, кое-где из расселины скалы, бог знает на какой земле росло дикое фиговое дерево или торчал одинокий куст алоэ; но нигде ни травы, ни кустарника. Едва успели мы съехать с последнего склона гор, как уже были в роще олив; потом бледная их зелень сменилась гущею садов: сельские дома чуть виднелись сквозь темную зелень дубов и апельсинных деревьев; поля, засеянные рожью, сменялись полями, засеянными сахарным тростником⁽³¹⁹⁾: мы ехали по знаменитой Vega de Granada, Гранадской равнине, так любимой и прославленной мавританскими роман-

сами. Система поливанья, устроенная еще маврами и до сих пор поддерживаемая в том же виде, сохраняет ее садам среди знойного здешнего лета всю их весеннюю свежесть. Вода, проведенная из Хениля и ручьев, бегущих из тающего снега Сиерры-Невады, всюду пробирается по садам искусственными канавками, скрытая свесившимися над ней сучьями фиговых и фисташковых деревьев и густо разросшимися виноградниками, так что присутствие ее узнаешь только по журчанью и чудной свежести зелени.

Из-за садов, вправо, на холму, внизу громадной горы с широкого снеговой вершиной, видна была Гранада; над ней, на зеленом пригорке, — темно-красные стены и башни Альамбры... Эта ярко блестящая снежная вершина Сиерры с радужными оттенками отложений, темная зелень садов, густо облегающая город, темно-красный цвет старых укреплений Альамбры и цепи гор в сизом, прозрачном тумане, окружающие равнину, — все это вместе составляло картину удивительную, единственную. Прибавьте к этому, что в воображении эти места неразлучно слиты с мав-

рами, что в нем бродит множество романсов, прославивших каждый шаг на этой земле; вспомните, что ни одно место в мире не напиталось столько человеческой кровью, как эта равнина, где в продолжение 200 лет народ сражался с народом, каждый клочок земли сотни раз переходил из рук в руки и стоил жизни сотням тысяч, — словом, прибавьте к этой картине природы ее прошедшее, невольно охватывающее чувство и воображение, — и вы поймете то, что я передать не в силах, — эту поэтическую красоту местоположения Гранады.

Чем ближе к городу, тем чаще сельские дома, тем гуще сады и разнообразнее фруктовые деревья. А вот и Гранада: мы въехали в ворота, которые еще сохраняют свое арабское название «Виварамблы»... Да, путешественники говорили правду: Гранада, с своими садами и полуразвалившимися мавританскими зданиями, с бесчисленным множеством фонтанов и ключей самой студеной воды, шум от которых стоит по улицам, с ее единственной в мире *alameda* (место общего гулянья) и чудесным видом на равнину, на снеговую Сиер-

ру и окружные горы, — Гранада город обая-
тельный! А чем же была эта Гранада, самая
цветущая столица испанских мавров, за 300
лет! Я знаю, что сожаление о падении маври-
танской Гранады сделалось давно общим ме-
стом. Но что ж делать! Невольную грусть чув-
ствую я, видя перед собой эти легкие, нежные
следы исчезнувшего и так горько пострадав-
шего благородного племени. Что ж делать, ко-
гда с каждым шагом по этим улицам живее и
живее возобновляется в моей душе жалоба о
падении мавританской Гранады...

К несчастью, что поддерживало мавров в
войнах их против испанцев — эти беспре-
станные приходы варварских племен из аф-
риканских пустынь, — то самое вносило к
ним постоянные междоусобия, постепенно
ослабляло их образованность, поддерживая и
развивая их дикие инстинкты. Только в од-
ной Гранаде сосредоточилась наконец неко-
гда знаменитая арабская цивилизация, тогда
как в Африке она давно исчезла уже, погло-
щенная наплывами диких племен, выходив-
ших из глубины пустынь. Вот отчего вообра-
жение невольно окружает падение маври-

танской Гранады таким грустным, поэтическим колоритом: это последние минуты племени рыцарского, блестящего, которое погружается уже в вечную ночь смерти. Вот отчего я не в силах не сочувствовать арабской жалобе, когда она, принужденная выражаться на чуждом языке, говорит с прискорбием:

*Raza de valientes,
¿Quién te exterminó?
Ciudad de las fuentes,
¿Quien te cautivó?
Alhambra querida
Mansión del placer,
¿Para qué es la vida
Si no te he de ver?
Un infiel maldito
Del Abencerraje
Tiene el heridaje:
¡Así estaba escrito! [77]*

В этих стихах чувствуется вопль сердца. Испанские поэты XVI века, писавшие стихи в арабском вкусе и которым, вероятно, принадлежит бóльшая часть мавританских романсов, играли арабскими чувствами. Кроме того, что подделки их легко отличить от романсов, сочиненных настоящими арабами, в них

нет таких звуков, какие чувствуются, например, в приведенных выше стихах. Между испанскими поэтами XVI века были и арабы, принявшие крещение, и, конечно, некоторые из них, пользуясь господствовавшим тогда направлением писать в арабском вкусе, выражали на языке победителей свои национальные жалобы.

Нельзя не заметить, однако ж, что образованность, рыцарский блеск и утонченная вежливость, прославившие андалузских мавров в средние века, представляют странную противоположность с их кровожадною жестокостью, примеры которой беспрестанно встречаются в их нравах и особенно в их междоусобных войнах. Впрочем, это соединение жестокости и нежности, кровожадности и изящества, цивилизации и варварства, перешедшее от них в нравы андалузцев, кажется, еще более усиливает интерес к этому племени. Эти мавры, которые в битвах немилосердно резали побежденным головы, выставляя их на зубцах своих городских стен, эти мятежные воины, всегда готовые биться с кем бы и за что бы то ни было, были в то же

время самыми покорными, самыми нежными обожателями любимых ими женщин. Правда, что жена мавра была почти рабой его; но если она была любима, то становилась полною властительницею, перед которой беспрекословно преклонялся мавр, для которой он искал славы и блестящих подвигов. Все, что так интересуется нас в поэзии трубадуров XI и XII веков, было обычным содержанием арабской поэзии еще в VII и VIII веках. Поэты пустынь воспевали любовь и героические подвиги; каждый из них так же, как впоследствии провансальские трубадуры, обожал какую-нибудь любезную — обыкновенно дочь шейха или эмира, которую прославлял в своих песнях. Многие из них даже умирали от чрезмерности страсти и прославлялись потом как жертвы любви. Были написаны особые, биографии таких поэтов, и из них видно, что для этих поэтов пустынь любовь была не чувственною страстию, а чистым, особенного рода поклонением, чуждым всякого стремления к чувственным наслаждениям, духовною восторженностью, которую — думали они — можно сохранять во всей чистоте и энергии

только уничтожением в себе всех плотских желаний. И таково — говорит великий знаток южных литератур в средние века. Фориэль в своей «Histoire de la poésie provençale»[78] — таково в этом отношении сходство между арабскими поэтами VI и VII веков и провансальскими лучшими трубадурами XI и XII веков — сходство в чувствах и мыслях, что, несмотря на все различие национальности, духа и вкуса этих поэтов, можно указать на мысли, на стихи, даже на целые отдельные места, которые как будто они заимствовали друг у друга. Не подлежит никакому сомнению, что арабская поэзия, а вместе с ней и арабское рыцарство сделались первообразом поэзии трубадуров и рыцарства европейского.

Лучшим доказательством этому — известный роман «Антар», древнейший памятник арабской литературы[79]. Основная идея его в высшей степени нравственна. Антар — низкого происхождения: он сын взятой в плен рабы и необыкновенно дурен собой; «цвет кожи его — говорит роман — был темный, как у слона, нос сплюснут; он родился с курчавыми

волосами на голове, жесткими чертами лица; окраины рта были отвислые; глаза опухшие; кости его тела широкие, ноги длинные, уши огромные; но из глаз его сверкали искры». Силою души, ума и своим непреодолимым мужеством Антар из своего первоначального положения раба и пастуха достигает постепенно до высокого сана «отца» арабских витязей, становится мужем своей прекрасной Иблы, дочери главы племени, и, наконец, удостоивается повесить стихи свои в храме Мекки. Читая жизнь и похождения Антара, все испытания, которым его подвергают, видя его глубочайшее уважение к женщинам вообще и его робкую, постоянную и даже несколько сладковатую любовь к Ибле, к которой он взывает каждый раз, готовясь на какое-нибудь опасное предприятие, невозможно не признать во всем этом существенного первообраза европейского рыцарства. Но кроме нравственного сходства, обычаи и привычки арабских шейхов и особенно Антара точь-в-точь походят на обычаи рыцарства средних веков. Арабские витязи носят над лицом род забрала, упражняются в турнирах, вызывают

друг друга перед боем, скрывают или говорят свое имя. Женщины для них — род особенных божеств, имеющих влияние на все их поступки. Одно слово Иблы, ее улыбка или жалоба печалят, радуют или приводят Антара в бешенство. Из этого романа видно, что женщины в эпоху кочевой жизни арабов имели у них несравненно больше свободы: они налагают на своих обожателей различные испытания, требуют от них вещей, приобретение которых сопряжено с величайшими опасностями... Подробное изложение сходства обычаев и нравов арабского рыцарства с европейским завело бы слишком далеко; дело только в том, что, читая «Антара», трудно усомниться, чтобы арабское рыцарство VII и VIII веков не было образцом рыцарства европейского, откуда оно почерпнуло свои обычаи. Достаточно прочесть страниц тридцать этого романа, чтобы убедиться, что, например, странствующие рыцари были не более как ребяческое подражание арабам...

Я остановился здесь в «Fonda de Minerva»^{320} — отличной гостинице, устроенной на английский манер. На другой день, проснув-

шись рано утром, открыл я окно: передо мной, внизу, с шумом и пеной бежал Хениль^{321}, за ним большая красивая площадь — Виварамбла, к сожалению, недавно переименованная в plaza de la Constitución[80]: здесь происходили рыцарские игры мавров и турниры, прославленные романсами, тут же потом производились и autos de fé инквизиции. Здесь в 1498 году кардинал Хименес сжег все книги арабские, какие нашлись у жителей и в библиотеках Гранады. Далеко за площадью, из-за груды домов, возвышалась ярко-зеленая гора, на ней полуразвалившиеся зубчатые стены и башни — там Альамбра. Резко обозначались их темно-красные очертания на утренней, густой синеве неба; раннее солнце облило их еще своим багрянцем; ярко белел снеговой полог Сиерры-Невады; влажность и теплота цветных тонов были удивительны. Два густых кипариса высоко поднимались между развалинами стен Альамбры, как два непрерывные меланхолические аккорда среди этой ликующей, жаркой игры цветных тонов неба и природы.

Мавританский элемент живет в Гранаде

не только как историческое воспоминание — его чувствуешь во всем: тут арабская надпись, там мавританские линии здания или мавританское название места. В этих вьющихся улицах легко заблудиться. Есть между ними такие узкие, что два человека рядом с трудом могут идти. Крыши домов через улицу чуть не сходятся. Городские ворота «Эльвира» сохранили вполне свою мавританскую архитектуру. Одним из самых интересных памятников этой архитектуры был старый арабский базар (Alcaucería) — большое здание, к сожалению, сгоревшее назад тому несколько лет^{322}. Он реставрирован в его прежнем стиле и расположением очень похож на внутренние ряды московского Гостиного двора^{323}. Мостовая дворов и улиц вымощена узорчатыми арабесками из разноцветных камешков. Alameda (городское гулянье) здесь первое в мире; правда, что она состоит только из длинных аллей буков и вязов; но огромность и свежесть деревьев, вид на Сиерру-Неваду, склонившую сюда свою снеговую вершину, но густые, высоко бьющие фонтаны придают этому месту редкий характер величия и красоты.

По аллеям, в канавках, обложенных цветными камешками, журчат ручьи чистойшей воды, бегущие из тающего снега Сиерры; вправо, по окраине дерев, в углублении, обросшем олеандрами, с шумом и пеной бежит Хениль. Хорошо здесь при закате солнца, когда по аллеям ложатся сумрачные тоны, между листьями дерев просвечивает снеговой полостью Сиерры, облитый розовым сиянием, а по отлогостям горы стелется лиловый пар...

Хотя в Гранаде от 80 до 90 тысяч жителей, по церквей немного, и все они не замечательны. Собор велик, но далеко уступает соборам Бургоса, Толедо и Севильи. Внутренность его сделана во флорентийском стиле и вся выложена разноцветным мрамором. Но в этом великолепии нет ни красоты, ни величия. Самый замечательный отдел собора составляет обширная капелла, в которой погребены тела Фердинанда и Изабеллы — завоевателей Гранады. Капелла сделана в превосходном готическом стиле; посреди ее надгробный памятник завоевателей — огромная мраморная глыба, с двумя в рост изваянными изображениями покойников, вся покрытая превосход-

ными горельефами. Трудно представить себе такую расточительность украшений: тут целые сцены из Гранадской войны, ангелы, святые, епископы, цветы, натуральные и фантастические животные; все это изваяно не только одно возле другого, а часто одно на другом. Несмотря на то что уже десять лет прошло, как монастыри здесь упразднены^{324}, в некоторых уцелели еще следы их прежнего великолепия. Монастырь, называемый «la Cartuja» [81], ордена св. Бруно, был, кажется, настоящим музеем всех родов искусства. Монастырские корпуса отчасти разрушены; но церковь даже и в ее теперешнем виде можно еще назвать сокровищем: стены покрыты арабесками, разнообразием которых христианские мастера, кажется, хотели превзойти арабски мавров. Картины все исчезли; но, к счастью, невозможно было расхитить превосходных фресков, барельефов и резных украшений. Мрамор, яшма, барельефы — рассыпаны всюду; лавки, полки, дверь покрыты инкрустациями из слоновой кости, перламутра и разноцветного дерева. Монастырские корпуса с своими огромными галереями, запутанными

ходами, с своими садами и внутренними дворами походят больше на дворец, нежели на монастырь. Кельи состояли каждая из двух больших комнат, светлых и веселых; к каждой келье примыкает небольшой садик, на который выходят ее окна и задняя дверь. Природа завладела теперь всем этим запустением и на место каждого обваливающегося камня ставит куст цветов. Эти садики в их теперешнем небрежении, предоставленные своевольной, могучей растительности, великолепны.

Гранадская картинная галерея — museo de pinturas — может служить самым лучшим доказательством того, что за нерадение и воровство происходили в Испании при упразднении монастырей. Говорят, правда, что много хороших картин и дорогих церковных утварей скрыто было монахами прежде их удаления; но не менее того известно, что множество превосходных картин исчезло из монастырей уже после их упразднения. Теперь в Городском музее, прежде бывшем доминиканском монастыре, собрано картин до ста; но из них едва ли десять стоят внимания^{325}. Водивший меня по залам говорил, что года

три назад украдено отсюда одиннадцать самых лучших картин. Городской совет, которому донесли о покраже, составил об этом протокол. Тем дело и кончилось. Прошлого года из собора украдена одна картина Риберы^{326}. Разумеется, все эти картины перешли в Англию, где за них хорошо платят^{327}. В этом так называемом музее комнаты душны, темны и пыльны. Вожатый мой, желая обратить мое внимание на какую-нибудь картину, стучал по ней своей палкой, не по раме, а прямо по картине.

Но мне пора сказать что-нибудь о знаменитой Альамбре.

Альамбра была цитаделью Гранады. Выстроенная на высоком холму, она господствует над городом. Здесь, окруженный высокою стеною, стоит остаток дворца мавританских владетелей. От других бывших тут здании не осталось и следа. Но прежде, нежели я стану говорить об Альамбре, мне хочется привести один из лучших мавританских романсов, в котором описан наружный вид ее в то время, когда мавританская Гранада была еще во всем своем цвете. Романс принадлежит к по-

ловине XV века и рассказывает, как кастильский король Дон Хуан издали смотрит с завистью на Гранаду и спрашивает о ней одного мавра:

— Абенамар, Абенамар,
Мавр по племени и роду,
В день, в который ты родился,
Были знаменья большие:

Было на море затишье,
Полная луна светила.
Мавр, рожденный под такими
Знаменьями, лгать не должен.

Отвечает Абенамар —
Слушайте, как говорил он:
Не скажу я лжи, сеньор,
Даже для спасенья жизни,

Потому, что сын я мавра,
Сын я христианки пленной,
И, ребенком бывши малым,
От нее завет я слышал,

Чтобы лжи не говорил я,
Что солгать большая низость...
Спрашивай меня, Хуан:

Истину тебе скажу я!

*— Благодарствуй, Абенамар!
Благодарствуй за учтивость.
Что это, скажи, какие
Замки в вышине сияют?*

*— Это, государь, Альамбра!
Там мечеть видна за нею,
А вот это Алихары,
Изукрашенные в диво.*

*Мавр, который их работал,
Выручал в день сто дублонов;
В день, когда он не работал,
Столько же своих терял он.*

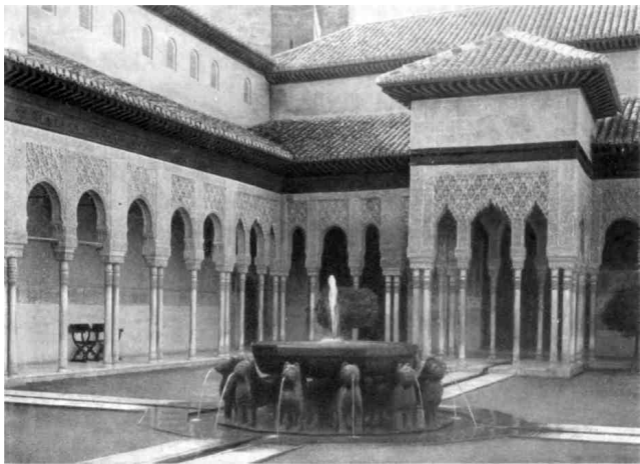
*Это вот Хенералифе —
Сад, которому нет равных,
А вот те Бермехи башни —
Замок крепости великой.*

*Взговорил тогда дон Хуан,
Слушайте, как говорил он:
Если ты, Гранада, хочешь,
На тебе я рад жениться;*

Я в приданое, в задаток,

Дал бы Кордову, Севилью.

*— Замужем я, дон Хуан,
Замужем я, не вдовца;
Мавр, который мной владеет,
Мне добра желает много[82].*



Гранада. Двор львов в Аламбре.

Генералиф и общий вид на Гранаду.

Холм, на котором стоит Альамбра, с одной



стороны, именно к городу, отлог, с другой, обращенной к Хенералифе и Сиерре-Неваде, образует крутой обрыв, упирающийся в глубокий овраг, отделяющий ее от другого холма, несколько повыше, прилегающего к Сиерре-Неваде, на отлогости которого выстроен был летний дворец гранадских владетелей, Хенералифе. Внизу этих холмов (во всяком другом месте они заслужили бы название гор; но при соседстве громадной Сиерры-Невады это не более как холмы), между берегами, обросшими фигами, гранатами и оле-

андрами, с шумом и стремительностью горных потоков бегут реки Хениль и Дарро... В жизнь мою не забуду того впечатления, какое испытал я, когда на другой день после моего приезда сюда пошел я по Гранаде. Представьте себе, в продолжение пяти месяцев привыкнув видеть около себя природу суровую, почти всюду сожженную солнцем, небо постоянно яркое и знойное, не находя места, где бы прохладиться от жару, — вдруг неожиданно найти город, утонувший в густой, свежей зелени садов, где на каждом шагу бегут ручьи и разносится прохлада... Нет! Это можно оценить только здесь, под этим африканским солнцем. По городу только и слышался шум воды и журчанье фонтанов в садах. Здесь первая комната в каждом доме — сад. Часто попадаются садики снаружи, обнесенные железными решетчатыми заборами и наполненные густыми купами цветов, над которыми блестят струйки фонтанов; цветы и на террасах и на балконах[83]; а когда я подошел к холму Альамбры, до самого верху покрытому густою рощею, я не умею передать этого ощущения. Три дня горной дороги верхом^[328], под

этим знойным солнцем, просто сожгли меня; голова моя и все тело горели. Передо мной было море самой свежей зелени; прохлада, отраднейшая прохлада охватила меня. Лучи солнца не проникали сквозь гущу листьев, ручьи журчали со всех сторон; по дорожкам фонтаны били самую чистую, холодную воду. Чем выше я поднимался, тем прохладнее становилась тень. Никогда я не видал такого разнообразия, такой свежести зелени! Дикий виноград обвивался около дубов, олеандр сплетался с северным серебристым тополем, из плакучей ивы весело торчали ветви душистого лавра, гранаты возле вязов, алоэ возле лип и каштанов — всюду смешивалась растительность Юга и Севера. Вот климат Гранады и вот одно из ее очарований: это огонь и лед, зной и прохлада, и чем жар жгучее, тем сильнее тает снег на Сиерре, и тем стремительнее бегут ручьи и фонтаны. Это слияние воды и огня делает климат Гранады единственным в мире. Прибавьте к этому, что если ветер со стороны Сиерры-Невады, то, несмотря на весь зной солнца, воздух наполнен прохладой. В этих густых аллеях редко кого встречаешь —

самая пустынная тишина; но все вокруг журчит и шелестит, словно роща живет и дышит. Местами стоят скалы, покрытые зеленым мхом; по иным тоненькими сверкающими ленточками бегут ключи. Это не походит ни на какой сад в Европе: это задумчивость Севера, слитая с влажною, сверкающею красотою Юга. Я лег на прохладный мох первого попавшегося камня и долго лежал, вслушиваясь в журчанье ручьев, словно в какие-то неясные, но сладкие душе мелодии. Как понимал я скорбь мавров, когда изгоняли их из Гранады! В 1772 году приезжал в Испанию посол от мароккского владетеля^{329}. Он был мавр и попросил позволения ехать назад через Гранаду. Войдя в Альамбру, он начал молиться, заплакал и, ударяя себя в грудь, горестно вскричал: «Как могли мои предки потерять такое блаженство!». Я помню, как один мавр в Танхере, едва объяснявшийся по-испански, сказывал мне, что в семье его хранится ключ от их дома в Гранаде, который заперли они при изгнании. Мавры надеются когда-нибудь воротиться в Гранаду!

Одна из аллей этого парка ведет к главным

воротам Альамбры — высокой, массивной башне с игривой мавританской аркой. Башня вся обросла деревьями, торчащими из тысячи расселин. Ворота эти носят название «Судейских»⁽³³⁰⁾ (Puerta judiciaria): в них или около них при маврах кади чинил суд и расправу по патриархальному обычаю восточных народов. На арке арабская надпись[84]: «Хвала богу. Нет бога кроме бога и Мохамед пророк его. Крепость ничто без бога». Есть надпись и внутри арки: она говорит, что эти Судейские ворота выстроены по повелению Абу-Абдалла Нассера в 1309 году⁽³³¹⁾. Внутренность арки покрыта арабесками. Я забыл сказать, что по сторонам ее вделан из белого камня ключ и рука. Рука в исламизме, кажется, есть символ писаного закона. Историки Гранады (Alcántara)⁽³³²⁾ говорят, что, кроме того, мавры считали еще изображение руки отводом от дурного глаза. От мавров этот предрассудок перешел к андалузцам. И теперь в простонародье надевают детям на шею маленькие ручки из коралла или слоновой кости, в которых обыкновенно большой палец выставлен между указательным и вторым. Сложить так

руку здесь значит сделать фигу. Если мать, сидя с ребенком, видит, что мимо них идет старая цыганка (в простонародье особенно боятся цыганского глаза), тотчас складывает ему ручонку со словами: «Сделай фигу, сделай фигу — *Naга Usted una higa*»^{333}. У мавров было в обычае носить на шее изображение руки, что было строго запрещено им при Карле V^{334}. Ключ был у них символом данной пророку власти отпирать и запира́ть небо, и ключ также был гербом андалузских мавров. Но народное воображение объясняет по-своему каждый знак, каждый след мавританской жизни и всему в Альамбре придало значение чудесное и фантастическое. По народным рассказам эти изображения ключа и руки — магические знаки: один арабский астролог сделал над Альамброй заклинание, по силе которого она будет стоять до тех пор, пока рука не вытянется и не схватит ключа; тогда холм Альамбры распадется, крепость провалится и откроются несметные сокровища мавританских царей, схороненные под стенами. Вашингтон Ирвинг сделал из этого одну из сказок своей «Альамбры»^{335}.

Этими воротамиходишь во внутрь Альамбры. Печальный вид! На довольно большой площади разбросаны несколько обветшалых, дрянных домов, пристроенных к старым крепостным стенам; здесь живут комендант и весьма немногие обитатели Альамбры. Среди площади, против разваливающейся мавританской башни, стоит недостроенный и уже давно обреченный запустению дворец Карла V. На внутреннем дворе его хранятся старые пушки. Надобно же было так случиться, что этот умный Карл V приказал сломать большую часть мавританского дворца, чтоб на его месте выстроить свой дворец^{336}. Задуман он был грандиозно, в форме громаднейшего квадрата. Три столетия, прошедшие над ним, не могли сдвинуть ни одного камня с своего места. Главный фасад его — одно из великолепнейших произведений испанской архитектуры, всегда и во всем отличающейся изобилием украшений и некоторой тяжеловатостью, исполненною, однако ж, какого-то сурового величия. Многочисленные мраморные барельефы фасада по отличной их работе могли бы служить украшением лю-

бого музеума. За дворцом приходская церковь Альамбры, ничем не замечательная, построенная на месте бывшей великолепной мечети, от которой не осталось даже следа^[337]. Возле — несколько массивных, без всякого порядка стеснившихся башен, соединенных высокою стеною с узкими отверстиями вместо окон; это мавританский дворец. Маленькая, дрянная дверь ведет внутрь этих стен, потом темный коридор, и вдруг выходишь на открытый внутренний двор мавританского дворца... Несмотря на то что я прочел несколько описаний Альамбры^[338], первое впечатление комнат дворца было странно, поразительно. Как бы подробно я ни стал их описывать, мои описания не передадут впечатления этого для нас чуждого мира. Я говорю: чуждого потому, что я, ходя по Помпее и Геркулануму^[339], в тысячу раз больше чувствовал связь свою с римлянами и яснее понимал их, нежели теперь понимаю мавров, бродя по их дворцу. Для жителей Европы есть в характере и жизни Востока нечто ускользающее от их ясного понимания. Мы гораздо больше можем понять и прочувствовать в себе жизнь

древнего грека и римлянина, нежели жизнь араба. Отчего европейцы так плохо уживаются с народами Востока? Мне кажется, что, несмотря на множество разных историй восточных народов и путешествий, мы очень мало знаем Восток, то есть его характер, нравы, — словом, его внутреннюю жизнь. Путешественники пишут о Востоке с заранее составленною мыслию о превосходстве всего европейского и смотрят на восточную жизнь с европейской точки, как на курьезность...

Невозможно себе представить той резкой противоположности, какая существует обыкновенно между наружностью и внутренностью в мавританских постройках. В этом отношении никакая архитектура не может дать понятия о мавританской: снаружи все их здания смотрят уныло, сурово и воинственно; они громоздили их без всякого порядка, без симметрии, без малейшего внимания к наружному виду, а всю роскошь архитектуры и украшений сберегали только для внутренних комнат: там расточали они весь свой вкус, стараясь соединить в них удобства роскоши с красотою природы, мрамор, лепные украше-

ния и дорогие ткани с цветниками и апельсинными деревьями.

Этот первый двор мавританского дворца называется двойко: patio de los arrayanes — двором мирт и patio de los baños — двором купанья. Пол устлан гладким белым мрамором; вокруг галерея с легкими подковообразными арками, упирающимися на тонкие мраморные колонки по две в ряд. Пьедесталы у них низенькие и гладкие, а капители четырехугольные и покрыты узорчатыми арабесками. Вдоль карниза галереи идет арабская надпись; некогда позолоченные буквы обвиты гипсовыми гирляндами цветов. В надписи повторяются только слова Корана: «Един бог повелитель». Среди двора бассейн с чистой водой, саженой в десять длины. Вьющиеся арки на тоненьких колонках имеют необыкновенный характер легкости, а отражение их в воде еще более увеличивает воздушность впечатления. По обеим сторонам бассейна фонтаны; вокруг он густо обсажен миртами. Предполагают, что бассейн этот служил для омовения гранадским владельцам и присутствовавшим при молитве во внутренней ме-

чети дворца. От этого «двора мирт» по обеим сторонам идут комнаты; но, к сожалению, прежнее назначение их в точности неизвестно. Налево башня, известная под именем «Комарек» (Comarech) от украшений ее в персидском вкусе, называвшихся у арабов комаррахе. Залы этой башни отделявали нарочно выписанные персидские мастера. Самая большая и великолепная из них называется «залю аудиенций», где гранадские владельцы делали свои парадные приемы. На стенах вылеплены уже не одни изречения из Корана, а целые стихотворения, в которых восхваляется строитель этого дворца Мохамед Абу-Абдалла-бэн-Хусиф-бэн-Нассер, умерший в 1273 году. Это был самый замечательный из гранадских владельцев и друг Фердинанда св«ятого», короля кастильского. Узнав о смерти его, он отправил к наследнику его, дону Альфонсу, сто арабских рыцарей для засвидетельствования печали своей. Они в великолепных траурных одеждах и с факелами должны были присутствовать при похоронах как представители великой печали. Любимым девизом бэн-Нассера были слова: «Один

бог победитель», и они начертаны во всех комнатах дворца. Эта «зала аудиенций», несмотря на величину свою, освещается только шестью узкими, попарно сделанными окнами, и в ней так сумрачно, что с трудом можно разглядеть позолоту и краски превосходного резного дубового потолка. Рисунок и узоры деревянных мавританских потолков чрезвычайно похожи на те, которые в прошлом веке делали под названием рококо; но мавританская работа несравненно отчетливей и изящнее. Стены залы покрыты раскрашенными арабесками. Одна из главных особенностей мавританского стиля — нигде не поражать глаза резкостью: только всмотревшись хорошенько в эти украшения, вы увидите всю отчетливую тонкость этой миниатюрной работы. С первого взгляда кажется, будто потолок и стены обтянуты персидскими коврами или вышитыми по канве обоями с мельчайшим рисунком. Арабские буквы надписей, сами похожие на арабески, совсем слиты с украшениями, так что нужно особенное внимание, чтоб отличить их. Из полусумрака залы вид в окна на сверкающие всею

яркостью южных красок природу, город и окрестности удивительно эффектен.

Но воротимся к первому «двору мирт». Слева у него башня Комарек с своей «залой аудиенций», справа — изящнейший портал со множеством тоненьких, точно из белейшего воска, колонок ведет в знаменитый «двор львов» (patio de los leones), главный внутренний двор дворца. Это обширный и продолговатый четырехугольник, окруженный галереею, с частыми, подковообразно согнутыми арками, опирающимися на тонкие мраморные колонки (их 168). По обеим противоположным сторонам в длину сделаны два портала, где колонки сгруппированы и покрыты широким фризом с необыкновенною, самую грациозною оригинальностью. Колонки, рассыпанное в каком-то симметрическом беспорядке, то по четыре, то по три, то по две вместе, производят необыкновенный эффект игрою света и теней под арками. Капители колонок и наружная сторона галереи покрыты мельчайшими арабесками из гипса, на которых еще сохранились следы красок. Мавры так искусно умели составлять этот гипс, что он те-

перь крепче мрамора и лоснится, как он⁽³⁴⁰⁾.
Едва ли Восток произвел что-нибудь лучшее этого «двора львов» по легкости, грации и деликатности вкуса. Я не могу дать даже приблизительного понятия о воздушности впечатления целого: в этом чувствуется характер подвижных жилищ пустынь, и тоненькие колонки эти по своей форме намекают на шесты, на которых укрепляют кочевые шатры. Между арабесками по фронтону галереи идут арабские надписи: «Хвала богу», «Слава нашему повелителю», «Хвала богу за ниспослание ислама». Посреди двора (он семнадцать саженей в длину и десяти в ширину) стоит «фонтан львов» — большая чаша белого, прозрачного мрамора, покрытая арабесками и поддерживаемая двенадцатью мраморными львами; под ней другая, поменьше, из середины которой бьет фонтан, так что струя его падает сначала в меньшую чашу; наполнив ее, вода бежит в большую и потом через пасти львов падает в нижний, обширный бассейн. Львы сделаны очень дурно и не похожи ни на каких зверей, может быть, оттого, что исламизм запрещал арабам представление живых

существ^{341}. Вокруг большой чаши вырезаны арабские стихи, которые местами постерлись, отчего произошли пропуски и разногласия переводчиков.

Вот их смысл:

«Да будет благословен давший повелителю Мохамеду жилище это, по красоте своей — украшение всем жилищам человеческим.

«Если ж ты сомневаешься в этом, то взгляни на все тебя окружающее: ты увидишь такие чудеса, что бог не дозволил, чтобы существовали равные им даже и в самых храмах.

«Эта масса прозрачных перлов блестит и сияет в падении своем.

«Посмотри на воду и посмотри на чашу: невозможно отличить, вода ли стоит неподвижно, или то струится мрамор.

«Посмотри, с каким смятением бежит вода — и, однако ж, все непрерывно падают новые струи...

.
.

«Может быть, все существующее не более как этот белый, влажный пар, стоящий над львами.

«О, ты, смотрящий на этих львов, которым только отсутствие жизни не допускает предаться своей злобе.

«О, наследник крови бэн-Нассеров! Нет славы и могущества равных твоим, поставившим тебя выше всех сильных владетелей.

«Да будет непрерывно мир божий над тобой! Да сохраняется твое потомство, и да торжествуешь ты над своими врагами!».

Внутри одной из галерей, сзади портика, на потолке, есть картина, в которой на позолоченном фоне представлена битва четырех мавританских рыцарей с четырьмя кастильскими^{342}. В смежной комнате есть еще две картины, тоже на потолке: на одной нарисованы мавры, сидящие кружком, на другой — сцена охоты за кабанами. Вероятно, они писаны каким-нибудь христианским художником, потому что Коран строго запрещал изображать людей, угрожая, что на том свете написанные люди будут себе требовать душ у писавших их. По рисунку картины, кажется, надобно отнести к XIV веку, и «они» замечательны только в том отношении, что андалузские мавры, несмотря на запрещение Ко-

рана, имели, однако ж, у себя картины. «Двор львов» и фонтан его были сценою множества романических происшествий, рассказываемых романсами, и которые, несмотря на украшения, прибавленные народною фантазиею, может быть, имели какое-нибудь историческое основание. Испанские историки рассказывают, между прочим, что посланник Фердинанда и Изабеллы дон Хуан де Вара разговаривал раз у «фонтана львов» с мавританскими рыцарями о католицизме и исламизме и, услышав насмешливое замечание одного мавра над католическою верою, выхватил меч и убил его. Вот каким страшным предзнаменованием для мавров начиналась Гранадская война! По обеим сторонам «двора львов» находятся две большие комнаты, называемые: одна — «залю сестер»^[343], другая — «залю Абенсеррахов». Пол в «зале сестер» состоит из двух огромных мраморных плит, которые почему-то вздумалось назвать «сестрами»; от них и название комнаты, самой красивой во всем дворце. Нижняя часть ее четырехугольная; по стенам мозаики, между которыми в медальонах сделаны гербы гранад-

ских владельцев. Верх осьмиугольный, оканчивающийся изящнейшим куполом, покрытым самою фантастическою лепною работою, вроде сталактитов и углублений, какие бывают на пчелиных ульях. Все это было тщательно раскрашено синею и пунцовою красками с позолотою. Краски и позолота во многих местах сохранились еще во всей свежести. Свет проходит в восемь маленьких круглых отверстий, сделанных в куполе между углублениями лепных украшений, и проходит так эффектно, придает такую необычайную воздушность куполу и стенным арабескам, что вся комната кажется сотканною из разноцветных кружев. Отсюда открытая галерея ведет в женскую половину дворца, и на окнах, выходящих в галерею, остались еще частые решетки. Там спальни, уборные, ванны — уютные комнатки, тщательно укрытые от солнца и жару, где множество маленьких фонтанов постоянно прохлаждают воздух. Стены, по обыкновению, покрыты мельчайшими, раскрашенными арабесками; потолки резные из дерева, позолоченные и раскрашенные. Окна женских комнат (гарема) выходят на неболь-

шой садик, насаженный цветами, миртами, апельсиновыми деревьями и окруженный галерею с теми же тонкими, мраморными колонками.

«Зала Абенсеррахов», по правую сторону «двора львов», уступает в красоте «зале сестер», хотя купол ее сделан в том же стиле. Возле фонтана ее и на дне его огромной чаши широкое красноватое пятно. Народное предание говорит, что это кровь убитых здесь Абенсеррахов. В Гранаде было множество рыцарских родов. Сегрии, родовые враги Абенсеррахов, донесли последнему гранадскому владельцу Абу-Абдилели (испанцы называют его Боабдилем), что молодая жена его любит одного из Абенсеррахов и что подмечены их ночные свидания у одного из кипарисов Хенералифе. Гранада разделена тогда была на враждовавшие партии. Одни, в том числе род Абенсеррахов, держали сторону отца Боабдила, другие — сторону сына. Боабдиль задумал истребить всех Абенсеррахов. Но так как это был один из знатнейших рыцарских родов, славившийся своим мужеством и очень любимый в Гранаде, то Боабдиль решился сде-

лать это тайно под предлогом праздника, пригласил к себе лучших рыцарей из Абенсеррахов, и каждый, по мере того как они приходили, был обезглавлен палачом у этого фонтана. Уже тридцать три Абенсерраха были убиты таким образом, когда паж последнего, нечаянно увидев, как схватили его господина, предупредил остальных Абенсеррахов. Перес де Ита в хронике своей «О междоусобных войнах в Гранаде» — «Guerras civiles de Granada», por Ginés Pérez de Hita, — с величайшими подробностями рассказывает о последовавшей затем мести Абенсеррахов, о решении Боабдиля, чтобы обвиняемая султанша избрала себе четырех рыцарей, которые должны сразиться за нее с четверьмя ее обвинителями из Сегриев. Султанша тайно обратилась к знаменитому тогда испанскому рыцарю маэстро де Калатрава, прося его о защите; и в назначенный для поединка день приехали в Гранаду четыре неизвестных воина в турецких одеждах — то были переодетые испанские рыцари, — сразились с Сегриями, убили их и провозгласили невинность султанши, которую в противном случае ожидал

костер. Впрочем, книга Переса больше походит на роман, нежели на историю. Он рассказывает то же самое, что народная поэзия пела во множестве романсов, которыми облекла она падение Гранады. Автор слил вместе историю, народные предания, романсы и свою собственную фантазию. Самая интересная сторона этой книги (в ней 442 страницы весьма мелкой печати) — описание гранадских праздников, обычаев, нравов, которое должно быть большею частью верно, потому что автор сам видел описываемый им народ. Книга сочинена в конце XVI века^{344}.

Мне бы следовало еще говорить о внутренних комнатах гарема и спальнях его, сделанных в земле, с мраморными ваннами, альковами для постелей и неразлучными фонтанами, куда свет проникает сквозь маленькие отверстия сверху, так что в них была постоянная прохлада и сумрак, столь любимый восточною негою; но по всему этому прошли или запустение, или переделки и пристройки, сделанные во время пребывания в Альамбре королевской фамилии Филиппа V (кажется, в 1700 году); следовательно, надо иметь

сильное воображение, чтоб почувствовать во всем этом мавританское изящество. Арабы любили воду с какою-то ненасытною страстию: она до сих пор идет в Альамбру водопроводами старой арабской постройки. Здесь она всюду, в каждой комнате дворца, бьет в фонтанах, наполняет бассейны, журчит в канавках, проделанных в мраморных полах комнат, и, обежавши их, стекает в парк и город. Самое очаровательное место в женской половине дворца — бельведер, сделанный на верху одной из башен. Полагают, что здесь было нечто вроде уборной комнаты; она и теперь называется уборною королевы (el tocador de la reina). В мраморном полу ее проделаны маленькие скважинки, сквозь которые проходил дым сожигаемых внизу ароматических курений. Но всему этому придает невыразимое очарование природа: когда вошел я в бельведер и, опершись на окно, увидел под собой гущу свежей, темной зелени, в которой извивалась полуразрушенная красная стена Альамбры, покрытая плющом и синими листьями алоэ, передо мной на горе, над террасами своих садов, стоял Хенералифе,

летний мавританский дворец, с игривыми подковообразными арками и тонкими колоннами, слегка заслоненными высокими кипарисами, за ним скалистая, покрытая развалинами вершина Silla del torgo и над всем этим переливающаяся радужными оттенками Сиерра-Невада с своим снеговым, сияющим на солнце пологом, — я не в силах был оторваться от этого окна и долго оставался тут. Бельведер стоит на задней стороне холма, над самым обрывом, в котором беспрестанно делаются обвалы; крепостная стена или обвалилась вместе с землею, или расселась на широкие трещины, из которых рвется чудная густая растительность. В пустынной тишине только и слышен был со всех сторон шум фонтанов и ручьев... Этот бельведер мое любимое место: каждый день провожу я здесь подолгу и все не могу насмотреться. Здесь я впервые понял наслаждение безотчетного созерцания.

Хенералифе стоит выше Альамбры. Их разделяет широкий овраг, в глубине которого бежит Дарро. Весь овраг сверху донизу зарос дикими фигами, миртами и олеандрами.

Необыкновенное изобилие ключей придает этой гуще свежесть удивительную. Узкая тропинка к Хенералифе идет между гранатовыми деревьями, около развалившихся стен Альамбры; по грудам красного камня цепляется дикий виноград, перемешанный с торчащими листьями синего алоэ; все цветет и растет в очаровательном беспорядке: никакой цветник не сравняется с этой могучей, вольно разметавшейся растительностью. Но во дворце Хенералифе, кроме наружной галереи с подковообразными арками и тонкими колонками, мало осталось мавританских украшений. Впрочем, в одной комнате сохранились они в целости; остались еще длинные полусумрачные галереи, где жены гранадских владельцев прогуливались во время жару. Из продолговатых, узеньких окон их — вид на Альамбру, на лежащий внизу город, на долину и дальние голубые горы. Несколько высоких кипарисов поднимаются из-за обвалившихся стен крепости. Откуда ни смотришь на Альамбру, снизу или сверху, эти кипарисы всегда на первом плане, и, несмотря на сверкающие тоны неба и природы, их темная, ма-

товая зелень сообщает пейзажу какой-то меланхолический характер. У мавров кипарис был символом молчания: он не шумит от ветра ни листьями, ни ветвями, как прочие деревья. В комнатах и галереях Хенералифе тот же полусвет, как и во дворце Альамбры; размеры их легки и уютны: ясно, что обитатели таких комнат жили только для сладких чувственных ощущений. Мавританская архитектура совершенно чужда того характера величия, какой отличает античное искусство; вся прелесть ее в капризной изящности форм, в эффектном освещении, в обилии и нежности украшений, всегда заключенных в самой грубой оболочке, какова обыкновенно наружность их зданий. Это каприз, исполненный грации и оригинальности.

Мавританскую архитектуру обыкновенно называют подражанием римской и византийской. Действительно, внутреннее расположение мавританских домов отчасти сходно с римскими, где также внутренние дворики играли главную роль. Свои арки с колонками могли они заимствовать у византийцев. Но у арабов арка имеет совсем другое назначение,

и, кажется, в этом-то всего больше является особенностью мавританской архитектуры; а в архитектуре всего больше отражается народный характер. У византийцев арка несет на себе верхнюю часть здания, у арабов она служит только одним украшением, потому что у них верх здания держится не на арках, а на одних колоннах. Арка у арабов только для красоты, для ласканья глаз. По самой своей подковообразной форме эта арка бессильна что-нибудь держать на себе. У архитекторов арабских, кажется, была только одна цель — придать всему характер легкости и как бы беспрестанно напоминать *о кочевом шатре пустынь*. В этом именно и состоит величайшая оригинальность мавританской архитектуры, ее коренное отличие от всех других архитектурных стилей. Существенный характер ее — необыкновенная легкость и каприз, пренебрегающий всеми законами и правилами зодчества. Вероятно, отсюда происходит и такая непрочность их зданий. Перед твердыми, простыми, строгими линиями античного зодчества эта миниатюрная капризность мавританских украшений, вся эта филогранная иг-

ривость кажутся забавою милых, грациозных детей. В самом деле, ни малейшего чувства долговечности, даже прочности не пробуждают здания арабов: это легко, это воздушно, это удивительно изящно, но все это, кажется, тотчас разлетится, как мираж.

Несмотря на редкое, искусное трудолюбие мавров, на их любовь к наукам, необыкновенные способности к промышленности и торговле, в характере их истории постоянно преобладает что-то кочевое, пылкое, страстное, более говорящее воображению, нежели уму; в ней много рыцарского и ничего гражданского. Их учреждения и история вовсе чужды того последовательного развития, какое замечается в истории европейских народов. У арабов все явилось вдруг, все разом в ярком цвете — и все остановилось: арабы XIII века точно такие же, какими были они в VIII веке; менялись люди, но гражданские формы жизни, но учреждения оставались те же. По развалинам Греции и Рима прошли десятки веков, целые народы расхищали и разрушали их — и, несмотря на это, они все еще стоят, сообщая окружающей их природе свою велича-

вую красоту. В постройках древних архитектурный эффект всегда преобладает над эффектом природы; постройки арабов, напротив, преимущественно от соединенной с ними природы получают свою красоту. Мне кажется, что если б даже испанцы и не трогали их, они разрушились бы давно сами собою: так хрупко, легко и ненадолго они были строены. Мавританскую архитектуру можно изучать для украшений, но не для стиля; в ней чувствуется изнеженная и чувственная жизнь ее строителей. Столько суровой грубости снаружи и столько нежности внутри, столько изящества в подробностях и такая бедность общего рисунка, столько цивилизации и варварства! Это искусство спален. Араб любил тайнственность и скрывал от толпы не только свои наслаждения, но даже великолепие, которым украшал приюты своей неги. Скрытность жизни есть преобладающий характер чувственного Востока, да, я думаю, и всех чувственных людей вообще. Арабская архитектура лучше всякой философии истории объясняет судьбу этого народа[85].

Выбор местоположений, устройство и

украшение комнат доказывают в арабах самое глубокое сочувствие к природе. Замечательна также любовь их к самому утонченному комфорту. Всякий живший в южных странах знает, какую отраду доставляют там летом свежая вода, прохладный воздух и полумрак в комнатах. Фонтаны у арабов были всюду; их комнаты можно бы назвать обстроченными и украшенными фонтанами; у них была к ним такая же страсть, как у греков к статуям, с тою только разницею, что грек расточал украшения для наслаждения всех, а мавр — для наслаждения одного себя. Кроме омовений, предписанных Кораном, фонтаны поддерживали в комнатах постоянную прохладу, усиливая запах цветов и душистых деревьев их внутренних садиков. Постоянный полусвет комнат с их воздушными, кружевными украшениями, при вечном журчанье фонтанов и аромате цветов должен был беспрестанно погружать обитателей их в ленивую задумчивость; в этом сладком забытьи все существующее казалось не более как «белым, влажным паром»^{345}. Я на себе испытал здесь это обаяние восточного созерцания.

Говоря о Хенералифе, я забыл сказать об его садах, которые считались у мавров великолепнейшими в мире. До сих пор в них живет еще их прежнее очарование. Половина их запущена; другая, прилегающая к бывшему дворцу, содержится в прежнем мавританском вкусе. Во всю ее длину идет неглубокий канал аршина в два ширины, выстланный белым мрамором, с чистой, быстро бегущей водой, над которой низко нависли кусты жасминов и мирт; по обеим сторонам его огромные кипарисы и апельсиновые деревья; дорожки узки. Из сада входишь на прилегающую к бывшему дворцу продолговатую галерею, обнесенную арками на тонких мраморных колонках; это тоже сад, но в нем только одни цветы, и между ними великолепнейший куст олеандра по крайней мере в три обхвата. С удивительным искусством умели мавры всюду проводить воду! Ключи, находящиеся в холмах Хенералифе и Альамбры, были бы далеко недостаточны на все их фонтаны. Главная масса воды проведена сюда с Сиерры-Невады, верст за десять от Хенералифе, большею частью подземными водопровода-

ми для того, чтоб вода проходила сюда холодной и чистой. Из Хенералифе течет она через овраг в Альамбру водопроводом, устроенным на высоких арках, и там распределена во множестве искусственных ручьев по парку. Но, несмотря на то что здесь красота природы очень многим одолжена трудолюбию и искусству человека, нигде итальянская природа не производила на меня такого глубокого, горячего впечатления, как это местоположение Гранады. Я здесь провожу целые часы, погруженный в самую отрадную, безотчетную задумчивость... Да! Ярче, чем апельсиновые рощи Палермо, чем берега Неаполя, будут жить в моей душе эта равнина Гранады, обставленная горами, эти холмы Альамбры и Хенералифе, в густой растительности которых играют тоны южной и северной природы, и Сиерра-Невада с своим снеговым пологом и радужными переливами отлогостей. А закат солнца с Хенералифе — какое солнце и какая картина!

Позади Альамбры лежит гора, кажется, насквозь прожженная солнцем, желтая, голая, цвета африканской пустыни; на ней ни дерев,

ни травы, а одни только уродливые, огромные кусты кактусов, которыми обсажены ее уступы. Испанский пейзаж вечно исполнен контрастов; в его самых великолепных картинах есть всегда некоторый оттенок суровости и дикости. В несколько ярусов по горе проделаны пещеры: здесь живут цыгане. Вход в каждую пещеру завешен какой-нибудь грязною тканью; у него обыкновенно валяются нагие курчавые дети с большими, огненными, черными глазами и темно-желтой кожей. Цыганам запрещено жить в Гранаде, и права собственности они не имеют. Гранадские цыгане известны в Испании ловким метаньем ножа: больше нежели на двадцать шагов попадают они им в цель с необыкновенной силой. Кроме того, они имеют еще в простонародье репутацию отличных танцоров. Это меня интересовало, и я сделал у себя бал, то есть просил пригласить ко мне человек двадцать цыган, мужчин и женщин, известных своим мастерством в андалузских танцах, и дал им любимое ими угощение, состоявшее из ликера и сладких пирожков. Оркестр состоял из двух гитар и тамбурина, на которых играли

сами же гости. Бал был веселый и продолжался до глубокой ночи. Цыгане танцуют, действительно, с необыкновенною легкостью, гибкостью и увлечением; но они уничтожают страстную прелесть андалузских танцев... отсутствием скромности. Грации в них мало; да и ноги держат они по-гусиному. В песнях их за соло следует хор, как у наших цыган, чего нет в испанских и андалузских песнях. Их пение и мелодии несравненно лучше их танцев. Женщины одеваются в яркие цвета, окутывая себя какими-то странными покрывалами, как наши кочевые цыганки. Несмотря на то что они несравненно хуже андалузок, здешние молодые люди их очень любят за их смелое остроумие и удалую грацию.

На все время моего пребывания в Гранаде нанял я себе верховую лошадь и часто езжу по окрестностям. Теперь время уборки хлеба. Кстати: здесь молотят хлеб не руками, а копытами лошадей. Возле того места, куда свезена сжатая рожь, устраивают круг на ровной, крепко набитой земле и накладывают на него сжатую рожь. Два мула, запряженные в род салазок, ходят в кругу; на скамейке, приде-

ланной к салазкам, сидят обыкновенно дети и погоняют мулов. Гладкие доски скользят по соломе, и зерно под копытами мулов отделяется от колосьев. Когда набросанная рожь обмолотится, ее сметают, просеивают и набрасывают свежую. Истоптанную копытами солому потом сжигают, и толпа молодых людей и девушек с веселыми криками забавляется всегда мешаньем тлеющего пепла. В жителях окрестностей Гранады есть оттенки, отличающие их от прочих андалузцев и которые прямо указывают на их близкую родственность с Востоком. Правда, что восточный элемент значительно сохранился в нравах всей южной Испании; но нигде он так резко не обнаруживается, как у гранадцев. Впрочем, и немудрено: здесь было последнее убежище мавров, вытесненных из остальной Испании; здесь сосредоточивались их государство, религия, вся их национальность. Это оставило глубокие следы и на народном характере и на народной фантазии. Крестьянин гранадский несравненно серьезнее и молчаливее, чем крестьяне других частей Андалузии. На лицах жителей окружных гор, и особенно Аль-

пухарр, та же гордая важность, та же испытующая неподвижность лица, которые так поражали меня в лицах танхерских мавров. Ни в какой части Андалузии не существует таких поверий в тайные силы природы, таких фантастических рассказов[86], как между жителями гранадских гор. Замечательно, что они инстинктивно признают за маврами решительное превосходство во всем, хотя иногда в разговоре, а особенно когда затронута их национальная гордость, они с презрением отзываются о *morería*[87] вообще. Но особенно они славятся в целой Андалузии своею необыкновенною способностью к импровизации. Я прежде говорил уже, что в Андалузии часто случается при танцах, что кто-нибудь из присутствующих берет гитару и под мелодию танцуемого фанданго импровизирует куплет (*copla*) в честь иной танцовщицы; но это ничто в сравнении с тем мастерством, с каким гранадцы выражают свои мысли и чувства в любимой народной форме фанданго. Преинтересный факт об этой способности гранадцев к импровизации сообщил мне один немецкий путешественник, только что

воротившийся из поездки в Альпухарры, с которым я познакомился в Альамбре. С ним был слуга, которого он нанял в Гранаде, большой охотник петь и играть на гитаре. Желая взойти на вершину горы Sagra Sierra, взял он из близлежащего местечка Puebla de Don Fadrique себе в проводники одного молодого человека, которого звали Диего. Осмотрев гору, возвращались они пешком в местечко, и дорогою Диего, по обыкновению андалузцев, затащил фанданго, без которого андалузец не может ни ехать, ни идти, ни работать. Пропевши несколько незамечательных строф, он вдруг обратился к слуге и начал спрашивать его в рифмованных стихах, импровизируя их на голос и метр фанданго; а слуга точно также отвечал ему стихами. Вот записанный путешественником разговор их с самым буквальным, подстрочным переводом:

Диего

*¿Por qué vas, gallardo mozo,
al país de las monteras?
¿Por qué dejas las esferas
de placeres y de gozo,*

*que llenan los bosques de
Alhambra?*

(Для чего идешь ты, добрый молодец, в страну шапок?[88] Для чего оставляешь сферы удовольствий и радости, наполняющие рощи Альамбры?)

Слуга

*Tengo que seguir las huellas
de mi señor Don Enrique
que a la Puebla de Fadrique
se marchó, a mirar las bellas
maravillas de la Sagra Sierra.*

(Должен я следовать за стопами моего сеньора дона Энрике[89], который поехал посмотреть на прекрасные чудеса Сиерры-Сагры).

Диего

*¿Y pudiste sin espanto
dejar tu querida esposa,
igual a la Aurora hermosa?
¿No te conmovió su llanto?
¿O no es bella la señora tuya?*

(И ты мог без страха оставить твою милую

супругу, подобную прекрасному утру? Тебя не тронул ее плач? Или не хороша твоя сеньора?)

Слуга

*Si, es más encantadora
que la rosa en primavera,
mas ahora yo quisiera
su sonrisa seductora
que al vino tinto de Caravaca.*

(Она очаровательнее, чем роза весной, — и теперь мне больше хочется ее соблазнительной улыбки, чем красного вина из Караваки).

Потом слуга спросил у Диего, женат ли он. Диего отвечал, что нет, и рассказал, все стихами же и под мелодию фанданго, что у него есть любезная и что она хотя бедна, но очень хороша.

Диего

*Tengo perlas y diamantes,
tengo oro y tengo plata,
marfil y tela dorada,
de todo tengo en abundante,*

*si tú me quieres, niña de mi
alma.*

(Есть у меня жемчуг и брильянты, есть серебро, слоновая кость и золотые ткани — все есть у меня в изобилие, если ты менялюбишь, дитя души моей).

*¡Ay! tu granadina boca
es más bella y es más sana
que el frescor de la mañana,
que en mayo los lirios toca!
Aromas son los aires que tú
inspiras.*

(Ах, твой гранатовый ротик прекраснее и слаще, чем свежесть утра, которая ложится в мае на лилии. Ароматен воздух, которым ты дышишь).

*Como el rayo del cielo
derriba orgullosas palmas,
así queman todas las almas
tus miradas de fuego.
¡Benditos sean tus hermosos
ojos!*

(Как луч молнии с неба раздробляет гордые пальмы, так сжигают все души твои ог-

ненные взгляды. Да будут благословенны прекрасные глаза твои!)

*¿La nieve de la Sierra,
compite ella por ventura,
con frescor y con blancura,
con los pechos, que encierra
la sencilla alcandorita tuya?*

(Снег Сиерры сравнивается ли, например, с свежестью и белизною грудей твои!, которые охватывает твоя простая сорочка?)

Говорят, что в Испании народ беден, невежествен, полон суеверия и предрассудков, что просвещение в нее не проникло. Так по крайней мере думает вся Европа. Но поставьте этого невежественного испанского мужика рядом с французским, немецким, даже с английским мужиком и вы удивитесь его натуральному достоинству, его деликатным манерам и его языку, правильному, чистому. Низшее сословие здесь несравненно образованнее низших сословий в Европе; только под этим словом не должно понимать книжное образование, а образование, составившееся из нравов, обычаев, преданий, — так сказать,

историческое образование, которое в испанском народе несравненно сильнее, глубже, нежели во всех других народах Европы. Это образование всей природы человека, а не одной только головы. Уже довольно указать на то, что ни один народ не имеет такой богатой, поэтической литературы, как испанцы; народная поэзия их живет не в книгах, а в непрерывном изустном рассказе. Отсюда его способность к импровизации, которую можно объяснить только именно богатством народной поэзии, заучая которую народ непосредственно научается владеть своим языком. Решительно во многом испанцы составляют исключение (в самом лучшем смысле этого слова) из прочих народов Европы, и к ним всего меньше прилагаются те общие теории и определения, которыми книжные умы так любят играть в политику и историю.

Я забыл сказать, что на другой же день после своего приезда в Гранаду я оставил гостиницу и нанял себе квартиру в доме, стоящем близ оврага между Альамброй и Хенералифе. Комната моя очень проста: выбеленные стены при малейшем прикосновении к ним ма-

рают; кое-как сколоченная из досок кровать, два деревянных стула; да каменном полу мягкий плетенный из соломы ковер; дощатый столик — но на нем каждое утро является в стакане букет свежих цветов благодаря любезности двух хозяйских дочерей, которые смотрят за моей комнатой и держат ее в удивительной чистоте. Вид с моего балкона на всю отлогость Сиерры-Невады и на равнину. Часто, при закате солнца, облокотясь на перилы, засматриваюсь я на расстилающуюся передо мной обаятельную картину, облитую горячим, южным освещением. Как раскаленное добела железо, горит снеговая вершина Сиерры-Невады на голубом небе; розовый, волнующийся пар прозрачной пеленой лежит внизу над городом и зеленою гущею равнины; далее в светло-голубом тумане горные цепи. Угловатая вершина Сиерры-Эльвиры, за которую опускается солнце, словно облитая пылающим золотом, бросает вокруг себя лиловые тени... Все — небо и земля — горит и тает в невыразимой лучезарности... От меня в пяти минутах мавританский дворец и Хенералифе с своим густым, заброшенным садом, куда,

раз заплатив сторожу, я получил вход во всякое время. Там я всякий день ем виноград. Какое наслаждение есть прямо с дерева эти грозды, еще покрытые матовою, инистою свежестью утра! Я с жадностью насматриваюсь на эту долину, на эти чудными цветами переливающиеся горы, на Альамбру, вдыхаю в себя прохладу ее садов и фонтанов и думаю, как бы сделать, чтобы все это навсегда живо запечатлелось в моей душе, чтоб мне всегда можно было помнить об этом рае, который, бог знает, приведется ли мне еще увидеть... Бывают целые дни, когда я со всею искренностию сочувствую скорби этого мавра, изгоняемого из Гранады, и по целым часам повторяю его жалобу:

«Фонтаны Хенералифе, наполняющие его рощи и сады, если смешаются с вашими слезами слезы, мной проливаемые, примите их с любовью, потому что они самая чистая дань любви: вот та дорогая влага, которою увеселяется душа моя.

«Свежие ветры, прохлаждающие то, что раскаляет небо, когда долетите вы до Гранады, да сохранит и поддержит вас Алла! — что-

бы вы передали Гранаде вздохи, которые даю я вам, и чтоб они говорили ей, как страдают отсутствующие»[90].

Дни мои проходят здесь каким-то безотчетным, невыразимо приятным сном. Встаю я в 6 или 7 часов и тотчас же иду в сад Альамбры, оттуда в Хенералифе: его большой, заброшенный, предоставленный одной природе сад имеет для меня особенную прелесть. Весь он, можно сказать, обвит виноградом. Высокие кипарисы окружены им сверху до низу, как гирляндами; золотистые грозды на темной, матовой зелени кипарисов, когда в них ударяет солнце, кажутся совершенно прозрачными. Вот синий, вот душистый moscatel, вот круглый, золотистый и сладкий, а вот продолговатый и слегка кислый, который я всегда предпочитаю. Гранаты от спелости лопаются на деревьях, выставляя свои пурпуровые зернышки; на рыхлых от зрелости фигах — светлые капли сгустившегося прозрачного сока. Утра здесь от близости Сиерры-Невады исполнены самой отрадней свежести, так что грозды покрыты холодным инеем. Освежившись виноградом, я возвра-

цаюсь домой к завтраку, который обычно состоит из двух яиц всмятку. Шоколад мне до смерти надоел. Потом немного читаю или пишу, перед обедом — здесь обед ранний — через сад Альамбры иду в мавританский дворец; там у меня два приятеля: швейцарец, живописец, срисовывающий залы Альамбры^{346}, другой — француз, очень любезный человек; он снимает их, для желающих, дагерротипом. Провожу с час на своем любимом «бельведере султанши» — и домой обедать. После обеда часто отправляюсь верхом вниз на равнину, даю лошади волю бродить по излучистым тропинкам садов, всюду прорезанных искусственными водопроводами, и когда Сиерра-Невада начинает розоветь, сворачиваю в город и, оставя лошадь в своей прежней гостинице, иду в кофейную есть мороженое, отсюда на alameda, которая теперь, при лунном освещении, исполнена фантастического очарования... Знаете ли, я боюсь, что мое восхищение Гранадою покажется вам преувеличенным... нет, уверяю вас, все описания мои, весь мой восторг не передаст вам и тени того очарования, каким исполнены эти

места и эта природа... Часов в десять отправляюсь темными аллеями Альамбры домой, иногда захожу к хозяевам, куда всегда приходят провести вечер несколько гостей; между разговорами снимается со стены гитара, и вечер обыкновенно оканчивается андалузскими песнями.

Возле самой моей квартиры огромный, разрушающийся монастырь de los Mártires[91]; его прежнее назначение можно узнать только по железному кресту, по массивной башне и по обломанному мраморному колоссальному распятию, которое еще стоит перед забитыми наглухо монастырскими воротами. Вокруг — груды камня, пьедесталы и обломки колонн. Старый мавританский фундамент монастыря явно свидетельствует, что монахи, тотчас после завоевания Гранады, овладели находившимся тут мавританским зданием и переделали его в монастырь. При продаже монастырских имений густой, прекрасный монастырский сад куплен моим хозяином, который живет получаемым с него доходом. Перед входом в монастырь, в недалеком друг от друга расстоянии, стоят два высоких камен-

ных креста; у среднего по вечерам собираются танцевать молодые люди и девушки, и ко мне в комнату доносятся брянчанье гитары и стук кастаньет... Нет, недаром плакали мавры, когда изгоняли их из Гранады, недаром одна из окружных гор, с которой, рыдая, Боабдиль в последний раз взглянул на Гранаду, называется до сих пор «вздохом мавра» — *el suspiro del Moro*. И долго у изгнанных мавров сохранялась поговорка, когда кто задумывался — о нем обыкновенно говорили: «Он думает о Гранаде»... Гранада!! Если б это слово могло передать вам хоть тень ее красоты, если б я мог перенести вас в мою маленькую комнату в то время, когда закатывается солнце и косвенные лучи его разливают по долине радужные, переливающиеся тоны, — небо и земля сливаются и рдеют, как раскаленная лава, облака пылают кровавым пламенем; Сиерра-Невада с своими скалами черного мрамора, с своим снегом и зеленою отлогостью, вся облитая заходящим солнцем, кажется массой, сложенной из драгоценных цветных камней... минута чудес! Темная, влажная зелень деревьев проникнута золотистыми от-

ливами; нет захолустья, нет уголка тени, куда не проникала бы яркость этого солнца. Вечерний пар, расстилающийся по долине, похож на пыль, состоящую из аметистов и рубинов, — и все прозрачно, все горит и сверкает; колокольни деревень, рассеянных по равнине, светятся как пурпуровые бенгальские огни... Но жаркие тоны начинают бледнеть, обозначаются очертания горных цепей, на их синеющих отлогостях уже чуть-чуть отсвечивается лиловое мерцание; над долиной густо поднимается голубой, влажный туман, по которому белой матовой полосой отсвечивается луна, выходящая из-за Сиерры-Невады. Солнце давно скрылось за горами, Гранада, равнина лежат в сером сумраке, а снеговой полог Сиерры горит еще лиловым сиянием, и чем выше, тем ярче и багровее; вот, на самой вершине, сверкнуло оно последним, алым лучом... да нет! этой красоты нельзя передать, и все, что я здесь пишу, есть не более как пустые фразы; да и возможно ли отчетливо описывать то, чем душа бывает счастлива! описывать можно только тогда, когда счастье сделается воспоминанием. Минута блажен-

ства есть минута немая. Представьте же себе, что эта минута длится для меня здесь вот уже три недели. В голове у меня нет ни мыслей, ни планов, ни желаний; словом, я не чувствую своей головы; я ни о чем, таки совершенно ни о чем не думаю; но если б вы знали, какую полноту чувствую я в груди, как мне хорошо дышать... мне кажется, я растение, которое из душной, темной комнаты вынесли на солнце: я тихо, медленно вдыхаю в себя воздух, часа по два сижу где-нибудь над ручьем и слушаю, как он журчит, или засматриваюсь, как струйка фонтана падает в чашу... Ну что если б вся жизнь прошла в таком счастье!

Карта Испании с маршрутом В. П. Боткина (пунктирной линией).



ДОПОЛНЕНИЯ

РУССКИЙ В ПАРИЖЕ (1835) ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК

Давно собираюсь я писать к вам о Париже. Сколько раз брался я за перо с намерением сказать что-нибудь о картине Парижа, о знаменитом его Пале-Рояле, о его веселых бульварах; и всякий раз, когда принимаюсь за пе-

ро, каждый из этих предметов влечет за собой столько воспоминаний. Эти кривые, запачканные улицы Парижа имеют на себе так много великих, вековых следов, что в голове подымается целый хаос событий. Во Франции настоящее так тесно слито с сорокалетними событиями^{347}, что даже одно название улиц Парижа приведет вас в недоумение, если станете читать надписи их, не зная истории Парижа. Вся история Франции девятнадцатого столетия сосредоточена здесь. Так, начиная говорить о Пале-Рояле, невольно думаю я о том времени, когда Камилл Демулен, заткнув себе в шляпу ветку липы, заговорил народу на широком дворе его; стул, на который стал он тогда, был родоначальником трибуны^{348}. И потом воображаю я бал, блестящий в июле 1830 в этом дворце, бал светлый, беззаботный, и мрачную толпу народа, глухо волнующуюся перед окнами дворца и раздражающуюся в дикий напев национальной песни, заглушившей оркестр, смутившей ясные лица веселых гостей. А сколько грустных и вместе важных мыслей возбуждает эта обширная площадь, обставленная прекрасными зданиями-

ми, с которой так красуется величественная палата депутатов и мост с колоссальными статуями знаменитых людей старой Франции^{349}; сколько крови разбрызгано по ней, сколько немых раскаяний некогда приняла она, увенчанная гильотиною! Париж *надувал* наших добрых стариков, прикидываясь гулякою, беззаботным весельчаком; смотря в тусклые очки, старики наши не замечали под напудренным париком красного колпака^{350}, не разглядели лица, скрытого под маскою. Теперь Париж ходит с открытым лицом, и если еще шутлив и весел, то только из добродушия...

Однако ж, я постараюсь сбросить с себя тяжесть минувшего; может быть, мне удастся дать вам некоторое понятие о Париже, если поведу вас на бульвары, кругом опоясывающие его: там потерял он запачканную свою физиономию; там он чист и свеж. Ступайте по этим бульварам в летний вечер; что это за прелесть! Под густыми, высокими вязами, отеняющими обе стороны улицы, бесконечную, светлую цепью тянутся магазины, лавки, кофейные, рестораны, театры: и все это

полно народом, кипит жизнью. Зелень, освещенная ярким газом, переливается какими-то серебристыми отливами; местами цепь магазинов и кофейных прерывается, но прелесть картины увеличивается тогда: в этой тени все веселее, смех громче, остроты вольнее, эта тень придает колориту картины еще больше жизни. Подите на загородные балы Парижа, посмотрите на это милое, умное веселье, посмотрите на благопристойность, там царствующую, посмотрите, как работники веселятся с своими гризетками. Или пойдете в ясный, теплый воскресный день в заветные Елисейские Поля: там под высокими вязами настроено множество лавочек, лавок, комедий. Сколько артистов показывают искусство свое на чистом воздухе: барабан, скамейка, стол, принадлежности бродячего гения. Около нас оркестры, танцы, фигляры. Здесь рыцарь мелкой промышленности вооружился огромными весами: не угодно ли вам узнать, сколько в вас пуд? Возле него другой предлагает вам пробовать силу руки вашей. А вот лотереи, страсть парижан: в одной разыгрываются пряники, в другой картинки, в той стаканы,

рюмки, бутылки — все, что пригодно для домашнего обихода; можете выиграть в лотерею, заплатя безделицу — одно или два су. Вот стрельба в цель из ружей и пистолетов; а этот добыл толстую доску, пробил в ней дыр с большое яблоко, сзади вставил стекла и предлагает вам деревянным шаром разбивать их. Вот физические и химические опыты: «Тут, — возвещает химик, — можете вы в несколько минут постигнуть все таинства природы, и все это только за два су!». Вот академия собак, и ученый член ее говорит длинную речь о трудности, системе и пользе образования собак; а вот пение, скрипка и бубен: трое артистов поют куплеты из новых водевилей, романсы и даже номера из опер. Там дородная дама показывает образованность удава, обвиняет его около шеи, берет в рот его голову и рекомендует, что он по своему уму годится в любые министры. Подойдемте к этой толпе — что тут? Человек с рыжими усами, в изношенном сюртуке, с огромною медалью стоит на столе; возле него на стуле лежит ящик с пакетцами и скляночками. Рекомендую вам: это зубной доктор. В длинной речи повеству-

ет он о своих всемирных путешествиях и открытиях на пользу зуб человечества. Этот порошок вывез он из южной Америки; он имеет свойство исцелять самую жестокую зубную боль, предохранять зубы от гниения; эликсир в скляночках их крепит и делает белыми, от прикосновения порошка этого никакой червяк не усидит в зубу. Не верите? Погодите. Пышную речь свою доктор оканчивает словами: «Messieurs et mesdames, спешите исцелять зубы свои! Нет ли у кого больного зуба? Вы на опыте увидите искусство мое, исцеление будет не на час, а на целую жизнь!». Все молчат. Вот выходит из толпы мальчик лет тринадцати, он давно страдает зубами. Доктор, с приличною важностию осмотревши рот его, кладет на больной зуб порошок свой. — «Сожмите рот и садитесь». Снова распространяется доктор о чудных действиях порошка. — «Покажите мне зуб! — Messieurs et mesdames, смотрите, как ползет червяк из зуба: он не снес сокрушительного действия порошка моего». — И в самом деле вынимает червяка изо рта бедного малого. Кто же после такого опыта не поверит искусству доктора! Посмотрите,

сколько тянется к нему рук за зубными его порошками. А между тем уж и вечер: везде блещут огни, все весело; это прежние французы, без политики и революции; это все еще водевиль, полный жизни и народных типов, но в котором, если вы пристально взгляните, уже проглядывает важное лицо драмы и игривые куплеты оканчиваются задумчивою мечтою о будущности общественной.

Пойдемте по Парижу, посмотрите, какая во всем жизнь, приемлемость впечатлений, понятий. Француз умрет без публичных мест своих: посмотрите на эти тысячи кофейных, они все полны; там увидите вы семейства целые, женщин, детей. Парижанин мало живет дома: ему необходимо это множество литературных кабинетов, кофейных, рестораций. Ступайте в Пале-Рояль, под прохладную тень лип и каштанов; там во всякое время найдете вы сотни людей за журналами. Смышленная, мелкая промышленность построила тут несколько избушек, запаслась журналистикой Парижа, накупила стульев и за два су предлагает вам то и другое. Но я в жаркий день лучше люблю роццу Тюльери: там блеск

и шум Парижа исчезает, взор встречает только темную зелень вязов, народу мало, тихо; там любил я в знойный полдень читать остроумного «Корсера» и «Шаривари»^{351}. Посмотрите общественные заведения Парижа: в Париже все публично, все открыто. Тогда как в Лондоне англичанин с угрюмым, холодным лицом требует с вас шиллинг за взгляд на всякую безделицу, принадлежащую государству, француз с радостью отворяет вам двери, узнавши, что вы иностранец; он горд и доволен тем, что вы приехали посмотреть на его belle France[92]. Ступайте в какое хотите общественное заведение: с вас не потребуют ни одного су. А эти курсы наук, открытые для всякого, эти тысячи средств научиться, образоваться, узнать, что и как делается на этом свете!.. Скажите, дивиться ли после того разливу идей в массе парижского народа, этому тревожному состоянию, недовольному настоящим, этому юношеству, преданному идеям отвлеченным, стремящемуся в действительности проявить фантастические мечты свои? Нет, вы ничему не подивитесь, смотря, как жадно читает эта толпа, как алчно пожирает

все, что выбрасывают ей типографии. Париж — это жизнь народа, трепещущая всеми своими нервами, прорывающаяся из каждого отверстия своего; но этих отверстий ей недостаточно, и она работает, рвется, борется, отыскивая себе новые; это юность, кипучая, страстная, бешеная, увлекающаяся, вся преданная первому впечатлению... Нет, я не променяю этих кривых, запачканных улиц, этих разноцветных, закопченных порохов домов, усеянных балконами, на опрятный, просторный Лондон, с его угрюмою, деловую физиогномиею и рассудительным народом!

Погруженные в безмерную коммерческую деятельность, обязанные работать ежеминутно или преданные позорной праздности, размежеванные по количеству богатства, подверженные самовластию господствующей церкви или следующие мелочным и тесным правилам множества разнородных сект, англичане мало ощущают потребности в идеях общих. Каждый англичанин существо сложное: религия лежит у него на одной стороне, политические мнения — на другой, правила нравственности и поведения — на третьей.

Заговорите с англичанином о религии: он неохотно станет отвечать вам. Его правила веры решены с детства, и он крепко держится за них. Может быть, он и атеист в глубине души, но по привычке, по какому-то чувству почтения к всемогущему влиянию, какое воспитание и нравы целого народа имеют на отдельного члена общества, он притворится или станет молчать. Он не чувствует связи, соединяющей идеи религиозные с политическими. В этом народе чего-то не достает. Его построение велико, огромно, но темно. Не таков француз, не такова Франция, страна жизни бушующей, с страстями и мнениями напряженными, которая, кажется, чем больше тратит себя в отчаянных схватках своих с понятиями и предрассудками веков, тем больше снова вбирает в себя жизни и снова бьет и кипит пеною страстей и мыслей. Какой город, кроме Парижа, представляет вам больше жизни, идей, сект, мнений, этого стремления проявить их в действительности, стремления, выражающего преимущественно характер Франции! Давно ли видели мы, как учение политической экономии преобразовалось в

религию, изрекавшую обществу новые законы нравственности и гражданственности; давно ли видели, как сектаторы публично, с увлекательным энтузиазмом, проповедовали свое учение, безденежно раздавали свои книги и журналы, и, теснимые правительством, избрали страну, которой не коснулась еще европейская цивилизация, и отправились сеять учение свое на девственной почве ее?^{352} А эта фантастическая странность костюмов Парижа, эти прихоти самого расстроенного и мечтательного воображения, все наяву в лицах, этот хаос мнений, партий, сект, надежд, опасений... прислушайтесь к шуму его, у вас закружится голова, оупеет ум, не достанет воображения. В Германии разлито и более идей; но она спокойна; для нее идеи покуда существа отвлеченные, принадлежащие только книгам: о приложении их к быту общественному там покуда не думают. Далеко еще не разрешила Франция вопросы, ее обременяющие; она исполнена семян растения огромного: богу известно, когда возрастет оно! Приезжайте в Париж как человек, желающий только пожить весело, бросить несколько тысяч

рублей на его удовольствия и забавы, и вы уедете из Парижа, имея о нем самое ложное понятие. Тогда вы будете похожи на стариков наших, которые толковали нам о забавах Парижа, не обращая внимание на внутреннюю жизнь его. Париж обманчив для поверхностного наблюдения. Видали ли вы русского человека, у которого в разгульную минуту становится последняя копейка ребром, душа дешевле гроша, и через час после он удивляет вас самую тонкою расчетливостию, хладнокровием, скупостию на необходимые удобства жизни. Париж тоже имеет эти противоположные стороны. Он весел, разгулен, беззаботен, если хотите, по-прежнему; иногда для него вся политика заключается в модной идее общественной; он, словно за женщиной, волочитя за нею, льстит ей, дерется за нее и после бросается за другою. Париж иногда надоест вам своими вздорными новостями, пустым болтовством, странною поверхностно-стью; но не спешите изрекать ему приговор, взгляните пристальнее. Париж шалит по добродушию, потому что уверен в себе: это Генрих IV, дающий ездить детям на

спине своей^[353]; это Гёте, который фанфаронит в гостиной. Для того чтоб понять Париж, надобно нам, людям Севера, медленным, хладнокровным, привыкшим и думать и говорить: «время не ушло еще» — нам, которых торопит жить только отдаленный гул движения европейского, — надобно запасаться особенною деятельностью души. Там прости наше dolce far niente![93] Париж охватит вас своими бурными стихиями, втянет в свой гражданский омут; держитесь крепко: вы закружитесь; запаситесь деятельностью души и ума; вас окружают мнения страстные, страсти метафизические, вас увлекать станут сотни партий, к вам пристанет статья каждого журнала, не отвяжется до тех пор, пока вы не определите ее значения; вас изумит откровенное, громкое слово ума и страстей, вы услышите явственно шелест крыльев всемогущей современности, около вас заструится эфир девятнадцатого века; не дремлите: мимо вас полетят имена, идеи, мнения, знаменитости; если вы проспали *вчера*, для вас непонятно будет *завтра*. Франция и Париж мучатся, бессознательно очищающие себя для будуще-

го; чтоб понять их, надобно вам самим измучиться. Тяжко лежишь ты, таинственное будущее, над скептическим Парижем. Париж не верит ни во что и ничему. Страшное состояние! Разрушить старое и не мочь ничего создать нового! Смотреть на одни развалины, развалины и развалины! Чувствовать потребность верить, и не находить, во что верить! Не дивитесь ужасному множеству самоубийств, случающихся в Париже: это непременно следствие ужасного состояния его. Париж стоит на рубеже между прошедшим и будущим, между верою и безверьем, смотрит с тоскливою задумчивостью вперед, не зная, утро ли теперь или уже вечер настоящей гражданственности? Грустно видеть, как этот скептицизм, которым дышит Париж, овладевает и могучими организациями, талантами генияльными. Прочтите последние сочинения Гюго, вникните в эту душу, размученную окружающими ее развалинами, сомнением во всем: вы поймете тяжкое состояние современной Франции.

К слову о Гюго; я расскажу вам о моем свидании с ним.

Уже с лишком месяц жил я в Париже, а мне не удалось еще видеть ни одного из известных писателей. Дюма уезжал осматривать берега Средиземного моря, Бальзак в Австрию, Ламартина и де-Виньи не было в Париже; тут оставался только Виктор Гюго. Но что за вести рассказывали о нем! На литературном вечере у ***^{354} люди, по-видимому, образованные и занимающиеся литературою, уверяли меня, что Гюго помешался, не выходит из комнаты, не принимает никого к себе. Общее мнение всего литературного круга, сбравшегося у ***, было то, что Гюго писатель с некоторым дарованием, но уклонившийся в дурную сторону и теперь уже потерявший всякое влияние на современную литературу. Тут же, я помню, один прекрасно разодетый молодой поэт с жаром доказывал, что «Notre-Dame de Paris»[94] может нравиться одним женщинам и им одним одолжен успехом своим. На меня, начавшего с глубоким уважением говорить о Гюго, смотрели как на северного варвара, спрашивающего о предмете давно решенном и несколько пошлом. Такие резкие, окончательные суждения

посыпались на вопросы мои о Гюго, что я не осмелился даже возражать и замолчал с грустью и недовольством на душе. У *** собиралось аристократическое общество известнейших светских литераторов; тут читались разные сонеты, послания к тому, к тому...

Я был знаком с несколькими молодыми людьми мнений противоположных обществу, собиравшемуся у ***. Это были пламенные последователи новых идей, пылкие энтузиасты, самоотверженные преобразователи настоящей цивилизации; тут обвиняли Гюго в недостатке положительных политических мнений, называли его поэтом, но поэтом слишком матерьяльным; тут сказывали мне, что Гюго ведет развратную жизнь, что ожесточенный критиками и ядовитыми статьями журналов, он отказался от своего поэтического призвания, впал в совершенную матерьяльность, забыл даже о семействе своем, живет с одною актрисою театра St.-Martin⁽³⁵⁵⁾ и никого к себе не принимает. Что мне было делать? Несмотря на все это, желание видеть Гюго превозмогло, и я отыскал в парижском всеобщем адрес-календаре квартиру его, ре-

шился по русской пословице «спрос не беда» написать к нему письмо, в котором просил у него позволения быть у него и назначить мне время. Письмо повез я сам. В одной из отдаленных частей Парижа живет Гюго: Place Royale, № 6^{356}. Приезжаю, вхожу на лестницу во второй этаж, звоню, мне отпирает служанка, чрезвычайно дурная собою. На вопрос мой, дома ли Гюго, она самым гнусливым, едва понятным голосом отвечает, что Гюго нет, а что он будет дома в седьмом часу. Я отдал ей письмо, прося передать Гюго. В этот день на театре St.-Martin давали «Marie Tudor»: я не мог отказать себе в удовольствии видеть ее и не поехал вечером к Гюго. На другой день после обеда, в восьмом часу, порядочно приодевшись, взял я кабриолет и с трепещущим сердцем проговорил кучеру: «Place Royale, № 6». Приезжаю. Знакомая безобразная служанка, отворившая мне дверь, говорит, что Гюго обедает. Опять неудача. Спрашивают, как сказать обо мне. — Русский путешественник. — Жду. Не прошло минуты, входит в переднюю человек невысокого роста, с полным, здоровым лицом, волосами почти белокуры-

ми, лежащими просто. Он стал извиняться, просить меня войти в гостиную и подождать, пока кончится обед. «Monsieur Hugo...», — про- бормотал я — и уставился на него. За несколь- ко дней ходил я с «Notre-Dame de Paris» в руке на башню собора: признаюсь, мне хотелось отыскать какой-нибудь затерявшийся след великой драмы, и я еще раз, но с каким но- вым, живым наслаждением читал дивный роман. Сколько раз проникнутый огневыми описаниями, подходил я к собору, смотрел на его угрюмую форму, *vaste symphonie en pierre* [95], взбирался на широкую его платформу; тут Квазимодо, Эсмеральда, Фролло — вся эта драма принимала объем огромный, охваты- вала собой все общество, человеческое, нераз- гаданно, мрачно кипела в нем под тысячью форм; тогда роман этот представлялся мне не столько созданием искусства, сколько теори- ею автора, взглядом его на жизнь — и какою грустною, скептической теориею!

Еще полный впечатлений «Notre-Dame de Paris», увидал я перед собою Гюго, и вы пой- мете причину, отчего я уставился на него с глупым любопытством, рассматривая это

полное, свежее лицо, это чело, ознаменованное печатью гения. Смейтесь надо мною — но когда я увидел перед собой великий талант, первого поэта современной Франции, неопределенное, доселе незнакомое мне чувство наполнило меня. Долго б простоял я молча, если б Гюго, улыбнувшись, не вошел первый в комнату, пригласивши меня движением головы следовать за ним, и указал мне дверь прямо, прося подождать там. В комнате, куда мы вошли из передней, за круглым столом обедали две дамы, мужчина и двое детей. Гюго проводил меня в гостиную, извиняясь в беспорядке ее; тому причиною приготовление его к отъезду: он завтра утром едет на два месяца из Парижа. Гюго вышел, дверь в столовую затворилась, и я остался на свободе рассматривать жилье знаменитого писателя. Везде видны были следы страсти к зодчеству средних времен. На стене висели прекрасные рисунки собора Антверпенского, отдаленного вида Страсбургской колокольни, вид части Парижа с готическою башнею St.-Jacques de Boucherie, портрет генерала в мундире времен революции, вероятно, портрет его отца.

Прямо у стены стоял диван с прекрасною резьбою à jour[96], произведение шестнадцатого или семнадцатого века; налево софа с штофным малиновым балдахином, времен Людовика XIII или XIV; перед ней фортепиано. Комната вся оклеена малиновыми обоями и очень высока; дверь в кабинет была открыта; кабинет не велик, весь увешан картинами; на столе, стоящем посередине, много книг и бумаг. Я смотрел в кабинет издали, считая неучтивостью войти туда. Немного спустя вбежал в комнату мальчик лет семи^[357]; и я спросил его, не сын ли он Гюго. — «Oui»[97], — отвечал он и начал разбирать географические карты Франции. У мальчика лицо очень смышленное. Минут через пять вошел Гюго, извиняясь. Сели. Первым вопросом его было, дозволены ли сочинения его в России. Потом интересовался он знать, с какой точки смотрят у нас на «Notre-Dame de Paris», спрашивал о народной нашей поэзии. Я говорил ему о народных песнях наших, старался объяснить характер их, о бродячих семьях наших цыган, их странном быте. Последнее, казалось, очень занимало его. Вообще он дает России высо-

кую поэтическую будущность. Не более получаса длился наш разговор, как вошла г-жа Гюго в шляпке и, казалось, ожидала его окончания. Я видел, что я гость не вовремя, встал и с замешательством попросил Гюго написать мне на память свое имя. «Eh, avec un grand plaisir, M-r *»[98], — отвечал он, вошел в кабинет и через минуту вынес бумажку, на которой было написано: «Qui sperat vivit — Victor Hugo[99]»^{358}.

«Через месяц я возвращусь и с удовольствием увижу вас у себя; мне очень интересно послушать о России», — сказал он мне, когда я стал откланиваться, и проводил меня до дверей крыльца. Г-жа Гюго выше его ростом, с прекрасным, выразительным лицом. У Гюго лоб более широкий, нежели выпуклый; нижняя часть лба показалась мне развитою больше верхней. Лицо очень приятное, благородное, без резкого выражения, но с большим оттенком меланхолии и задумчивости. Общий характер лица преимущественно матерьяльный, и это чувственное выражение, подернутое какою-то грустию и задумчивостию, делает лицо Гюго одним из самых необыкновен-

ных. Виктору Гюго лет тридцать пять. Отец его, отличный генерал, брал его еще ребенком с собой в походы. Воображение поэта должно было сохранить впечатления этой кочевой, бурной, военной жизни. Воспитываясь в Мадриде, он почерпнул под небом этой Испании, по нравам своим более близкой к Африке, нежели к Европе, вдохновения, каких не может внушить ни одна из стран Европы. Этот народ, еще верный старинным обычаям своим, эта земля природы роскошной и живописной, эта отчизна архитектуры готической, усеянная ее величественными памятниками, — все должно было энергически действовать на поэта, быстро развивать его способности... Но жизнь поэта — поэма великая; ее борьба, ее муки, ее торжества исполнены значения глубочайшего и обширнейшего, нежели все поэмы Индии и греков. Мне ли рассказать вам внутреннюю жизнь Гюго? А начатая биография не удовлетворит вас. Лучше кончить...

ОТРЫВКИ ИЗ ДОРОЖНЫХ ЗАМЕТОК ПО ИТАЛИИ

Доехав до Brieg, маленького и довольно дурного городка южной Швейцарии, лежащего у подошвы Симплона (Sempione, так называется цепь Альп, отделяющих Швейцарию и часть Савои от Италии), я, заранее переславши чемодан мой в Милан, с котомкою за плечами на заре пустился пешком по симплонской дороге. Вообще в Альпах природа не роскошна, но в северной их отрасли она изумляет величием и разнообразием картин: там над цветущим лугом видишь нависшие льды; из мрачного ущелья неожиданно выходишь на светлое поле. Но вся дикая угрюмость Альп, суровая, грозная, собралась и встала Симпломом. Льды и снега покрывают даль, редкая трава кроет бледною зеленью каменистые массы, кое-где торчит одинокое тонкое дерево, грустная ель или сосна. Страшно смотреть на скалы, перпендикулярно вставшие над пропастями; водопады шумят на каждом шагу. Широкою струею падая с вершин, они брызгами рассеиваются, не долетая до низу, напрасно кропя гранитные громады, — ни трава, ни дерево не живится их влагою. В одном месте я видел прекрасный водо-

пад — гора расселась на две огромные скалы, и из глубины расселины летел он, перескакивая через утесы и камни. По скатам гор ручьи тающих снегов лежат, словно ленты. Наконец, водопады эти образуют реку, и любо смотреть, как прокладывает она себе дорогу через скалы и пропасти, то невидимая — слышишь только шум ее в темной глубине — то, где горы переменяют направление дороги, вдруг видишь ее, прыгающую из глубокого ущелия.

И был же человек, сказавший, чтоб была дорога чрез эти пропасти, сквозь эти скалы, громады гор! Этот человек был Наполеон. Ему стоило только сказать — и она потянулась, послушная исполинской воле его^{359}, перепрыгивая мостами через пропасти, взбираясь по отлогостям гор, минуя каменные массы скал, излучиваясь, змеею извиваясь по крутизнам. Чем дальше, тем труднее. Скалы твердеют, растут выше и выше, круто поднимают гранитные вершины свои. Нет места дороге — ни скрыть их, ни вскарабкаться по ним. Жалкие, может быть, думали каменными своими твердынями поставить преграду воле челове-

ка — он недра их прорвал порохом, — и дорога снова тянется подгорными галереями, местами сажень в 20, а инде слишком в $\frac{1}{2}$ версты длиною; в пробитые отверстия для света летят брызги водопадов, сверху падающих.

Словом, чувство глубокого удивления наполняло меня, когда я шел по Симплонской дороге; передо мною было поле битвы человека с природою, тверди и силы с умом. День был пасмурен. Облака стлались по горам; часто бродячие семьи их одевали меня своею воздушною влагою, смачивая холодным инеем. На Симплоне всего деревни с три, но по дороге рассеяны домики, называемые refuge [100], в них можно найти вино и сыр. Радостно вбежал я в один из таких домиков и велел развести огонь. Несмотря на половину августа, воздух был пронзительно холоден. Женщина, принеся мне вина, между прочим, самым скверным немецким наречием рассказывала, что дорога эта весною бывает очень опасна: часто огромные глыбы снегу срываются с вершин, увлекая с собою все встречное. Согревшись, отправился я в путь. Дикие громады при сумрачном вечере сделались

еще угрюмее; закутав в туман бока свои, черные вершины их приняли формы еще страшнее и неопределеннее. Переночевав в деревеньке Sempione, с восходом солнца я опять в путь. Небо начинало понемногу голубеть. К счастью, попутчиков никого со мною не было, я свободно мог отдавать себя впечатлениям грозной, угрюмой роскоши природы. Дорога пошла под гору. Вообразите, что вы слышите унылый аккорд: это первый вид Симплона. С тихим отзывом, в котором умирает этот аккорд, сливается другой, третий — унылость их начинает дичать. Неслыханные звуки сливаются вместе, аккорды переливаются все диче и угрюмее. Невыразимая тоска одолевает сердце, вздох вылетает с трудом. Эти аккорды говорят о чем-то страшном: словно переносят они в пределы, где жизнь не красна, природа губельна человеку. Будет, перестаньте! — говорите вы наконец, измученные, — и они начинают стихать; томительное сочетание звуков их проясняется; порою, как дальний гром, еще прозвучит иной мимолетный гул; вот тихая, сладостная мелодия поднимается в воздухе, переливается, как весенний жаворонок,

светлее, радостнее — бух! — оркестр грянул веселым аккордом, живое, светлое allegro наполняет душу невыразимым удовольствием. Я вышел из стремнин Симплона: передо мною долина Domo'd'ossola.

Из дикой пустыни гор, где глаза, наконец, утомились мрачными красотами их, сердце сжалось среди страшного бесплодия природы, — вдруг увидать перед собою долину светлую, по которой гирляндами стелется виноград, розовеют персики, природа во всей роскоши юга; я почувствовал, что передо мной была Италия, и надобно испытать такое чувство! Мне стало легко, весело, я лег на траву и с упоением нежил глаза на очаровательной долине, которая, как чаша, лежала между горами, покрытыми темною, густою зеленью. — Италия, Италия, я наконец вижу тебя! — повторял я; — чудная, блаженная минута!..

В Бавено, деревеньку на берегу Lago-Maggiore, приехал я вечером. Напившись чаю, вышел на террасу гостиницы. Озеро тихо лежало в роскошных берегах своих, острова чуть виднелись в легком голубом тумане. Ночь темнела, туман сделался гуще. Утром,

сказавши своему vetturino[101], чтоб он ждал меня в Sesto-Calende, я взял лодку и велел везти себя на острова.

Нельзя налюбоваться на прелестный вид Isola-Bella; его террасы, покрытые лимонными, апельсиновыми деревьями, сквозь темную зелень которых ярко белеются мраморные статуи, арки, галереи, — все придает этому острову вид чарующий. Тут есть два величайших, прекрасных, лавра. Говорят, что на одном из них Наполеон, в первой Итальянской войне, гуляя по острову, задумавшись, вырезал слово bataglia[102]. Каждый путешественник поставляет за долг отломить кусочек от этого места, и теперь слова не видать, его срезают совсем. Чудный человек! Какой кусок земли в Европе не говорит о тебе. С наслаждением смотрел я из окна заброшенного дворца на острове Isola madre. Прямо передо мной далеко зеленело Lago-Maggiore, влево городок Palanza живописно раскинулся по берегу у подошвы горы, вправо милая Isola-Bella — какая природа, какая страна! Пароход привез меня в Sesto-Calende — и я в австрийской Италии. Кроме того, что на берегу отобрали наши пас-

порты, всех путешественников призывали в полицию и списывали их приметы. В гостинице, от скуки, стал я читать на стенах разные надписи; большая часть их по-французски и итальянски. Англичане ограничиваются четким означением своего имени и фамилии, французы пишут свои политические мнения — от пустоты души бранят Людовика Филиппа^{360}, карлисты воспевают Генриха V^{361}. Итальянские надписи дышат страстную любовь к Италии, любят ее, горячо желают ей счастья^{362}.

А вот и Милан. Наружность его мало отзывается итальянским — тут есть какая-то примесь французского характера. Сегодня все утро провел я, осматривая город. Хотя вам и скучно кажется ходить за мной, но вы простите моему любопытству и не посердитесь. Я начал с Biblioteca Ambrosiana[103], которая содержит в себе 60 000 томов печатных и 40 000 рукописей. У меня не было ни особенного интереса, ни знания рассматривать эту грудку; любопытно только было взглянуть на Вергилия, списанного Петраркою. Почти с благоговением библиотекарь вынул из комода боль-

шую толстую книгу и разложил ее передо мною с словами: «Этому нет цены!». На пергаменте четким, прекрасным почерком, с величайшею чистотою списаны сочинения Вергилия. Почти каждый стих сопровождается замечаниями Петрарки, которые писал он на полях и внизу. Знатоки говорят, что замечания и пояснения Петрарки весьма обыкновенны — оно так и должно быть; они полагают, что это труды молодости его, когда отец вырывал у него из рук и бросал в огонь Вергилия, над которым просиживал он целые ночи. Другой особенно замечательный манускрипт — Иосиф Флавий, переведенный Руфином. Он писан на папирусе. Ему теперь, говорят, 1200 лет^{363}. Здесь же видел я волосы Лукреции Борджиа^{364} и письма ее к кардиналу Бембо^{365}; письма эти писаны ею уже в то время, как она из чудовищно развратной женщины сделалась ханжой и призывала к себе двух проповедников в день, утром и вечером. Меня странным образом интересовали эти письма и волосы Лукреции Борджиа! Александр VI^{366}, Цезарь Борджиа^{367}, Италия в XVI веке! Какое время, какие люди — и, наконец,

каков папа!..

Эта библиотека, кроме множества замечательных рукописей, имеет еще картинную галерею. Тут находится знаменитый картон «Афинской школы» Рафаэля^{368}, несколько очерков Микельанджело. Картон нравится мне лучше фреска.

После обеда пошел посмотреть на цирк. Большое пространство, обнесенное каменной стеною. С одной стороны широкая терраса с навесом, поддерживаемым 6 гранитными колоннами; налево две башни для музыки. Цирк сделан по воле Наполеона. В нем бывают скачки, бой с быками. Посредством труб, проведенных из каналов, можно наполнить его водою в несколько часов, а потому летом тут купаются, а зимою катаются на коньках. Зрителей может поместиться до 35 тысяч. Я с грустью смотрел на это широкое пространство, назначенное для забавы народа и свидетельствующее о знаменитости и величии, какие хотел Наполеон придать столице Итальянского королевства.

Отсюда недалеко триумфальные ворота, начатые тоже Наполеоном. Теперь отделява-

ются они и окончатся года через три. Они из разноцветного мрамора; барельефы по сторонам очень хороши.

Не могу выразить глубокого наслаждения, которое чувствую я, глядя на Миланский собор. Эта масса шпиков, восходящих к небу, прозрачных, унизанных статуями, барельефами, резьбою, казалась мне чем-то воздушным. Это не готический храм, где искусство покорено простотою религиозного величия общности, где оно смиренно работало, проникнутое стремлением к высокому и таинственному, расточая труд свой во славу величия божия; в архитектуре этого белого мраморного храма Милана нет величия — она дышит нежностью. Вид его не поселяет ни одной религиозной мысли. Здесь готическое искусство забыло свое стремление. «Не от мира сего царство мое!» — говорит германский храм средних веков, таинственно указывая на небо одиноким шпилем своим. Такое стремление было несвойственно Италии. Ей ли было отрицаться от мира, пренебрегать телесным среди роскошной, дышащей чувственностью природы! Под этим ли небом не

любить земли? Этому ли народу, проникнутому обожанием стихий ее, отвергать упоение, вливаемое природою в страстное сердце его?

Собор Миланский начат был архитектором Пеллегрини, в стиле греческом, в 1386. Заложил его Висконти, герцог миланский, вследствие обета, данного им божией матери. После переменили греческий стиль на готический, и храм лишился единства и полноты характера. С тех пор он строился медленно, и окончание его было еще далеко в 1806, когда Наполеон велел достроить его. Теперь возносится он во всей роскошной мечтательности архитектуры своей.

Вчера в сумерки провел я в соборе часа три с невыразимым наслаждением. Стало темнеть, когда я вошел в дивный храм. Громадные колонны тянулись перед мною белыми своими массами и исчезали в сумраке. Высоких сводов уже не было видно, и верхи колонн, казалось, простирались в бесконечность; сумрак придавал храму огромность необыкновенную. Колоссальные статуи тускло белелись во мраке и казались неземными богемольцами. Я сел и с глубоким душевным

наслаждением смотрел на храм, которого гигантские формы, одетые сумраком, казались еще величественнее. Бывают минуты, когда сжатая жизнь города становится наконец невыносимой, когда душно в этих улицах, между этими домами, в этих стриженных садах, — в поле, в лес, в лес! И с какою отрадою впиваешь в себя сладкий воздух поля, как весело в густом, темном лесу! Как жадно прислушиваешься к переливающемуся шуму его! Так вырываешься из нашей утонченной гражданственности, нашего стройного общественного быта и переносишься в средние времена, в эту поэтическую эпоху брожения общественных стихий, между этих железных характеров, среди общества, чуждого наук и просвещения, отвергавшего образованность древнего мира как имя дьявола. Любо там смотреть на борьбу каст, общин, власти духовной и политической, любо воображению бродить по этим развалинам, памятникам средних времен. Но разве храмы и здания греков и римлян не изящнее этих темных церквей с их кружевной резьбой, шпилями, длинными колоннами, теряющимися в мрачной

высоте сводов? Что художественного в этих поросших травой замках, выкладенных на утесах, с башнями, длинными, мрачными своими залами, где украшениями служили не создания искусства, а древнее оружие, добыча охоты; что в этом быту без гражданственности, цивилизации, в этом почти диком быту людей, все весивших на тяжесть меча, — противу быта древних, с искусством и законами, которым и теперь еще дивимся и подражаем мы? Нет, средние времена ближе моему сердцу; это было время юности обновившегося человека: долго томясь в формах древнего мира, вырвался он наконец на свежий воздух новой жизни и отдался всему ее волнению.

Потом я задумался о грозном томительном католичестве средних веков: вообразил обедню того времени в этом храме; епископа, совершающего таинство среди поражающей торжественности, и толпу, тоскливо предстоящую, проникнутую величием обряда... Меня вывел из задумчивости голос церковника, громко кричавшего, что время запирать церковь.

В церкви Madonna della grazia видел «Тай-

ную вечерю» Леонардо да Винчи. Это прежде был знаменитый монастырь, и в огромной зале, некогда трапезе, по стене сохранились некоторые остатки создания да Винчи. Французы во время италийанской кампании выгнали монахов, монастырь обратили в казармы; трапеза, где находится высоко уважаемая знатоками Вечеря, служила конюшнею. Впоследствии в стене, на которой нарисована картина, прорубили дверь. Теперь ее едва можно разглядеть, так она стерлась и полиняла от сырости. Вход в эту бывшую трапезу чрез внутренний двор монастыря, на который выходили окна келий. По стенам окружающих его галерей сохранилась еще живопись, представляющая разные места из св. писания, подвиги францисканов. Странно видеть этот остаток религиозного назначения среди лагерных и походных снарядов, кузниц, солдат. Теперь в принадлежавших монастырю корпусах устроены казармы.

Сегодня от души хохотал я в театре dei giardini pubblici[104]. Представление дают днем; в открытом деревянном амфитеатре может поместиться до 2000 зрителей. Это те-

атр для простого народа. Играли комедию Гольдони. Беспрестанные ссоры и мировые любовников, судья, разбирающий их жалобы, — из этого состояли все сцены. Зрители смеялись до упаду. Национальность была во всем разгуле. Италиянские актеры совсем иначе держат себя на сцене. Я говорю в отношении национальных пьес; в италиянце больше естественности, он развязен и жив на сцене, с грубостию; в нем не нежность, а страсть, поминутно вспыхивающая в различных чувствах. Комизм италиянского фарса вообще состоит не в экивоках и простонародных фарсах. Он любит личности и делается доктором, вечным предметом насмешек, или, в роли *impresario*, выводит наружу все интриги и все смешное оперной труппы.

28 августа.

Сейчас слушал обедню в Миланском соборе. Звуки органа плавно носились по пространным сводам. С главного входа вид на большой алтарь удивителен. В дыму кадил тускло мерцают свечи алтаря; священники в белых ризах окружают престол, около них по сторонам два ряда певчих и церковных слу-

жителей. Ниш алтаря освещен только одним огромным окном; стекла прекрасно сохранили старинную живопись; лучи солнца слабо проникали сквозь них. Толпы молящихся были почти незаметны между громадными колоннами. Я взял стул, отошел на самый конец церкви и сел. Передо мною длинными рядами подымались колонны, усыпанные статуями и барельефами; пение едва слышалось; орган доносился до меня слабо, аккордов я не мог разбирать: они то умирали, то звучали сильнее, переливались — это было эхо органа. Громадные своды вторили его.

Обедня кончилась, народ вышел из церкви, а я еще сидел — душа была в безотчетном упоении. Чтобы видеть высшую сторону католичества, надобно быть в Италии, где народ верит от всей души и так поэтически, где в храмах его искусства расточили дары свои. Тут примиряешься с ним за плодотворное влияние его на мир, тут предстоит он во всем очаровании минувшего царства своего. Реформа⁽³⁶⁹⁾ не идет к готическим храмам Германии.

Здесь театр la Scala — огромный из

всех театров Европы. Несмотря на величину его (он гораздо больше нашего Петровского)^{370}, эхо не разносит звуков, пространство не поглощает их, и потому — как не подивиться искусству архитектора Pietro Marini, строившего его в 1778 году. Театр этот представляет род публичного гулянья. Во время представления по обширному партеру его зрители преспокойно расхаживают, громко разговаривая. В ложах его, которые без преувеличения можно назвать комнатами, принимают визиты, меняются новостями. Меня удивила эта невнимательность, походившая на пренебрежение. Я вспомнил тишину парижских театров, бурное негодование зрителей на малейший шум, постоянное внимание от начала до конца пьесы[105]. Труппа была посредственная.

Я стою в albergo del Falcone[106]. Против окна моего, на другой стороне улицы, по которой едва проедут две кареты рядом, живет молодая девушка, которая занимается мотаньем шелка. Она очень недурна — черные волосы, черные глаза, бледное лицо. Несколько дней я кланяюсь ей, она отвечает; давеча ре-

шился сказать ей «bon giorno», она проговорила «bon giorno, signore»[107], засмеялась и убежала. Иногда она поет, голос у нее чистый и высокий. Ее быстрые движения, игривые мотивы ее пения и это бледное страстное лицо — так все и говорит об Италии. Мне нравится обычай здешних женщин покрывать голову черным кружевным покрывалом. Шляпок они не носят. Это придает еще более выразительности прекрасным лицам их.

Послезавтра выезжаю из Милана. Смотря на храм его, я ощущаю всегда такое внутреннее удовольствие, так всегда весело мне смотреть на него! Я расстаюсь с ним как с прекрасной мечтой, которая дышала нежностью, искусством, задумчивостью. Сегодня хотел проститься с ним, хотел в последний раз послушать в нем обедню, потому что эхо органа разносится по сводам удивительно. К несчастью, пришел слишком рано. Священник начал проповедь. Я ждал, авось скоро кончит, и от скуки рассматривал обширную кафедру, вылитую из бронзы, с превосходно изваянными барельефами и поддерживаемую четырьмя колоссальными бронзовыми изваяниями

святых. Некогда с нее неслось слово Карла Боромея^{371}, человека замечательного, страстного, энергического ревнителя католичества, которого неусыпным стараниям одолжен храм этот своим настоящим великолепием. Несколько лет назад Карл Боромей причислен к лику святых. Богатая фамилия^{372} Боромея, по стараниям которой сделана была эта канонизация, думала было сделать то же и с братом его, Фредериком, не менее замечательным человеком. Таким образом я продолжал смотреть и думать, а проповедник говорить, — наконец я не выдержал и ушел.

Венеция, 2 ноября.

Я взял в Падуе место в дилижансе, который отправляется сюда три раза в неделю. Почти вся дорога идет по левому берегу Brenty, реки неширокой и тихой. Низкие, ровные берега ее усеяны дачами, садами, — из них многие прекрасны. Но деревни, люди и вообще картины, встречаемые по дороге этой, едва-едва говорят, что вы в Италии. Но зато архитектура каждого загородного дома дышит прелестью, грациею. Здесь нет роскоши природы Неаполя, в народе нет художественной

небрежности римлян, нет их грациозности. Народ угрюм. Белые мундиры австрийцев на всяком шагу. Дилижанс идет только до деревни Fusino, стоящей на берегу моря; там сели мы в лодку и поехали в Венецию. От Fusino считают до нее пять миль. Я с жадностью глядел в ту сторону, где была Венеция. Из моря вдали стала возвышаться куча домов, над ними вытягивались колокольни, верхи башен, церквей. Со всем тем издали вид Венеции совсем не привлекателен; чем ближе подъезжали мы, тем больше простывала моя воспаленная фантазия — я увидел перед собою ряды домов грязных, самой обыкновенной архитектуры, отделенных от воды только тротуарами.

Между тем лодка плыла, Венеция оставляла пошлую одежду свою, — вот тротуары исчезли, передо мною льется улица воды между домами, которых формы, архитектура мне незнакомы, никогда мною не виданы; — вот переулки, заглядываю — воды и дома; в туманной дали между домами круто перебросились мостики. Канал раздвигается шире и шире, передо мной расстилается улица во-

ды, — и перспектива домов, усыпанных колоннами, барельефами, чудных, которым основанием служит влага. Вид единственный! Эти дома без земли, плавающие по морю, соединенные мостиками; легкие, черные гондолы, покрывающие даль канала и скользящие мимо; это множество народа — и тишина; но всего более архитектура строений, причудливая, игривая, роскошная, — я вскрикнул от удивления и удовольствия. — Венеция, Венеция, о как прекрасна ты! Недаром я так давно, так страстно любил тебя, красавица! — громко повторял я. Вдали показался высокий мост, с удивительно нежностью, легко, грациозно перекинувшийся через канал; я спросил о нем у гребца. — *Rialto, signore.* — Риальто! Как давно знаком ты мне — здравствуй!

Тут лодка наша пристала к дому, где была контора дилижанса. Взявши *facchino*[108], я пошел в гостиницу. Новая странность! Я шел по улицам шириною в 4 шага, между рядами лавок и магазинов — ни стуку экипажей, ни лошадей — необыкновенное впечатление! Эти улицы беспрестанно прерывались, снова соединялись мостиками, их перспектива воз-

душна, узкие каналы извивались в переулках, по ним мелькали и теснились гондолы; тихий плеск от весел, крик разносчиков, говор народа — все это было мне так явственно и странно слышно, не заглушаемое стуком экипажей, народ так свободно наполнял узкие улицы — я чувствовал, что нахожусь в каком-то ином мире...

5 ноября.

Здравствуй, милая, мраморная, удалая Венеция! Здравствуй, величественный лев^{373}, заснувший глубоко и непробудно! Здравствуй, прекрасная Венеция! С пламенным желанием спешил я к тебе и хожу по тебе, очарованный.

Сегодня с утра отправился ходить по городу и прежде всего к площади S. Marco. — Надо пройти по улицам, беспрестанно переходить мостики, видеть около себя одни каналы, чтоб понять впечатление, которое испытываешь вдруг, видя перед собою огромную площадь, обнесенную превосходными зданиями, и прямо — странный восточный фасад базилики^{374} S. Marco. Порттики окружают всю площадь, под ними, во все пространство, тянутся

лавки. Если б этой площади дать аллеи Пале-Рояля, его фонтан и блестящие магазины, освещенные газом, — это был бы вид единственный. Площадь S. Marco поразительна, огромна, но грустна; магазины ее небогаты, обширное пространство площади пусто, жизни не видать на нем. По правую сторону идут кофейные; но в кофейных Венеции безжизненно, тихо, не слышать громкого разговора. «Gazette de France», «Galignani's Messenger» и несколько итальянских газет с Аугсбургскою составляют вялую пищу венецианского любопытства. В самом деле, надобно читать итальянские журналы, чтоб понять всю нравственную пустоту и ничтожность их. Их выписки из иностранных журналов столь кратки и нерешительны, что, прочтя журнал, итальянец должен остаться в совершенном замешательстве касательно событий или положения Европы.

Базилика S. Marco выстроена в каком-то византийско-арабском вкусе; общим характером своим она несколько похожа на Софийский собор в Киеве, а темною внутренностью на московские соборы. В ее украшениях нет

роскошного искусства римских церквей, древние мозаики ее грубы. Стены и колонны древнего разноцветного мрамора; золотые мозаики стен и куполов свидетельствуют о богатстве первых времен республики: но во всех украшениях этих нет и следа изящества. Впечатление, произведенное ею на меня, было холодно, неприятно. Ее размеры и формы стесняют воображение, христианство в этих стенах имеет какой-то характер угнетения, печали, безнадежности, чуждо надежды и одушевления. Эта оригинальность архитектуры — мертва, сочетание вкуса римского с восточным как-то неловко и нелепо. Это множество маленьких колонн, рассеянных по стенам и в нишах, только пестрит их понапрасну. Как произведения искусства я лучше предпочту наши московские соборы, с чистым одинаким характером их.

Palazzo ducale[109] чудное, единственное здание. Тут не знаешь, чему более дивиться — воздушности или оригинальной прелести архитектуры. Кружевные украшения его, этот фасад столь легкий, роскошный — восточная повесть, рассказанная страстным европей-

цем, полная образов чувственной мечтательности Востока. Я очарован этим зданием, люблюсь его нежною, светлую формою. Наслаждение мое сделалось полнее, когда я вошел во внутренний двор и стал перед главным входом *scala dei gigante*[110], по которой всходили дожи в свои комнаты.

Я был полон удивления к торжественному величию этой мощной республики, я видел этот очаровательный дворец и залы его, где сила правительства являлась столь светлою и благородною, мое воображение мечтало о радостных торжествах и победах ее флотов; восторг мой охолодел, сердце сжалось, когда я вошел в залу *совета десяти*^[375]. Тут предстала мне сила республики мрачною и таинственною. Из старинных украшений этой залы остались только некоторые части плафона работы Павла Веронеза. Маленький коридор ведет из нее в комнату государственных инквизиторов, которая примыкает к *Ponte de'sospiri*[111]. В задней части дворца, обращенной к *Ponte de'sospiri*, находятся тюрьмы. Проводник мой и *custode*[112] засветили по факелу, и мы начали спускаться в подземелье

по узкой каменной лестнице. Тюрьмы разделялись на три этажа. Первый в нижнем этаже дворца, второй вровень с морем, третий под водою. Первый назначен был для преступников обыкновенных, второй, и особенно третий, для политических. В прошлом столетии вода прососала стены нижних тюрем и затопила их, но два верхних отделения сохранились в целости. Все тюрьмы малы; заключенный сидел в темноте и днем и ночью, кроме обеденного часа, в продолжение которого на маленькое оконце ставилась ему лампа. Невозможно вообразить, как душен и тяжел воздух в этих тюрьмах. Не могу понять, как не задохнулись здесь от чрезвычайно малого количества воздуха, кое-как достигавшего сюда через дальние двери, потому что в коридоре окон тоже нет. Каждый этаж имел свою комнату казни и особенный род ее. В верхнем этаже удавливали. Сажая осужденного задом к железной решетке окна, надевали ему на шею веревку, которой оба конца были прикреплены к колесу. Палач начинал вертеть колесо, голова прижималась к решетке, тело свешивалось — и несчастный умирал скоро.

Однако ж некоторые противились, употребляли последние усилия на защиту своей похищаемой жизни, и, вероятно, так отчаянны бывали сопротивления их, что палач принужден бывал закалывать их на месте, что свидетельствуют брызги и широкие пятна крови на мраморной стене, к которой бывали прикованы они. На стенах тюрем нижнего этажа можно еще разобрать некоторые надписи, хотя большая часть уничтожена сыростью. Я списал, которые мог прочесть.

*Non ti fidar d'alcuno, pensa e taci,
Se fugir vuoi d'espioni, insidie e laci.
Il pentirti, il lagnarti nulla giova
Ma ben del valor tuo la vera prova.*

18 dec. 1677[113].

Бедняк проговорился, видно! В другой тюрьме большими изломанными буквами начерчено:

*Di chi mi fido guarda mi dio,
Di chi non mi fido mi guardaro io
[114].*

Тут же, на потолке: Un parlar poco e un negar pronto e un pensar al fine poi dar la vita a

poi altri meschini[115]. 1605. В третьей, множества стертых надписей, можно разоб-
раться: Maledectus homo qui confidet in
homine...[116] Эти тюрьмы имели иной род
казни. К ним примыкает маленькая комнат-
ка с высоким камнем на пороге, так что мож-
но, ставши на колени, положить на него голо-
ву. Над камнем сверху устроен был вроде ги-
льотины широкий, тяжелый меч, быстро упа-
давший на шею казнимого. Окончив дело, па-
лач оставлял тело в этой комнатке, в полу ко-
торой сделаны три отверстия для стока кро-
ви. Кровь въелась в мрамор, и пол почти баг-
рового цвета. Комнатка находится под самым
Ponte de'sospiri; низкая дверь вела из нее в ка-
нал; отсюда вывозили тело. Теперь дверь за-
делана, но место ее очень заметно. Тюрьмы,
называемые Piombi[117], находятся под кры-
шею дворца в левой стороне. Он крыт свин-
цом. Но туда не пускают. С площади видно ок-
но тюрьмы, где содержался Сильвио Пеллико
(376). Прекрасен, роскошен снаружи дворец до-
жа — страшен, душлив внутри!

Сегодня утром взял гондолу, чтоб осмо-
треть церкви Венеции. Венеция богата церква-

ми: одни они сохранили прежнее величие свое; архитектура, внутреннее украшение, картины славных художников делают их самыми интересными предметами города. Церковь di'Frari богатейшая и самая замечательная; здесь множество надгробных памятников дожей, из которых иные величественны. В этой же церкви похоронен Тициан, умерший во время чумы. Сенат республики оказал честь трупу великого человека, избавя его от сожжения, чему бы должен подвергнуться он, вместе с прочими от чумы умершими. Краткая надпись, высеченная на мраморе, свидетельствует о месте праха его. Всего замечательнее здесь памятник Канове^{377}, великому скульптору, который, по общему гласу, воскресил греческое ваяние. Смотря на многие произведения его, я соглашался, что он в самом деле воскресил греческое ваяние, но только так, как воскрешают посредством гальванизма... Церковь Redentore — одно из лучших созданий великого Палладия^{378}. Трудно описать легкость, простоту и изящество ее общности; она влечет к себе художественной красотой своей... Но к чему все это? Каждой

церкви должно посвятить особенное описание, а вам будет скучно читать эти описания. Не стану рассказывать вам и о дворцах Венеции. Что приобретаете вы, если я вам скажу, что Palazzo Barbarigo весь наполнен произведениями Тициана, что там его «Магдалина» — вся чувство, молитва сердца, жажда неба; что в Palazzo Treviso не мог я глаз отвести от благородного, унылого лица Гектора Кановы; перебирать ли вам все, что есть прекрасного в Palazzo Manfrini, — говорить ли вам о чудесной архитектуре дворцов Венеции, напоминающих ее былое величие? Нет, я скажу вам только, что все эти памятники силы и славы республики, строенные знаменитыми архитекторами, чуть ли не скоро обратятся в развалины: в них никто не живет, они преданы запустению. Я долго стоял перед заброшенным Palazzo Foscari. Погода была сумрачна, небо покрыто серыми облаками, порывистый ветер колыхал мою гондолу, природа дышала грустью, мне стало жаль Венецию, некогда столь роскошную, могучую, — и теперь увялую, дряхлеющую. Народонаселение ее уменьшается, торговля вяла и почти ничтож-

на; ее дома с каждым годом более пустеют и разрушаются, о праздниках ее никто не запомнит, от огромных флотов, какие высылала в море республика, не осталось и духу; porto-franco[118], уже четыре года открытый, мало прибавил ей жизни и деятельности, доставляя только облегчение потреблению жителей, в бездействии проживающих капиталы свои. Может быть, porto-franco со временем и увеличит ее народонаселение, но богатства, промышленности он не воротит ей. — *Bella rovera Venezia!*[119] — сказал я, задумавшись. — *Duovero rovera*[120], — проговорил мой гондольер — я оглянулся на него. Он уныло смотрел в воду, колыша ее длинным веслом своим. Я вспомнил стихи Байрона:

*In Venice Tasso's echoes are no more
And silent rows the songless
gondolier,
Her palaces are crumbling to the
shore,
And music meets not always now the
ear;
Those days are gone — but Beauty
still is here...[121]^{379}*

Спешите, спешите насмотреться на красавицу; скоро отцветет она: смертная болезнь точит ее сердце. Красота ее грустна, но в ее томных, заплаканных очах сверкает еще страсть, пламенные порывы еще волнуют болезненную грудь эту, еще в неге ее объятий вы забудете и великий Рим, и упоительный Неаполь.

5 ноября.

Вчера я был очарован Венециею. Гостиница, где живу я, выходит к морю. Перед окнами моей комнаты устье большого канала и прямо на противоположном берегу — превосходной архитектуры церковь *Maria della salute*. Я сидел у камина и читал; было около 12 часов, и я уж хотел было лечь спать и как-то нечаянно подошел к окну. Ночь была чудная. Полная луна ярко лила свет на море, отражаясь в бесконечной полосе, переливавшейся огнем и золотом. Ночной туман придавал прелестным формам церкви *Maria della salute* воздушность; по широкому каналу — ни гондолы. Можно ли в такую ночь сидеть в комнате? Я пошел на площадь *S. Marco*. Полная очарования и мечтательности, лежала она, покры-

тая голубоватым туманом ночи; огромный palazzo reale[122], с двух сторон ее окружающий, только половину ее давал на волю лучам месяца, оставляя другую в темноте; под арками дворца темно и пусто; вдали светилась только кофейная Florian, отпертая всегда, день и ночь. Из тени площади вид на дворец дождей, стоящий к морю и весь облитый светом месяца, удивителен. С арками, барельефами, прозрачными кружевными рубцами своими, он казался мне воздушным. Я стоял, очарованный необыкновенным видом. Воображение рисовало картины минувшей жизни венецианской; я вспомнил Марино Фальеро^[380] и Гофмана, моего волшебного Гофмана, с его нежною Аннунциатою и удалым гондольером^[381]. Сколько жизни, страсти, любви кипело на этой площади, теперь тихой, пустынной...

У пристани стояло несколько гондол. Я разбудил одного гондольера и велел везти себя по каналам Венеции, — и тут-то показалась она мне совсем иною. Свет луны выбелил все дома, скрыл запустение их, дал всему новый, фантастический вид, помолодил Вене-

цию. Игривая, полувосточная архитектура дворцов ее, с их бесконечными колоннами и балконами, сквозь дымковый туман ясной ночи, покрылась какими-то чудными цветами; этот туман снес с Венеции следы пролетевших столетий, закрыл воздушным своим покровом следы запустения. Я плыл по большому каналу. Как описать эту единственную картину! Вода как зеркало! Перспектива домов, возвышающихся из нее, ярко отразилась в канале, словно дома выросли вниз. В переулках ряды перекинувшихся между домами мостиков образовали какие-то воздушные галереи, теряющиеся в тумане. Как тихо! Можно бы слышать легчайший вздох с этого балкона, но дворцы эти пусты. В разбитые стекла окон свободно льются лучи полного месяца. Ни полет ветра, ни шелест шагов не нарушают странной, волшебной тишины. Эти дворцы, вставшие из влаги, с восточными, причудливыми своими формами, эти ряды домов, теряющиеся в воздушной дали воды и неба, пустынные, темные переулки с своими прозрачными мостиками, это повсюдное отсутствие земли и тверди привели в замеша-

тельство мое воображение. Что такое передо мною? Не видения ли ночи? Они улетят, снесут с воды эти кружевные дворцы, эти нежно перекинувшиеся мостики, вот уж они заколебались, дрожат, исчезают, нет... это всколыхалась вода, разрезанная зубчатою кормою гондолы, прямо против меня выплывшей из переулка. Быстро пронеслась она мимо, дальше, дальше тонет в тумане, чуть слышен плеск воды от весла гондольера. Снова тишина! Вот показался Rialto; мраморный, он белел над воздушною влагою. Но гондола эта, быстро выплывшая и исчезнувшая вдали, произвела на меня странное впечатление; вся покрытая черным, она походила на плавающий гроб. Гондольер мой повернул в узкий переулок. Смотрю — надо мной Ponto de'sospiri. Быстро исчезло нежное впечатление Венеции. Ponto de'sospiri, страшный мост вздохов: проходившие по нем уже не возвращались в мир сей. Это мрачное, высокое здание, с железными у окон решетками, неужели это дворец дожей? Это задняя часть его. Беда, кто вверялся его нежной наружности. Внутри его темницы, куда не проникал никогда свет дневной; там

пытка и казни совершались среди этой томной, полной мечтательности неги; вот дверь, откуда вывозили казненного; вот сюда стекала кровь его... но — чу! — несутся звуки, звуки мандолины — ближе, ближе, вон в море тихо плывет гондола, в ней нежный женский голос поет канцонету: *La notte che bella...*[123]

ПИСЬМО ИЗ ИТАЛИИ

Рим, октября 29-е, 1841.

В Рим въехал я с самым обыкновенным... чувством. Прежде часто и много думал я о нем; но по мере моего к нему приближения глаза, встречая по Италии столько прекрасного, невольно отвлекли воображение к настоящему — и оно уже как-то охладело к воспоминаниям минувшего; притом и папский солдат в изношенном голубом мундире, подошедший у заставы к дилижансу спрашивать паспорт, кажется, охолодил бы и действительное поэтическое одушевление. Въезжаем. Я увидел перед собою обширную площадь: среди ее стоял египетский обелиск, окруженный четырьмя прелестными фонтанами; по краям площади белелись колоссальные группы мраморных статуй. «Piazza del

Ророло», — сказал кто-то в дилижансе. Площадь народная!.. Все, что воображение прежде мечтало о древнем Риме, все при этом виде и слове вдруг закипело в нем.

«Я в Риме, я в Риме!» — твердил я себе с недоверчивостию. Да и где же, кроме Рима, может быть такая площадь? Нигде не встречал я площади столь торжественно-величавой, так дышащей искусством. Восторг мой понемногу простывал, когда дилижанс ехал по длинному Corso⁽³⁸²⁾; с жаждою к древностям, ища их повсюду глазами, я без внимания смотрел на превосходные palazzi, какими обставлены узкие улицы Рима.

Немного оправившись в гостинице, я тотчас же спросил себе cicerone[124] и велел вести себя на Foro romano[125].

Видите это широкое поле; на нем нет ни домов, ни пашен: словно растут одни обломки, его покрывающие. А было время, когда за право стоять на этом поле бывали кровавые войны; народы, соседние Риму, решались или погибнуть, или стать римскими гражданами. Не быть римским гражданином значило быть ничем. Для подачи голосов целые города спе-

шили на forum; площадь становилась тесною; толпы взбирались на колонны храмов, на крыши окружных зданий. Где дано было слову человеческому больше силы, где больше могло оно дать человеку, как не на этом форуме? Начал здесь жить Рим — и умер здесь. Никогда не был он так могуч, как в эпоху гражданских междоусобий своих: в жарких схватках ораторов, в борьбе общественных стихий республика расправляла свои мышцы. Если народу суждена великая миссия в истории человечества, все преграды, встречающиеся ему в его развитии, обращает он только в питание своего могучего организма.

Теперь видите направо восемь колоссальных колонн, поддерживающих остатки карниза, и архитравы^{383}: это был храм Счастья; возле, пониже, стоят три колонны превосходной работы; на куске большого прелестного карниза, уцелевшего на них, можно еще прочесть: «tonante»[126]; это был храм Юпитера Громовержца. Недалеко от них вышла в полувину из земли роскошная арка Септимия Севера^{384}. Там подалее в поле одиноко стоят три колонны; они поддерживают широкий,

величественный карниз самой изящной работы: это остатки здания, в котором принимала республика чужестранных послов. Далее всю правую сторону горизонта заслоняет длинная гора мусора, кирпича и мраморных обломков, заросших густою травой. Это было здание, которого великолепие недоступно нашему воображению, — это был дворец цезарей. Около развалин этих глядят в пустынное поле великолепная, почти вся уцелевшая, но чуждая древнего изящества арка Константина^{385} и нежная тень арки Титовой^{386}. Наконец, обращаясь влево, глаза останавливаются на громадной, полуразрушившейся массе, поднявшейся широкими арками в 5 величайших рядов. Это Колизей... Сурово стоишь ты, памятник величия римского! Но не битвы гладиаторов, не ристалища, не представления занимают в нем меня — нет, здесь защищал Рим свое существование от неслыханного и последнего противника своего: тысячи христиан замучены на широкой арене этого амфитеатра.

Когда мрачный Тиверий^{387}, обладатель мира, смотря из дворца, думал о безграничном

могуществе своей империи, в то время в одной дальней ничтожной провинции его империи совершилось великое таинство, к принятию которого народы приготавлились целые века, с трепетом предчувствуя его пришествие...^{388} Рим получил незаметную, но смертельную рану.

Посмотрите теперь на зачатие мира нового: вы видите ступень, на которую всходит человечество, видите внутреннюю жизнь его. Погрузитесь в нее мыслию или глубоким чувством — и вам ясно будет, как божественный порядок царствует в ней: нет случайности — единая воля, единый животворный луч духа проникают от века все эти тревобления мира, которых смысл лишь по прошествии столетий открывается слабым очам нашим. Видите ли, как по жилам человечества пробирается новая влага, сильнее забилося сердце его: словно проснулось оно от долгого, томительного сна. Теперь посмотрите, как станут состязаться два мира: можно ли было ожидать, чтоб стихии столь противоположные вдруг явились лицом к лицу? Царство наше *там*, говорит одна, таинственно указуя на

небо другой, упоенной своею роскошною природою, разнежившей в ней свою чувствительность... Как забыть свои наслаждения, оторваться от радушной своей матери? Наше царство здесь! — возражает она.

Смотря на это состязание, подумаешь: неужели эти *новые люди* хотят переродить свет? Как разрушить то, что до сих пор составляло сущность и условие жизни, как идеальному миру их заменить очаровательную действительность настоящего! Это мечты энтузиастов: они рассеются, как эти сотни сект, наполнявших Грецию... Но в этих сотнях сект человечество училось понимать и сознавать себя, они служили буквами для великого слова; мысль явилась — слово выговорено... Прости теперь, нежная, светлая религия греков! Человек меняет светлый мир твой на мир таинственный, но великий; он бросает твои роскошные благовония, так сладко нежившие тело; бежит с твоих радостных празднеств, где чувства нежились в упоении; он бросает твой тирс и венки цветов: его венцы сплетены из терния.

Сначала Рим добродушно смотрит на вели-

кое таинство, совершающееся пред очами его. Какого царства хотят они? — спрашивает обладатель мира. Царства духа. Рим не понимает этого и спокойно записывает в своей летописи странное для него явление.

Проходят годы; древо новой жизни возрастает, под таинственную сень его толпами стремятся люди — и наконец с недоумением замечает Рим, что эта странная жажда мира невидимого точит корень его существования, разрушает гражданское устройство его. С удивлением рассматривает он нового противника: Рим не понимает, не знает оружия, которым сражается противник. Помогут ли тут мечи, когда он, слабый, беззащитный, с радостью дает убивать себя и, умирая, говорит о любви и вечной жизни! Взволновался Рим. Борьба кипит — необыкновенная, неслыханная, борьба величайшей силы с величайшею слабостью. Как тяжело прокладывает себе дорогу свет, возрождающий человечество, — тяжело, но он торжествует с каждым днем. Посмотрите же, как судорожно мечется древний мир, как умирает он. Напрасно уливаешь ты амфитеатры свои кровью христиан, напрасно

скликаешь народ рукоплескать гибели их! Народ плещет, а выходит из театра в задумчивости: божественная тайна уже смутно предчувствуется им... Напрасно ты, изнуренный мир, утомясь, наконец, отворяешь противнику врата своего города, напрасно возводишь его на трон своих императоров^{389}; он неумолим: он разрушит тебя и прах твой развеет по земле...

Досадовать ли, дивиться ли, что нельзя здесь найти даже следов множества превосходных памятников древности, видя храмы ее перестроенными для другого назначения, украшенного обломками их древнего великолепия? Конечно, разрушение древнего мира было необходимым условием христианства; а в жаркой битве достанет ли внимания беречь прекрасное кольцо врага или драгоценный пояс его? Впоследствии невежество и время довершили остальное. Но для меня это повсюдное слияние язычества с христианством составляет дивное неописанное очарование Рима. Эта окаменелая вражда двух миров с неодолимою силою овладела умом моим. Уныло-таинственным взором смотрит она

здесь в бесконечное будущее... Необыкновенное чувство объемлет душу, когда стоишь на этом рубеже двух миров, видя труп старого и уже дряхлеющую жизнь нового... Сколько торжественных, возвышающих ощущений проходит по душе, когда бродишь по Риму, по этому звену, которым соединило человечество две великие и только одни нам известные эпохи жизни своей!

Но и независимо от древностей своих Рим имеет свой особенный, глубокий характер, о котором не может дать ни малейшего понятия ни один из городов Европы. В этом отношении, мне кажется, Рим можно сравнить с поэтом или художником, у которого, среди самых простых явлений обыкновенной ежедневности, беспрестанно проблескивает этот неподражаемый взгляд на предметы, эта молниеносность мысли, невольно поражающие нас и заставляющие глубоко чувствовать или задумываться. Так в Риме: идете по узкой, нечистой улице — вдруг пред вами прекрасная площадь с знаменитым памятником; из сумрачного переулка выходишь к роскошнейшему фонтану. И эта беспрестанная

неожиданность, с какою встречаешь здесь произведения искусства, кажется, еще более усиливает впечатление их. В день моего приезда сюда, бродя в сумерки по городу, — как изумился я, когда запачканная, узкая улица вывела меня на площадь и перед собою увидел я мост св. Ангела, по берегам бедного Тибра живописно толпящиеся домики в зелени кипарисов и акаций; влево вырезавшийся на вечернем розовом небе купол Петра и прямо — величественный памятник Адриана^{390}, обращенный в замок св. Ангела. Но изумление мое было иное, когда на другой день из улицы вонючей, наполненной мясными лавками, пекарнями, мастерскими, вышел я к Ватикану. Передо мной была обширная площадь, обнятая колоннадою в четыре ряда: посреди египетский обелиск; по обеим сторонам ее густыми, снопами бьющие фонтаны. Длинные ряды колонн служили словно двумя колоссальными крылами храму, нежно, легко поднимающемуся над ними своим воздушным куполом. Впечатление было для меня тем необыкновеннее, что на площади ранним утром нет никого — тишина увеличива-

ла торжественность впечатления. Вид очаровательный! После я не раз думал: отчего эта площадь так влечет меня к себе? Эти колонны очень обыкновенны, — да и к чему тянутся они? Фонтаны? В Риме есть лучше. Фасад церкви? Не скажу, чтоб очень нравился мне. Нет, очарование состоит в целом: эти разрозненные части, так, по-видимому, обыкновенные, если рассматривать их порознь, соединены между собою воздушною симпатиею, живут только общемою жизнью и, разрозненные, умрут, утратят свое таинственное очарование; глаза, раз устремившиеся на них, не могут оторваться.

Говорить ли вам о величии храма Петра, его куполе, древних мраморах, мозаиках, картинах? Говорить ли вам о великолепных церквах Рима? Слишком бы много заняло времени. Одно замечу только, что, глядя на чувственный характер и роскошные формы их и думая о таинственном значении христианства, о стремлении его совлечь с человека чувственность и поработить себе элементы ее, чувствуешь, что здесь христианство возросло на чуждой ему почве: здесь оно благо-

ухает античностью. Тогда становится понятно, что истинное христианское зодчество должно было явиться только у народов новых и девственных, целомудренно и исключительно принявших в себя символ христианства, — между тем как здесь они слились с чувственными симпатиями древнего, прекрасного мира. Все эти изящные церкви, даже и самый храм Петра, по мне, также напоминают собою духовную религию Христа, как Campo Vaccino^{391} — древний Капитолий.

Скажу несколько слов об окрестностях. Среди широкого, пустынного поля стоит Рим; кругом его безмолвие и пустота: ни птиц, ни стад, ни деревень. Следы римских дорог уцелели еще на местах, где теперь никто не ходит; редко, кое-где увидишь дерево — нежную римскую пинну. Не видно следов плуга на полях. Вдали, по южному горизонту, синют гряды Аппенин. По полю всюду рассыпаны развалины. Высоко тянутся арки древних водопроводов — и, полуразрушенные, инде уцелевшие, поросли мхом и травой. Вечером это пустынное поле облекается торжественным величием и какою-то задумчивою, ме-

ланхолическою красотою. Я часто здесь смотрю захождение солнца. Последние его лучи обливают развалины ярким, огненно-пурпурным светом; поле оживляется какою-то унылою жизнью; далеко кругом тихо и пусто... Вдали вечерние пары сливают вершины гор с небом; закат покрыл отлогости их чудесными лилово-розовыми отливами... В эти минуты поле имеет для меня очарование неизъяснимое...

**ПИСЬМО В. П. БОТКИНА К БРАТУ
НИКОЛАЮ^{392}**

Luz (в Пиренеях). 3 августа <1845 г.>

5 часов утра. Вот — но это вот было прервано приходом guid'a[127], который объявил нам, что пора отправляться в путь. Но я сначала должен объяснить тебе, что я нахожусь теперь в Пиренеях, куда попал вовсе неожиданно. Я ехал в Испанию. До Бордо товарищем мне был Сат<ин>, а до Нанта провожал нас Ог<арев>. В Бордо я уговорился съехаться с Тур<геновым>. Сат<ин> ехал пить воды в Пиренеях (в Бареж), а Тур<генов> осмотреть Пиренеи и походить по ним. Мой путь лежал на Байону. Бордо показался мне прекрасным го-

родом, но, кроме этого, в нем можно есть превосходные устрицы и пить чудесное вино. С глубоким прискорбием расставшись с Бордо — поехали мы в Байону; и я уже готовился идти взять место в дилижансе до Бургоса (где интересуется меня собор), как Тур<генев> предложил мне походить с ним по Пиренеям. Но все, что было у меня денег, я перевел в Мадрид, оставя у себя лишь самое необходимое на дорогу до Мадрита. Тур<генев> предложил мне денег — и я не хотел упустить случай взглянуть на Пиренеи. Теперь пишу эти строки, мой милый Николай, из Luz, маленького местечка, лежащего в глубине Пиреней. Сегодня с 5 часов утра до 6 вечера я ездил по горам и доезжал почти до испанской границы. Не могу тебе высказать, с каким новым живым удовольствием я увидел снова горы. Но Пиренеи имеют еще ту особенность, что их массы покрыты чудесною зеленью; редко встретишь на них унылую ель или сосну — везде тополь, дуб, каштан; по отлогостям зелень — самого яркого изумрудного цвета, какой я до сих пор нигде не встречал. По Пиренеям можно путешествовать верхом (кроме трех-четырех са-

мых возвышенных пунктов). Здешные горные лошади — превосходны: тоненькие, грациозные ножки, поступь удивительно легкая, и цепки, как козы. Надобно видеть, с какою умною осторожностью ставят они ноги на камни. Сегодня видел я места очаровательные. Тропинка вьется по скатам гор; на каждом шагу водопады, горные ручьи; огромнейшие стены утесов, в глубине которых с ревом и пеною бежит горная река. Широкий, густой плющ вьется по лилово-красным массам утесов. В глубине гор — страшный шум и рев. Долин нет в глубине Пиреней, как наприм«ер» в Швейцарии, где встречаешь только ущелия. Пиренеи ниже Альп, — но они грациознее. В них нет альпийского сурового величия, — но в них чувствуется нежность юга и его роскошной растительности. В горах встретил я нынче двух испанских контрабандистов, возвращавшихся в Испанию (это было в двух часах от испанс«кой» границы). Я просил было у них сигар, они обещали принести в воскресенье (нынче среда); но так как я не думаю остаться здесь до воскресенья, то должен был отказаться. Все, которые живут в горах, име-

ют единственный промысл — контрабанду, без этого нечем было бы кормиться. Проводник наш, брат которого занимается контрабандою (о чем он объявил нам с некоторою гордостью), говорил, что таможенные солдаты смотрят на это сквозь пальцы, зная, что жителям гор нечем было бы без этого добыть себе пропитание. А с другой стороны, прибавил он, с контрабандистами невыгодно заводить истории: это народ решительный и отважный, которого пули редко пролетают мимо. Один из контрабандистов, встреченных нами, одет был очень живописно: на нем была голубая плисовая куртка и такие же короткие штаны, на икрах кожаные гетры, на голове шляпа с большими полями и вышитая тесьмою шелковою... Но, милый мой Николай, хоть только еще 9 часов вечера, а глаза у меня слипаются и голова моя горит. Я устал и словно разбит. Сегодня встал я в 4 часа — и с 5 «утра» до 6 вечера не слезал с лошади. Завтра взбираюсь на *pic du midi*[128] — гору в 9 тысяч футов, с которой открывается вся панорама Пиренеи. До завтра, друг мой, глаза слипаются.

Да, не могу не сказать тебе, как давеча утром любовался я на облака, которые ночевали на скатах гор; утром, розовые, потихоньку вставали, поднимались и уходили. Горы, горы, Николай, я так счастлив, смотря на них. Addio[129] — или нет, я теперь стараюсь все говорить по-испански, и потому adiós[130].

10 августа.

Я остановился на том, что собирался на pic du midi и наконец взобрался на него. Это было для меня еще не испытанным ощущением: ведь я никогда не бывал на высоких горах. Восток на него хотя и не опасен, но не без ощущений. Основание его составляют несколько гор, над которыми высоко поднимается его вершина. С половины пути дорожка суживается в тропинку и идет по отлогостям гор, над крутизнами и утесами, так что у меня мороз пробегал по телу. На одном из таких мест в ту минуту, когда я, обернувшись на седле в сторону, засмотрелся на открывшееся вдруг из-за горы передо мною море облаков, вдруг чувствую, что валюсь с лошади. Я не нашелся, струсил, вздумал было схватиться за утес возле меня — но утес был гладок; словом, лошадь

моя расседлалась и я свалился, к счастью, на правую сторону. Дело обошлось только маленьким ушибом руки и ноги, но ощущение было довольно сильное. Это еще больше настроило меня к принятию горных ощущений. С вершины открывался вид неизмеримый. Но увы — хоть снизу все пространство воздуха и казалось чистым, с вершины вся даль покрыта была облаками. Это было море, даль которого терялась от глаз, но море белое, вспенившееся и словно застывшее. Из него торчали, словно утесы, вершины гор, а над всем этим самое чистое голубое небо, такое чистое, что в нем, как говорит Байрон, можно бы было видеть бога. Проводник наш заметил, что в долине должен быть дождь; и действительно, присмотревшись, заметно стало, что это море клубилось и свивалось.

Витория, 11 августа 1845.

Но за этим письмом я еще не успел сказать тебе, что я уже в Испании и эти строки пишу в *rosad'e*[131] Витории, где ночью. Уже в По и в Байоне предчувствуется Испания, беарнское ^{393} наречие имеет в себе много испанского, а в Байоне все говорят по-баскски и носят бере-

ты. Я выехал из Байоны в 8½ утра, в 12 дилижанс переехал границу и мы завтракали в пограничном испанском городе Yrun. Здесь была последняя станция на французских лошадях, в Yrun'е дилижанс получил испанскую упряжь — 10 прекрасных крепких мулов, глядя на которых я вспомнил Клыкова и за него любовался на них. Я особенное внимание обратил на завтрак (мне ужасно хотелось есть); он был совершенно испанский, начиная с оливкового масла, которое воняло, как обыкновенное, называемое у нас деревянным; но один из испанцев, ехавших в дилижансе, очень обрадовался ему, говоря, что он не мог есть во Франции масла, которое ничем не пахнет. Испанские дилижансы по ночам не ездят, а, как у итальянских ветуринов, у них назначены места для ночлегов. День оканчивают они в 4 и в 5 часов, выезжая на другой день рано утром. Этот образ езды ведется здесь из осторожности, но для меня он имел особенную выгоду: при такой езде имеешь время видеть главные города. Дорога, которой сегодня проезжал дилижанс, была театром недавней войны карлистов и христино-

сов: места гористые, самые удобные для такого рода войн. Селений мало; изредка по горам виднеются одинокие дома. Я не могу назвать их домишками; хоть они ветхие, полуразвалившиеся, скверные, но очень большие. Испанец, кажется, не любит съезживаться и живет сально и бедно, — но широко. Но как это все заброшено! Как везде еще видны следы войны — 5 лет нисколько не загладили их. В иных местах есть дома побольше, наскоро обращенные в маленькие крепости, — на них следы ядр и пуль; другие до сих пор остаются с разрушенными стенами и крышами. Сегодня ночуем в Витории. Я с 4 до 7 часов бродил по городу и видел только одно для меня интересное. В конце одной улицы увидел я красивую церковь: я вошел в нее и нашел, что это был сарай для складки хлеба. Дело в том, что это был монастырь. Когда назад тому лет 6 монастыри в Испании были уничтожены и монахи из них выгнаны, монастыри вместе с их владениями поступили в государственное владение и были проданы с аукциона...^{394}

Н. Г. Чернышевский
«ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ»

В. П. БОТКИНА
СПб. 1857

После произведений поэзии путешествия везде составляют самую популярную часть литературы. По числу изданий и по отчетам публичных библиотек видно, что и в Англии, и в Германии, и во Франции рассказы о путевых впечатлениях и приключениях, о природе чужих земель и нравах народов, населяющих эти земли, читаются с большею жадностью, нежели какие-то ни было другие книги серьезного содержания. Даже исследования о политических вопросах, даже исторические сочинения не могут отнять у путешествий первенства в этом отношении. В самом деле, путешествие, соединяя в себе элементы истории, статистики, государственных наук, естествоведения и приближаясь к так называемой легкой литературе своею формою, как рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного человека, в столкновениях его с другими людьми — людьми, жизнь которых тем любопытнее для нас, что они живут в условиях иной обстановки, нежели публика, для которой предназначается кни-

га, — путешествие совмещает в самой легкой форме самое богатое и заманчивое содержание. Путешествие — это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоведение. Каждому читателю дает оно все, что только хочет найти он.

Как везде, и у нас путешествия исстари были любимым чтением. Не заходя в старину слишком далеко, вспомним только, что новейшая русская литература началась «Письмами русского путешественника», которые читались наверное не меньше, нежели «Бедная Лиза» и «Марфа-Посадница»^{395}. «Всемирный путешественник аббата Делапорта»^{396}, несмотря на свою страшную массивность, принадлежал к небольшому числу наиболее распространенных в публике книг. Во времена Екатерины и Александра I, когда, сравнительно, переводилось у нас очень много книг, путешествий переводимо было едва ли не больше, нежели каких-нибудь других книг серьезного содержания.

Тем прискорбнее, что когда стала у нас сильнее развиваться оригинальная литерату-

ра, число путешествий, особенно путешествий по Западной Европе, не было так велико, как можно было бы желать и ожидать. Но все-таки до последнего десятилетия количество этих книг было довольно значительно по сравнению с другими отраслями серьезной литературы. Довольно много выходило даже таких путешествий, которые отличались замечательными достоинствами. Так, например, в десять лет (1836—1846), предшествовавшие последнему десятилетию, из одних воспоминаний наших путешественников по различным странам Западной Европы можно назвать «Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии» Симонова; «Очерки Южной Франции и Ниццы» Жуковой; «Воспоминания о Сицилии» г. Черткова; «Путешествие в Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж» г. Всеволожского; «Париж, путевые заметки» г. В. Строева; «Год в чужих краях» г. Погодина; «Заметки за границую» г. Ф. П. Л.; «Прогулка русского в Помпеи» г. Левшина; «Четыре месяца в Черногории» г. Ковалевского. Не считаем различных «Путевых писем»

и т. п. г. Греча^{397}.

Конечно, итог этот не велик; можно было бы даже подивиться его скудости — в десять лет девять сочинений о всех различных странах Западной Европы! Но когда мы сравним с этим количеством число книг того же рода, вышедших в следующее десятилетие, мы должны будем назвать предыдущий период очень обильным. В 1847 году вышло «Путешествие в Черногорию» г. Попова^{398}. Затем до настоящего времени не являлось ни одной хорошей книги, кроме «Италии» г. В. Яковлева^{399}.

Таким образом, мы не можем хвалить «Писем об Испании» г. Боткина по сравнению с другими подобными книгами в современной нашей литературе — таких книг нет, и сравнивать «Письма об Испании» у нас решительно не с чем[132].

Но тем большую цену приобретает от этого книга г. Боткина, которая по своим достоинствам заняла бы почетное место и в самой богатой литературе. Хотя в предисловии автор откровенно говорит, что он счел излишним ссылаться на газетные статьи, путешествия и

исторические сочинения, которые служили ему пособием при составлении этих писем, и что многим из прочитанного воспользовался он, имея единственно в виду уяснения предмета для читателей, но тем не менее читатели не могут не быть благодарны автору за то, что он так умно воспользовался прочитанным и умел представить такую живую и полную картину страны, им описываемой. «Письма об Испании» помещались первоначально в «Современнике» (1847 и 1848 годов), и потому неуместно было бы нам распространяться в похвалах им, да это и не нужно: все, читавшие наш журнал в то время, как он украшался письмами г. Боткина, слишком хорошо помнят его блистательные очерки Испании. Известность книги, о которой мы должны говорить, уже составлена, и нам остается только сделать обзор содержания этих «Писем» как одного цельного сочинения, проникнутого строгим единством воззрения

{400}

Никто не знал происхождения первоначальных обитателей Испании, но надобно предположить, что они пришли туда с севе-

ро-востока, через Пиренеи. Финикийцы и греки находились с ними в сношениях и основали по морскому берегу несколько городов, преимущественно для торговых целей. Затем карфагеняне короткое время владели Испанией и наконец римляне, под власть которых находилась она почти пятьсот лет. В начале V столетия после Р. Х. вторглись туда германские племена — преимущественно вестготы, владычество которых пало пред храбростью и религиозным энтузиазмом арабов. Только на северо-восточной оконечности Испании сохранился небольшой остаток христианского владычества.

В продолжение 780 лет (от 712 до 1492) была Испания частью христианскою, частью магометанскою страной. Разъединение, внутренние междоусобия, честолюбие дворянства и ошибочная политика — все это замедляло окончательное решение борьбы между двумя племенами. Только женитьба Фердинанда Арагонского на Изабелле Кастильской (1469), соединив до того времени отдельные два небольшие государства в одну цельную Испанию, дала возможность уничтожить послед-

ние остатки арабского владычества. Затем открытие Америки и усмирение самостоятельного и неукротимого феодального дворянства, казалось, надолго положило прочную основу государственному могуществу Испании. Вскоре затем, при Карле V, городские общины, бывшие препоною королевской власти, потеряли свою силу после известного восстания, окончившегося поражением их в битве «при» Вильяларе 23 апреля 1521 года.

Карл V, первый король всей Испании, возвел эту страну на вершину могущества; но вместе с тем обозначаются уже и в то время первоначальные причины ее последующего упадка и постоянно возрастают в страшной постепенности. Мы припомним здесь только самые главные из них, чтоб сделать понятными позднейшие события ее истории.

Благотворные основания испанского государственного права не только не имели никакого дальнейшего развития, но, из преувеличенного опасения всякого противодействия, королевская власть уничтожила все гарантии прежнего общественного устройства. Создания кортесов были совсем прекращены, и они

утратили все свое прежнее значение. Вместе с этим исчезновением государственной жизни открытие Америки бросило нацию в совершенно другое направление. Какого-то особого рода лихорадочная деятельность охватила Испанию. Много героических подвигов вызвала она, но вместе с тем и много самых ужасных варварских дел. Непостижимая жажда обогащения повела за собою многочисленные переселения в Америку, значительно ослабившие Испанию, чему также способствовали многие войны, предпринятые без достаточных причин, неискусно веденные и несчастливо окончившиеся.

Нигде закон христианской любви и милосердия не получил такого странного и сурового извращения, как в Испании, и нигде не служил он предлогом к таким зверским жестокостям и преследованиям. По своей фанатической основе и тиранским формам инквизиция имела самое вредоносное влияние и на ум и на жизнь целого народа. Она и ее ослепленные ревнители способствовали к совершенно безумному, несправедливому и жестокому изгнанию мавров из Испании. Через это

в сильнейшей степени уменьшились и народонаселение, и образование, и деятельность, а бедность увеличилась до такой степени, что даже и до сих пор видны страшные следы ее.

Все это совпало вместе с другим, беспримерным в истории несчастьем. Ни один из последующих королей Испании, начиная с мрачного Филиппа I, не был сколько-нибудь мудрым, благодетельным властелином. Напротив, их духовная посредственность и ничтожность, можно сказать, увеличивались с каждым поколением; и, кроме того, не было ни одного великого министра, который бы (как, например, Ришелье во Франции) мог заменить их неспособность. Несколько лучше, да и то в ничтожной степени, были короли из дома Бурбонов; при Карле III (от 1739 до 1788) даже были попытки некоторого возрождения. Но, несмотря на трехвековое, жалкое, сонное, постоянно угнетавшее управление, в народе сохранились еще и жизненная сила и мужество к настоящему обновлению.

Между тем внутри самого государства держались взаимно враждебные провинциальные разделения: Бискайские провинции по

происхождению своему, языку, нравам и учреждениям отделялись от прочей Испании; Астурия и Галиция напоминали собою средневековое состояние; арагонец гордился своими прежними политическими правами и ни в чем не хотел равняться с кастильянцем; Каталония пробовала несколько раз приобрести самостоятельность; в Валенсии, Гранаде, Кордове и вообще в Андалузии живы были следы восточного влияния. Всюду господствовала любовь не только к старинным, давностию освященным учреждениям, но вместе с нею и к сохранению всех укоренившихся вредных обычаев; на всякое нововведение народ смотрел с недоверчивостию и враждебностию. И, однако ж, в продолжение этих темных времен своей истории испанцы сохранили свое врожденное верное чувство всего великого и благородного. Как ни трудно иностранцам сохранять беспристрастие при обсуждении такого совершенно особенного народного характера, но тем не менее почти все они согласны в том, что испанец полон преданности и верности в своем расположении, горяч и страстен в ненависти, терпелив, честен, на-

дежен, умерен, одарен самым живым воображением и самым щекотливым чувством чести.

Все эти различные явления исторической жизни испанского народа^{401} отражаются в «Письмах» г. Боткина и придают особенную ясность его взгляду на характер и нравы народа, особенный интерес его очеркам.

До г. Боткина у нас так мало было писано об Испании, что большая часть русских читателей воображали эту страну каким-то громадным цветником, расширяя на весь полуостров тот благоухающий сад, который цвел под балконом Лауры:

*Приди, открой балкон. Как небо
тихо!*

*Недвижим теплый воздух; ночь
лимоном*

И лавром пахнет...

(«Каменный гость»)

На самом деле Испания вовсе не такова. Ее природа скорее напоминает Африку, нежели Европу: степь, выжженная солнцем, угрюмая, грозная степь, среди которой рассеяны дивно

раскошные оазисы, поражающие не столько своею грациозностью, сколько величием. Только очень немногие местности, как Гранада, вполне грациозны; общий характер страны — величие, часто отзывающееся печально-страстным характером. Г-н Боткин мастер изображать природу, потому что умеет сочувствовать ей, любить ее^{402}.

Таково было впечатление, произведенное на него равнинами Кастилии. Проехав с севера на юг почти всю Испанию, из Севильи — этого города, который мы привыкли было вообразить потонувшим среди бесконечных лимонных и апельсиновых рощ, он пишет...^{403}

Одно только из наших обыкновенных мнений о характере испанской природы вполне подтверждается г. Боткиным — мнение о дивной чистоте ее атмосферы, об ослепительности солнечного блеска, почти непрерывно озаряющего горы и долины Пиренейского полуострова. Там, где горизонт стеснен громадными скалистыми горами, — а большая часть Испании прорезывается горными хребтами, — тропическое солнце придает новую чудную энергию пейзажу яркими тонами, в

которые одеваются горы под его блеском^{404}.

Как в Африке, в Испании — где нет обильной воды, там величественная пустыня, где есть вода — там чудная сила растительности; где почва орошается ручьями — только там действительно вся местность превращается в исполинский цветник. Немного таких мест — зато они очаровательны, и самое очаровательное из них Гранада^{405}.

Нетрудно решить, от самых ли условий климата и местности зависит унылый и пустынный характер природы в нынешней Испании, или виноват в том народ, населяющий эту страну. Земля, еще не заселенная людьми, может иметь цветущий вид: она может быть покрыта девственными лесами, роскошными лугами и пажитями. Но как скоро человек овладевает странюю, это первобытное состояние природы уничтожается его потребностями — он сжигает и вырубает леса, и как скоро население становится многочисленным, самые поля лишаются той чистой растительности, которою очаровывали прежде, почва теряет влажность с истреблением лесов и обнажается или зарастает пе-

чальными и уродливыми травами, вроде полыни, репейника, бурьяна. Только неутомимое трудолюбие человека может сообщить природе новую, высшую красоту взамен дикой, первобытной красоты, неудержимо исчезающей под его ногами. Человек должен ухаживать за лесами, стеречь их, чтобы сохранить от истребления часть их, нужную для его материальных потребностей и эстетического наслаждения, должен заменить садами другую часть; он должен одеть землю нивами и искусственными лугами взамен не выносящих его прикосновения первобытных трав. Где является человек, там природа должна воссоздаваться трудом человека. Народ вносит запустение и одичалость в свою страну, если не вносит в нее культуры. И если вы видите печальной, унылой страну, имеющую оседлое население, не вините в том природу страны — нет, знайте, что народ, ее населяющий, не хочет или не может трудиться. Природа, конечно, гораздо беднее залогами красоты в Голландии, Гольштинии, нежели в какой бы то ни было другой европейской стране, — и, однако же, Голландия и Гольштиния

радуют глаз своими цветущими полями и веселыми рощами. Есть страны, в которых не может жить оседлое население, — за их красоту не отвечает человек. Но где есть возможность провести воду, где живут земледельцы, там унылость страны свидетельствует только, что народ не может или не хочет жить в своей стране так, как должен жить счастливый народ, не может или не хочет трудиться.

Мы сказали: «Не может или не хочет» — второе из этих слов совершенно излишнее. Не хочет трудиться только тот, кто не имеет возможности трудиться в благоприятных для труда условиях. Не знаем, можно ли считать лень естественным пороком даже у немногих отдельных лиц: обыкновенно, стоит только всмотреться ближе в историю ленивца, и мы убедимся, что не природа создала его ленивцем, а обстоятельства отняли у него охоту работать. Но если поверхностные наблюдатели могут еще думать, что иные отдельные люди от природы расположены к лени, то совершенно нелепо и ненатурально воображать, чтоб целый народ мог иметь по природе особенное влечение к этому пороку.

Нет, человек по природе своей находит наслаждение в труде, имеет естественную потребность работы, томится тоскою, если не работает, если бездействие не есть только отдых после работы, отдых, вызывающий на новую работу с свежими силами. Когда вы видите целое население целого округа, обезображенное кретинизмом или колтуном, вы не говорите, что по своей натуре оно должно быть уродливо, — вы приписываете его физическую болезненность неблагоприятному влиянию местных физических условий его жизни. Точно так же, когда вы видите целое племя, предавшееся тому или другому пороку, не говорите, что в натуре самого племени лежит этот порок: он развился наперекор натуре, вследствие неблагоприятных обстоятельств. Переселенные в чистую атмосферу, кретины становятся здоровы, во втором или третьем поколении становятся и красивы не менее других счастливых племен. Точно так же ленивый, пьяный, буйный ирландец, переселившись в Северную Америку, где труд его вознаграждается, становится деятельным и трезвым человеком с благородными манера-

ми.

Есть избитая фраза: «Южные народы ленивы; знойный климат расслабляет их энергию» — это избитая фраза, и больше ничего. Пороки и добродетели не принадлежат исключительно тому или другому земному поясу; между бурятами или самоедами сластолюбие не менее сильно, нежели между жителями Отаити, и страсть к наркотическим средствам везде одинаково сильна; мало разницы в том, опьяняется ли человек грибом-мухомором, или пенником, или опиумом, или настоем того корня, которым угощали Кука жители Сандвичевых островов. Подобно разврату, подобно страсти к затемнению рассудка наркотическими средствами, и леньность развивается не вследствие климатического влияния, а вследствие исторических отношений и, подобно тем порокам, исчезает с переменою обстоятельств народной жизни. Во времена Цезаря и Тацита германцы, британцы, галлы были отчаяннейшими лентяями, ничуть не хуже нынешних киргизов или трухменцев⁽⁴⁰⁶⁾. Римляне, конечно, не ленились пахать в те времена, когда Регул сам обрабатывал свое

маленькое поле. Все привычки народа зависят от обстоятельств его жизни.

Теперь испанцы ленивы. Но г. Боткин замечает, что трудно найти в мире такого хорошего работника, как испанец, когда испанец, наконец, принимается за работу. Почему же он так редко считает нужным приниматься за работу? — Ему нужно очень немного, — говорит г. Боткин: потребности испанца очень ограничены и очень легко удовлетворяются в его теплом климате, при чрезвычайном плодородии земли. Это совершенно справедливо. Но есть и другая причина, которую также указывает г. Боткин: праздность считается в Испании гораздо почетнейшим препровождением жизни, нежели труд, так что бедный кавальеро скорее пойдет в лакеи, нежели займется каким-нибудь ремеслом; будучи лакеем, он сохраняет свое почетное право — ровно ничего не делать. В Испании действительно можно часто встретить слугу, который гордится древностью и высоким благородством своей фамилии и гордится основательно, потому что имеет в руках генеалогические пергамены. Само собою разумеется, каково слу-

жат эти лакеи: вот случай, свидетельствующий о том, как успешно они отстаивают свою привилегию — ничего не делать^{407}.

Не должно удивляться этому понятию «благороднее быть ничего не делающим лакеем, нежели трудящимся ремесленником или купцом»; совершенно подобные явления мы встречаем и в других странах: например, в наших западных губерниях очень многие шляхтичи служат теперь лакеями, как прежде, во времена польской независимости, служили паразитами у магнатов, с радостью подвергаясь всяким проделкам со стороны своих патронов, лишь бы только есть даровой хлеб. И если мы вспомним историю, мы увидим, что эти странные понятия — естественное следствие исторических отношений народа. Семьсот лет испанцы вели непрерывную борьбу с маврами; все энергические люди целой нации посвящали свои силы исключительно войне, снискивали себе и средства для жизни и почетное имя в обществе мечом, а не мирными промыслами, которые доставались в удел только людям, не имевшим смелости духа, и потому естественно должны бы-

ли не пользоваться особенным уважением. Войны прекратились, но старое презрение к робкому труду осталось в умах.

Есть и третья причина этого явления, которая также не ускользнула от внимания г. Боткина. Эта причина, быть может, важнейшая из всех, — долговременное отсутствие хорошего управления в стране. Сами испанцы, по словам г. Боткина, говорят о своем управлении таким образом. Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей предстал пред богом, который за святость его земной жизни обещал угоднику исполнить все, чего ни попросит он. «Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании плодотворное солнце, изобилие во всем. — Будет, — был ответ. — Храбрость и мужество народу, — продолжал Сан-Яго, — славу его оружию. — Будет, — был ответ. — Хорошее и мудрое правительство... — Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию»

{408}

Трудолюбивые привычки могут развиваться или сохраниться в народе только при хоро-

шем управлении, которое обеспечивает каждому неприкосновенность собственности, приобретаемой его трудом, и ограждает его труд от препятствий и обременении, каким он подвергается, как скоро является произвол с беспорядками и злоупотреблениями, необходимыми своими спутниками. Ирландец в своей родине старается работать как можно меньше, потому что все выработанное должен будет отдать за наем земли; испанец также не видит или, по крайней мере до недавнего времени, не видел пользы для себя в трудолюбии, потому что не был обеспечен от грабительств.

Не будем много говорить о страшной неурядице, господствовавшей в Испании со времен Филиппа II; эта плачевная история, продолжавшаяся около трехсот лет, вся передается одним словом: произвол, безграничный и вместе бессильный произвол тяготел над несчастною странюю во все течение этого долгого периода. Мы много начитались в газетах о беспорядках и злоупотреблениях, о грабежах и разорениях, которым подвергалась Испания с того времени, как появились

имена христиносов и карлистов, с их бесконечными стычками, контрибуциями, расстреливаниями и т. д., и т. д., — вся эта неурядица, как ни страшна и ни нелепа она, однако же далеко не так произвольна, бестолкова и гибельна, как порядок или, вернее сказать, беспорядок дел, угнетавший Испанию до той эпохи. Как ни велики бедствия, которыми мучалась эта страна в последние десятилетия, — прежде было в ней нечто еще худшее, еще более тяжкое, которое исключительно виновно и во всех страданиях настоящего^{409}. При таком положении дел не могла сохраниться в нации привычка трудиться. Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?

«Но, могут сказать, если история Испании объясняет развитие привычки к бездействию, к лежанию на боку, то все-таки это объяснение нимало не оправдывает испанцев: разве не сами они довели себя до такого положения, в котором невозможно было им работать?». — И на это опять надобно сказать: все зависит от обстоятельств — они дают направление жизни целого народа, как и жизни

отдельного человека; они столь же часто губят нас посредством наших так называемых добрых качеств, как и посредством наших недостатков, — и, наоборот, столь же часто обращают нам в пользу наши недостатки, как и наши добрые качества. Не судите о нравственных или умственных качествах человека по его счастью или несчастью в жизни —

*Сколько добрых жизнь поблекла,
Сколько низких рок щадит!
Нет великого Патрокла —
Жив презрительный Терсит...^{410}*

И уцелел Терсит именно потому, что был подл и труслив, — умер Патрокл именно потому, что был благороден и силен душою. Несправедливо вдаваться в крайность и, для противоречия бездушному правилу, судить о достоинстве человека или народа по его участи, говорить, что все прекрасное обречено судьбою на гибель, — нет, прогресс и развитие не пустые слова. Но власть обстоятельств всеильна, и надобно ближе вникать в обстоятельства дела, чтобы судить о том, действительно ли слаб или силен, хорош или дурен страдающий или торжествующий.

Обстоятельства неблагоприятно расположились для Испании; они расположились так, что именно лучшие качества испанского народа обратились во вред ему. Укажем хотя один пример — инквизицию, которая из всех зол, губивших Испанию, была пагубнейшим. Конечно, мы не чувствуем ни малейшего влечения защищать инквизицию или хвалить испанский народ за то, что он имел у себя это учреждение. Но, однако, в чем же состоит сущность дела? В том, что испанцы по своему глубокому и сильному характеру серьезно, искренно приняли тот идеал, который был идеалом всех западных европейских народов в средние века. Другие народы, можно сказать, только шутили, забавлялись между дел этим идеалом, не имея ни столько пламенной твердости в характере, ни столько преданности убеждению, чтобы серьезно устремить свои силы на осуществление этого идеала. Испанцы принялись за это дело серьезно, — «и погубили себя», — скажете вы. Так, погубили себя, но осудите ли вы человека, который по ошибке отравил себя и своих друзей ядом, считая этот яд жизненным бальзамом, осуди-

те ли вы его, если он пожертвовал своими сокровищами для приобретения этого мнимого жизненного бальзама?

Ослепление у испанцев было общее со всеми западными народами средних веков — за это нельзя их винить. Они одни действовали совершенно искренно и серьезно — в этом они были выше других. Они погубили себя, но погубили именно потому, что имели сильный и возвышенный характер.

Мы сказали об инквизиции, страшнейшим из ложных принципов, погубивших Испанию. Вспомните в историю средних веков, XVI и XVII столетий; вы увидите, что точно так же и все остальные ложные принципы, содействовавшие гибели Испании, были общи испанцам с другими тогдашними народами Западной Европы. Заблуждение в убеждениях было одинаково повсюду, но убеждение было у испанцев искреннее, серьезнее, нежели у какого-нибудь другого народа; этим они погубили себя; но за искренность и серьезность упрекать нельзя, и те же самые качества характера, которые обращаются во вред, когда служат к достижению ложных целей,

приносят благо, когда посвящаются на осуществление истинных целей.

Испания доведена была обстоятельствами до состояния самого жалкого; она очень долго не могла избавиться и теперь только начинает избавляться от бедствий, угнетавших ее, — и процесс внутреннего брожения, которым совершается возрождение этого народа, так тяжел и продолжителен, задерживается такими частыми и прискорбными рецидивами, что естественно родится мысль: приведет ли все это брожение к чему-нибудь лучшему, или Испании не суждено оправиться от своего долговременного унижения и страдания? Г-н Боткин не колеблется утверждать, что Испанию ожидает лучшая будущность, — и, несмотря на всю видимую беспорядочность в истории последних ее десятилетий, нельзя, действительно, сомневаться в том, что многое стало ныне в этой стране лучше, нежели было за тридцать лет, что успехи развития, еще слишком незначительные сравнительно с тем, что надлежит совершить, уже, однако, не могут назваться ничтожными, и что каково бы ни было настоящее состояние Испании,

но эпоха возрождения уже началась для нее. В этом убеждает постепенное распространение просвещения, заметное усиление умственной деятельности в нации, столь долго дремавшей, — всего более убеждают в возможности возрождения качества, сохраненные испанским народом. Он даровит, благороден и тверд духом, и, если он выдержал трехвековое бедствие, не утратив душевных сил, то, конечно, способен возродиться, когда влияние неблагоприятных обстоятельств на его судьбу ослабеет.

Испания была очень надолго задержана в своем развитии — во многих отношениях даже подалась назад под гнетом обстоятельств сравнительно с прежней степенью своего развития. Но эти тяжелые обстоятельства не могли, однако, подавить врожденных дарований испанского народа^{411}.

Не только живость, здравость ума сохранилась в испанце: вековое унижение и угнетение не могло подавить в нем и удивительного его благородства, доходящего до самой утонченной деликатности. Единственный верный признак невозвратного падения на-

рода — то, когда народ мелок и низок душою, продажен и подл; единственный прочный залог народной будущности — сохранение в народе благородных чувств. В этом отношении испанцы могут гордиться своими нравами⁽⁴¹²⁾.

Разделение народа на враждебные касты бывает одним из сильнейших препятствий улучшению его будущности — в Испании нет этого пагубного разделения, нет непримиримой вражды между сословиями, из которых каждое было бы готово пожертвовать самыми драгоценными историческими приобретениями, лишь бы только нанести вред другому сословию, в Испании вся нация чувствует себя одним целым. Эта особенность так необычайна среди народов Западной Европы, что заслуживает величайшего внимания, и уже одна, сама по себе, может считаться ручательством за счастливую будущность страны⁽⁴¹³⁾.

Наслышавшись о серенадах, шелковых лестницах и особенно наслушавшись «Дон-Жуана», мы часто воображаем себе Испанию странюю распущенных нравов, цинизма, разврата — на самом деле это вовсе не так. Свобода нравов действительно велика в Испа-

нии, страсти действительно пылки, но там не знают холодного, продажного разврата, который один точит нравственные силы народа. Теперь мы настолько знаем Восток, что не верим в нравственность, охраняемую гаремами и евнухами. Сравнивая различные цивилизованные нации, мы видим, что именно те страны, где наиболее допускается свобода нравов, отличаются наибольшею чистотою нравственности, — в пример довольно указать на Североамериканские Штаты. После этого мы легко поверим, что Испания есть одна из тех стран, где отношения между мужчинами и женщинами наиболее чисты. Любовь и поэзия неразлучны в Испании, а где поэзия, там не может быть разврата; и Севилья, знаменитая своими серенадами, в нравственном отношении стоит, без всякого сомнения, выше, нежели большие города чопорных и лицемерных северных стран. Описание севильских нравов — одно из лучших мест в книге г. Боткина^{414}.

Испанский народ сохранил в себе плодотворные залого быстрых успехов на пути развития: живость ума, благородство характера,

свежесть и энергию чувства. Между народами Западной Европы трудно указать такой, который стоял бы выше его по всем этим качествам. Напротив, над большею частью цивилизованных наций испанский народ имеет бесспорное преимущество в одном чрезвычайно важном отношении: испанские сословия не разделены между собою ни закоренелою ненавистью, ни существенною противоположностью интересов; они не составляют каст, враждебных одна другой, как то видим во многих других западных европейских землях; напротив, в Испании все сословия могут дружно стремиться к одной цели. Одно только существенное препятствие мешает теперь блистательному возрождению Испании, но это препятствие так губительно, что до сих пор совершенно останавливало всякий прогресс: выше мы называли это препятствие ленью, привычкою к бездействию и говорили об исторических причинах, породивших эту пагубную привычку к бездействию. Теперь надобно нам ближе определить ее характер и указать обстоятельства, которыми до сих пор поддерживается она.

Бездействие может происходить от бессилия или от беззаботности. Не знаем, есть ли на самом деле племена бессильные, как часто говорят. Но ни в каком случае нельзя назвать бессильным испанского племени. Его бездействие — следствие беззаботности. Вот как, например, смотрит испанец на государственные дела своего отечества^{415}.

Видите ли, ему нет охоты позаботиться об этом, он махнул рукою на все, воображая, что эти дела — не его дела: «Пусть себе идут, как хотят, — лично мне ни тепло, ни холодно не будет от общего порядка дел».

Надобно ли говорить, что такое равнодушие возможно только при совершенном невежестве? Невежество — вот коренная язва Испании.

Привычка довольствоваться в жизни слишком малым, обходиться без всяких удобств — вот другой источник этой беззаботности. До последнего времени испанец не чувствовал надобности ни в хорошей мебелировке дома, ни в хороших товарах, ни в удобных путях сообщения; комнаты самых богатых людей были до последнего времени меб-

лированы самым скудным образом, платье шилось из плохих материалов, пища соответствовала мебелировке и качеству материй, и когда испанец пускался в путь, он не чувствовал беспокойства, медленности и дороговизны езды верхом на мулах по убийственно дурным дорогам — «что-нибудь» и «как-нибудь» совершенно удовлетворяло его, — лучшего ничего и не воображал он себе.

Наш век неблагоприятен таким невзыскательным понятиям о житейских удобствах, неблагоприятен и для невежества. Прежде люди могли успокаиваться на том, чтобы жить как-нибудь, лишь бы не умереть голодною и холодною смертью. Теперь в душе каждого неизгладимо напечатлелась мысль о благосостоянии, по крайней мере в житейском быту. Испанцы уже чувствуют необходимость в железных дорогах, в дешевых и хороших товарах, в развитии торговли, промышленности. Этого чувства уже довольно — оно приведет за собою все остальное; кто начал думать о благосостоянии, тот скоро поймет, что ни одно из условий благосостояния не может существовать без разумного порядка дел,

которым бы обеспечивались приобретения каждого отдельного лица; скоро поймет, что возможность благосостояния для отдельного лица обуславливается общим хорошим порядком дел. А чтобы водворить такой порядок дел, нужно знание, и потому стремление к материальному довольству всегда влечет за собою пробуждение жажды знаний, оживление умственной деятельности в нации. Невеждою может оставаться только тот, кто, находясь в жалком положении относительно своего житейского быта, не чувствует неудовлетворительности этого жалкого положения. Потребность улучшить свой быт необходимо влечет за собою потребность умственного труда.

Испания вошла уже в такую тесную связь с остальной Европою, что не может оградить себя от сочувствия стремлениям века. Единственные важные недостатки, которыми страдает испанский народ, — беззаботность невежества и равнодушие к улучшению материального быта, эти недостатки прямо противоположны потребностям и стремлениям нашего века, и потому нет нужды в особен-

ной отважности, чтобы решиться сказать: недостатки эти должны исчезнуть, и исчезнуть быстро.

Мы сделали много выписок из книги г. Боткина, но читатели, помнящие его «Письма об Испании», видят, что мы касались почти исключительно только одной стороны разнообразного содержания, представляемого его рассказами. Не одна природа и общественная жизнь Испании занимают его внимание — частный быт, памятники искусства, исторические воспоминания не меньше этих предметов интересовали его и являются не менее интересными читателю в его описаниях.

Мы не можем не обратить особенного внимания читателей на «Письма об Испании», ибо, повторяем, подобного рода путешествия, в которых серьезность взгляда соединяется вместе с глубоким поэтическим чувством, являются не часто.

А. В. Дружинин
«ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ»
В. П. БОТКИНА
СПб. 1857 г.

Не по недостатку времени или по другим каким-либо журнальным причинам замедлили мы до сих пор разбором замечательной книги г. Боткина, появившейся в свет еще в начале настоящего года. Статья наша была начата через несколько дней после выхода книги, но конец ее отдалялся от нас все более и более по мере того, как мы задумывались над страницами «Писем об Испании». Чтоб основательно говорить о сочинении, которое, по нашему мнению, должно остаться в русской литературе, мы сочли нужным перечитать нескольких иностранных писателей, путешествовавших по Испании в наше время. Для яснейшего уразумения фактов и народных черт, на лету подмеченных русским туристом во время его недолгих странствований, следовало снова перечитать заметки людей, часть своей жизни проведших на Пиренейском полуострове.

После того до нас дошло известие о том, что русские «Письма об Испании» обратили на себя внимание германских журналов^[416], переведены по частям и встретили за грани-

цей живое одобрение. Нам захотелось посмотреть эти переводы и отзывы, проверить свои собственные впечатления по впечатлениям ценителей, от нас отдаленных, скорее пристрастных во вред, нежели в пользу русской словесности. И наконец, чем долее мы медлили с разбором нашим, тем более хотелось нам вместить в нем сведений по поводу страны, описанной нашим русским путешественником, «этой, так мало знаемой страны, которая до сих пор продолжает представлять одну из печальнейших политических задач нашего времени»[133].

Много было говорено про упадок Греции и Италии, но что значит упадок сейчас упомянутых стран перед тем упадком, в каком находится несчастная родина дона Родрига^[417] и Кортеса^[418], Кальдерона и Сервантеса, Веласкеса и Мурильо? Между Грециею древних, блистательных времен и Грециею новою — общего одно лишь название страны; житель новейших Афин отделен тысячелетиями от времени Перикла, он может гордиться древним величием своей родины, а не скорбеть о нем всею душою своею. Что касается до

упадка Италии, столько раз оплаканного и в великолепных стихах, и в плохой прозе, упадок этот не так печален, как о том думают многие. Та страна не погибла, в которой земля сохранила свою красоту и свое плодородие, в которую миллионы иноземцев стремятся обогащать себя сладчайшими впечатлениями жизни; еще жив для будущего тот край, о котором мечтают и тоскуют избраннейшие люди всего мира.

Об Италии Европа думает и всегда будет думать. История каждого из бедствий, которые часто навлекались на Италию собственным неразумием итальянского народа, коротко известна всякому просвещенному человеку. О довольстве и материальном благосостоянии этого самого народа беспрестанно думают даже его чужеземные властители. Сокровища искусств, которыми полна Италия, одним своим присутствием делают из нее заповедную сокровищницу Европы, к порогу которой ни один путник не подходил без умиленного чувства. Кто смеет не знать Италии, не скорбеть ее скорбию, не радоваться милым и геройским чертам ее народа, на первый

взгляд кажущегося вечно несовершеннолетним народом? И наконец, разве не к Италии принадлежит богатое будущностью, дружественное нам государство, за последние годы сделавшее такие быстрые успехи на поприще гражданственности?^{419} К этому государству разве не прикованы все взоры, разве не видим мы в нем залого будущего возрождения той Италии, для которой она с некоторого времени стала путеводной звездой во мраке? После всего этого можно ли только с одной печалью говорить про упадок Италии?

Тот упадок истинно страшен и печален, около которого все покрыто темнотой и безмолвием. В темноте и безмолвии, среди общего равнодушия всей Европы, совершается плачевное падение Испании, рыцарской и благородной страны, «беспрестанно ворочающейся на одре болезни», как безнадежный больной в страшной песне Данта^{420}. Подобно одинокому, всеми покинутому больному, безнадежно страдает край, когда-то потрясавший вселенную по своему произволу. Никто в образованной Европе не интересуется историей его недуга, ни в одной из соседних зе-

мель не отзываются скорби Испании, посреди холодного равнодушия зрителей льется ее кровь и истощаются ее силы. Кому какое дело узнавать, проявляются ли в этих бесплодных терзаниях следы прежней народной силы, мелькают ли во всей этой кровавой и утомительной драме надежды на лучшую будущность, эпизоды, хотя отдаленно намекающие на счастливый исход недуга? А недуг ужасен, в том нет никакого сомнения. С упадком политическим для Испании идет не только упадок нравственный, как оно всегда бывает; сама природа этой великолепной страны будто приходит в смертное изнурение, отказывается служить несчастному, всеми покинутому человеку... Когда-то плодоносные равнины превращаются в голодную степь, растительность исчезает в провинциях, еще недавно считавшихся житницами Испании, реки мелеют, заразительные болезни появляются на местностях, где еще недавно массы людей жили и трудились, не находя причин жаловаться на свою участь. С каждым годом лучшая часть полуострова получает более и более сходства с аравийскою степью, усеянную

оазисами, число которых с каждым годом редеет. Старые города пусты, гавани не годны для стоянки кораблей, число деревень постоянно уменьшается. Не одного порядка правительственного недостает Испании — в ней недостает чего-то, может быть, еще большего: частной гражданской деятельности отдельных личностей. Там, где разбойник больших дорог в народе считается героем, где житель одного города ненавидит уроженцев соседнего городка, где открытое грабительство администраторов освящено обычаем, — ни благонамеренный правитель, ни парламент из образованнейших законодателей не в состоянии придумать никаких мер спасения. Нельзя предполагать, чтоб Испания в течение последнего тридцатилетия ни разу не имела хорошего министра и дельного законодательного собрания, а между тем жалкая страна не имела даже кратковременных отдыхов от неурядицы. В политическом мире спасти можно только того, кто сам желает спастись и крепко опирается на руку, ему протянутую. Этой истины как будто чуждаются многие из политических писателей всей Европы, даже

когда приходится говорить о предметах, ближайших к ним, нежели Испания с ее бедствиями. Жалкие экономические школы, ныне пользующиеся общим и вполне заслуженным презрением, во все время своего существования стремились к тому, чтоб умалить нашу веру в частную деятельность человека, чтоб представить в преувеличенном виде весь вред индивидуализма, а затем на основании сантиментально-филантропических умствований приуготовить страждущему человечеству всемирное лекарство от всех недугов, настоящих и будущих^{421}.

Для этих-то школ и вообще для всех людей, помышляющих, что человека можно переделать без его содействия, одним писанным декретом, изучение современной Испании может быть довольно благотворно. В Испании было издано много хороших законов, принятых худо, задумано много благих мер, совершенно не понятых людьми, не готовыми к благу в своей обыденной, частной деятельности. Испанский народ остался тем, чем был, чем остаются многие народы в Европе: то есть массою людей по собственному своему

развитию низших, чем законы, для них составленные. Пока благодетельный закон оставался буквою, испанец не заботился о его существовании; когда партия, владычествующая в государстве, пробовала осуществлять закон на деле, толпы недовольных брали свои ружья и шли драться на площадь. На время одолевал тот, кто был сильнее, а на беду Испании в ней не появлялось ни одного истинно сильного, может быть, даже безжалостно сильного человека, который бы мог, подобно героям Карлейля^{422}, грозою устрашить народ, не умеющий спасать себя, народ, не способный прежде всего понять пользу порядка вокруг своих отдельных личностей.

После того что мы сейчас сказали, не нужно прибавлять рассуждений о том, сколько глубокой занимательности может заключаться в обширном и добросовестном сочинении о современной Испании. На беду, подобного сочинения свет еще не дождался в европейской литературе, говорит нам автор «Писем об Испании», к сожалению, до сих пор нет еще классического творения, которое бы совершенно верно отразило в себе эту страну.

Поэтическая прелесть народных нравов Испании и постоянные политические смуты, ее волнующие, представляют такую взаимную противоположность, такой дикий контраст, которые всего более мешают путешественнику составить себе отдельное понятие об этой стране, а испанская литература, за исключением немногих исторических сочинений, можно сказать, сосредоточивается в газетах, разделенных на непримиримо враждующие партии. Слова нашего русского путешественника совершенно справедливы. Классического сочинения о современной Испании мы не знаем. В самой богатой библиотеке можно отыскать лишь несколько хороших путешествий в Испанию и журнальных статей, относящихся к ее истории за последние годы. Европа имеет лишь одно небольшое собрание материалов относительно знания Испании; многие из этих материалов драгоценны по своему литературному достоинству, многие из них дали заслуженный успех авторам — но все-таки это материалы, не более. Их надо переглядеть в общей сложности для того, чтоб иметь сколько-нибудь определен-

ное понятие о стране, не знаемой в Европе и как будто оторванной от Европы. Их надо по временам сверять между собой, сверять даже с другими материалами, ныне почти забытыми и погребенными в политических журналах и газетах. При таком положении предмета весьма понятна важность каждой новой книги, каждой умной статьи, относящейся до нравов и обычаев новой Испании. «Письма об Испании», ныне оцененные не в одной нашей литературе, неоспоримо должны занять почетное место в ряду материалов, сейчас нами упомянутых. Независимо от прелести изложения, многих страниц высокого поэтического достоинства и других данных, хорошо знакомых всякому, кто читал письма г. Боткина еще в «Современнике», письма эти важны еще во многих других отношениях. Чтоб оценить их важность и занимательность касательно изображения современной Испании, необходимо будет сделать, по возможности, краткий обзор нескольких сочинений, однородных с книгою г. Боткина.

Европейские публицисты не много писали об Испании, путешественники редко изобра-

жали эту страну, хотя бы с самой поверхностной точки зрения. В конце прошлого столетия и в начале нынешнего побывать в Испании казалось так же опасным, как, например, съездить на мыс Доброй Надежды, к племенам, живущим во вражде с европейцами. Великая империя разрушалась, как будто силась скрыть от соседей зрелище своего разрушения. Словно по произволу своих правителей, сильных лишь на одно зло и тайну, Испания была ограждена всевозможными препятствиями для зоркого взгляда иноземца-путешественника, иноземца-дипломата, иноземца-экономиста. Ее инквизиция не заботилась о международных нравах, ее администраторы не церемонились с назойливым чужестранцем, ее жители, подозрительные, малообразованные и запуганные, неохотно сближались с заезжими гостями. Доступ ко всему, что могло интересовать иностранца, был всегда труден и часто невозможен; трудны и часто невозможны были даже путешествия внутри страны, уже пораженной нищетой и неустройством. Так было до наполеоновских войн, которые, при всей своей тягости, отча-

сти пробудили Испанию, послужили к уничтожению многих отживших постановлений, и, наконец, дали возможность блистательно проявиться героизму нации, уже начинавшей пользоваться презрением от всех своих соседей. С того времени как англичане приняли участие в борьбе и высадили свои войска на Пиренейский полуостров, в английских книгах и политических обзорах стали появляться толки об Испании. Холодность народа, чаще других имевшего торговые сношения с приморской Испанией, внезапно заменилась энтузиазмом и признаками горячего сочувствия. Имена Палафокса^{423}, Кастаньоса^{424}, Инфантадо^{425} и их многочисленных сподвижников из Англии перешли в Германию, в Россию, во все страны, скрыто или открыто враждебные наполеоновскому владычеству. Европа, до той поры едва знавшая о том, как велико число жителей в Испании, узнала по именам всех предводителей гверильясов. Английские писатели воинственной партии искусно воспользовались общим сочувствием, отчасти ими же подготовленным. В журнале ториев^{426} («Quarterly Review») было напеча-

но несколько любопытных статей о нравах и политических делах Испании; для составления или просмотра таких статей редакции оказался весьма полезен известный Роберт Соути⁽⁴²⁷⁾, поэт невысокого разбора, но человек большого образования, знакомый с языком, историей, бытом Испании и Португалии. Газеты и обозрения противной партии, особенно журнал лорда Джеффри⁽⁴²⁸⁾ («Эдинбургское обозрение»), не делили этого восторга к Испании, а Джеффри выискал себе нескольких сотрудников, пытавшихся выставить перед светом все непривлекательные особенности страны, за которую лилось столько британской крови. Достоинно замечания то, что герой и спаситель Пиренейского полуострова, идол ториев и победитель во всей брани — Артур Веллеслей (Веллингтон)⁽⁴²⁹⁾ судил своих испанских союзников, может быть, строже, чем самые враждебные ему виги. Проницательный глаз воина и великого государственного человека не был обманут порывами энтузиазма, повергавшего в исступление всю Европу. Во многих письмах и секретных донесениях полководца с ясностью различаем мы, что он под

восторженною храбростью мгновенно умел угадывать совершенный недостаток стойкости. В энергических порывах народа видел он расслабление, в его патриотизме — ребяческую способность увлекаться, в его торжествах — непостоянство и шаткость. В глазах его Испания не могла ни спастись сама, ни ввериться чужеземному спасителю. Он бился за Испанию потому, что его победы наносили удар наполеоновой власти, в будущность Испании он не верил, к народным силам ее он ощущал презрение и, по всегдашней своей привычке, не скрывал этого презрения.

Еще до окончания европейских войн и совершенного низложения Наполеона Англия, как известно, уже заключила крайне выгодные для себя трактаты по торговле с государствами Пиренейского полуострова. С наступлением мира большое число британских подданных стало жить в Лиссабоне, Оporto, Кадисе, ездить в эти города и по временам углубляться внутрь Испании и Португалии. Невзирая на стеснительные закону по торговле, несколько чужестранных торговых домов завелось по большим городам Испании. В то

же самое время торговля Гибралтара значительно поднялась, контрабандная торговля, поощряемая англичанами, стала наводнить Испанию английскими изделиями, табаком и первыми необходимостями для людей, принуждаемых своим правительством платить за собственные товары дороже, чем за иностранные. Обмен услуг, хотя не всегда законных, сблизил англичан с испанцами, доставил первым некоторый авторитет по приморским городам Испании, а по прошествии немногих лет жители полуострова привыкли к англичанам, узнали их более, чем кого-либо из своих соседей.

Лет за двадцать пять до нашего времени уже несколько английских туристов-писателей успели побывать в Испании. В журналах, кроме статей о политике и торговле этого края, печатались описания окрестностей Кадиса, Малаги, Севильи, иногда переезд через горы, иногда какая-нибудь встреча с разбойниками. Предприимчивый книгопродавец Муррай, издавая разные путеводители по Европе и другим частям света, заказал одному талантливому человеку, по имени Форду, со-

ставить руководителем для туристов по Испании. Мистер Форд, долго живший в этой стране, исполнил желание книгопродавца, и, может быть, сам удивился успеху своего дела. Книга его, составленная по общей форме путеводителей за границей (*guides des voyageurs* [134]), разошлась лучше всякого романа. Несколько изданий были распроданы в течение самого короткого времени. Сочинение Форда читалось женщинами, членами парламента, помещиками, дилетантами литературы, людьми, никогда не имевшими намерения ехать в Испанию. Правда, что оно вполне заслужило эту честь, представляя из себя труд изящный, легкий, увлекательный, но вместе с тем исполненный новизны и важных подробностей. Форд, подобно лучшим из своих преемников, сердцем любил описываемую им страну, понимал ее поэзию, умел подмечать ее высокую прелесть и наслаждаться ею. Он сближался со всеми сословиями испанского народа, писал об этом народе с веселостью и юмором. На испанцев смотрел он немного свысока, но такой недостаток не считался недостатком для лондонского читателя.



Мелкий вор.

Работница сигарной фабрики.

Подражателей и продолжателей у Форда нашлось довольно, но в течение десяти лет слава его путеводителя не уменьшилась: до сих пор он считается одною из самых живых, занимательных книг, когда-либо написанных по-английски.

Мы не можем разбирать Фордовой книги в подробности, в журнале нашем будет помещено из нее несколько отрывков, когда позволит время и обилие журнального материала. «Ручная книга для Испании» («Handbook for Spain») по самой форме своей уже не может назваться образцовым сочинением. Добровольно подчинясь всем требованиям, какие существуют для дорожного путеводителя, Форд отчасти повредил своему делу. Невзирая на все его искусство, в труде находятся страницы утомительные, важные для человека, собирающегося ездить по Испании с наименьшими трудностями, но лишние для простого читателя. За рядом картин и живых



нравоописательных очерков он часто забывает жизнь самой страны, без внимания оставляет важные задачи, занимавшие умы многих. Как фланер и человек, ищущий себе забавы, Форд заслуживает удивления, с таким товарищем и путеводителем всякий пойдет на край света. Но над книгою его не многие задумаются, а если и задумаются, то разве по поводу предметов, о которых Форд говорит вскользь и неохотно.

Около 1840 года (даже, кажется, несколько позже) в Англии снова появилось одно сочинение об Испании, на этот раз получившее успех европейский. Великобританское библейское общество изготовило три перевода Священного Писания на португальский, на испанский языки, и еще на язык испанских цыган (*gitanos*). Для продажи этих изданий послан был на Пиренейский полуостров некто Джордж Борро, человек странный, скорее сходный с авантюристами времен Кромвеля, нежели с людьми нашего столетия. Полуангличанин, полуцыган, полуфанатик, полтурист, Борро имел три бесценных качества для путешественника в опасных стра-

нах: он был упрям, как каталонец, бесстрашен, как герой, жаден до приключений, как молодой рыцарь. Он знал языков пятнадцать, обладал силой Геркулеса, мог проводить по нескольку суток на лошади, легко сблизился с людьми и владел большим даром убеждения. Благодетельное общество недаром поручило ему продажу своих изданий в Испании: мадритский кабинет несколько раз изъявлял полное согласие на эту продажу, но англичане не могли не знать шаткости испанского правительства. При частой перемене правителей сегодняшняя заслуга завтра могла быть вменена в преступление, да сверх того в Испании каждый генерал-капитан провинции и даже коррехидор отдельного города не слишком заботился о том, какому иностранцу покровительствуют сильные люди в Мадриде.

Как предполагали, так и случилось. Вместо нескольких месяцев, которых было бы достаточно на продажу самого большого числа экземпляров Библии, Борро пробыл в Испании несколько лет. Испанское правительство при всех своих переменах его редко теснило, но зато правительству при общих смутах и сво-

их собственных тревогах, было не до мирного иностранца, сеющего слово спасения между невежественным народом. Религиозное состояние испанского народа в глубине государства, по словам Борро, мало отличалось от состояния диких племен Африки. Между многочисленным сословием цыган, нищих, контрабандистов, даже отдаленных сельских жителей, самое имя Иисуса Христа было неведомым словом. В больших центрах населения, где люди знали читать и обладали лучшим развитием, власти глядели на путника или как на врага, или как на существо, от которого можно поживиться. Не совсем угасший фанатизм некоторых изуверов воздвигал против англичанина массы народа. В одном городе его принимали за шпиона, в следующей деревне за идолопоклонника, а где-то на берегу моря Джорджа Борро сочли дон-Карлосом и чуть не расстреляли. Его несколько раз обирали дочиста, книги его конфисковались, сам миссионер сидел в тюрьмах с ворами и убийцами. Иногда он скрывался от гонений, проводил дни в цыганских таборах или на уединенных вентах, но еще чаще, сильный звани-

ем англичанина и сознанием правого дела, Борро открыто шел на все притеснения. За него английские консулы поднимали бурю, за него сменяли алькальдов и коррехидоров, после всяких неправд и прижимок ему возвращали назад отнятые книги, и он снова пускался на бесконечную борьбу, на новые угнетения и опасности.

Понятно, что при такой жизни и таком образе действий, вдоволь натерпевшись и насмотревшись, Джордж Борро не мог остаться тем, чем был при въезде своем в Испанию, то есть простым, пассивным исполнителем данного ему поручения. В характере его всегда имелся элемент задорный и фанатический, а события его бурной жизни в Испании окончательно раздули пламя, таившееся в этой могучей груди. Ревностный англиканец и крайний тори обратился в закоренелого врага католической Испании. Он вообразил себя противником папской власти, освободителем Испании от католицизма, протестантским проповедником, посетившим не государство, дружественное его родине, а какие-то мрачные пустыни, населенные идолопоклонниками.

Он не только преувеличивал опасности, его окружавшие, но сам вызывал их, гордился гонениями, говорил в народе неосторожные речи. Не допуская того, что всякая страна имеет полное право жить по своим собственным обычаям и чтить закон, доставшийся ей от отдаленных веков, наш комиссионер лондонского общества утратил небольшой запас терпимости, данный ему на долю от природы. Вследствие того пребывание Борро в Испании сделалось обременительным для английского посольства, для британских консулов, беспрерывно обязанных заступаться за своего необузданного согражданина. Мы не имеем точных сведений о том, чем именно кончилось пребывание его в Испании, но из нескольких заметок в журнальных разборах можно догадываться, что Джордж Борро был принужден оставить страну своих подвигов против собственного желания. Плодом его приключений вышла знаменитая книга «The Bible in Spain»[135], которая, как мы уже сказали, получила успех европейский.

Всякому человеку, интересующемуся бытом и нравами современной Испании, мы

смело можем рекомендовать книгу Борро не только как произведение одного из самых талантливых людей нашего времени, но как один из драгоценнейших материалов к изображению страны, так мало нам известной. По личным своим качествам и по роду своих занятий в Испании миссионер видел нравы, до сих пор никому не известные, сходился с людьми, о которых говорилось очень много в романах, но очень мало в серьезных путешествиях. Цыганы, контрабандисты, разбойники, пикадоры и матадоры — весь этот народ делил с англичанином и хлеб, и ночлег, и беседу. Турист на себе испытал, что значит испанское правосудие, каково поступают с иностранцами коррехидоры, алькады и альгвазилы⁽⁴³⁰⁾. Он был в кабинетах испанских министров, сходился с юной и старой Испанией, присутствовал на десяти *пронунсиаментосах*, проводил дни и недели в норах, служащих прибежищем худшей части испанского населения. Если б, при такой жизни и таланте, Джордж Борро имел поболее спокойствия и многосторонности, книга его имела б еще более достоинств и получила б характер класси-

ческий. К сожалению, она имеет важные, коренные недостатки. Протестантский фанатизм автора извращает половину его выводов о политическом состоянии Испании. Приписывая все бедствия края его подчинению римской духовной власти, он с явным пристрастием толкует все факты, им собранные, дает им насильственное, произвольное значение. Жизнь, веденная им в Испании, своими тревогами раздражила его воображение, населила его призраками. Нельзя заподозрить Борро в недобросовестности, но по временам его рассказы напоминают собой события из «Тысячи <и> одной ночи» — их присутствие в книге объясняется пламенной фантазией автора, приводимую в постоянное напряжение фантастически-бродячей жизнью. Еще несколько месяцев подобного существования, и сочинитель книги видел бы видения, беседовал бы с мертвецами, от чистого сердца веря своим галлюцинациям. Необходимо упомянуть еще об одной важной неполноте в записках миссионера.

Для Джорджа Борро совершенно не существует артистической Испании. При виде кра-

сот природы он рыдает и описывает их как великий художник, но далее картин неодушевленной природы он ничего не видит. Ни архитектура соборов, ни залы Альамбры, ни картины великих художников его не трогают: если б ему дали власть, он бы воздвиг пуританское гонение на древнее художество Испании. Милым сторонам испанской жизни он тоже не сочувствует, он холоден к красоте женщин, к изяществу народных костюмов, к приветливости, сроднившейся с южными правами. Он ценит испанцев за их пламенный темперамент, за их воздержность, за их величавый и звучный язык, за их презрение к мелким благам жизни. В будущность юной Испании он не верит и безнадежность ее положения относит, по своему обыкновению, к католицизму. Постоянно изучая простой народ края, Борро ни одного раза не может схватить умом того простого вывода, который дался нашему русскому туристу без всяких усилий, то есть вывода о совершенном разъединении испанского народа с идеологами, усиливающимися править этим народом по рецепту французских и английских узаконе-

ний.

Мы назвали два замечательнейших сочинения об Испании, и хотя пределы нашей статьи не позволяют нам упоминать о других, менее замечательных, мы не можем, однако же, пройти молчанием одной французской книги, весьма поверхностной, и, несмотря на то, стоящей внимания. Почти в то же самое время, как Джордж Борро испытывал все последствия борьбы с алькадами и коррехидорами, французские туристы начали проникать в Испанию, заглядывать в Гранаду и Севилью, а потом печатать книжечки и фельетонные статьи о чудесах соседственной полудикой страны. Между этими путниками, жаждущими повстречаться хотя с одним бандитом и присутствовать хоть на одном бое быков, иные, как, например, Мериме, писали дельно и гладко. По примеру их в Испанию проехал и Теофил Готье, писатель, редко умеющий писать дельно, но одаренный душой истинного артиста.

При всей своей ветрености, заносчивости, способности к скороспелым заключениям этот странный турист был зорек именно на

то, на что Борро при всем своем даровании не имел никакой проницательности. Готье сам когда-то был живописцем и, бросивши живопись, перенес в свои литературные занятия иногда преувеличенную страсть к картинности слога. Для него живопись, ваяние, архитектура, музыка, красивые костюмы, красивые лица женщин составляли всю жизнь; за исключением изящной стороны, он не хотел думать ни о каких других сторонах нашего существования. В предисловии к одному из своих довольно эксцентрических произведений Готье написал следующие безумные строки: «Я сейчас же отдам все мои права и звание французского гражданина за возможность досыта налюбоваться красотой госпожи Джулии Гризи или княгини Боргезе, в то время когда Канова лепил с последней свою известную статую»^{431}. Но чудак, публично напечатавший подобные слова, имел за собой одно достоинство — искренности во всех своих причудах. Он приехал в Испанию наслаждаться и достиг своей цели. Для старой картины, для встречи с хорошенькой женщиной он храбро переносил все трудности поездки,

подвергался лишениям и оставлял в стороне всю невероятную избалованность парижанина. «Путевые заметки» Готье^{432} обратили на себя внимание читателей и стоили такой чести: если задача их автора не была очень обширна, сам автор сумел быть хозяином в своей небольшой области. Если из названных заметок мы и выбросим страницы, исполненные бомбаста^{433}, в книге все-таки останется достаточно материала для уразумения артистической Испании. Само собой разумеется, ни политических наблюдений, ни сколько-нибудь дельных заметок о народном быте у Готье вы не приищете, но ежели вас может занять ряд картин, передающих поэтическую прелесть древних церквей, покинутых аббатств, мавританских зданий и так далее, вы по справедливости оцените и книгу, и парижанина, ее сочинителя.

Сказавши наше беспристрастное мнение по поводу лучших и популярнейших книг об Испании, за наши годы появившихся за границею, мы можем обратиться к книге нашего русского литератора, вполне достойной занять почетное место между сейчас нами на-

званными сочинениями. Письма г. Боткина давно знакомы каждому любителю русской словесности, полное собрание их не может не иметь успеха, тем более что раздробление и медленное печатание первых писем, необходимое по журнальным условиям, по необходимости вредило их целостности. Собственно мы обязаны отдельному изданию «Писем об Испании» гораздо большим наслаждением, нежели тем же письмам, тянувшимся едва ли не три года и прерываемым постоянными интервалами. Прежде нас увлекали в них отдельные мысли, отдельные картинки природы, отдельные сцены путевой жизни; теперь же нам яснее сказалась мысль, связывающая все эти изящные отрывки. Артистический дух, проникающий все произведение, вполне открылся перед нами, а вместе с тем мы проследили не вредящую этому духу всю зоркость мыслителя и наблюдателя политических вопросов. Г-н Боткин не жил в Испании так долго, как Форд, не был связан с ее народом так, как Джордж Борро, а между тем, во многом уступая этим испанским старожилам, он во многом дополняет и разрушает ими за-

меченное. По своему сочувствию к природе, по своему страстному пониманию художества в искусстве и жизни русский путешественник не уступает артисту Готье, а, напротив, далеко превышает его тонкостью своего развития, не говоря уже о многостороннем направлении всей наблюдательности.

По книге Теофила Готье читатель может ознакомиться, и то не вполне, с одною лишь стороною старой и новой Испании, доверясь сочинению Борро, он, заодно с глубокими и драгоценными сведениями, приобретет множество совершенно фальшивых взглядов. Письма об Испании г. Боткина не введут его ни в узкий мир артистического реализма, ни в круг смелых гипотез, основанных на предвзвешенности или горячности. Сочинение нашего соотечественника скорее можно поставить в один разряд с книгою Форда: и та и другая замечательны по увлекательному изложению, по здравому и чисто современному взгляду на вещи. Но и тут найдем мы довольно несходства. Цели авторов различны: один составляет аккуратный путеводитель по Испании, другой изображает страну в ряде беглых

очерков, связанных между собой лишь одной нитью личных впечатлений сочинителя. И англичанин Форд и г. Боткин равно любят страну, ими описанную, но количество фактов, которыми располагают оба, весьма различно. Форд долго жил в Испании, изъездил ее по всем направлениям, долго собирал материалы для своего труда, тогда как русский его последователь был в Испании мимоходом, останавливался лишь в самых оригинальных ее уголках, не имел претензии видеть все и записывал лишь впечатления ничем не связанного туриста. Множеством характернейших подробностей Форд далеко превышает г. Боткина, но зато наш соотечественник имеет неоспоримый перевес в своей зоркости на поэзию страны, в своем даре извлекать умный вывод из небольшого числа фактов, им подмеченных.

«Письма об Испании» были набросаны их автором в 1845 году ввремя его пребывания на Пиренейском полуострове, но первое из них появилось через два года после поездки, в одной из первых книжек «Современника» за 1847 год. Несмотря на то что имя г. Боткина

до того времени было совершенно незнакомо русской публике, «Письма об Испании» были сейчас же замечены и оценены всеми читателями. Их даже никто не мог приписать лицу начинающему и еще новому в литературе: и дар изложения, и твердая самостоятельность суждений, и совершенное знание всех литературных приемов — все это показывало в путешественнике человека, давно освоившегося с современной русской словесностью, привыкшего и к требованиям умного читателя, и к манерам живой журнальной беседы.

Лица, принадлежащие к литературному кругу, и читатели, внимательно следившие за ходом журналистики того времени, знали лучше всего, что не новичок и не начинающий литератор печатает в «Современнике» свои заметки об Испании. Кто помнил замечательное, хотя и краткое существование «Московского наблюдателя», кто получал «Отечественные записки» за лучшее время их славы, тот без труда узнавал в «Письмах» перо одного из самых образованных писателей нового поколения. Если не ошибаемся, ни в «Московском наблюдателе», ни в «Отече-

ственных записках» за первые годы г. Боткин не подписывал своих статей полным именем^{434}, но забыть их было трудно, так сильно горели в них многосторонняя сила мысли и поэтическая струя изложения, пробивавшаяся всегда и всюду.

Автор «Писем об Испании», действительно, не мог назваться новым лицом в литературе нашей. По своему образованию, по своим литературным трудам и литературным связям он был одним из членов той даровитой плеяды русских людей, которым так много обязаны наша наука, наша словесность, наша журналистика за последнее двадцатипятилетие.

К кругу сверстников и товарищей нашего путешественника принадлежат поэты, романисты и профессора, имена которых известны каждому русскому человеку; к этому же самому кругу принадлежали мудрые и благородные деятели, от которых теперь остались лишь славное имя и труды, слишком рано прерванные безвременною кончиною^{435}. Страстно любя искусство и науку, никогда не отказывая в своем совете и содействии всяко-

му того заслуживающему литературному предприятию, бывший сотрудник «Московского наблюдателя» и «Отечественных записок» не был литератором вполне, как большая часть его сверстников. Обстоятельства не позволили ему посвятить всей своей жизни интересам родной науки и словесности, хотя, по своему многостороннему образованию и дару изложения, он мог бы трудами своими принести честь всякой литературе.

Довольствуясь местом и правами простого дилетанта словесности, г. Боткин был свободнее многих литераторов в выборе своих любимых занятий. Не стесняясь временем и условиями постоянных журнальных трудов, он мог изучить языки, знание которых до сих пор считается роскошью для пишущего человека, имел возможность путешествовать далее, нежели путешествовали его товарищи, следить за литературою стран, с которыми были мало знакомы образованнейшие люди тридцатых годов.

Плоды его многосторонних сведений приносили немалую пользу в кругу друзей г. Боткина, исключительно отдавшихся литератур-

ной деятельности, — справедливость наших слов подтвердит всякий человек, когда-либо бывавший в литературных кругах того времени. Лучшие из деятелей новой, в то время возникавшей критики не были знакомы с немецким языком и германской философией, основные пункты своих теорий им приходилось разъяснять и проверять в дружеских беседах с людьми, посвященными в эти тайны, и одним из таких людей был г. Боткин, долгое время изучавший Гегеля и новых мыслителей Германии. С другой стороны, автору «Писем об Испании» была хорошо знакома английская словесность, он изучал историков, экономистов и мыслителей Великобритании; понятно, до какой степени эти сведения приносили пользу при общем, отчасти преувеличенном стремлении наших литераторов ко всему новонемецкому и новофранцузскому. Не раз приходилось г. Боткину в редких статьях своих, а еще более в изустных беседах становиться в упорный разлад с мнениями лучших из его сверстников; может быть, корифеи нашей журналистики на первых порах и возмущались этой дружеской оппозицией

их задушевым мнениям, но оппозиция не ослабевала, а время показало и ее полезность и ее благотворную законность^{436}. Вот заслуги г. Боткина и в открытой и в интимной истории нашей словесности, вот основания, вследствие которых его имя, еще задолго до «Писем об Испании», пользовалось честной известностью в литературных кругах Москвы и Петербурга.

Предпринимая сбою поездку через Пиренеи, наш автор был уже достаточно приготовлен к пониманию Испании: он знал ее язык, читал испанских писателей, старых и новых, был знаком с заметками даровитых людей, до него посещавших этот край. По всему видно, что он и не намеревался писать об Испании, книга его составлена вся из частных писем в Россию к близким лицам; письма эти были им впоследствии пересмотрены и дополнены. Тем не менее наш турист сделал для самого себя то же, что редкие записные литераторы делают из писательских видов: перед поездкою он прочел много исторических сочинений об Испании, ознакомился с испанскими политическими изданиями и таким образом

мог въехать в новый край не так, как в него въезжает большая часть любопытных пришельцев. Не было примера, чтоб у нас в России труд даровитого человека проходил без успеха; зато не было примера, чтоб труды подобного рода, при всем их достоинстве, не находили себе и нескольких хулителей. В задних рядах всякой словесности, а в особенности нашей, всегда имеется несколько болтунов, всегда готовых «тявкнуть из подворотни» на почтенный труд человека, обратившего на себя чем-нибудь внимание читателей. Два или три нестройных голоса тявкнуло в свое время и на книгу г. Боткина, вменяя ее автору в вину то обстоятельство, что он добросовестно приготовился к путешествию, прочел много книг об Испании и в своих письмах приводил сведения, им почерпнутые из иностранных источников, даже из газет и обзрений, а не из собственной своей головы, по какому-то вдохновению^{437}. Само собой разумеется, на голоса хулителей никто не обратил никакого внимания. Дело говорило само за себя: с самым малым запасом разума всякий мог догадаться, что о малоизвестных

странах вроде Испании нельзя написать даже самого легкого фельетона без прочных пособий и изучения иностранных источников. Вменить подобного рода пособия в вину туриста можно только тогда, если он дурно ими распоряжается, если он подчиняет свои приговоры чужим выводам и не проверяет строгим разбором, на самом месте тех фактов, которыми обогатил себя заранее. В «Письмах об Испании» не находим мы ничего подобного. Их автор не подавлен грудой материалов, добытых чрез чужие руки: личный его взгляд проявляется во всем, начиная от мелких замечаний, характеризующих край, до самых многосложных политических заключений. Если он соглашается иногда с чужим авторитетом, то делает это потому, что на деле признал его законность; если он приводит слова и мнения какого-нибудь писателя, ранее его ознакомившегося с Испанией, то приводит их потому, что они кажутся подтверждением его собственных наблюдений. По возможности близкий разбор «Писем об Испании», надеемся, покажет всю основательность слов наших.

«Письма об Испании» начинаются с Мадрита, места скучного и непривлекательного, но чрезвычайно важного для каждого путешественника, одаренного зорким взглядом и любознательностью. Если поэтическая, приветливая, ласковая сторона новой Испании распознается в Кадисе и Севилье, то в Мадристе только можно ознакомиться с другою, безотрадною и несравненно обширнейшею стороною края. Умирающие государства, как и умирающие города, начинают терять признаки жизни на своих оконечностях, между тем как около сердца все еще полно жизни, движения; не так в Испании. Весь край на обширном радиусе кругом Мадрита пуст и беден. Вследствие климата и небрежности человеческой почва обратилась в пустыню, от смут и неудобных сообщений всюду дороговизна, так что кастильцу, даже при урожае, не на что купить сапогов. Деревни встречаются как редкие оазисы, города наполнены пустыми домами^{438}.

В такой странной столице дела едва ли могут идти тем путем, какими они идут в других европейских столицах, получивших свое зна-

чение не случайно. Внимательному читателю достаточно проследить за несколькими добросовестными рассказами о мадритской жизни, для того чтоб понять, какое глубокое разъединение существует между провинциями Испании и этим никому не нужным, ни для кого не важным городом, в котором имеет свой приют не одно лишь правительство, а большая часть цивилизованной или скорее офранцуженной нации новых испанцев. Мадрит не любим старшими городами, Мадрит не страшен волнующимся провинциям, Мадрит противен народу, потому что в нем с каждым днем утрачиваются последние остатки национального элемента. Мадрит занят бесплодными политическими интригами; в Мадрит, как в обетованную землю, стекаются или доверчивые фантазеры по части государственной, или массы бессовестных авантюрьеров, из тощей почвы готовых служить всякой партии. Наш русский путешественник, как следует всякому любознательному туристу, имел рекомендательные письма к лицам различных партий: и к высшим чиновникам господствовавшего в то время министерства, и к

карлистам, да еще вдобавок познакомился с жарким прогрессистом, капитаном фрегата «Эспартеро». Таким образом ему не трудно было с первых дней своего приезда ознакомиться с ходом текущих политических дел, или, скорее, того лихорадочного бреда, который в Мадриде называется политикою. Его сразу поразили несколько безотрадных особенностей того мира, с которым туристу пришлось соприкоснуться. Кроме политики, в Мадриде не говорится ни о чем, терпимость мнений есть слово, которое в Испании не имеет еще смысла. «Кто не за меня, тот против меня», — восклицает партия, овладевая кормилом правительства, и перед этим лозунгом нет пощады ни уму, ни знаниям, ни убеждениям, ни долгим заслугам. Казалось бы с первого взгляда, какое сильное движение происходит в этой стране, сколько сильных испытаний переживает она, как быстро, к величю или гибели, двигается это общество, полное стремлений к общественному делу. А между тем ничего подобного нет, невежество и бедность разлиты по всей Испании, в самых ее смутах нет жизненной энер-

гии, весь этот словесный вздор, все эти пламенные судороги мадритских политиков ведут к одним бесцельным переворотам, к одной революции в мире мелких, частных интересов! Такой результат поражает и спутывает каждого наблюдателя, он породил много нелепых статей в журналах французских и английских, он ведет к тому, что Испанию не раз называли политической загадкой, называли страной, в которой постоянно властвует слепой случай. Г-н Боткин, руководясь своей проницательностью, сведениями, им собранными, и указаниями немногих людей, дельно писавших про Испанию, без труда опровергает подобные заблуждения. По его словам, Испанию невозможно судить с точки зрения общих европейских форм; европейские журналы, указывая в ней только на те пружины, которые пригодны для духа политических партий, только больше затемняют все дело. В Испании всякий наблюдатель должен видеть и угадывать явления, какие или редко встречаются или никогда не встречаются в правильных, по-европейски развитых обществах. Одно из подобных явлений весьма

зорко подмечено нашим туристом еще за дни его первого пребывания в Мадрите. Оно проходит через всю книгу, всюду поясняемое и истолковываемое общедоступным образом. В нем таится ответ на многие вопросы, разрешение многих загадок, ежеминутно поражающих человека, желающего ознакомиться с страной. Это явление весьма важно и стоит целого отдельного изыскания. Мы говорим о глубоком разъединении испанского народа со всем офранцуженным и играющим политическую роль населением Мадрита и некоторых других главных центров государства^{439}

В государствах, постоянно или периодически подверженных анархии, с беспорядочным правлением нередко встречаются примеры того разъединения, о котором сейчас говорилось. Силы народа и его способность к политической жизни часто показываются в этих разъединениях, в них более, чем в чем-либо другом, проявляются народные средства, народные потребности, степень народного развития. Через несколько лет после того, как Г. Боткин писал вышеприведенные нами

строки, именно в 1849 году, в печальное время для Франции, огромное большинство французского народа разъединилось с жителями Парижа, с интересами парижских партий и своим грозным, полувраждебным положением много содействовало к низложению буйного меньшинства, поднимавшего междоусобные распри, парализовавшего своими действиями все отрасли государственной деятельности. Бесспорно, в этом факте и причинах, его породивших, находилось много неутешительного для Франции, но все-таки оно остается примером народной самостоятельности, народного смысла, народной энергии перед бедою. Но разъединение испанского народа с политическими кругами, друг у друга вырывающими по несколько месяцев тревожной власти, не представляет собою ни смысла, ни самостоятельности, ни энергии. Заботы об общем благе нет ни у кого, во всех провинциях развито презрение к мадритским партиям, но все провинции враждуют между собой и занимаются своими частными несогласиями.

Подобно тому как в Мадрите происходят

перевороты и восстания, восстания и перевороты идут своим чередом по другим городам Испании, всего чаще они совершаются при полном равнодушии народа, чиновниками, офицерами и небольшим количеством буйных голов, имеющих свой интерес в деле. А при пламенном воображении испанского зеваки, при его способности довольствоваться малым возмездием и не думать о завтрашнем дне, во всех смутах и тревогах имеется достаточное число бродяг, готовых принять участие в шуме или драке. Что касается до солдат, офицеров и лиц, принадлежащих к администрации, ими двигает та же самая южная нерасчетливость относительно личных своих выгод. Если следствием pronunciamiento (возмущения) будет то, что часть офицеров повысится в чинах, солдаты получат небольшую денежную награду и чиновники переместятся на высшие должности, всякий из участников считает себя хорошо награжденным. Он очень знает, что через неделю, при новой тревоге со стороны противной партии, все эти блага уничтожатся, но он ими пользовался с неделю, а неделя для него что-то вроде вечно-

сти.

Вот печальная, но живо и характерно накинута сцена одной из смут в Мадриде⁽⁴⁴⁰⁾.

Мы надеемся, что этих, по необходимости кратких, выписок достаточно для того, чтоб ознакомить читателей с одною из самых интересных сторон в книге г. Боткина. Мы указали только начало нити, следя за которой он сам отыщет в «Письмах об Испании» ряд выводов, до сей поры сохранивших всю свою важность, собрание сцен, яркие и живые краски которых нимало не померкли за пятнадцать лет времени. Пределы статьи не позволяют нам долее следить за мадритскими делами 1843 года, хотя в них чрезвычайно много сходного и с делами последующих годов. Грустную мысль оставляют в нас первые из писем г. Боткина, да иной мысли и не могло поселиться в нас после таких описаний. Одно только отрадное помышление борется с этим чувством: мы знаем, что Мадрит не вся Испания, что в народе, перенесшем и до сих пор переносящем подобные политические бедствия, должны таиться стороны утешительные, иначе он давно вернулся бы к вре-

менам варварства. Народа испанского не подсмотришь в столице Испании, так же как не увидишь в нем ни одной из красот этого поэтического края. Из Мадрита наш русский путешественник едет в Андалузию, проезжает Кордову, переваливается через Сьерру-Морену и в июне же месяце прибывает в Севилью. Об артистической и живописной стороне всей поездки мы еще будем говорить в последнем отделении разбора нашего, теперь же скажем несколько слов о впечатлении, произведенном на туриста экономическим состоянием, нравами и частным бытом испанцев.

Г-н Боткин, подобно Борро, Форду и еще небольшому числу даровитых людей, путешествовавших в одной с ним стране, питает великую любовь к испанцам в их частном быте. Эта единоголосная симпатия стольких людей, прозорливых и талантливых, всего яснее говорит за все дело. Действительно, всюду и во всех книгах встречаем мы дань уважения золотым особенностям испанского характера: честности, гостеприимству, рыцарской приветливости в обхождении, чувству челове-

ского достоинства.

В дороге, говорит автор «Писем об Испании», испанцы самые веселые товарищи. На эту пору они совершенно оставляют свою важность и серьезность, становятся говорливы и шутливы. Никто не жалуется ни на что — дурной обед дает повод к неистощимой веселости, никогда и никто из испанцев серьезно не пожалуется на что-либо в дороге. Нет народа более воздержанного, уживчивого и терпеливого. У себя дома испанец исполнен неутомимой добродушной приветливости к человеку, с ним сближенному, к иностранцу, ему рекомендованному. Раз рекомендованные испанцу, вы можете располагать его домом, его временем, его связями. При обычном спокойствии своем он не расточителен на любезности, но, будьте уверены, вы никогда не будете ему в тягость, никогда не обойдется он с вами холодно. В Испании никогда не употребляют слова ты, даже между близкими друзьями. Если генерал обращается к солдату, он говорит ему *usted*, ваша милость. То же самое с слугами; дети, играя на улице, говорят друг другу: *mira usted* — посмотрите, ваша ми-

ЛОСТЬ.

Вот подробности поважнее и еще более говорящие в пользу народа, так дорогого туристам. Тот, кто не видал испанцев в их частном быту, в их домашних отношениях, не имеет понятия о чистоте их нравов, весьма часто идущих рядом даже с возмутительными пороками в жизни общественной. По какому-то особенному счастью, на испанцах несколько не заметно следов системы шпионства, введенной инквизицией. Основной закал народа был так тверд, что его старые, рыцарские качества до сих пор остались во всей силе. Происходит только одно: и дурные и хорошие стороны человека существуют как-то вместе, «не касаясь друг с другом, словно разделенные какою-то стеною. Чиновник, продающий себя за взятки, судья, торгующий правосудием, в частных своих отношениях здесь непременно деликатны и верны»^{441}. Общественный дух, общественные чувства у испанцев находятся еще под спудом, но загляните с другой стороны, зайдите за стену, и вы будете поражены простотою и прямодушием, благородством человека. Даже у тех, которые

здесь со всех сторон запачканы политической грязью, — верьте, частная сторона, на зло всему, осталась прекрасною. Наперекор всем ужасам политической неурядицы, наперекор неправосудной администрации, наперекор страшной бедности, которая гложет испанские провинции, в испанском народе нет разрушительных семян, которые находятся в изобилии по многим более благоустроенным государствам Европы. Внутри края (за исключением разве очень больших центров населения), между сословиями царствует простота отношений, совершенное равенство тона и деликатная короткость в обращении. В Испании дворянин не горд и не спесив, простолюдин к нему независтлив. Не только горожанин, но мужик, водонос, чернорабочий обращаются с дворянином совершенно на равной ноге. Причина таких удивительных для иностранца отношений заключается в историческом развитии государства, в почтении, которое народ питает к потомкам людей, бившихся с неверными и расширявших границы христианства по Испании. Владения дворянства в начале своем не были владениями чуже-

странных завоевателей, как в феодальной Европе, а интересы положительные, материальные — отношения землевладельца к наемщику земли всегда были самыми кроткими, дружественными отношениями.

Собственность в Испании двух родов: собственность земли и собственность десятинного сбора. Дворянство исстари обращалось с наемщиками своих земель чрезвычайно кротко: есть крестьянские семьи в Испании, которые по несколько сот лет имеют в найме одну и ту же землю; отношения их к владельцу от давности приняли какой-то семейный характер. Самые законы всегда покровительствовали наемщика. При совершенной только неисправности платежа владелец может отказать ему, но должен предупредить его за год вперед, в иных провинциях за два года. Если другой наемщик предлагает владельцу дороже за наем известного участка, прежний, давши ту же цену, может на нем остаться даже против воли хозяина. В Андалузии и Эстремадуре наемщик может, несмотря на заключенное условие, требовать после жатвы переоценки земли, а так как оценщики берут-

ся из землевладельцев, то понятно, что наемщик никогда не остается в накладе. Упадок в ценности денег никогда не изменяет силу сделанных условий, которые весьма часто заключаются раз навсегда, так что земледелец тогда пользуется землею как своей полной и неограниченной собственностью.

Десятинная подать далеко не возбуждает в испанском народе того враждебного чувства, как, например, в прежней Франции и настоящей Ирландии. Она принадлежит к временам глубокой древности; после изгнания мавров ее сохранили как налог, платимый королю на военные издержки. С давнего времени десятина в Испании при недостатке денег была продаваема и покупаема, как всякая другая собственность; если она теперь в руках дворянства, то не вследствие прав и привилегий его, а потому, что дворянство во времена своего богатства покупало ее, как теперь покупаются государственные векселя. Кроме того, что подать эта не есть след завоевания, но просто форма поземельной подати. Капитал, представляемый десятинною податью, всегда включается в оценке земли, сверх того, что

если наемщик земли вводил на ней новую обработку, то избавлялся на десять лет от платежа десятинной подати. «После всего этого, — говорит нам автор, — возможен ли в испанском народе дух революционный? Можно ли опасаться здесь таких народных движений, какие несколько раз потрясали Германию, Англию, Францию? Можно ли бояться извержения народного волкана в той стороне, где нужды самого неимущего малы и легко удовлетворяются, где народ, во всех своих отношениях к другим сословиям, огражден кроткими обычаями и постановлениями? Если что действительно страдает в Испании, так это просвещение, торговля, промышленность»^{442}.

Все это имеет много справедливости и хорошо высказано, скажем мы от себя, но нам известно, что государства умирают не от одних извержений народного волкана. В Испании от этого самого благородного испанского народа нет ни согласия, ни надежд на лучшую будущность. Дух инерции, соединясь с беспорядочностью и слабым нравственным развитием, делает испанцев не только лени-

выми, но враждебными всякому государственному прогрессу. Правительственная мера, чуть ограничивающая выгоды одной провинции для общего блага, всегда встречала в Испании, с одной стороны, бешеный отпор, а с другой — равнодушие. Когда местные власти очищали дороги от разбойников, вор и убийца имел всегда приют у испанского простолюдина. На какие силы народа, на какой класс общества в Испании могли опереться люди, полные цивилизации и терпимости, вроде бывшего правителя Севильи, графа Олавиде, печальная история которого рассказывается в «Письмах об Испании»? Нет, невзирая на всю нежность путешественников к испанским доблестям, не в состоянии мы видеть в этом народе отрадных примет для будущего.

В письме своем из Кадиса наш путешественник сообщает несколько верных и характеристических подробностей о бедственном положении Испании в экономическом отношении. «Политическая экономия, — говорит он, — та наука, на которую романтики и люди феодальные смотрели как на науку,

слишком материальную, лавочную, как на науку торгашей, в наше время стала наукой государственного управления. Ничто не служит таким верным барометром степени просвещения, на какой находится общество, как его политико-экономическое устройство, его политико-экономические понятия, меры и распоряжения»^{443}. Каких, например, результатов может ожидать государство от такой таможенной системы, как испанская? Вся Испания наводнена контрабандою, всюду иностранные изделия обложены в ней огромной пошлиною, которая довела весь край до того, что на контрабандную торговлю в большей части провинций Испании глядят как на самое праведное дело.

В Андалузии, да и во всей Испании, почти нет фабрик; одна Каталония, и преимущественно Барселона, производит мануфактурные изделия для всех остальных провинций, отсюда богатство Каталонии, ее деятельность, предприимчивый характер, ее политическая важность. Без всякого сомнения, Барселона не может своими изделиями удовлетворить всей Испании, тем более что ее товары, по ху-

дому состоянию путей сообщения, обходятся весьма дорого. По причине страшных пошлин на иностранные изделия вся Испания для обогащения одного города должна платить втридорога за его изделия. Но политическая важность Барселоны такова, что трудно уменьшить привозный тариф. Потому в Андалузии, например, существует смертная ненависть к каталонцам, контрабанда же процветает в ущерб государственным доходам, ибо через таможни идет ничтожная часть товаров, огромные же их массы идут помимо таможен с их стеснительными формальностями. Контрабандисты имеют свой всегдашний приют в Гибралтаре, толпами кишат и по приморским местам и внутри Испании, составляют между собой общества с капиталом и всюду пользуются народным сочувствием. О том, как выгоден их промысел, может свидетельствовать то, что они берутся провозить товары, обеспечивая их в случае потери и получая за это от 60 до 80 процентов с их стоимости. Торговому человеку не только выгодно, но даже удобно иметь дела с контрабандистами, потому что по таможням отправление

дел запутано и затруднено до крайности отчасти по корыстолюбию чиновников, отчасти по их совершенной неспособности.

Положение промышленности и торговли в Испании никогда не было очень утешительным, не по одним правительственным мерам, но и по народному взгляду на промышленность и торговлю. Военственная и рыцарская Испания с презрением глядела на ту часть народонаселения, которая, перемешавшись с маврами, занималась только ремеслами. По старым понятиям самому простому человеку можно было жить бедно, но благородно, то есть ничего не делать, в особенности же не заниматься ручной работою. Просить милостыни в Испании никогда не считалось низким, ремесло разбойника и контрабандиста уважалось в народе; в общем мнении не уважалось только звание купца или ремесленника, может быть, потому, что торговлей и ремеслами прежде занимались арабы, и христианин, двинувшийся по их следам, бесчестил себя во мнении старых испанцев.

При таких общественных понятиях чего было ожидать от торговли и промышленно-

сти в Испании. «В этом отношении, — говорит наш автор, — история ее походила на летопись безумства, читая которую едва веришь собственным своим глазам»^[444]. После открытия золотых приисков в Америке Филипп Второй строго запретил вывоз золота за границу, следствием чего было накопление дорогих металлов в Испании, понижение их ценности, возвышение цены промышленных произведений. В надежде уменьшить высокую цену товаров правительство запретило торговать с Америкой всем городам, за исключением Севильи. Пошел целый ряд повелений, благоприятствовавших покупателям на счет продавцов, запрещено было вывозить из Испании хлеб и скот, сукна и вообще шерстяные изделия. Шерстяные фабрики стали падать, заводы кожевенные и сафьянные, когда-то рассылавшие свои произведения по всей Европе, быстро пошли к упадку, как скоро фабрикантам запрещено было, под смертною казнию, продавать за границу свои произведения. В конце XVI века стали закрываться шелковые фабрики, посылавшие свои изделия в Турцию, Тунис и Флоренцию, а корте-

сы с особенным упорством требовали исполнения запретительных законов...

Не перечесть всего ряда заблуждений, вследствие которых некогда населенная и богатая Испания стала такою пустынною страню, что в настоящее время в одной только Кастилии находится до 200 местечек и деревень, брошенных совершенно, оставленных жителями. Но в ряду мер, разрушивших прежнее благоденствие края, резче всего выступает памятник убийственного безумия, опять-таки основанный на народном фанатизме, подготовленный этим фанатизмом и без него никогда бы не проявившийся: мы говорим об изгнании мавров-магометан, последовавшем в 1609 году, при короле Филиппе Третьем. Прочитавши в «Письмах об Испании» письмо из Малаги, читатель найдет в нем подробности о том, как зародилось и как приведено было в исполнение постановление, не имеющее ничего себе подобного в истории какого-либо края. Мавров, подвергшихся изгнанию и погибших во время гонения, с ним соединенного, в одной Валенсии было до 140 000; огромное количество этих деятель-

ных, промышленных, полезных людей погибло на берегах Испании и Африки, в море от бурь, на чужой земле от нужды и голода. Но гибель их тяжело отразилась на Испании. Целые провинции опустели, земледелие упало до того, что король принужден был давать дворянские почести людям, которые займутся обработкой земли. «Но заброшенные поля Испании свидетельствуют, — говорит наш путешественник, — как мало имела успеха эта мера. Тяжело отозвалось изгнание мавров на торговле и промышленности, к которым они были особенно склонны. Сукна Мурсии, шелковые материи Альмерии и Гранады, кожи и сафьяны Кордовы продавались при них по всей Европе. Мавры устроили в Испании дороги, прорыли каналы, очистили для судоходства реки, соединили торговыми сношениями все города Испании. После изгнания их исчезли даже самые предания их промышленности, фабрики пали по недостатку рабочих рук, за ними торговля и промышленность. Поля лежали невозделанными, искусственные водопроводы развалились, опустелые дома деревень разрушились...»^{445}.

Теперь обратимся к артистической части «Писем об Испании» и ею заключим нашу немного запоздалую рецензию.

Титульный лист первого издания «Писем об Испании» 1857 г.

ПИСЬМА
ОБЪ ИСПАНИИ

В. П. БОТКИНА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ ЗАУРЛА ПРАЦА.
1857.

THÈSES, MÉMOIRES ET TRAVAUX

Collection dirigée par Charles V. AUBRUN

Professeur à la Sorbonne

VASSILI BOTKINE

LETTRES SUR L'ESPAGNE

Texte traduit du russe, préfacé, annoté et illustré

par ALEXANDRE ZVIGUILSKY

Ouvrage publié avec le concours du C. N. R. S.

CENTRE DE RECHERCHES HISPANIQUES

PARIS

1969

Обложка французского научного издания (в переводе) «Писем об Испании», 1969.

3

Зная хорошо испанский язык, имея рекомендательные письма, и, что важнее всего, подготовленный прежними своими путешествиями к довольно трудной деятельности туриста, г. Боткин не пропускает без внимания поэтической стороны Испании. Если для уразумения какого-нибудь вопроса об экономическом состоянии края он не прочь порыться в старых историях и современных книгах, зато его наблюдения по поводу народных правил, по поводу испанского искусства, по поводу испанской природы дышат своеобразностью и личными впечатлениями тонкоразвитого человека. Его артистическое чутье отыскивает жизнь и поэзию в предметах, даже кажущихся бесцветными; перед лицом красот, действительно поражающих собою, наш русский путешественник наслаждается ими, как эпикуреец, в одно время и пламенный, и спокойный. Даже по дороге от Пиренеи до Мадрита и от Мадрита до перевала через Сьерру-Морену г. Боткин умеет отдать справедли-

вость природе страны, несмотря на уныние, возбуждаемое ее пустынями. «Чудная и унылая природа! — говорит он. — Селения редки, и вы представить себе не можете, что за угрюмый вид у этих селений! Изредка по горам виднеются одинокие дома, большие, полуразвалившиеся. Испанец не любит съезживаться, он живет сально, бедно, но широко. И как все это заброшено, как всюду видны следы междоусобной войны!.. Нигде не встречаешь дерева, по окраинам полей одни только душистые кусты розмарина. Глаза свободно пробегают пространство в 8 и 10 верст, не встречая на нем ни одного жилья, ни одной малейшей рощицы олив, все пространство объято самой прозрачною, чистейшею атмосферой. Вдали по горизонту тянутся скалистые горы. Среди этой-то уныло страстной природы и выработался тип испанского характера, медленный, спокойный снаружи, раскаленный внутри, упругий и сверкающий, как сталь: африканский дикарь и рыцарь»^{446}.

Строки, приведенные нами, исполнены истинной поэзии, но уныло-поэтическая сторона Испании, так отвлекавшая иных туристов

от наблюдения за характеристическими частями обыденной испанской жизни, не мешает нашему автору находить в них свою прелесть и изображать ее достойным образом. Понятно, что Мадрид с его новыми постройками и толпами народа, одетого по французским модам, не мог представить пищи для больших наблюдений, но и в этом городе, как бы отрешившемся от своей национальности, автор находит возможным набросать множество любопытных заметок. Таковы, например, описания домашней жизни в семействах, характеристика испанских манол (гризеток), несколько уличных сцен на толедской улице. По поводу одной из этих последних и слова *рай*, которым какой-то простолюдин назвал Испанию, чичероне г. Боткина рассказал ему следующую народную легенду⁽⁴⁴⁷⁾.

Должно быть, много воды утекло с тех пор, как почва Испании могла соперничать с раем, ибо все пространство от Мадрита до мест, ближайших к Андалузии, скорее походит на печальную пустыню, где бродят тени людей, не отличавшихся ни грехами, ни добродетелью. Только после скал Сьерры-Морены при-

рода начинает изменяться: рощи олив и виноградники встречаются чаще, по краям дороги показывается бирюзовая зелень, алоэ, местами попадаются кактусы. Со всем тем из Севильи, центра Андалузии, русский турист пишет: «Красота испанской природы, о которой столько наговорили нам поэты, есть не более как предрассудок. Правда, на юге Испании растительность так величава и могущественна, что перед ней растительность самой Сицилии кажется северною, но это только редкими местами; африканское солнце, так сказать, насквозь прожигает эту землю». «Не думайте, однако, чтоб эта природа не имела своей особенной, только ей одной свойственной прелести. Она здесь не разлита всюду, как в Италии; в ней нет мягких ласкающих итальянских форм, здесь она или уныла, или дика, или поражает своею тропическою величавою роскошью. Здесь каждую минуту чувствуешь, что имеешь под ногами огненную землю, не любящую золотой середины, на которой или корчится от зноя всякое растение, или там, где влаге удастся охладить жгучие лучи солнца, растительность вырывается на

воздух с такою полнотою красоты и силы, с такою роскошью, что здесь, особенно в горах, эти чудные оазисы среди каменных пустынь производят совершенно особенное, электрическое впечатление, о котором не может дать понятия кроткая и ровная красота Италии. Здесь и пустыня (despoblado), и голые, рдеющие на солнце скалы, и растительность дышат какою-то сосредоточенной, пламенной энергией»^{448}.

Севилья, как и следовало ожидать, изображена г. Боткиным *con amore*[136]. В этом городе, говорит он, испанский элемент слился с мавританским и из этого слияния вышло нечто необычайно привлекательное, оригинальное и поэтическое. Красота Севильи не от природы и не от искусства; она стоит среди широкого поля, окруженная ветхими мавританскими стенами, ее Гвадалквивир не широк и не красив, ее улицы узки и извилисты, дома чужды всякого архитектурного стиля, в целом город не красив, но он полон очаровательных подробностей для человека с артистической душою.

Что может быть прелестнее внутренних

мавританских дворов в домах Севильи, так, как они описаны в «Письмах об Испании»? Эти дворы составляют щегольство севильтян, они видны с улицы сквозь большую решетчатую дверь, они украшены строем тонких, грациозных колонн, фонтанами и цветами, зеркалами и картинами. Сверху дворы закрыты или полотном, или натуральной крышей из винограда. «Севилья, — по выражению путешественника, — оживляется лишь тогда, когда становится темно, — точно как нервическая красавица»⁽⁴⁴⁹⁾. Занавесы дверей тогда отдергиваются, каждый двор освещен лампами, фонтаны блещут, в каждом окне сверкает несколько пар темных глаз. Женщины, все в черном, в черных кружевных мантилиях, толпами высыпают на улицу. Всюду видны богатые национальные костюмы на мужчинах, всюду идет оживленная беседа, всюду раздается музыка и стук кастаньетов. Красавицы Севильи вполне достойны своей древней славы: «Эти чудные головки, которые, можно сказать, гнутся под густою массою своих волос, — самой изящной формы; как бедна и холодна кажется здесь эта условная, антич-

ная красота. Невыносимая яркость и блеск этих черных глаз смягчены обаятельною негою движений тела, дерзость и энергия взгляда — наивностью и безыскусственностью, которыми проникнуто все существо южной испанки. И какая прозрачность в этих тонких и вместе твердых чертах!.. Вся гордость андалузки состоит в ее удивительных руках и маленькой, узкой ножке, обутой в башмачок, едва охватывающий пальцы. Походка их обыкновенно медленна, движения живы, быстры и вместе томны. *Эти крайности слиты в севильянках, как в опале цветá»*

{450}

Описанию испанских женщин посвящены многие блистательные страницы в книге, нами разбираемой; читатель сам отыщет их и согласится с нашим отзывом. Мы же от севилянок должны перейти к испанской живописи, переход этот не так странен, как он кажется; ибо, по словам нашего автора, только побывав в Испании, посмотря на ее женщин, вполне поймешь колорит величайшего из мастеров испанской школы, Мурильо.

В Севилье находится собрание картин, в

одной зале которого находится до шестнадцати произведений этого художника, и лучшей его манеры [137]. По словам автора «Писем об Испании», человек, не выдавший картин Мурильо в самой Севилье, не испытал целого мира невыразимых и недоступных наслаждений. Мурильо все доступно: начиная от глубоких тайн души человеческой до вседневной жизни и самых прозаических сцен природы. Этот мастер, у которого пламенная сила и воздушность колорита слиты с деликатной нежностью фламандской отделки, есть истинный религиозный живописец в самом страстном значении этого слова.

Настоящая католическая живопись (здесь мы значительно сокращаем замечания г. Боткина) могла развиваться лишь в одной Испании, под влиянием горячих страстей и пламенной, иногда фанатической религиозности. Предания античного искусства не проникали ее, как это было в Италии, к ней не пришивались игривые фантазии древнего мира, считавшиеся в отчизне Мурильо порождением дьявола. На два предмета лишь отзывались испанские художники — к природе и ре-

лигии бросились они со всем вдохновением их огненной и могучей природы. Портреты итальянцев и французов бледны пред портретами Веласкеса. В Мурильо воплотилась страстная, любящая, поэтическая сторона католицизма. Религиозность его пламенная и будто замирающая в восторге мистических видений, и в то же время не чуждая, не враждебная миру, нежная и любящая. Краски его — это природа со всею своею плотью и кровью, по проникнутая какою-то невыразимую идеальностью. В природе тени прозрачны, и именно своими тенями, проникнутыми светом, Мурильо превосходит всех колористов. Мистический сумрак облекает всегда его картины, но глаза свободно уходят в дальние их части. В этой кроткой, воздушной яркости света, в этом прозрачном мраке теней, в этой особенной, лишь одному Мурильо принадлежащей неопределенности контуров, сливающихся с воздухом, дышит какая-то преображенная, поэтическая жизнь.

У Мурильо есть много картин, изображающих подвиги милосердия. В этих картинах, где нет места так удающимся ему экстазу и

благодатным видениям, он равно велик по красоте, и простоте, и натуральности замысла. В картине «Св. Елисавета, омывающая раны прокаженных» художник представил Елисавету прекрасной женщиною, вовсе не чуждой физического отвращения при виде язв и гноя, но принятый ею подвиг и сила на его совершение ясно видны во всей ее фигуре. «Св. Фома, раздающий милостыню нищим» подает деньги изнуренному, но прекрасному собой человеку; в лице святого нет ни малейших следов изнурения и старости, его благородное лицо дышит невыразимою кротостью, на губах его мелькает грустная улыбка. В Севилье, в частном доме, есть одна картина Мурильо, изображающая, как среди горных дубрей разбойник кидается к ногам идущего монаха и молит принять его исповедь. Зная гений и силу испанского богатыря-художника, можно себе вообразить, что сделал он из такой дивной задачи!

Мы не будем следить за дальнейшим пребыванием нашего путешественника в Севилье, за наблюдениями его в Кадисе, Гибралтаре, Танхере и Малаге. Читатель сам не пропу-

стит в книге ни боя быков, ни описания танцев, ни страниц об испанских разбойниках, ни поэтических впечатлений автора в море, на берегах Африки и в Гибралтаре. Но последнюю часть книги, под названием «Гранада и Альамбра», мы в особенности рекомендуем всем людям, жаждущим поэзии и высоко ценящим художественное слово, вырывающееся из груди человека под влиянием высоких поэтических ощущений. На нас, собственно, страницы, нами названные (даже включая к ним исторические сведения о времени мавританского владычества), постоянно производят самое сладкое, благотворное впечатление. В них букет всей книги, соединение всех лучших ее сторон; ни разу не перечитывали мы их, не ощущая высокого артистического наслаждения. Такова сила, данная языку и речам людей, изящно развитых; от простого их рассказа восприимчивый читатель или слушатель добудет себе более наслаждений, нежели иной, тупой на впечатления путешественник, несколько раз видавший Гранаду и Альамбру своими глазами!.. Похвала наша может показаться чересчур яркою, пожалуй,

пристрастною, мы это хорошо знаем и потому выписываем несколько маленьких отрывков из главы, про которую говорится. Если строки, напечатанные нами, не возбудят никакого чувства в читателях рецензии нашей, мы согласны повиниться в преувеличении похвалы и даже принять упрек в пристрастии

{451}

Рецензия наша едва ли может назваться полною, хотя она и довольно объемиста. Показать дух и поэтическое значение сочинения — вот чего мы хотели и, как кажется, достигли до некоторой степени. Многих подробностей мы не коснулись, многих фактов в пользу сочинения мы не сообщили, мы не сообщили даже читателю хотя нескольких слов из похвальных отзывов, сделанных о ней несколькими германскими рецензентами. Да и стоит ли подкреплять иноземными авторитетами то, что кажется нам достойным всякой похвалы. Немецкий критик, как бы он ни был зорек, не может знать всего того, что мы знаем, он по необходимости ограничится похвалой изящным страницам и дельному политическому взгляду на дела Испании — вре-

мя появления книги, ее роль и важность в цепи хороших произведений современной нашей словесности не совсем понятны для иноземца. «Письма об Испании» печатались в 1847 году, в одно время с «Обыкновенной историей», «Записками охотника», «Антоном Горемыкой», лучшими произведениями Некрасова. Они представляют вместе с названными нами произведениями горсть поэтических зерен, брошенных на почву, готовую к их принятию, на почву, отчасти засушенную антипоэтической атмосферой предшествовавших годов. В письмах этих, несмотря на предмет их, так отдаленный от нас и от интересов наших, смело сказалось слово человека, ценящего наслаждение и умеющего наслаждаться, слово писателя, всю свою жизнь любившего солнце и цвет жизни, свято чтившего правду и законность высшей поэзии. Потому-то «Письма об Испании» были замечены в то время, когда, казалось, до Испании никому не было дела, когда превосходные труды Форда и Борро оставались не переведенными ни в одном журнале. Потому и в наше время, которое по изобилию мелких и

задних дворов литературы не уступает старому, ни на одном из этих мелких двориков не поднимается голос против этой умной и поэтической книги, хотя на нее напасть очень легко, и никто из лиц, знающих ей цену, не унизится до спора в ее защиту. Стоит только сказать: «Какое дело нам до красоты слога и до поэтических наслаждений, испытанных за пятнадцать лет назад русским человеком в садах Альамбры? Не лучше ли изображать то, что к нам ближе и что касается обыденной жизни нашей?». Дело в том, что подобных слов никто не скажет, а если и скажет, то лишь для собственного своего увеселения, несколько не повредивши ни книге, ни ее автору. Поэзия душевных ощущений наших есть благо высочайшее в мире, и счастлив, и надолго будет жить в нашей памяти писатель, сколько-нибудь ее воплотивший в своем слове.

Если глаз его видит далее простого глаза, если сердце его горячо отзывается на красоту, если его строки живо воссоздают поэзию мира внешнего и внутреннего, цели его больше чем достигнуты. Что нам за дело до причин

сказанной поэзии, кто вправе спрашивать, родилась ли она при виде волн Средиземного моря, садов Хенералифе или степей Малороссии. Со времени первого появления «Писем об Испании» являлось в свете немало путешествий, самых дельных и ученых, сочинений, относящихся к странам, несравненно больше для нас интересным, чем Испания. Они принесли свою пользу и в свое время забылись, а книга г. Боткина долго останется любимой книгою читателя поэтически развитого. Артистический дух, ее проникающий, всегда свеж и пленителен. В ней родники поэзии, которых мы всегда жаждем. Она явилась вовремя и сделала довольно пользы. Всякое даяние благо, и изо всех даяний особенно хорошо то, которое приходит кстати и вовремя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Б. Ф. Егоров

В. П. БОТКИН — АВТОР «ПИСЕМ ОБ ИСПАНИИ»

В конце 1830-х и в первой половине 1840-х годов испанская тема была чрезвычайно популярна в русской литературе, причем более всего в художественно-романтическом освещении. Испания представляла перед читателем как экзотический мир пышной природы («лавры и мирты»), пламенной любви, сильных страстей [138]. Даже реалистически трезвый Белинский поддался этому веянию. Восторгаясь, например, драмой Пушкина «Каменный гость», он писал: «Какие роскошные картины волшебной страны, где ночь лимоном и лавром пахнет! <...> Идея Дона Хуана могла родиться только в стране, где жить — значит любить и драться, а быть счастливым и великим — значит быть любимым и храбрым, — в стране, где религиозность доходит до фанатизма, храбрость до жестокости, лю-

бовь до иступления, где романтическая настроенность делает героем и кавалера, и разбойника»[139].

Это было написано в апреле 1846 г., а в сентябре из-за границы вернулся В. П. Боткин, полный испанских впечатлений, и создал серию очерков о реальной Испании, очерков, которые значительно поколебали все прежние представления русских людей об этом крае и открыли новую страницу в нашей испанистике.

Реальная Испания была совсем не похожа на литературную. Задержанная в своем развитии многовековым деспотизмом, разоренная почти непрерывными войнами и безудержным расточительством двора, Испания вступила в XIX век нищей и отсталой страной, пережившей ряд разгромных поражений в войнах с Англией и Францией.

Однако, когда Наполеону удалось в 1808 г. оккупировать Испанию и посадить на престол своего брата Жозефа, страна нашла в себе силы для сопротивления. Иноземное иго вызвало такой общенародный гнев, которого еще не видывала Испания за всю свою исто-

рию, — народ поднялся на партизанскую войну. Были созваны кортесы (парламент), принявшие прогрессивную конституцию (1812). Разгром наполеоновской армии в России ускорил освобождение Испании; с помощью англичан партизаны изгнали французов. Однако при поддержке европейской реакции к власти пришел король Фердинанд VII, разогнавший кортесы и отменивший конституцию.

Восстание в армии под руководством полковника Риго, вызвавшее народное восстание в Мадриде (1820), заставило было короля на время отступить: признать конституцию, созвать кортесы и уничтожить инквизицию. Но европейские монархи поспешили прийти ему на помощь: в Испанию был послан французский экспедиционный корпус, который помог Фердинанду расправиться с кортесами и отменить все прогрессивные законы.

В напряженной обстановке перед смертью Фердинанда VII, когда реакция предполагала возвести на престол своего ставленника — дона Карлоса, брата короля, королева Мария Кристина была вынуждена снова созвать кор-

тесы и пойти на уступки либералам. После смерти Фердинанда (1833) на престол вступила его малолетняя дочь Изабелла, а Мария Кристина стала регентшей, реальной правительницей. В течение шести лет Испанию раздирали затем междоусобные войны между войсками Марии Кристины и сторонниками дона Карлоса, провозгласившего себя королем Карлом V, и лишь в 1839 г. вся страна оказалась во власти Марии Кристины и Изабеллы.

С 1834 по 1843 г. еще непрерывно вспыхивали восстания прогрессистов (К. Маркс называл этот период третьей революцией после восстаний 1808—1814 и 1820—1823 гг.), да и затем, в течение всего XIX в. страна будет сотрясаться от революций, от восстаний различных группировок, от дворцовых переворотов и заговоров.

Однако лишь наполеоновская оккупация вызвала в Испании общенародный подъем, все же остальные революции и политические акции первой половины XIX в. происходили в верхах; различные группировки стремились опираться на народ, увлекая его на борьбу

обещанием благ, но сам народ был слишком забит, слишком невежествен, чтобы хорошо ориентироваться в социально-политических конфликтах и проявлять политическую активность; К. Маркс неоднократно подчеркивал, что испанский народ, начала XIX в. имел «низкий уровень сознания», что «крестьянство, жители маленьких городов, расположенных вдали от морей, и многочисленная армия нищих в рясах и не в рясах, глубоко проникнутые религиозными и политическими предрассудками, составляли огромное большинство национальной партии»[140].

Вот почему испанское общество середины 1840-х годов являло собой удивительный калейдоскоп политических страстей и равнодушия, религиозного фанатизма и презрения к духовенству, традиционной культуры и французского влияния. Во всем этом нужно было разобраться русскому путешественнику, который прибыл в Мадрид летом 1845 г., в момент относительного политического затишья: Марии Кристине, опиравшейся на консервативное большинство тогдашних кортесов, временно удалось укрепить свою власть.

Задача была трудной, но по своим воззрениям и личным данным Боткин был человеком, которому она в значительной мере оказалась по плечу.

1

Василий Петрович Боткин (1811—1869) свыше тридцати лет находился в самой гуще русской литературной жизни. Его дарили дружбой и любовью Белинский, Бакунин, Герцен, Грановский, Некрасов, Тургенев, Л. Толстой, Фет и много других писателей, ученых, художников. И почти все они считали Боткина лучшим ценителем их произведений. Следовательно, он должен был обладать весьма незаурядными и разносторонними качествами, чтобы привлекать к себе внимание таких крупных и таких разных людей; В исследованиях или воспоминаниях о литературе, искусстве и общественной жизни России 1830—1860-х годов имя Боткина повторяется неоднократно. Иногда авторы считают даже необходимым отвлекаться от основной темы и посвящать ему особые разделы и главы в своих работах[141]. Но специальных исследований о нем очень мало[142].

Юность В. П. Боткина; старшего сына крупного московского чаеоторговца, прошла в обстановке «темного царства»[143]. Впрочем, воспитывался он в хорошем частном пансионе В. С. Кряжева, где получил основы гуманитарных знаний, а затем всю жизнь самоучкой пополнял свое образование. В конце 1835 г. он познакомился с Белинским, который ввел его в кружок Станкевича. Возможно, по инициативе Белинского, одного из главных сотрудников журнала «Телескоп», Боткин написал для этого издания свой первый труд, увидевший свет, — путевой очерк «Русский в Париже» (1835), особенно ценный описанием визита к Виктору Гюго.

Как и Белинский, Боткин в 1836—1837 гг. попал под сильное влияние М. Бакунина и принял участие в известном споре Белинского и Бакунина о призвании человека (1838): быть теоретиком-философом или практическим деятелем, — причем уже здесь проявились характерные черты Боткина: уклончивость и стремление к «золотой середине». Под влиянием Бакунина Боткин в это время становится активным «гегельянцем», востор-

женно отзываясь о трудах и деяниях радикальных учеников философа в современной Германии (Штраус, Марбах, Фейербах).

В 1838—1839 гг. Боткин довольно активно сотрудничал в журнале Белинского «Московский наблюдатель» в качестве музыкального критика, переводчика Гофмана, очеркиста («Отрывки из дорожных заметок по Италии», 1839). Эстетические воззрения его той поры представляют причудливый сплав гегелевских идей с гофмановским романтизмом. А романтический пафос и левогегельянские идеи вели Боткина к «вражде противу существующего порядка»[144].

Вместе с Белинским Боткин в начале 1840-х годов участвует в журнале «Отечественные записки», где он опубликовал несколько статей о Шекспире, несколько статей о музыке и живописи, еще один путевой очерк — о Риме, по своей тональности тесно связанный с первым итальянским очерком. Из произведений Боткина этой поры заметно выделяется серия обзоров «Германская литература», в которых он знакомил русского читателя с общественной и эстетической полемикой в немецкой

периодике. В первой из статей («Отечественные записки», 1843, № 1) он изложил начало брошюры молодого Энгельса «Шеллинг и откровение». Вообще его обзоры, написанные в духе идей Белинского начала 40-х годов, полны пафоса общественной активности, пронизаны защитой гражданских тем в искусстве.

В середине 1840-х годов Боткин много путешествовал по Европе, в частности летом 1845 г. совершил поездку в Испанию. Благодаря Бакунину он познакомился в Париже с К. Марксом. В эту пору, как и в начале 40-х годов, его воззрения все еще отличаются политическим и социальным радикализмом. В письме к Огареву от 17 февраля 1845 г. из Парижа он говорит о «свободе, братстве и равенстве», «ненависти к христианству и деспотизму», возмущается французскими «bourgeois-gentilshommes», пытавшимися «сдержать движение низших классов»; радуется, что «Германия воспиталась теоретическою отвагой, а это необходимо должно вести к практической отваге». Цель современной философии, считает Боткин, — «сделать свободным не субъекта», «а гражданина»[145]. Из этого же письма,

судя по отзывам о Мишле, Э. Сю, О. Конте, видно, что Боткин следил и за философским движением во Франции, и за полемикой по религиозным вопросам (Мишле, Кине, Э. Сю в это время ожесточенно сражались с иезуитами).

Длительное пребывание за границей, в самом центре тогдашнего капиталистического мира, способствовало не только политическому «полевению» Боткина и его окружения (прежде всего Н. П. Огарева и Н. М. Сатина), но и расшатыванию романтической основы их сознания. Развитие буржуазных отношений, тяга к естественнонаучным знаниям, появление и распространение позитивизма оказывали свое воздействие на вчерашних романтиков. Огарев и Сатин в Берлине и Париже занимаются физиологией, анатомией, астрономией. В письме к Огареву от 5 марта 1844 г. Сатин рекомендует адресату (без оценок, впрочем) сочинения О. Конта[146]. Другой член московского западнического кружка Н. Г. Фролов уже очень положительно отзывается о философии и публичных лекциях О. Конта[147]. С меньшим увлечением за-

нялся позитивизмом Боткин, как видно из писем Огарева к Герцену от 2 февраля 1845 г. [148] и Белинского к Боткину от 17 февраля 1847 г. Белинский оспаривает мнение адресата о Конте как основателе новой философии. Признавая заслуги Конта в разрушении «теологических» методов науки, он отмечает механистичность его метода и непонимание диалектической взаимосвязи явлений[149]; интересно, что Белинский зато высоко оценивал применение позитивизма к опытным наукам, в частности — к физиологии, и поэтому ученика Конта, Э. Литтре, ставил значительно выше учителя[150]. Антидиалектическую сущность философии Конта Боткин разглядел раньше, чем Белинский, что явствует из уже цитированного письма Боткина к Огареву от 17 февраля 1845 г., но, очевидно, затем изменил свое критическое отношение к нему на апологетическое. Параллельно и в связи с позитивизмом Боткин увлекается естественными науками, собирается даже заняться всерьез органической химией; размышляет об экономических и промышленных вопросах. В соответствии с требованиями Конта устанав-

ливать опытным путем закономерные связи явлений, а также под влиянием буржуазной политической экономии Боткин заинтересовался законами промышленного развития, обосновывая это таким образом: «Если в мире природы все условливается законами, то задача современной науки отвлекать законы, действующие в мире политическом и промышленном. Дело не в том только, чтобы нападать на то, что есть, а отыскать, почему это есть, словом, отыскать законы, действующие в мире промышленном. И великая заслуга Смита состоит именно в том, что он открыл многие законы, управляющие в промышленности»[151]. Собственно говоря, Боткин идет здесь уже дальше Конта, к материалистическому пониманию взаимосвязи сознания и бытия: «Понятия, идеи совершенно обуславливаются общественностью, в которой поставлен человек»[152]. Разумеется, это не марксизм, так как «общественность» для Боткина имеет крайне расплывчатый характер, но это — качественный скачок, приближение к материалистической точке зрения, грань, отделяющая позицию Боткина от позитивист-

ской (как, субъективно-идеалистической в конечном счете). Однако социальные условия России 1840-х и даже 1860-х годов и, соответственно, развитие философской мысли не позволили передовым общественным деятелям установить принципиальное различие между позитивизмом и материализмом: эмпиричность позитивизма и его полемическая направленность против идеалистической философии немецких классиков воспринимались ими как свойства наиболее прогрессивного философского метода. Подобной ошибки не избежал даже Чернышевский, который по-настоящему лишь в 70-х годах осознал гносеологический релятивизм и даже нигилизм философии О. Конта, а в 1860 г. еще восторженно отзывался о нем[153]. Не понимал субъективистского характера позитивизма и Боткин, который умудрился поэтому сочетать симпатию к Конту с требованием «отыскать, почему это есть» и с обусловленностью идей «общественностью».

Элементы историзма в воззрениях Боткина сблизили его с Белинским периода «Современника», окончательно отказавшимся в это

время от утопических черт мировоззрения: Боткин, например, полностью согласился с отрицательной оценкой Белинским книги утописта Луи Блана «История французской революции» (1847) как субъективистской и антиисторичной[154].

Подобно Белинскому, Боткин и в русском славянофильстве усматривал утопические иллюзии: «В славянском вопросе так, как он поставляется здесь, упущена только безделица — принцип политико-экономический и государственный; это есть не более как романтические фантазии о сохранении национальных предрассудков»[155]. Статью Ю. Самарина[156] Боткин охарактеризовал как «мистико-общественный туман»[157], в книге Гакстаузена[158], соприкасавшегося своими идеями со славянофильством, он увидел «романтические инстинкты немецкие»[159]. И опять же, подобно Белинскому, Боткин считал заслугой славянофилов постановку вопроса о национальности (ибо она для него объективная реальность!) и критику космополитизма (ибо он — абстрактная утопия!)[160].

Следование утопизму усмотрел Боткин и в

герценовской критике буржуазии[161]. В дальнейшем, в связи с «Письмами из Avenue Marigny» (1847), он станет говорить о «неопределенности» позиции Герцена[162]. В этой критике было рациональное зерно: в мировоззрении Герцена 1847—1848 гг. можно было найти и социально-утопические элементы, и нечеткость положительной программы. Но вопрос в том, с какой точки зрения критиковал эти недостатки сам Боткин. Он считал, что его взгляд — позиция объективного скептика, который восстанет против любого увлечения. Поэтому он почти в каждом письме тех лет к Анненкову, Белинскому, Герцену подчеркивал, что он не защитник буржуазии, видит ее «безобразия» и в России, и на Западе, но хочет заметить и достоинства этого сословия[163].

Однако в действительности скепсис Боткина объясняется тем, что в эту пору он был уже эклектиком-примирителем, противником политического радикализма. В условиях напряженного развития общественной мысли перед революцией 1848 г. в Боткине впервые четко проявился умеренный либерал (хотя за-

родыши либерализма, мировоззренческие и психологические, были заметны и раньше). Он приветствовал «Перед грозой» Герцена за отсутствие произвольных решений, за показ сложности и запутанности современных социальных и исторических проблем: здесь он не встретил крайностей «Писем из Avenue Marigny»[164] и принял страстный поиск запутавшегося в противоречиях демократа за родственный ему скепсис эклектика.

Более того, Боткин явно лукавил, заявляя о своем «нейтралитете» по отношению к буржуазии. Действительно, он видел все ее мерзости, и никак нельзя его назвать защитником буржуазии промышленной или торговой. Но как либерал он жаждал не обострения классовой борьбы, а, наоборот, примирения. Поэтому его заветной мечтой было «соединение сословий», он с гневом обрушивается на купечество, пытавшееся обособиться, восторженно приветствует новое уложение русского правительства о выборах городского головы, по которому «сословия дворянское, купеческое, мещанское и цеховое сошлись вместе», мечтает об уничтожении крепостно-

го права опять же с точки зрения «соединения сословий», так как тогда «торговые дома будут основываться дворянством, и оно выступит на поприще промышленности»[165]. Именно о такой надсословной, или, вернее, всесословной, буржуазии мечтал Боткин: «дай бог, чтоб у нас была буржуазия!»[166]. Все эти идеи ярко отразятся, как увидим ниже, в «Письмах об Испании».

Вместе с Грановским Боткин боялся и «крайностей» Белинского, то есть якобы резко отрицательных его оценок буржуазии и ее роли в современной жизни Западной Европы, о чем он с тревогой сообщал Анненкову и самому Белинскому в письме от 19 июля 1847 г. [167] На самом деле позиция Белинского в этом вопросе в 1847 г. была значительно более сложной и глубокой, чем у Боткина. Он считал, что необходимо различать буржуазию «в борьбе», когда она «не отделяла своих интересов от интересов народа», и буржуазию «торжествующую»; а главное — необходимо видеть разные ее слои («крупные капиталисты — чума и холера»); негодуя на утопические теории, Белинский подчеркивал исто-

рически прогрессивную роль буржуазии, несмотря на все ее минусы: «Промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества»[168]. Таким образом, отношение Белинского к третьему сословию существенно отличалось от боткинского, хотя у них и были некоторые точки соприкосновения, в частности их сближало признание объективно прогрессивного исторического значения буржуазии. Кроме того, оба горячо желали отмены крепостного права, и оба думали в связи с этим о буржуазии. В письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г. Белинский — почти по-боткински — заявлял, что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази»[169]. Чрезвычайно реалистически мысливший в ту пору Белинский ясно понимал, что в условиях николаевской России народу нет возможности активно бороться за свое освобождение (между прочим, Белинский, очевидно, не заметил предреволюционного потенциала и во Франции в 1847 г.); этим объясняются его резкие

реплики в том же письме Анненкову относительно роли народа в истории и упование на буржуазию, от которой зависит «всякий прогресс». Буржуазия для Белинского в этом письме — совокупность энергических личностей, способных вести государство к прогрессу, а народ — к освобождению.

Скептическое отношение к народу проявилось и у Боткина, который писал Анненкову 20 марта 1847 г.: «Я не понимаю этого обожающего поклонения массам; я чувствую глубокое сострадание к их положению, <...> но это не мешает мне видеть все глубокое невежество масс»[170]. Однако, если Белинский глубоко страдал от отсутствия революционности в русском крестьянстве, то Боткин был вполне удовлетворен такой ситуацией.

Изменения в социально-политических воззрениях Боткина, естественно, отразились на его литературно-эстетических взглядах.

Вернувшись из-за границы, Боткин в 1846 — начале 1847 г. еще полон социально-политического пафоса: в письме к Анненкову от 20 ноября 1846 г. он отмечает, что «сила русской литературы теперь главное состо-

ит в идеологии», «остается только литературной критике освободиться от своего молоха — художественности»[171]. Но через несколько месяцев он стал быстро отказываться от радикализма и в эстетической сфере. В письме к Анненкову от 24—25 августа 1847 г. он уже защищает «артистический элемент» и «преlestь бесцельности», отвергает доктринерство любого толка (в том числе, впрочем, и доктрину «чистого искусства»), возвещает «свободу в чувствах и мыслях», «терпимость» [172].

Естественно, в этих условиях весьма сложно развивались взаимоотношения Боткина с новой редакцией журнала «Современник», возглавляемой Некрасовым и Белинским. В конце 1846 г. он с сочувствием относился к организации журнала, отрицательно отзывался о Краевском[173], редакторе «Отечественных записок», которые в 1846 г. покинул Белинский. Некрасов и Белинский начали с Боткиным переговоры о его переезде в Петербург для редакционной работы в «Современнике»; видимо, речь шла о заведовании иностранным отделом: Боткин должен был отби-

рать зарубежные статьи для перевода на русский язык и опубликования в журнале[174]. Но после одного разговора (в январе 1847 г.) с Некрасовым, где последний не проявил достаточно «терпимости» (Боткин заинтересовался, будут ли в отделе «Науки» печататься компиляции из иностранных источников, а Некрасов «жестко» ответил, что редакция хочет «помещать статьи преимущественно о России и оригинальные»), Боткин тотчас же перешел в «Отечественные записки», куда Краевский принял его с распростертыми объятиями в пику «Современнику»[175]. Белинский стыдил Боткина, требуя отказа от журнала Краевского[176], но тот примкнул к либеральному кругу Грановского, считавшего, что необходимо поддерживать и «Современник», и «Отечественные записки» как журналы прогрессивного направления.

В связи с «двойной игрой» Боткина между ним и Белинским завязывается интенсивная переписка (за 1847 г. сохранилось 14 писем Белинского и 3 письма Боткина, что составляет около половины всей переписки), в которой особенно интересны споры на литератур-

но-эстетические темы. От Белинского, к концу жизни все усиливавшего гражданский пафос своей критики, не укрылась эволюция общественных и эстетических взглядов Боткина 1847 г. Потому Белинский и дал ему известную характеристику: «Ты, Васенька, сибарит, сластена — тебе, вишь, давай поэзии да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами»[177]. В сочетании с усилившимися либеральными тенденциями в воззрениях Боткина эти особенности не могли не обнаруживать его существенных расхождений с Белинским.

Некоторое сближение позиций наметилось, впрочем, по отношению к «Обыкновенной истории» Гончарова, однако тут же проявилось и различие. Боткин согласился с восторженным отзывом Белинского о романе (в его письме к Боткину от 17 марта 1847 г.), но добавил, что Гончаров — мастер «изящной легкости» рассказа, «высокий беллетристический талант» (а беллетрист отличается от истинного художника, который «всюду втирается в глубь и сущность») и что роман наносит удар не только по романтизму, но и по «ариф-

метическому здравому смыслу»[178].

Последнее суждение Боткина Белинский повторил в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», но, касаясь мастерства и легкости Гончарова, счел эти особенности признаком «поэта-художника», приближающегося «к идеалу чистого искусства»[179]. Для Боткина истинный писатель-художник из-за своей серьезности и глубины «читается нелегко» [180], поэтому больше удовольствия доставляет изящная (и умная, впрочем) беллетристика; для Белинского же Гончаров — не «беллетрист», а «художник»; но именно «художник», т. е. сторонник «чистого искусства», не проникает вглубь; значительно интереснее поэтому писатели-идеологи типа Герцена, которым «важен не предмет, а смысл предмета». Несомненно, Белинский предпочитал «Кто виноват?» «Обыкновенной истории», у автора которой «нет ничего, кроме таланта», а «нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта» [181]. Когда Боткин еще не отказался от политического радикализма, он также чрезвычайно высоко оценивал «Кто виноват?», что вид-

но из его письма к Герцену от 18 августа 1846 г.[182] Но в 1847 г. Боткин в основном восторгался «Обыкновенной историей», а о «Кто виноват?» говорил лишь вскользь[183].

Совершенно противоположным оказался подход критиков к повести Григоровича «Антон Горемыка». Белинский прошел мимо идеализации персонажей, мимо длиннот, потрясенный разоблачением в повести пороков крепостного права (письмо к Боткину от 2—6 декабря 1847 г.)[184]. А Боткин остался недоволен повестью за художественные недостатки, как видно из того же письма Белинского.

Из-за подобных различий возник спор и по поводу «Записок охотника». Смысл полемики заключался в том, что Белинский больше оценил социально-типическую сущность образов, а Боткин — художественность рисунка, тонкую наблюдательность, поэтизацию природы[185].

Пути бывших друзей все более расходились. До разрыва дело еще не дошло. Более того, споры носили пока именно дружеский характер. И Белинский, и Боткин прислушивались к мнениям оппонента и даже повторяли

иногда удачное выражение или мысль товарища, если они соответствовали их взглядам. Но в целом их принципы и методы все более и более рознились, и неизвестно, сохранились ли бы в дальнейшем дружеские отношения между ними (смерть Белинского в мае 1848 г. оборвала дискуссии), тем более что европейские революции 1848—1849 гг., вызвавшие в России серию репрессий, еще более оттолкнули Боткина в сторону либерализма.

2

В таких условиях готовились и печатались боткинские «Письма об Испании». Понять их содержание и изменения суждений их автора можно лишь при учете его сложной эволюции в 1845—1849 гг. Ведь в основу текста были положены, очевидно, реальные испанские письма Боткина 1845 г. В 1846 г. начало цикла с исправлениями и дополнениями было подготовлено автором для альманаха Белинского «Левиафан» [186]. Напечатаны же «Письма об Испании» были в «Современнике» — первые три из них в 1847 г., последние три — уже после февральской (1848) французской революции, в 1848—1849 гг. В 1851 г. появился еще от-

дельный очерк о Гранаде, продолжающий цикл. Так что в этом произведении как бы отразился весь идеологический путь автора во второй половине 1840-х годов.

«Дореволюционные» три письма в основном посвящены политическому и социальному положению тогдашней Испании, немалое место там занимают также описания испанских женщин, природы, быта (в последних же трех, помимо природы и женщин, будет идти речь лишь об истории Испании)[187]. Обилие серьезных суждений политического и экономического характера в «Письмах об Испании» дало повод П. Б. Струве считать Боткина чуть ли не учеником Маркса и чуть ли не предшественником марксизма в России[188]. Особенно выделял Струве следующую фразу: «Ничто не служит таким верным барометром степени просвещения, на какой находится общество, как его политико-экономическое устройство и его политико-экономические понятия, меры и распоряжения, и самое верное изображение цивилизации какой-либо страны было бы описание ее экономических отношений и учреждений <...> Англия доказа-

да высокую степень своей цивилизации особенно тем, что поставила законы политико-экономические в основу своего государственного управления». Народник В. А. Мякотин оказался дальновиднее легального марксиста Струве и верно заметил, что «для Боткина экономические идеи и учреждения являлись не причиной, а признаком известного состояния цивилизации»[189]. Впрочем сам Мякотин привел несколько примеров, из которых видно, что Боткин *иногда* признавал влияние экономических факторов на политическую жизнь: так, протест каталонцев против закона о рекрутстве он объяснил нуждой промышленной Каталонии в рабочих руках; причину слабой революционной активности народа он усматривает в относительной материальной обеспеченности испанского крестьянина и т. п.

Однако суждение, вырванное из контекста, никогда не может объяснить систему и метод автора в целом. Мякотин в полемике со Струве пытался сформулировать именно общие принципы Боткина, утверждая, что «политические и экономические порядки, мифо-

логия и искусство являются» для него «одинаково порождениями национального характера»[190]. Но и это определение односторонне. Национальный характер, вообще национальность для Боткина — не первопричина; он понимал (и это не было уже новостью в середине XIX века!), что национальность создается и развивается исторически. Первопричин общественно-политических фактов Боткин просто не знает, чем и объясняются его откровенные заявления о «необъяснимости» некоторых исторических событий (письмо IV) и даже всего современного состояния Испании (письмо II) или его скептические сентенции по поводу истории, которая «не знает никакого другого права, кроме силы и хитрости», и по поводу сомнительного прогресса человечества (письмо II). Если же Боткин и заводит речь о факторах, движущих историю, то ими оказываются *идеи*. «Три века правительственного безумства» в Испании объясняются оторванностью знати от «идей современной себе цивилизации»; зато влияние философии энциклопедистов повлекло за собой изменения в жизни страны[191] (впрочем, с другой сто-

роны автор отмечает, что одиночки-просветители оказывались совершенно бессильными перед лицом инквизиции). Равнодушие испанского народа к политическим переворотам наверху, к конституциям и т. п. объясняется в разных местах книги разными причинами: то бесчеловечным угнетением, то отсутствием в народе передовых идей. Последним же обуславливается отсутствие революционных настроений в массах (письмо I), в то время как в другом месте речь идет о материальном довольстве народа (письмо II); это не помешало автору в третьем месте говорить, наоборот, о бедности испанцев и их участии в революционной борьбе: «Народу, привыкшему ко всякого рода лишениям, без промышленности, без торговли, нечего было терять в этих волнениях» (письмо III). Затем относительный классовый мир в Испании объясняется отличием ее истории от исторического пути Франции и Англии: там сословная вражда происходит якобы от племенной ненависти покоренных к завоевателям[192], в Испании же дворянство не было пришлым племенем. Таким образом, общий эклектизм Ботки-

на оказался, особенно заметным применительно к истории: ему никак не удавалось здесь свести концы с концами. Во всяком случае заманчивая формула «понятия, идеи совершенно обуславливаются общественностью, в которой поставлен человек» на деле оказывается лишь смутной догадкой, не повлиявшей на методологию автора в целом.

Зато либеральные социально-политические идеалы Боткина весьма заметно проявились в «Письмах об Испании». Его эволюция в сторону либерализма не могла не отразиться в таком значительном произведении. И здесь, как и в частных письмах, чуть ли не главной идеей оказывается мечта о классовом мире и единстве. Поэтому с таким упоением и рассказывает Боткин об отсутствии резкого антагонизма народа и привилегированных сословий и даже об «уважении» аристократов к простым испанцам, об уверенности каждого нищего в своем равенстве с грандом (письма I, II). Но Боткин не мог не видеть в Испании классовой и местнической вражды — он вынужден это признать, однако говорит об этом мельком и явно осуждающе. Он критикует

феодалынные пережитки и распри между провинциями (письма I, IV), выступает против федеративности, за единство, за сильную централизованную власть, усматривая в ней исторический прогресс (в этом он сходилсся с поздним Белинским). С другой стороны, он неоднократно сетует на притеснения, которые терпят промышленность и торговля, на неподвижность, закостенелость перегородок и порядков, мешающих свободе торговли и хозяйственного развития (письма I, II, IV). В сознании либерала вместе с идеей классового мира, равенства и свободы естественно сочетаются понятия законности и терпимости (письма I, II, III, IV, V). Здесь следует подчеркнуть диалектическую противоречивость исторической ценности последних двух категорий, особенно терпимости. Будучи во всех смыслах консервативной в периоды революционного подъема, терпимость (как и вся либеральная идеология в целом) в условиях деспотического строя содержит значительные позитивные элементы. Не нужно путать, однако, философско-политическую либеральную терпимость (толерантность) с христиан-

скими призывами к милосердию и непротивлению: она может их включать в себя, но может и противостоять им. Главное в другом: при самодержавном режиме, насильно навязывавшем исключительно единую, монархическую линию в политике, идеологии и т. п., либералы, защищая буржуазно-демократические, формы жизни, приводили читателей и слушателей к выводу, что могут существовать и другие общественные устройства, психология, идеи, не зависимые от господствующих в стране начал, а это уже расчищало место для понимания как реакционности деспотизма, колониализма и т. п., так и возможности существования более радикальных, чем проповедуемые либералами, социально-политических институтов. Разумеется, последнее уже выходило за рамки либеральных желаний.

Именно либеральные принципы позволили Боткину чуть ли не впервые в истории передовой русской мысли[193] так горячо выступить в защиту народов Востока и Юга: «Европейская цивилизация хвалится общечеловеческими элементами; но отчего она с таки-

ми насилниями прокладывает себе путь? Отчего эти миллионы народов, живущих возле нее, не только не чувствуют к ней никакого влечения, но соглашаются лучше погибнуть, нежели принять ее? «...» Может быть, этой цивилизации недостает еще многого, может быть, она должна совершенно преобразиться, для того чтоб пристали к ней Азия и Африка «...» у миллионов народов Азии и Африки жизнь сложилась совершенно противоположно европейским стремлениям». Вероятно, далее следовали еще более резкие суждения о притеснениях колониальных народов европейцами, но цензурное вмешательство вырвало эту часть текста. (Цензурный характер последующих многоточий совершенно бесспорен: разрушена логическая связь отрывков)[194]. Показательно, что данные мысли высказаны Боткиным в последних статьях цикла, относящихся к 1849—1851 гг., т. е. к самому свирепому периоду из «мрачного семилетия».

Страстная защита самостоятельности народов Азии и Африки, в частности арабов, имела и другой смысл. Либерал — противник

разрушения, ликвидации, сторонник status quo, сторонник сохранения традиций. Исторически сложившаяся самобытность народа не только вызывает у него мысль о праве народа на самостоятельность, но и привлекает как экзотика, как оригинальное, ни на что не похожее явление. Этим отчасти объясняется такой повышенный интерес Боткина к национальной специфике Испании, ощущаемый на протяжении всего цикла статьей, и то сожаление, с которым автор говорит о разрушительном проникновении европейской (по существу буржуазной) цивилизации в испанские нравы, о постепенном уничтожении национальной экзотики (письмо IV). Боткин желал бы не замены одного другим, а слияния: он жаждет воздействия «народности» на передовые слои общества — и, соответственно, — умеренного использования лучших достижений цивилизации народной массой (письмо I).

На испанский народ он возлагает большие надежды. Боткина-идеолога очень привлекают его национальные черты: «Всего более заставляет верить в будущность Испании ред-

кий ум ее народа. Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишенными всякого образования, невольно изумляешься их здравому смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются» (письмо I); Боткину — любителю искусств — нравится поэтическая натура испанца, богатство его народной поэзии; характерно, что и в манерах, психологии, и в искусстве испанцев Боткин подчеркивает свободу, понимаемую не только как непринужденность, но и как отсутствие европейской (цивилизованной) условности; наконец, Боткина-«сенсуалиста» не может не прельщать искренность и свобода чувства, господствующие в испанских нравах, «обожание тела» (письма III, IV).

Если ко всему сказанному еще добавить, что большую часть «Писем» Боткин писал в обстановке революционных потрясений в Европе, репрессий и страха в России, то вполне понятно, что Испания с ее «игрушечными» революциями представлялась чуть ли не землей обетованной, где человек, уставший от европейской суеты[195], может насладиться в

идиллическом окружении: «В голове у меня нет ни мыслей, ни планов, ни желаний; <...> мне кажется, я растение, которое из душной, темной комнаты вынесли на солнце: я тихо, медленно вдыхаю в себя воздух, часа по два сижу где-нибудь над ручьем и слушаю, как он журчит, или засматриваюсь, как струйка фонтана падает в чашу... Ну что если б вся жизнь прошла в таком счастье!».

Итак, начал Боткин свои «Письма об Испании» с изложения бурных политических событий в стране, а кончил «обломовщиной» (приведенная цитата — заключительные строки книги).

3

В «Письмах об Испании» не так много страниц посвящено проблемам эстетики, искусства, литературы (собственно говоря, о современной испанской литературе вообще нет речи — Боткин ее, видимо, не знал), однако разбросанные по всей книге отдельные очерки и суждения интересно дополняют картину уже известной нам по статьям и письмам Боткина эволюции его теоретико-эстетических взглядов.

Определяющим — особенно это чувствуется в первой половине книги — было воздействие идей Белинского. В произведениях искусства Боткин усматривает живые испанские типы: «мадонны Мурильо — увлекательно-прелестные севильянки, со всею живою и выразительностью своих физиономий»; в арабской архитектуре он видит отображение недавнего кочевого быта: «У архитекторов арабских, кажется, была только одна цель — придать всему характер легкости и как бы беспрестанно напоминать о кочевом шатре пустынь. В этом именно и состоит величайшая оригинальность мавританской архитектуры».

Даже чисто, казалось бы, технические особенности живописи Мурильо, например, яркость, разнообразие красок и тонов, Боткин объясняет связью с действительностью: «...эту дивную красоту своего колорита взял он с женщин своего родного города»; «В природе тени прозрачны, и именно своими тенями, проникнутыми светом, Мурильо превосходит всех колористов».

Понимая большую роль религиозной идео-

логии в средневековом обществе, Боткин объясняет этим идеологическим воздействием многие черты искусства арабов, в том числе замечает опосредованное влияние религии (через культуру быта) на планировку домов и на архитектуру: стремление скрыть свою частную жизнь от посторонних глаз приводило мусульман к нарочитому противопоставлению суровых и опрощенных фасадов зданий изощренному богатству внутреннего убранства. «Арабская архитектура лучше всякой философии истории объясняет судьбу этого народа».

Аналогичные причинно-следственные связи Боткин находит и у испанцев; исторически объясняемая гипертрофированная роль католичества в жизни страны и оторванность ее от античных культурных традиций (впрочем, Боткин ошибочно связывает оторванность с арабским завоеванием) помогают автору книги понять особенности испанской живописи, прежде всего тягу художников к изображению страстных религиозных чувств, доходящих до исступления: «В Испании живопись развилась на почве, возделанной фанатиз-

мом и инквизициею <...>, под влиянием духовенства самого невежественного и варварского. Итальянские художники, изучая прекрасную форму в произведениях древних, нечувствительно приняли в себя и их пантеистический дух. Испания, издавна враждебная кримлянам и прежде всех европейских стран сделавшаяся вполне христианскою, еще более была отрезана от античных преданий завоеванием арабов. Семивековая борьба с исламизмом сохранила испанскому католицизму страстный, восторженный характер, знаменовавший первые века христианства, между тем как в Европе он давно уже был ослаблен».

С другой стороны, Боткину важно, что такие выдающиеся художники, как Мурильо, изображают мир «в поразительной истине и реальности».

Недаром раздел письма III, посвященный Мурильо и вообще испанской живописи, был одобрен Белинским[196]. В последние годы жизни Белинский особенно интенсивно ратовал за «реальность» в искусстве (ср. «приземленную» трактовку им образов «Сикстинской

мадонны» Рафаэля как воспроизведения аристократических типов царицы и царя)[197].

В духе реалистического метода, с использованием диалектики Гегеля, Боткин анализирует и многие частные аспекты искусства, например, интересно рассматривает, как ограничения, налагаемые Кораном на живопись (запрещалось изображение людей и животных), изоцряли умение и фантазию арабских мастеров в области орнамента и художественного письма; хорошо показывает в связи с этим, как в арабской архитектуре тяжелый, плотный камень становится воздушным, как ажурная кисея.

Заметно стремление Боткина выделять индивидуальность художников после анализа общеэпохальных признаков: в творчестве Веласкеса он отмечает живость портретов, у Мурильо — страстность и идеализированность религиозного переживания, у Сурбарана — мрачный аскетизм монашества.

Однако в эстетических суждениях автора «Писем об Испании» можно усмотреть и зародыши либеральных тенденций, которые, впрочем, пока, на грани 40-х и 50-х годов, при

мощном воздействии круга Белинского еще не дали обильных плодов, а лишь прорастали отдельными суждениями; да и нужно учесть, что некоторая недифференцированность идеологии передовой русской интеллигенции 40-х годов далеко не во всех пунктах давала возможность противопоставлять радикализм Белинского «золотой середине» либеральной группы во главе с Грановским (куда все более и более тянулся Боткин). При острой борьбе с реакционерами или славянофилами начинающиеся разногласия внутри «своего» лагеря невольно сглаживались. Так, известная «синтетичность» художественных симпатий Боткина может быть истолкована и как реалистическое расширение «приемлемых» тем, и как приближение к зыбкой грани всеядности, например, в равных похвалах всем темам и образам Мурильо: «Этому человеку все доступно: и самая глубокая, сокровенная мистика души, и простая, вседневная жизнь, и самая грязная природа». Впрочем, при конкретном анализе оказывается, что Боткину отнюдь не безразлично одинаковы все темы и картины; что в его симпатиях и антипатиях

начинают проявляться именно либеральные вкусы: Боткина прельщают «нежная и любящая» душа художника, изображение «кротости и сострадания», «милосердия», «благодарности и безответной преданности», «свежих, бодрых», прекрасных лиц; и, наоборот, «зловещая бледность монахов Сурбарана» явно неприятна автору «Писем».

В книге чувствуется также и романтическая закваска, видимо, глубоко пустившая корни, ибо, зная дальнейший путь Боткина, особенно усиление романтических тенденций в его статьях первой половины 50-х годов, мы можем интерпретировать «Письма об Испании» как свое-образный переходный мостик между наследием романтической молодости Боткина и его романтическими музыковедческими и литературно-критическими статьями начала 1850-х годов.

Культ чувства, «природности» художника, даже своеобразная радость по поводу отсутствия культурной традиции (например, у Мурильо), интерес к импровизации и народной поэзии — все это имеет истоки в статьях Боткина 30-х годов и еще дальше, у его учителей,

немецких романтиков. А некоторые акценты в подобных высказываниях ведут к поздним статьям Боткина: «В Мурильо невообразимое отсутствие всего условного, типического[198], рутинного <...>, это природа во всей своей индивидуальности, яркой жизни, проникнутая поэзией сердца, идеальностью, но не условною, не теоретическою или сверхъестественною, а глубоко человеческою идеальностью, понятною всякому простому, неопытному глазу».

4

После «Писем об Испании» в условиях продолжающегося «мрачного семилетия» Боткин почти исключительно пишет музыкально-критические статьи, проникнутые романтическим пафосом и лиризмом; он интересно истолковывает творчество Шопена, а в статье «Н. П. Огарев» (1850) дает тонкую, хотя и односторонне романтическую характеристику поэзии соратника Герцена.

К середине 1850-х годов, в связи с оживлением в русском обществе, Боткин несколько «оттаял» и осмелел, подружился на короткое время с Некрасовым, пишет вместе с ним для

«Современника» публицистико-критические обзоры «Заметки о журналах», насыщенные идеями демократической эстетики и полемикой с «чистым искусством».

Однако укрепление в «Современнике» радикальных сил, твердая позиция Чернышевского пугают осторожного и либерального Боткина; он снова в 1856 г. отшатывается в антидемократический лагерь и пишет одну из программных статей в защиту «чистого искусства» — «Стихотворения А. А. Фета» (1857), которую ему, благодаря И. И. Панаеву, удалось опубликовать в «Современнике». Это была последняя статья Боткина в этом журнале, да и вообще последняя его печатная литературно-критическая статья.

Дальнейшее обострение социальных конфликтов в России испугало Боткина и во многом обусловило его отказ от журнальной, литературной деятельности. После 1857 г. он главным образом снова путешествует, лишь эпизодически возвращаясь к искусствоведческим работам и путевым очеркам (например, в «Русском вестнике» 1859—1860 гг. публиковались его статьи о лондонской жизни, осо-

бенно интересные дальнейшим развитием общественных идеалов, проповедовавшихся в «Письмах об Испании»).

После польского восстания 1863 г. Боткин становится консерватором-монархистом, вместе с Фетом пишет яростно отрицательную рецензию на роман Чернышевского «Что делать?» (ее, впрочем, не решился напечатать редактор «Русского вестника» М. Н. Катков не потому, что был «левее», а потому, что боялся даже негативной пропаганды революционного романа).

В последние годы жизни, тяжело болея, Боткин почти полностью отказывается от творческой деятельности.

Многолетнее его молчание и откровенный консерватизм воззрений привели к тому, что поколение 60-х годов почти забыло о существовании бывшего соратника Белинского и Бакунина, и, когда он умер, то П. В. Анненкову в некрологе[199] пришлось напомнить современникам о роли Боткина в истории русской литературы и общественной мысли, разумеется, подчеркивая главным образом его заслуги как человека эпохи Белинского.

Эволюция Боткина как мыслителя и литератора, да и вообще как личности была, таким образом, сложной и своеобразной. Никто не может сравниться с ним по числу «зигзагов», резких колебаний от демократизма (чуть ли не революционного) к крайнему консерватизму, от передовой публицистики к защите «чистого искусства».

Сложный сплав художественного чутья, недюжинного ума, широкого круга знаний с опасной «гибкостью» мышления, переходящей в приспособленчество, в преклонение перед силой и модой, и с либеральной тягой к «золотой середине» — все это заметно сказалось на стиле статей и очерков Боткина и, может быть, всего более — на стиле «Писем об Испании».

Произведения Боткина написаны умно, тонко, интересно, хорошим литературным слогом, отразившим завоевания русского художественного и публицистического языка 30—40-х годов (благодаря творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Герцена). Однако стиль Боткина чрезмерно гладок, почти нейтрален, в нем нет острой шероховато-

сти индивидуальных поисков. Вообще Боткин был чужд строгой энергичности мысли и стиля, даже в самые радикальные периоды своей деятельности он никогда не употреблял иронию или сарказм, совершенно не умел пропагандировать и полемизировать [200]. Да эти свойства его литературной манеры к тому же органически вытекали из идеала «золотой середины». Последнее обусловило все-таки стилистическое и грамматическое своеобразие боткинских фраз: их нарочитую нечеткость, обилие «оговорочных» предложений, обилие вопросов — полуобращений к читателю, полусомнений, обилие зыбких многоточий в конце периода.

Великолепное знание разных видов искусств давало Боткину материал для интересных сравнений и параллелей литературы и музыки, живописи и архитектуры. Несколько странными на этом эстетическом фоне выглядят его «гастрономические» сравнения, хотя в них очень ярко отражается сущность эстетического чувства Боткина: искусство воспринималось им как личная, чуть ли не физиологическая радость.

Когда писателю удавалось органически соединить эстетический пафос с насущными общественными проблемами, то возникали значительные — и весьма сложные — произведения, надолго пережившие его время. К такого рода произведениям относятся и «Письма об Испании».

5

В истории русского путевого очерка «Письма об Испании» занимают своеобразное место. Наиболее эффектно было бы противопоставить книге Боткина, с одной стороны, сентиментально-романтическую литературу, которую В. А. Жуковский демонстративно хвалил за отсутствие фактов и идей[201], с другой — фактографические очерки, насыщенные реакционными мыслями, например, «Год в чужих краях» М. П. Погодина (М., 1844) или «Отрывки из заграничных писем. 1844—1848» Матвея Волкова (СПб., 1857). Такое противопоставление ярко оттенило бы новаторское превосходство «Писем об Испании».

Однако в русской очерковой литературе имелаась и другая традиция, у истоков которой находятся два знаменитых «путеше-

ствия» XVIII в.: «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (хотя, конечно, эта книга не столько путевые очерки, сколько идеологический фундамент, идеологическая традиция для последующих реальных путевых очерков) и «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, которого Белинский назвал Колумбом, открывшим Европу широкому читателю[202]. В русле этой традиции возникли и труды декабристов, особенно заграничные очерки Н. А. Бестужева («Записки о Голландии 1815 года» и «Гибралтар»), и «Путешествие в Арзрум» Пушкина[203]. В этих произведениях можно найти те черты, которые украшают и «Письма об Испании» Боткина: свежие картины быта, нравов, культурной жизни; образ путешественника, глубоко осмысливающего виденное и не таящего свое личное, индивидуальное отношение ко всему описываемому; живой язык, приближающийся к разговорной речи. На фоне таких прекрасных образцов уже нелегко доказывать идеологическое, литературное, жанровое новаторство Боткина. Несомненно, он учитывал опыт выдающихся предшественни-

ков. Учитывал он и достижения русской и мировой литературы своего времени, в том числе и становление реализма в европейской очерковой литературе, например, метод испанского костюмбризма (см. об этом в статье А. Звигильского), который охватил не только словесное искусство, но и живопись: сборник бытовых зарисовок «Испанцы в собственном изображении»[204], подобно аналогичным изданиям во Франции и в России, явно был в поле зрения Боткина. Но особенно заметно воздействие на Боткина, человека из круга Белинского — Герцена, метода русской «натуральной школы», становящегося метода критического реализма.

Главная, заслуга и новаторство автора «Писем об Испании», пожалуй, заключаются в изображении почти неизвестной русскому читателю окраины европейского континента (а также совершенно неизвестной северной Африки) и в осмыслении изображаемого с позиций русской прогрессивной интеллигенции середины XIX в., поэтому именно в то время успех книги был особенно велик.

Новизна темы, благородство идей, умный

и тонкий анализ увиденного автором обеспечили успех «Писем об Испании» и в последующих поколениях. Академик М. П. Алексеев убедительно показал в уже упоминавшейся статье сильное воздействие книги и на очерковую литературу об Испании, и на прозу, и на поэзию России второй половины XIX в.

Известность книги перешла и в XX век. По воспоминаниям Анастасии Цветаевой, чрезвычайно высоко оценивал труд Боткина А. М. Горький: «Боткинские письма из Испании не сравнимы ни с чем в литературе. Единственная книга, написанная русским о другой стране»[205].

В последние годы снова усиливается интерес к «Письмам об Испании»: он объясняется отчасти растущей ролью арабских государств, но, главное, цепью сложных и перспективных изменений на Пиренейском полуострове. А если добавить к этому, что для всех помнящих о трагедии республиканской Испании 30-х годов испанская тема — одна из самых дорогих, заветных, высоких, то новое издание «Писем об Испании», первой серьезной русской книги об этой стране, оказывается весь-

ма и весьма своевременным и современным.

А. Звигильский

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ «ПИСЕМ ОБ ИСПАНИИ» И ОТЗЫВЫ О НИХ СОВРЕМЕННИКОВ[206]

Б. Ф. Егоров обнаружил в архиве Музея Толстого в Москве письмо Василия Петровича Боткина к брату Николаю из испанского города Витория от 11 августа (нового стиля) 1845 г.: «Я выехал из Байоны в 8½ утра, в 12 дилижанс переехал границу и мы завтракали в пограничном испанском городе Yrun»[207].

Это письмо представляет двойной интерес. Во-первых, оно свидетельствует о действительном пребывании Боткина в Испании и опровергает вымыслы недругов, уверявших, что он туда никогда не ездил. Н. Ф. Щербина написал в 1852 г. злой «акафист» на «Письма об Испании»:

*Радуйся, Испании невидание,
Радуйся, Испании описание,
Радуйся, живописи непонимание,
Радуйся, о живописи трактова-*

ние...
Радуйся, жандармов трепетание;
Радуйся, музыки неразумение,
Радуйся, о музыке рассуждение,
Радуйся, пустозвонных фраз строение,
Радуйся, жен омерзение,
Радуйся, гостинодворский Гидальго,
О, плешивый чаепродавче,
радуйся![208]

Во-вторых, из всех писем, посланных Боткиным родственникам и друзьям из разных городов Испании, это письмо единственное, дошедшее до нас[209]. Оно вошло в книгу «Письма об Испании» в несколько измененном виде. Можно теперь понять, что подразумевал Дружинин, когда писал: «Книга его составлена вся из частных писем в Россию к близким лицам; письма эти были им впоследствии пересмотрены и дополнены».

Известия от Боткина из Испании получали и друзья. Герцен писал Огареву из Москвы в Париж 22 ноября 1845 г.: «Если Don Basilio приехал из Кордовы, то и ему пожми руку — пантеистическое наслаждение!». Огарев отве-

тил Герцену 27 января 1846 г.: «С Вас. Пет. в Тангер прощаться не поедем, он же вдобавок едет в Рим»[210]. Наличие подобных подлинных писем опровергает обвинения некоторых русских литераторов в том, что «Письма об Испании» — не более как литературная компиляция. Вот что Аполлон Майков записал в своей тетради 30 ноября 1851 г.: «В. П. был в Испании несколько месяцев и, возвратившись в Москву, обложился источниками и лет 7 писал „Письма об Испании“, печатавшиеся в „Современнике“. Это очень умные и ловко составленные статьи. Но В. П. и друзья его видели в них нечто гениальное, бросающее новый свет чуть ли не на всю область человеческих знаний. Островский, Мей и другие московские литераторы, занимавшиеся редакцией „Москвитянина“, перебирали иностранные журналы (кажется, отыскивая кое-что для статьи о Кальдероне) и нашли в „Revue des Deux Mondes“ несколько статей об Испании, а также наткнулись на множество книг английских туристов, о той же стране и, читая их, убедились, что „Письма“ В. П. составлены целиком по этим источникам. Это и

осталось между ними, но В. П. пронюхал, что делается подрыв его уму, и знаниям, и литературному таланту, и, будучи желчен и зол, восшипел. В „Москвитяине“ между тем, обзревая журналы, мимоходом, кто-то из этих литераторов упомянул об источниках „Писем“ В. П. В. П. пожелтел...»[211].

Считая, что испанская действительность в том виде, в котором она предстала его глазам, совсем не соответствовала тому, что о ней рассказывал Боткин, В. В. Стасов писал своей сестре из Гранады 5 июня 1883 г.: «Ничего этого нет, а все это он, сидя в кабинете, выписывал и переводил из французских путешественников, Теофилей Готье и иных, а те, при каком угодно описании города, церкви, картины, площади, дома, женщины, вечера, утра — точь-в-точь столько же ввали и врут, как, например, французские (да и не французские) живописцы жанра: что ни черта, то выдумка, вранье и „отсебятина“!»[212].

И. Я. Яковлев (Павловский) во время своего пребывания в Мадриде в 1884 г. встретился с Гальдосом, известным испанским писателем. Гальдос ему сказал: «Единственный человек,

который верно описал нашу страну, — Вашингтон Ирвинг, но его книга устарела». Яковлев добавляет: «Замечу в скобках, это та самая книга, которую покойный Боткин перевел с некоторыми изменениями и которая так известна под его именем»[213].

Проблема источников «Писем об Испании» очень сложная. Боткин пишет в предисловии к отдельному изданию «Писем об Испании» (1857): «Автор счел излишним ссылаться на газетные статьи, путешествия и исторические сочинения, которые служили ему пособием при составлении этих „Писем“. Многим из прочитанного воспользовался он, имея единственно в виду уяснение предмета для читателей». Однако в течение всего повествования Василий Петрович подчеркивает свое знакомство с испанской культурой, и из его писем можно почерпнуть немало сведений об источниках, которыми он пользовался. Неоднократно он ссылается на «Дон-Кихота» [214], обнаруживает знакомство с некоторыми пьесами испанского классического театра: цитирует Лопе де Вега и «Саламейского алькальда» Кальдерона. Народная поэзия его, ви-

димом, особенно интересовалась: он воспроизводит в своем русском переводе несколько испанских романсов, романсы Селина Аудальи; он прочитал также 16 романсов о завоевании Испании арабами. Вероятно, Боткин держал в руках сборники романсов или их перевод на французский язык (*Damas-Hinard. Romances general. 2 v. Paris, 1844*). Последний был известен в России благодаря переводу статьи Ш. Маньена [215]. Писатель Хуан Валера, секретарь испанского посольства в Петербурге, во время встречи с Боткиным в январе 1857 г. перелистывал «Письма об Испании», которые только что вышли в свет. Он пишет по этому поводу своему начальнику в Мадриде Л.-А. де Куэто 20 января: «Я заметил, что (Боткин) перевел несколько наших старинных романсов, как, например, один из тех, которые описывают смерть Дон Алонсо де Агилар» [216]. Все же, признавая, что Боткин был «человеком хорошего литературного вкуса и разнообразной эрудиции», Валера считал его литературный багаж в области испанистики очень небольшим: «Он извинился за свое невежество (по-моему, непростительное для

человека, который жил год в Испании, который написал книгу об Испании и который говорит, что он знает испанский), объявив, что наших книг нигде нельзя достать. Он даже не знал фамилии герцога де Риваса...»[217]. Однако такой страстный библиофил, как Соболевский, заметил во время своего пребывания в Испании в 1849 г.: «Я вам еще среди всего этого не говорил о современных книгах, произведенных этой страной. Во-первых, потому, что она их производит очень мало и они слишком незначительны, чтоб я о них упоминал; во-вторых, потому, что следовало бы по этому поводу сказать слово о свободе прессы; а я совсем не стремлюсь печатать то, что думаю об этом, из боязни, что цивилизованный мир забросает меня камнями»[218]. Уже в 1832 г. П. В. Киреевский замечал: «В земле, где не уважают земледелия, где падают первые и все полезные ремесла, и литература и наука необходимо должны соображаться с общим упадком»[219].

Боткин, прочитав книгу Фориеля «История провансальской поэзии», сделал вывод, что «арабская поэзия, а вместе с ней и арабское

рыцарство, сделались первообразом поэзии трубадуров и рыцарства европейского». «Арабская теория» происхождения провансальской лирики была распространена в первой половине XIX в., как справедливо заметил М. П. Алексеев[220]. В подтверждение своего тезиса Боткин цитирует арабский роман VIII в.

Из исторических трудов Боткин прочитал двухтомник Шарля Вайса (Weiss), профессора Collège Royal de Bourbon «L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'à l'avènement des Bourbons» (Paris, 1844), из которого взял много данных[221]. При переписке Боткин, очевидно, спутал историка Marina (1754—1833) с другим известным историком Испании — Juan de Mariana[222].

Боткину был известен труд Минье «Антонио Перес и Филипп II»[223], который он перевел на русский язык для «Отечественных записок» (1847, № 10, отд. II, с. 41—66; № 11, отд. II, с. 1—33). Он цитирует также обширные отрывки двух записок Хуана де Риберы, епископа Валенсии (1602—1603), об изгнании морисков[224], ссылаясь на следующие книги:

Fonseca. Justa expulsión de los Moriscos; *Ginés Pérez de Hita*. Las guerras civiles de Granada. *Conde José*. Historia de la dominación de los Árabes en España. Madrid, 1820—1821. Последняя книга, которая была переведена на французский язык[225], пользовалась авторитетом в течение 30 лет, до опубликования в 1850 г. труда: *Dozy*. Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le moyen âge. Т. Н. Грановский, будучи тогда профессором Московского университета, написал об этом статью в «Отечественных записках» (1854, № 6)[226]. Но Боткин еще не мог знать книги Дози, когда подготавливал свое письмо из Кадиса.

Боткин ссылался также на епископа Гуадикского — свидетеля на процессе Олавиде, устроенного инквизицией[227], о котором он узнал, прочитав книгу маркиза де Кюстина (*Custine* marquis de. L'Espagne sous Ferdinand VII. T. II. Paris, 1838, p. 102—118).

Путешествия, конечно, тоже должны были привлечь внимание русского туриста; он сам называет одну старую книгу[228]; из более современных Боткин: знал упомянутые выше

труды Кюстина, Форда, Борроу, Готье.

Фольклор был не забыт им благодаря В. Ирвингу, так же как и трактаты по тавромахии: Боткин приводит обширные места из книги самого знаменитого тореадора своего времени Франсиско Монтеса[229].

Интерес к экономическим вопросам заставляет Боткина просмотреть в читальном зале св. Августина в Малаге доклад о торговле между Англией и Испанией за 1845 г. и отчет французского министра торговли, в котором сообщалось о вывозе из Франции в Испанию путем контрабанды бумажных товаров на 36 миллионов франков.

Наконец, Боткин рекомендует любителям искусства замечательную публикацию испанского художника и архитектора Хенаро Переса Вильяамила[230], с которым он впервые встретился в Мадриде.

Василий Петрович познакомился с испанской народной поэзией не только по сборникам романсов; во время путешествий по Иберийскому полуострову ему приходилось слышать и записывать очень остроумные куплеты-четверостишья (типа частушек) — *coplas*

[231].

Конечно, отношение Боткина к народу и певцам иное, чем у Глинки, приехавшего в Испанию специально для изучения народной музыки. Русский композитор постоянно был окружен толпой неграмотных людей, остроумных и талантливых: уличных артистов, народных певцов, танцоров, гитаристов. Он ездит по Испании в фуре или на спине мула. А Боткин путешествует в дилижансе и любит буржуазный комфорт; однако время от времени и он встречается с какой-нибудь группой цыган, которых приглашает даже к себе, потому что у них слабость к сладостям, а ему нравится их пение. Крестьян, контрабандистов Боткин встречает случайно, он скорее со стороны наблюдает простой народ, чем живет с ним.

Посетив мадридское аристократическое общество, Боткин заметил, что вопреки легенде в Испании, в стране танца и песни, не так уж часто танцевали под народную музыку[232].

Вкус Боткина к народным обычаям свидетельствует о влиянии на него костюмбризма

(costumbrismo), литературного испанского движения второй трети XIX в., с его тягой к очерковому изображению народного быта. «Письма об Испании» начали появляться в 1847 г. одновременно с «Андалузскими сценами» Серафина Эстефанеса Кальдерона. В это же время Василий Петрович перевел на русский язык очерк о Мариано Хосе де Ларра [233] — одном из самых знаменитых представителей испанского costumbrismo. Следует отметить, что во время своего пребывания в Испании Боткин наверняка видел только что вышедшее издание с изображением испанских народных типов [234], которых он частично описывает в своей книге. В настоящем издании воспроизводится несколько этих гравюр.

Боткин проявил себя тонким наблюдателем характеров: «Чиновник-взяточник и продажный, торгующий правосудием судья здесь в частные отношения непременно деликатны и верны. Общественный дух, общественные чувства здесь находятся еще под спудом, но загляните с другой стороны, зайдите за стену, и вы будете поражены благородством,

простотою, прямодушием. Даже у тех, которые здесь со всех сторон запачканы политической грязью, верьте, частная сторона, назло всему, осталась прекрасною». Из этих слов явствует, что Боткина как иностранца, а тем более русского[235], не однажды принимали в испанских семьях. Его неоднократно приглашали в кафе незнакомые люди; он отмечал, что у тех людей, которые были такими щедрыми с ним, было очень мало средств. Боткин пишет в письме из Малаги: «Как несправедливо ходячее по Европе мнение о враждебности испанцев к иностранцам! Постоянно я встречаю здесь только дружелюбных, услужливых людей, в которых никогда не замечал я даже тени враждебного чувства к иностранцам, которое так живо, например, во французском народе». Отсутствие шовинизма может быть замечено только непосредственно, благодаря постоянному общению с местными жителями. Может быть, потому, что Боткин был русский, а у русских много сходства с испанцами, он хорошо понял одну из основных черт национального испанского характера. Указанные нами факты полностью

опровергают намеки Майкова на то, что «Письма об Испании» — компиляция чужих книг и статей.

Оригинальность и свежесть книги Боткина отмечалась почти всеми рецензентами, начиная с известной оценки Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «Испания для нас — терра инкогнита. Политические известия только сбивают с толку всякого, кто бы захотел получить понятие о положении этой земли. Главная заслуга автора писем об Испании состоит в том, что он на все смотрел собственными глазами, не увлекаясь готовыми суждениями об Испании, рассеянными в книгах, журналах и газетах; вы чувствуете из его писем, что он сперва насмотрелся, наслышался, расспросил и изучил и потом уже составил свое понятие о стране. Оттого взгляд его на нее нов, оригинален, и все заверяет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какою-нибудь фантастическою, а с действительно существующею страной»[236].

Точка зрения Гоголя особенно привлекает наше внимание. В письме из Остенде к

П. В. Анненкову от 12 августа 1847 г. Гоголь пишет: «...прочел я письма Боткина. Я их читал с любопытством. В них все интересно, может быть, именно оттого, что автор мысленно занялся вопросом разрешить себе самому, что такое нынешний испанский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаговременно никаких убеждений из журналов, не влюбившись в первый выведенный им вывод, как делают это люди с горячим темпераментом»[237].

Длительность пребывания Боткина в Испании остается загадочной. Даты, проставленные в начале шести писем об Испании, абсолютно произвольны. Первое письмо, датированное в первом издании («Современник», март 1847 г.): «Мадрит, июнь 1846», а потом в издании 1857 г.: «Мадрит, май», — могло быть написано в испанской столице лишь в августе 1845 г., так как Боткин въехал в Испанию 11 августа. По нашему мнению, длинные письма, каждое из которых фактически составлено из нескольких писем, были помечены для удобства произвольными и явно нереальными названиями месяцев без числа, с

июня по октябрь[238].

6 июля 1845 г. Боткин писал Белинскому: «Я на днях уезжаю из Парижа в Испанию, где думаю остаться месяца три, а, впрочем, как случится»[239]. И далее, кроме упомянутых выше письма к брату Николаю и двух писем Герцена и Огарева, мы не располагаем никакими другими сведениями о местах пребывания Боткина с 11 августа 1845 г. до весны 1846 г. Однако некоторые подробности в его книге указывают, что он был в Испании 3 месяца, с 11 августа до конца октября 1845 г.[240]

У нас есть основания предполагать, что Боткин часто писал Герцену из Испании. 14 января. 1846 г. Белинский обращался к Герцену: «Насчет писем Боткина об Испании — нечего и говорить: разумеется, давайте»[241]. Боткин послал свои «Письма» Белинскому для альманаха «Левиафан», который тот собирался издавать. Белинский ответил ему 26 марта 1846 г.: «Спасибо тебе за письма об Испании и Танжере. Они прекрасны, и из них для моего альманаха выходит превосходная и преинтересная статья. Спасибо тебе за согласие отдать их мне»[242]. А 29 января 1847 г. Бе-

линский просит Боткина поторопиться: «Что касается до твоих писем об Испании, их сейчас же нужно хоть на пять листов (и уж по крайней мере на три), а пойдет эта статья не в смесь, а в науки»[243]. В связи с приходом Белинского в «Современник» друзья решили, что письма будут опубликованы в этом журнале.

Интересно мнение Белинского как редактора «Писем об Испании». В течение 1847 г. он их хвалит неоднократно. Однако за несколько дней до выхода номера с первым письмом, 26 февраля, великий русский критик, занимавшийся корректурой, делает своему другу замечания технического порядка: «Сколько раз говорил я с тобою о твоих письмах из Испании — и не могу понять, как мог я забыть сказать тебе то, о чем так долго собирался говорить с тобою! Это о неуместности фраз на испанском языке — что отзывается претензией. Мне кажется, что в следующих статьях ты бы хорошо сделал, выкинув эти фразы. Но еще за это тебя бранить не за что, а вот за что я проклинал тебя: эти фразы, равно как и все испанские слова, ты должен был не написать,

а нарисовать, так чтобы не было ни малейшей возможности опечатки, а ты их нацарапал, и если увидишь, что от них равно откажутся и в Мадриде, и в Марокко, или равно признают их своими и там и сям, то пеняй на себя. А я помучился за корректурую твоей статьи довольно, чтобы проклясть и тебя и испанский язык, глаза даже ломом ломили...» [244]. Почерк Боткина, действительно, трудно читать: мы с трудом могли разобрать его письма: Поэтому опасения Белинского справедливы — в печатном тексте «Писем» (особенно в письме I) попадают изуродованные испанские слова: donativas (вместо donativos), gobierno (вместо gobierno), castillana (вместо castellana), fusos (вместо fresas). Однако такая грамматическая ошибка, как castellano a los derechos (вместо de los derechos), исходит, конечно, от автора, а не от редактора.

В какой степени Боткин владел испанским языком? Его русские друзья (Белинский, Дружинин) думали, что он хорошо знал этот язык. Однако Хуан Валера предпочел говорить с ним по-французски в 1857 г., а по поводу его испанского отозвался иронически. Ва-

сий Петрович выучился испанскому языку еще до поездки в Испанию: «Addio — или нет — я теперь стараюсь все говорить по-испански, — и потому adiós», — сообщает он брату Николаю в упомянутом выше письме. Боткин уверяет, что вскоре по приезде в Мадрид он не понял смысла одного слова в особом выражении[245]. В Севилье Боткин с трудом понял андалузцев, но понимал кастильцев. На пароходе по пути в Танжер он говорит по-испански с пассажирами. Во всяком случае в книге русские переводы некоторых испанских народных выражений часто удачны [246].

Боткин отчасти учел совет Белинского: в следующих письмах меньше испанских фраз, чем в первом[247]. А в общем-то у него была явная склонность к усвоению языка и нравов стран, которые он посещал. Анненков, ссылаясь на И. И. Панаева, видевшего Боткина в Париже, записал в своих мемуарах, что Василий Петрович «усиленно старался офранцузить себя в языке, образе жизни, нравах» [248]. Тургенев писал князю В. А. Черкасскому 9 июля 1858 г.: «Вы спрашиваете меня о Бот-

кине, я его оставил в Лондоне уже почти совсем превратившегося в англичанина: носит пестрый пиджак, в 6 часов ездит по Rotten Row верхом, подпрыгивая на рыси, — и превосходно сквозь зубы выговаривает — Oh yes!»[249]. Наконец, Герцен в письме к московским друзьям от 2 февраля 1851 г. называет Василия Петровича «маросейским андалузцем»[250].

Цензура очень строго отнеслась к первому письму Боткина об Испании, о чем Белинский с возмущением писал автору 26 февраля 1847 г.: «Скажу тебе пренеприятную вещь: статью твою Куторга порядочно поцарапал — говорит: политика. Действительно у тебя много вышло резко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою к испанскому правительству, — терпимость на этот раз изменила тебе. Вот тут и пиши! Впрочем, Некр«асов» говорит, что выкинуто строк 30, но ты понимаешь, каких. Не знаю, как это известие подействует на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сих пор не могу привыкнуть к этой отеческой расправе, которую испытываю чуть не ежедневно»[251]

А десять дней спустя, 8 марта 1847 г., Берлинский добавляет: «Мне пришла в голову благая мысль, которую и спешу сообщить тебе, любезный Боткин. Все, что вымарано варваром Куторгою из статьи твоей, ты можешь вставить в следующие статьи. Особенно жаль двух мест: о любви и замужестве Христины и о наборе кортесов из бродяг и сволочи. Никитенко обещает отстаивать на том основании, что это история (прошедшее), а не политика» [252].

К сожалению, рукопись «Писем об Испании» пропала, и нам неизвестно, что было вычеркнуто цензурой. В печатном тексте остается единственная фраза: «Свадьба Христины с Муньос еще сильно волнует умы». Королева Мария Христина, вдова Фердинанда VII, вновь вступила в брак с Фердинандом Муньосом, военным весьма скромного происхождения. Несмотря на то, что Мария Христина не была уже регентшей Испании в 1847 г., царский цензор, очевидно, считал, что Боткин унижал достоинство матери Изабеллы II, и видел в намеках на ее личную жизнь

оскорбление ее величества, а верный служитель монархической власти не мог этого допустить[253]. Ходатайство А. В. Никитенко, бывшего тогда официальным редактором «Современника», перед Куторгой ничего не дало: «В последнее перед выходом 3 № „Современника“ ценсурное заседание он хотел это сделать, но, как нарочно, почти никто не пришел, а комитет должен состоять из большинства членов»[254].

Однако Боткин отваживался затрагивать и проблемы религиозной жизни Испании. Его поражает отсутствие верующих в севильском соборе три воскресенья подряд; он констатирует с изумлением: «Европа все считала испанцев самым католическим народом в мире; как вдруг одним утром читает в своих газетах, что испанцы жгут монастыри и режут монахов. Но испанцы не ограничились уничтожением монахов, они сделались равнодушными и к религии: их храмы теперь пусты».

Этот пассаж был замечен Белинским, жаждавшим социальной злободневности и находившим, что ее недостаточно в книге Ботки-

на: «Жаль только, что уничтожение монастырей и истребление монахов у тебя являются как-то вскользь, а об андалузках и обожании тела подробно. Но это я говорю как мое личное впечатление: андалузки для меня не существуют, а мои отношения к телу давно уже совершаются только через посредство аптеки. Но и это я читал не без удовольствия, ибо в каждом слове видел перед собою лысую, чувственную, грешную фигуру моего старого развратного друга Боткина»[255].

Друзья и знакомые Боткина единодушно отмечали его чувственный, гедонистический характер, отражавшийся и в его творчестве [256]. По поводу испанских женщин, о которых он говорит с таким энтузиазмом в своей книге, каждый из них непременно делал какое-нибудь едкое замечание. Герцен писал в «Былом и думах» (гл. XXIX): «Да, ты прав, Боткин, — и гораздо больше Платона, — ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти „пантеистическое“ наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слу-

шая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым словам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку. Недаром покидал ты твою Маросейку, ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавцев, высочайших икр, *sobegana pantorrilla!*»[257]. Эти особенности Боткина стали известны даже за пределами России. Тургенев писал П. В. Анненкову 9 сентября 1867 г.: «Как прелестнейший казус, имею сообщить Вам, что в № 34 „Revue et Gazette musicale“, от 25 августа, стоят следующие строки: „Ce type vivant de la critique éclectique parlée, ce *prodigieux* symphoniste de la causerie, *Botkine*, qui enseignait, au grand enthousiasme de ses amis, les relations de plaisir existant entre la danse des vagues et celle des jeunes Espagnoles aux puissants mollets...“»[258].

Тургенев в своем романе «Новь» цитирует устами Паклина отрывок из книги Боткина: «Увидишь этих львиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказа-

но в „Письмах об Испании“; изучай их, брат, изучай!»[259].

Гончаров, огибавший южные берега Испании на фрегате «Паллада», весело восклицал, перефразируя гетевскую Миньону: «Dahin бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин», умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов, — пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскою и посмотреть, что из этого выйдет... Но фрегат мчится <...> Прощай, Испания, прощай, Европа!»[260]. А Добролюбов писал: «Испанки, как известно всем, даже не читавшим писем В. П. Боткина, — страстны и решительны» [261].

Чернышевский был единственным из литературных коллег Боткина, кто не поддерживал их иронического тона при оценке «эротических» тем «Писем об Испании». Прочитывая длинный отрывок из севильского (III) письма, он комментирует: «Именно те страны, где наиболее допускается свобода нравов, отличаются наибольшею чистотою нрав-

ственности «...» Описание севильских нравов — одно из лучших мест в книге г. Боткина».

И в общей характеристике «Писем об Испании» мнения современников были самые противоречивые, от крайней точки зрения К. Д. Кавелина (которую он ошибочно отождествлял с позицией Белинского): «Боткин действительно возвратился в мое время из-за границы смакующим буржуем, падким до тонких наслаждений и закрытым наглухо для социальных стремлений того времени» [262] — и до весьма высоких оценок Белинского и Чернышевского. Споры и противоречивые отзывы продолжались вплоть до XX века: это свидетельствует о разнообразных аспектах богатого и сложного произведения. Впрочем, главные черты мировоззрения Боткина — гуманизм и терпимость — почти не были предметом внимания дореволюционной русской критики.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни В. П. Боткина отдельным изданием вышло только одно его сочинение — «Письма об Испании» (СПб., 1857), остальные труды печатались в журналах и газетах.

Посмертно в качестве приложения к журналу «Пантеон литературы» были изданы «Сочинения Василия Петровича Боткина» в трех томах (СПб., 1890, 1891, 1893), где перепечатана из журналов основная часть его литературного наследия, но перепечатана некритически, да еще с большим количеством опечаток и пропусков; комментарии отсутствовали.

В дальнейшем, если не считать публикаций многих писем и двух статей: написанной вместе с А. А. Фетом рецензии на роман «Что делать?» (Литературное наследство, т. 25—26, М., 1936) и очерка «Публичные чтения Диккенса в Париже» из «Московских ведомостей» (1863, № 25), частично перепечатанного Л. Ланским в газете «Неделя» (1960, № 16), — сочинения Боткина на русском языке не издавались.

Настоящий том «Литературных памятников», (таким образом, является первым научным изданием как «Писем об Испании», печатающихся по отдельному изданию 1857 г., так и других путевых очерков Боткина, публикуемых по журнальным текстам (рукописи не сохранились).

Тексты подготовлены к изданию Б. Ф. Егоровым, свод разночтений — А. Звигильским. А. Звигильский также выверил написание в тексте испанских слов и выражений.

Орфография и пунктуация текстов несколько приближены к современным. Так, не сохраняется архаическое написание слова, если оно не сказывается существенно на произношении (вейер — веер, чорный — черный, разнощик — разносчик, танцовать — танцевать и пр.). При наличии у автора двух форм написания, архаической и современной, как правило, принимается современная, особенно в географических названиях (Пиринеи — Пиренеи, Кадикс — Кадис) и заголовках (русской — русский). Ломаные (угловые) скобки означают редакторскую конъектуру.

Редакционные переводы иностранных

слов и выражений даются в тексте под строкой, с указанием в скобках языка, с которого осуществляется перевод. Все остальные подстрочные примечания принадлежат В. П. Боткину.

Вводная часть примечаний, преамбула к «Письмам об Испании», примечания к «Дополнениям», а также большинство пояснений фактического характера к лицам и терминам написаны Б. Ф. Егоровым, остальные примечания представляют собой сокращенный вариант комментариев А. Звигильского (перевод А. и Т. Звигильских) из французского издания «Писем об Испании»: *Botkine Vassili. Lettres sur l'Espagne. Texte trad. du russe, préf., annoté et ill. par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1969, p. 281—316.*

Примечания 8—11 к статье «Русский в Париже» заимствованы из комментариев А. Звигильского к его французскому переводу отрывка о визите Боткина к В. Гюго: *Zviguilsky A. V. P. Botkine chez Victor Hugo. — Revue de littérature comparée, 1965, t. 154, avr. — juin, p. 287—290.*

Даты писем и события в России приводят-

ся по старому стилю, даты за рубежом — по новому.

ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ

Впервые публиковались в журнале «Современник»; шесть писем под общей рубрикой «Письма об Испании»: I — 1847, № 3, отд. II, с. 32—62; II — 1847, № 10, отд. II, с. 148—190; III — 1847, № 12, отд. II, с. 81—112; IV — 1848, № 11, отд. II, с. 27—48; V — 1849, № 1, отд. II, с. 37—66; VI — 1849, № 11, отд. II, с. 1—30; последнее письмо — без общей рубрики и нумерации, под заглавием «Гранада и Альамбра» — 1851, № 1, отд. II, с. 73—120.

Отдельной книгой «Письма об Испании» вышли в свет в начале января 1857 г.

Ниже приводится свод разночтений журнального текста и текста издания 1857 г.

По инициативе Н. А. Некрасова, что видно из его писем к В. П. Боткину от 16 сентября 1855 г. и 16 июня 1856 г. (см.: *Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.* Т. 10, М., 1952, с. 248, 279), Боткин подготовил цикл писем для отдельного издания, сделав незначительные изменения в журнальном тексте (см. ниже, разночтения). Книга была подготовлена автором в

июле 1856 г. на даче под Москвой (Кунцево). Боткин писал Некрасову 24 июля: «Посылаю тебе выправленный мною экземпляр „Писем об Испании“, вместе с предисловием. Все, что в тексте зачеркнуто карандашом, — следует исключить. Я думаю, каждое письмо нужно отделить и на заголовке его выставить город, о котором идет речь. Испанских слов я не выправлял, потому что они напечатаны почти все с ошибками, я поправлю их, когда ты вышлешь мне корректуру, которую, пожалуйста, присылай по мере печатания. Хорошо бы все это поскорее кончить. Только, пожалуйста, не делай слишком малого формата — и уж, будь друг, пришли мне образчик формата, какой ты придумаешь. Не знаю, что ты скажешь о предисловии» (Голос минувшего, 1916, № 10, с. 95). Возможно, что отсутствие серьезных переделок, декларированное в предисловии к книге, имело целью более быстрое прохождение книги через цензуру (ср. в письме Некрасова к Боткину от 22 августа — 3 сентября 1856 г.: «Предисловие написано очень ловко». — *Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.*, т. 10, с. 290). И действительно, Некрасов

получил рукопись Боткина перед самым своим отъездом за границу, как-видно из того же письма (уехал Некрасов из Петербурга 11 августа 1856 г.); видимо, рукопись долго пролежала в конторе «Современника», куда ее послал Боткин (см. его письмо к Некрасову от 2 августа. — Голос минувшего, 1916, № 10, с. 96), а 14 августа цензор В. Н. Бекетов, сделав незначительные изъятия, уже разрешил издавать книгу. Печаталась она в Петербурге, в типографии Эдуарда Праца, в отсутствие Некрасова, под наблюдением Д. Я. Колбасина.

Однако, судя по письму В. П. Боткина к Д. Я. Колбасину от 27 сентября 1856 г., переговоры с цензором и некоторые исправления продолжались и после подписания книги к печати: «Не знаю, как благодарить Вас, любезный Дмитрий Яковлевич, за Ваши ходатайства у Бекетова. Из посланного моего письма к Вам Вы уже видели, что я собственно дорожу только восстановлением помарки, сделанной на 190 стр., начинающейся словами: „а христианский священник“ — и проч. Из письма Вашего теперь вижу, что Бекетов согласился и восстановил — за это низко кланяюсь

Вам. Что же касается до пометки на стр. 39 — строка 4 снизу, — то эта пометка пусть остается пометкой — мне фраза эта кажется слишком фразистой и я при корректуре сам ее выкину» (Научная библиотека МГУ, архив Д. Я. Колбасина, л. 63—63 об.; в дальнейшем: архив Колбасина).

Из этого письма следует, что, во-первых, Бекетов исключил некоторые места в книге; во-вторых, Колбасин, по просьбе Боткина, уговорил цензора некоторые места восстановить; в-третьих, с некоторыми исправлениями согласился Боткин; в-четвертых, Боткин представил в цензуру (и, очевидно, в типографию) не рукопись в точном смысле этого слова, а печатные оттиски статей из «Современника»: слова о христианском священнике на с. 190 — это заключительные строки письма II (так как текст отдельного издания совпадает здесь с текстом «Современника», значит, Бекетов согласился на полное восстановление первоначально изъятого), а «пометка на стр. 39» относится к журнальному тексту письма I, и Боткин ее принял (см. разночтения).

Стр.	«Современник»	Стр.	Изд. 1857 г.	Стр. наст. изд.
------	---------------	------	--------------	-----------------

П и с ь м о I

32	Мадрит. Июнь, 1846.	1	Мадрит. Май	6
32	Между которыми поместились escopeteros	1	Между которыми поместились двое солдат, чтобы отстреливаться в случае нападения разбойников	6
33	Можно часа три, четыре уснуть на постели (хотя здесь они очень плохи), а во-вторых, дорога	3	а во-вторых, можно часа три уснуть на постели (хотя здесь они очень плохи). Дорога	7
33	следы войны	4	следы междоусобной войны	7
33	полуразрушенными крестами	4	полуразрушенными крышами	7
34	Когда, назад тому лет семь, монастыри в Испании были упразднены и монахи из них <i>выведены</i> (я буду иметь случай коснуться этого, когда буду говорить с вами о духовенстве в Испании)	4	Когда монастыри в Испании были упразднены и монахи из них <i>выведены</i>	7
35	трехпроцентные	6	четырёхпроцентные	8
35	congregidor это нечто вроде тех comites, которых римские императоры посылали надсматривать над римскими муниципиями.	7	congregidor	8
35	лишила их отдельных fueros	7	лишила все эти северные провинции их отдельных прав — fueros	8
35	абсолютный король	7	неограниченный король	8
36	грандиозна	8	величава	9
36	юной Изабелле	9	Изабелле	9
36	по общему закону конскрипция	10	на основании общего закона о рекрутстве,	9
36	escopetto	10	ружье	10
37	совершенного кастильянца	11	прямого кастильянца	10
37	и при урожаях	12	даже при урожаях	10
38	Il n'y a plus de Pyrénées!	12	«Нет больше Пиреней!» — говорил Людовик XIV	11
38	между народов, столько нуждающихся друг в друге	12	между Францией и Испаниею	11
38	индивидуальности	13	исключительности	11
39	el gobierno	14	el gobierno (правительство)	11
39	тяжкие страдания не породили никакой великой мысли, даже не породили отчаяния, последнего великого плода страдания.	16	тяжкие страдания не породили до сих пор ровно ничего. . .	12
39	уныния, усталости	16	уныния	12
41	papelito	18	папироску	13
41	сигаретка	18	папироска	13
41	высшее гражданство (bourgeoisie)	18	высшее гражданство	13
41	овладеть Casa de Correos	19	овладеть почтовым домом	13
41	sorbetto	19	сорбет	14

Стр.	«Современник»	Стр.	Изд. 1857 г.	Стр. наст. изд.
43	испанская оригинальность	23	испанская национальность	15
45	Национальная <i>basquina</i>	26	Национальная короткая <i>basquina</i> (юбка)	17
47	в венту <i>Villaverde</i>	30	в венту	18
47	(из какой части рая) * <i>Buen tierra si non se estuviera ten cerca de Castilla</i> (Хорошая земля, если б не лежала так близко к Кастильи). Ни одна улица в мире не представляет такого живого, ярмарочного разнообразия; около нас беспрерывно раздавалось — <i>Agur</i> (приветствие, которое говорят и здороваясь и прощаясь). Кавалер, — коляску, — ступайте с богом (непрерывное слово при прощании), — дилижанс в Караванчель, — хорошее масло, — ради божьей любви, — простите, ваша милость, кавалер, — не в чем, — <i>caballero, una calea Vagallste un <Vaya usted con> Dios, — la diligencia de Carabanchel, — Accituna buena, senores, por el amor de Dios, — generala, coronela</i> (прозвища мулов, которыми кричат на них), — <i>perdone usti <usted>, caballero — Non hay de que.</i>	31	(Из какой части рая). <i>De Jaen</i> (Из Хаэна). <i>Buen tierra si non se estuviera tan cerca de Castilla</i> (Хорошая была бы земля, если б не лежала так близко к Кастильи). По поводу выражения «рай», смысла которого я не понял, чичероне мой рассказал мне следующий народный рассказ: Сан-Яго	19
	* В Испании ходит следующий народный рассказ: Сан-Яго			
48	А вот две <i>manolas</i> : <i>A donde van los reinas</i> (куда идут королевы)? <i>De Jaen</i> (из Хаэна)	32	А вот пробираются две красивые <i>manolas</i> . <i>A donde van las reynas?</i> (А куда идут эти королевы?) — кричат им несколько молодых погонщиков мулов.	19
48	поправляя на голове	32	кокетливо поправляя на головках	19
48	Не нужен ли мужчина в прожатые (точнее, к стремени)?	32	(Не нужен ли мужчина в прожатые?)	19
48	<i>Agua fria. . . de la fuente la traigo, —qui en la bebe? El papel que acaba <acaba> de salis <salir> ahora nuevo — Orchateco. . .</i> но всех криков нет возможности перечислить. Чаще и больше всего раздается на улицах Мадрита:	32	Ни одна улица в мире не представляет такого живого, ярмарочного разнообразия; около нас раздавалось тысяча криков разных разнощиков и продавцов, над которыми господствовал крик — «холодная	19

Стр.	«Современник»	Стр.	Изд. 1857 г.	Стр. наст. изд.
	Agua fría; здесь кстати сказать, что из всей промышленности Мадрита самая важная есть продажа воды.		вода, сейчас из фонтана! Agua fría, ¡de la fuente la traigo!	
49	Мадрит. Июль, 1845	34	Мадрит. Июнь	20
49	величающие	35	называющие	20
50	Один простолудин в плаще проходил по площади, вертя свою papelito <...> прося закурить свою papelito у его сигары <...> продолжал свою дорогу. Утром, когда Мадрит явился <...> покорился новым налогам.	36	Утром, когда Мадрит явился <...> покорился новым налогам. А вот одна черта из здешних нравов, которая меня поразила: в то время, когда на площади толпы народа и солдаты ежеминутно готовы были броситься в драку, — один простолудин в плаще проходил по площади, свертывая свою папироску, <...> прося закурить свою папироску у его сигары <...> продолжал свою дорогу.	21
50	ayuntamiento	38	городовое управление (ayuntamiento)	22
57	fandango и bolero (о cachucha уже нечего и говорить)	50	фанданго и болеро (о качуче уже нечего и говорить)	27
58	за palacio real	53	за королевским дворцом	28
60	gracia»	57	gracia» (Нет, сударь, нет, покорнейше благодарю)	30
61	caballero» (я беден, но я кавалер)	57	caballero» (Нет, сударь, благодарю — я беден, но я кавалер)	30
61	«gracias», — gracias, caballero	57	«gracias» (благодарю), — gracias, caballero (благодарю, кавалер)	30
П и с ь м о П				
148	Мадрит. Июль	60	Мадрит. Июнь.	31
154	существует наем, под названием censo enfiteutico	71	существует следующего рода наем	36
155	Кордова. Август	74	Кордова	37
159	artieros	82	погонщиков мулов (artieros)	40
160	свои papelitos. Конечно, водонос	84	свои papelitos (папироски). Каждый водонос	41
166	старые друзья графа, — люди, которых ортодоксия была весьма сомнительною. Инквизиция нарочно создала их, желая дать им косвенный урок*	95	старые друзья графа. Инквизиция нарочно создала их, желая дать им косвенный урок.	46
	* Эти подробности сообщает нам самовидец их епископ Галиса (Guadix).			

Стр.	«Современник»	Стр.	Изд. 1857 г.	Стр. наст. изд.
169	я уже говорил вам	102	я уже говорил	49
175	оставили они возле своих алтарей	112	остались возле алтарей	53
176	Севиля. Сентябрь	115	Севиля. Июнь	54
177	Я писал уже вам, что в самый день моего приезда застал я здесь великодушную corrida de toros	118	Я писал уже, что в самый день моего приезда застал я здесь великодушный бег быков — corrida de toros	56
185	Можно рисковать жизнью	133	рискуют жизнью	62
П и с ь м о III				
81	Севиля, сентябрь	144	Севиля, июль	67
82	Каждый patio	146	Каждый двор	68
82	Севиля выходит tomar fresco	147	Севиля выходит «брать прохладу»	68
107	не найдете ни у какого гастронома в Европе	194	не найдете у любого гастронома в Европе	88
112, Конец письма III	Буду к вам писать из Кадикса или из Гибралтара	202	—	91
П и с ь м о IV				
27	Кадис, сентябрь	202	Кадис. Август	92
41	только рабочего или купца	230	Только ремесленного или купца	104
41	я здесь говорю	230	я говорю	104
48	змея ужалила меня, ужалила. . . и прочее, чего неудобно здесь привести. . .	246	змея ужалила меня, ужалила. . . * и прочее.	110
			* La culebra me comía Cómeme por la parte Que todo lo mereca.	
П и с ь м о V				
37	Гибралтар. Конец сентября	246	Гибралтар, конец августа	111
57	около 400 асс.	284	около 400 руб. асс.	126
58	его страдания	287	его предсмертные страдания	128
П и с ь м о VI				
1	Малага. Октябрь.	303	Малага, сентябрь	134
7	в Альпухаррах и в Serranía de Ronda	315	в Альпухаррах (Serranía de Ronda)	140
9	милосердия королевского *	319	милосердия королевского	141
* Watson. История Филиппа III. Т. 2, стр. 42 и д.				
15	pacimientos	331	pacimientos — рожденьями	146
20	около 60 миллионов серебром	339	около 50 миллионов серебром	149
30	Но это безразлично! заметите вы мне. О, даже очень безразлично!	359	Но ведь это безразлично! заметите вы мне. Что же делать!	158

Стр.	«Современник»	Стр.	Изд. 1857 г.	Стр. наст. изд.
30	увы! ничего этого не понимает материяльная натура южного че- ловека	359	увы! ничего этого не хочет звать страстная натура юж- ного человека.	158
⟨ П и с ь м о VII ⟩				
73	—	359	Октябрь	158
89	около 3 руб. сереб.	390	около 3 руб. сер. в день	170
106	залю Истер . . . в зале Истер	421	залю Сестер . . . в зале Сестер	183
116	охватывает простая ткань	440	охватывает твоя простая со- рочка	190

Письма В. П. Боткина к Д. Я. Колбасину являются самым ценным источником для изучения процесса подготовки книги.

Из письма от 27 сентября 1856 г.: «Теперь приступайте к печатанию — но уж, будьте добры, высылайте мне корректуру: испанские слова страшно все были перевераны в „Соврем⟨еннике⟩“, потому что все почти письма печатались без моей корректуры. Высылайте мне листа по три и четыре за раз ⟨...⟩ Вы, кажется, недовольны выбранным мною форматом? Мне показался он недурным — а впрочем, я не знаю, хорош ли он выйдет в книге. А поля надо все-таки оставить немалые» (архив Колбасина, л. 63 об., 64—64 об.).

Из сохранившегося отрывка письма от октября 1856 г.: ««Если бы» даже Вам и пришлось пересылать корректуру ко мне листа по два за раз — я бы их тотчас же просматривал и дня через два отправлял к Вам. Это бы почти не замедлило печатание, а я бы имел ту выгоду, что мог бы исправить иную дурную фразу» (архив Колбасина, л. 65).

Из письма от 1 ноября 1856 г.: «Возвращаю Вам, любезный Дмитрий Яковлевич, присланные Вами два листа корректуры. Я кое-что исправил в них, переменял некоторые слова, но смысла не касался. Надеюсь, что Бекетов не будет за это в претензии. Да пожалуйста вышлите мне корректуру моего предисловия. Мне надо его просмотреть. Жду следующих «листов?»» (архив Колбасина, л. 67).

Судя по этим письмам и сличая тексты «Современника» и отдельного издания, мы можем заключить, что Боткин главным образом заменял испанские выражения русскими (или пояснял в скобках испанские слова), изымал прямые обращения ко второму лицу («вам»), уточнял определения и шлифовал стиль.

ДОПОЛНЕНИЯ

В этом отделе публикуются ранние путевые очерки В. П. Боткина о Париже и Италии, предшествующие по жанру (личные письма), по методу описания и по стилю «Письмам об Испании», а также наиболее ценные критические статьи современников — Н. Г. Чернышевского и А. В. Дружинина — о книге «Письма об Испании» 1857 г.; каждая из этих статей является важным дополнением к тексту Боткина: Чернышевский подчеркивает существенные для предреформенной России аспекты книги, имеющие социально-политический характер, к тому же в эту рецензию включен исторический обзор, написанный самим В. П. Боткиным; а Дружинин в своей либеральной по духу статье дает в то же время интересный анализ английских и французских книг, которыми пользовался Боткин при работе над «Письмами». Очень большие цитаты из «Писем об Испании», которые обильно включали в свои рецензии Чернышевский и Дружинин, опущены; в примечаниях даны точные сведения об этих цитатах.

Русский в Париже (1835). Из путевых

записок

Впервые опубликовано в журнале «Телескоп», 1836, № 14, с. 231—247, за подписью «В. Б.». Это — первая печатная статья В. П. Боткина.

Отрывки из дорожных заметок по Италии

Впервые опубликовано в журнале «Московский наблюдатель», 1839, ч. I, январь, кн. 1, отд. II, с. 195—224, за подписью «В. Б-н» и с датой в конце статьи 1835. Действительно, после Лондона (март 1835 г.) и Парижа (лето) Боткин отправился через Швейцарию в Италию, где провел осень и зиму 1835 г. Путь его пролегал через горный проход Симплон, город Домодоссоло, озеро Лаго-Маджоре, города Сесто-Календе, Милан, Падую, Венецию.

Письмо из Италии

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1842, № 4, отд. VIII, с. 97—100, за подписью «В. Б-н». Дата — «октября 29-е, 1841» — не реальная, так как Боткин с 1835 по 1844 г. не выезжал за границу, а в октябре 1841 г. находился в Петербурге. Очевидно, Боткин был в Риме поздней осенью

1835 г., но приблизил дату ко времени опубликования очерка, не желая предлагать читателю давний материал.

Письмо В. П. Боткина к брату Николаю

Печатается впервые по автографу, хранящемуся в Гос. музее Л. Н. Толстого в Москве (шифр: З. А. Бот. 95). Отрывки из письма были опубликованы в заметке: *Егоров Б. Ф.* Отъезд В. П. Боткина в Испанию. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1963, вып. 139, с. 340—341.

***Н. Г. Чернышевский.* «Письма об Испании» В. П. Боткина. СПб. 1857**

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1857, № 2, отд. III, с. 43—72, без подписи. Сохранилась рукопись (Центральный гос. архив литературы и искусства, Москва). Перепечатывалось в собраниях сочинений, в том числе в наиболее авторитетном: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. Т. IV. М., 1948, с. 222—245 (с некоторыми неточностями). Печатается по журнальному тексту. Утверждение комментатора Н. М. Чернышевской о соавторстве Н. А. Некрасова (там же, с. 924—925) неверно; в действительности, как свидетель-

ствует почерк автографа, историческая часть рецензии написана В. П. Боткиным. Очевидно, Чернышевский, слабо осведомленный в подробностях испанской истории, попросил Боткина самого написать эту часть: получилось нечто вроде авторецензии, точнее — автокомментария к книге; тем ценнее для боткиноведов этот раздел. Некрасов же в августе 1856 г. уехал за границу и никак не мог помочь Чернышевскому в работе над рецензией. См.: *Егоров Б. Ф.* Н. А. Некрасов и В. П. Боткин (Новые материалы). — Вопросы литературы, 1964, № 9, с. 253.

А. В. Дружинин. «Письма об Испании» В. П. Боткина. СПб. 1857 г.

Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения», 1857, № 10, отд. VI, с. 15—56, за подписью «Ред.»; перепечатано в Собрании сочинений А. В. Дружинина, т. 7 (СПб., 1865, с. 381—414) с сокращениями. Печатается по журнальному тексту.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. П. Боткин. Портрет К. А. Горбунова. 1840-е годы (Музей ИРЛИ АН СССР) (*фронтиспис*).

Уволенный со службы. Гравюра из книги «Испанцы в собственном изображении», ««Los españoles pintados por sí mismos, t. I, Madrid, 1843»», с. 94. (Подбор гравюр из этой книги осуществлен А. Звигильским).

Водонос. Там же, с. 138.

Партизан. Там же, с. 281.

Франт. Там же, с. 397.

Мечеть в Кордове (Этот и следующие виды Испании — фотографии А. Звигильского 1972 г.).

В. П. Боткин. Фотография 1860-х годов (Музей ИРЛИ АН СССР).

Разбойник. Гравюра из книги «Испанцы в собственном изображении», т. II, с. 90.

Марагат (представитель этнической группы марагатов). Там же, с. 224.

Контрабандист. Там же, т. I, с. 422.

Каноник. Там же, т. II, с. 48.

Севильский собор.

Общий вид на Аламу.

Гранада. Двор львов в Аламбре.

Генералиф и общий вид на Гранадку.

Мелкий вор. Гравюра из книги «Испанцы в собственном изображении», т. II. с. 276.

Работница сигарной фабрики. Там же, с. 326.

Титульный лист первого издания «Писем об Испании» 1857 г.

Обложка французского научного издания (в переводе) «Писем об Испании», 1969 г.

Карта Испании с маршрутом В. П. Боткина (пунктирной линией). Маршрут восстановлен А. Звигильским. Чертеж И. П. Цаплина.

Примечания

1

Нет больше Пиренеев (*франц.*).

[^^^]

ИЗВОЗЧИКОВ (*итал.*).

[^^^]

корректора (административный начальник)
(исп.).

[^^^]

мятеж (*исп.*).

[^^^]

гимн Риего (*исп.*).

[^^^]

в курс дела (*франц.*).

[^^^]

7

сделайте одолжение, ваша милость (*исп.*).

[^^^]

8

кастильской флегмой (*исп.*).

[^^^]

люди ситуации (*исп.*).

[^^^]

Брадобрей (*исп.*).

[^^^]

шедевров (*франц.*).

[^^^]

Архитектурный живописец с большим талантом. Любителям искусств я особенно рекомендую его великолепное издание «España artística y monumental», заключающее в себе снимки всех замечательных архитектурных зданий Испании. Оно еще далеко не кончено. Жаль, что по высокой цене своей оно не многим может быть доступно. Его поддерживают несколько испанских капиталистов.

[^^^]

Это нечто вроде широких и длинных телег, обтянутых холстом, очень похожих на те экипажи, в которых польские жидаы ездят на шабаш. Галеры эти служат для дальних переездов женщин, детей и простого народа^{452}.

[^^^]

ля канья, андалузская народная песня (*исп.*).

[^^^]

БОЙ БЫКОВ (*исп.*).

[^^^]

Господа, милостыню для учителя (*исп.*).

[^^^]

шик (франц.).

[^^^]

Да здравствует конституция, да здравствует
свобода, — смерть Мону! (*исп.*)

[^^^]

Да здравствует Изабелла Вторая! (*исп.*).

[^^^]

смерть... да здравствует (*исп.*).

[^^^]

Да здравствует королева! Да здравствует конституция! (*исп.*).

[^^^]

в герильясах — партизанских отрядах (*исп.*).

[^^^]

мой дом в распоряжении вашей милости (*исп.*
).

[^^^]

кавалер, рыцарь (*исп.*).

[^^^]

капитанша, полковница, падалъ, цыганка (*исп.*).

[^^^]

идадьго, дворянин (*исп.*).

[^^^]

брата Луиса из Гранады (*исп.*).

[^^^]

аутодафе, сожжениях (*исп.*).

[^^^]

ажурный (*франц.*).

[^^^]

Так называются здесь маленькие фермы (дворики).

[^^^]

Женщина, работающая на сигарной фабрике.

[^^^]

бое БЫКОВ (*исп.*).

[^^^]

Арена для боя быков (*исп.*).

[^^^]

Чуло (*исп.*)^{453}.

[^^^]

Sara на языке цирка называется кусок красной ткани, махая которою *chulo* раздражает быка.

[^^^]

«Браво, браво, бык!» (исп.).

[^^^]

Каждый матадор подбирает себе своих пикадоров, бандерильеров и chulos; все вместе называются они кадрилию^{454} матадора. Бои с быками даются администрацией городских больниц, но говорят, что она от этого не в барышах, потому что число больных очень умножается после каждого боя.

[^^^]

«Исповедь» блаженного Августина, глава VIII, книга VI.

[^^^]

картина о воде (*исп.*).

[^^^]

Интересно одно обстоятельство относительно изгнания евреев: они вздумали откупиться от него деньгами и предлагали Фердинанду (в конце XV века) значительную сумму, Фердинанд расположен был принять ее, как в один день является к нему верховный инквизитор Торквемада во всем облачении, с распятием в руке: «Государь, Иуда первый продал своего учителя за тридцать сребреников; ваше величество думает продать его за тридцать тысяч кусков серебра, — возьмите же их и спешите продать его!». Евреи были изгнаны.

[^^^]

халео, танец (*исп.*).

[^^^]

Matar la curiana буквально значит «убить мокрицу»; в переносном смысле — ускорить движение правой ноги, которую андалузка, танцуя, выставляет всегда вперед, касаясь только носком до земли.

[^^^]

«Европейской гостиницы» (исп.).

[^^^]

табльдотом (общий обеденный стол в гостинице) (*франц.*).

[^^^]

«Child Harold's pilgrimage» «Паломничество Чайльд-Гарольда»; песнь 1-я в примечании. Эти стансы Байрон заменил впоследствии стихами к Инесе.

[^^^]

ветер с Востока (*исп.*).

[^^^]

Pechero, — по словарю Мадритской Академии, — el que está obligado a pagar el pecho o tributo, — тот, кто обязан платить налог. — А налогами обложены были только ремесла и торговля.

[^^^]

«Описание путешествия по Испании» (франц.
).

[^^^]

«Отчет о путешествии в Испанию в 1679 году»
(франц.).

[^^^]

«Саламейский алькальд» (*исп.*).

[^^^]

*La culebra me comía;
Cómeme por la parte
Que todo lo merecía*

«Змея меня укусила за орган, который полностью заслужил это (исп.)».

[^^^]

Гаик — верхняя одежда, бурнус.

[^^^]

виола д'амур, смычковый инструмент (*франц.*
).

[^^^]

Мавры, принужденные принять католичество, втайне продолжали следовать исламизму и имели постоянные сношения с африканскими арабами и преимущественно с Марокко^{455}.

[^^^]

«Справедливое изгнание мавров» (*исп.*).

[^^^]

элегантен и благовоспитан (*франц.*).

[^^^]

Ни в одной стране рыцарство не держалось так долго, как в Испании, где, например, уже в XV веке еще бродили странствующие рыцари, а один из них, по имени Суэро де Киньонес, поселился у моста Орвиго и целый год жил тут, рассылая герольдов по дворам европейских государей и арабских владетелей, с извещением, что каждый рыцарь, который захочет проехать через этот мост, должен сразиться с ним. И находились охотники, которые издалека приезжали помериться с ним оружием. Он держал при себе публичного нотариуса, чтоб тот вел самый подробный отчет о каждом поединке. Впоследствии отчет этот в сокращении издан был в Саламанке в 1588 году францисканским монахом Хуаном де Пинеда, под названием: «Libro del Passo honroso defendido por el excelente Caballero Suero de Quiñones» «Книга о Проезде чести, защищаемом выдающимся рыцарем Суэро де Киньонес (*исп.*)».

Zandunga — андалузское слово, собственно значит — смуглая, страстная девочка.

[^^^]

Короткое ружье с широким отверстием.

[^^^]

Guardapiés называется низ юбки, оторочка ее, вырезанная городками. Их носят щеголихи из простого народа.

[^^^]

Буквально — ты сыплешь *соль* вокруг себя.

[^^^]

Рио-Верде — река, протекающая в горах Ронды, буквально значит — зеленая река.

[^^^]

Считаю нужным приложить романс в подлиннике. Может быть, перевод мой не передает мужественной, простодушной, истинно народной прелести оригинала:

*Río verde, río verde,
Tinto vas en sangre viva,
En sangre de los cristianos,
Y no de la morería:
Entre ti y sierra Bermeja
Murió gran caballería,
Murieron duques y condes,
Señores de gran valía.
Allí murió Urdiales,
Hombre de valor y estima.
Huyendo va Saavedra,
Por una ladera arriba,
Tras él iba un renegado,
Que muy bien le conocía,
Con algazara muy grande
Desta manera decía:
«Date, date, Saavedra,
Que muy bien te conocía;
Bien te vide jugar cañas
En la plaza de Sevilla,
Y bien conocí a tus padres*

Y a tu mujer doña Clara.
Siete años fui tu cautivo
Y me diste mala vida,
Y ahora tu seras mío —
O me costara la vida». —
Saavedra que lo oyera
Como un león revolvió;
Tiróle el moro un quadrillo
Y por alto hizo la vía.
Saavedra con su lanza
Duramente le hería;
Cayó muerto el renegado
De aquella grande herida.
Cercaron a Saavedra
Mas que mil moros que había
Hicieronle mil pedazos
Con saña que le tenían,
Don Alonso en este tiempo
Muy gran batalla hacía;
El caballo le habían muerto,
Por muralla le tenía,
Y arrimado a un gran peñón
Con valor se defendía,
Muchos moros tiene muertos
Pero poco le valía,
Porque sobre él cargan muchos
Y le dan grandes heridas,
Tantas que cayó allí muerto

*Entre la gente enemiga.
También el conde de Ureña
Mal herido en demasía
Se sale de la batalla
Llevado por una guía.
Que sabía bien la senda
Que de la sierra salía;
Muchos moros deja muertos
Por su grande valentía.
También algunos se escapan
Que al buen conde le seguían:
Don Alonso quedó muerto,
Recobrando nueva vida
Con una fama inmortal,
De su esfuerzo y valentía.*

[^^^]

«Прогресс нации» Портеса (*англ.*).

[^^^]

секретарю суда (*исп.*).

[^^^]

ваше превосходительство (*исп.*).

[^^^]

преступник (*исп.*).

[^^^]

разбойники, воры (*исп.*).

[^^^]

Так называются здесь огромные крытые холстиною телеги; это дилижансы простого народа. Они возят также поклажи и едут на протяжных^{456}.

[^^^]

*En tu traje no hay engrudos
Ni postizos, ni almidón
Que tu talle y pantorrilla
De carne maciza son.*

[^^^]

Абу Абдалла-Абсанени, автора «Истории Гранады», находящейся в рукописи в Эскориале (Conde, «Dominación de los árabes» «Конде, «Господство арабов» (исп.)»).

[^^^]

*Passeábase el rey moro
 Por la ciudad de Granada,
 Desde las puertas de Elvira
 Hasta las de Vivarrambla.*

*¡Ay de mi Alhama!
 Cartas le fueron venidas,
 Que Alhama era ganada;
 Las cartas echó en el fuego
 Y al mensajero mataba.*

*¡Ay de mi Alhama!
 Hombres, niños y mujeres
 Lloran tan grande pérdida
 Lloraban todas las damas
 Cuanto en Granada habla.*

*¡Ay de mi Alhama!
 Por las calles y ventanas
 Mucho luto parecía,
 Lloraba el rey como fembra
 Que es mucho lo que perdía.*

¡Ay de mi Alhama!

*Moro alcaide, moro alcaide,
El de la vellida barba,
El rey te manda prender
Por la pérdida de Alhama,
Y cortarte la cabeza,
Y ponerla en el Alhambra,
Porque a tí sea castigo,
Y otros tiemblen en mirarla,
Pues perdiste la tenencia
De una ciudad tan preciada.
El alcaide respondía
Desta manera les habla:
— Caballeros y hombres buenos,
Los que regís a Granada,
Decid de mi parte al rey
Como no le debo nada.
Yo me estaba en Antequera
En bodas de una mi hermana.
Mal fuego queme las bodas,
Y qui en me llamara.
El rey me dió la licencia,
Que yo no me lo tomara,
Pedíla por quince días,
Diómela por tres semanas,
De haberse Alhama perdido
A mí me pesa en el alma,*

Que si el rey perdió su tierra,
Yo perdí mi honra y fama;
Perdí hijos y mujer,
Las cosas que más amaba,
Perdí una hija doncella,
Que era la flor de Granada.
El que la tiene cautiva
Marqués de Cádiz se llama.
Cien doblas le doy por ella,
No me las estima en nada.
La respuesta que me han dado
Es que mi hija es cristiana,
Y por nombre le habían puesto
Dona María de Alhama;
El nombre que ella tenia,
Mora Fatima se llamaba.
Diciendo esto el alcaide,
Lo llevaron a Granada:
Y siendo puesto ante el rey
La sentencia le fue dada,
Que le corten la cabeza
Y la lleven al Alhambra:
Ejecutóse la justicia
Así como el rey lo manda.

Papelitos — сигаретки, которые здесь каждый свертывает себе с необыкновенною быстротой и искусством. Сигар, по дороговизне их, народ не курит.

[^^^]

Слово, означающее вечер с гостями.

[^^^]

«Да здравствует божественный Монтес!» (исп.
).

[^^^]

Племя храбрых, кто истребил тебя? Город фонтанов, кто покори́л тебя? Альамбра любезная, жилище наслаждения, для чего же жить, если не видеть тебя? Неверный владеет наследием Абенсеррахов: верно так уж определено!

[^^^]

«История провансальской поэзии» (франц.).

[^^^]

Сочинение его относят к VIII веку, когда науки и искусства были особенно покровительствуемы багдадскими калифами. Роман этот, или, вернее, часть его, стал известен в Европе по английскому переводу Гамильтона («Antar, a bedoueen romance», translated from the Arabic by Terrick Hamilton «Антар, бедуинский роман», переведенный с арабского Терриком Гамильтоном», 1816, 1820) в четырех частях, которые составляют только треть арабского подлинника. На французском он явился как подражание английскому переводу^{457}.

[^^^]

площадь Конституции (*исп.*).

[^^^]

картезианский (*исп.*).

[^^^]

*Abenámar, Abenámar,
Moro de la morería,
El día que tu naciste
Grandes señales habla.*

*Estaba la mar en calma;
La luna estaba crecida;
Moro que en tal signo nace,
No debe decir mentira.*

*Allí respondió el moro,
Bien oiréis lo que decía:
— No te lo diré, señor,
Aunque me cueste la vida.*

*Porque soy hijo de moro,
Y de cristiana cautiva:
Siendo yo niño y muchacho
Mi madre me lo decía.*

*Que mentira no dijese,
Que era gran villanía:
Por tan to pregunta, rey,
Que la verdad te diría.*

— Yo te agradezco, Abenámar,

*Aquesta tu cortesía:
¿Qué castillos son aquéllos;
Altos son y relucían?*

*— El Alhambra era, señor,
Y la otra la mezquita,
Los otros los Alijares,
Labrados a maravilla.*

*El moro que los labraba
Cien doblas ganaba al día
Y el día que no las labra
Otras tantas se perdía.*

*El otro es Generalife,
Huerta que par no tenía;
El otro Torres Bermejas,
Castillo de gran valla.*

*Allí habla el rey don Juan,
Bien oiréis lo que decía:
— Si tú quisieses, Granada,
Contigo me casaría;*

*Daréte en arras y dote
A Córdoba y a Sevilla.*

— Casada soy, rey don Juan,

*Casada soy que no viuda;
El moro que a mí me tiene,
Muy grande bien me quería.*

[^^^]

Нигде я не видал такой страсти к цветам, как в Гранаде. Кроме того, что каждая женщина непременно носит в волосах свежие цветы, здесь даже принадлежит к хорошему тону по праздникам выходить из дому с хорошим букетом в руках и дарить из него по несколько цветов встречающимся знакомым дамам. По праздникам бочонки продавцов воды обвиты виноградными ветвями, а те, которые возят их на осле, даже и ослов убирают виноградом.

[^^^]

Арабские надписи в Альамбре, по поручению Мадритской Академии, переведены на испанский язык и изданы ею^{458}.

[^^^]

Не знаю почему, иные считают арабов изобретателями арки угловой, родоначальницы готического стиля. Эта форма арки самая твердая и крепкая, а арабы своими арками ничего не поддерживали. Я ни в одном мавританском здании в Испании не видывал даже признака угловатой арки и ни малейшего следа готического стиля.

[^^^]

В своей «Альамбре» Вашингтон Ирвинг собрал несколько народных гранадских рассказов.

[^^^]

мавританском (*исп.*).

[^^^]

Жители восточной стороны гранадских гор не носят шляп, а небольшие шапки из черного сукна с отложным козырьком. Эти шапки называются *monteras*.

[^^^]

Немец назывался Генрихом.

[^^^]

*Fuentes de Generalife,
 Que regáis su prado y huerta,
 Las lágrimas que derramo
 Si entre vosotros se mezclan,
 Recibidlas con amor,
 ¡Pues son de amor cara prenda!
 Mirad que es licor precioso
 Adonde el alma se alegra.*

*Aires frescos que alentáis
 Lo que el cielo ciñe y cerca,
 Cuando llegáis a Granada,
 ¡Alá os guarde y mantenga!
 Para que aquestos suspiros
 Que os doy le deis en mi ausencia,
 Y como presentes digan
 Lo que los ausentes penan.*

(Romances de Celín Audalla (Романсы Селина Авдалъи (исп.)»).

Мучеников (*исп.*).

[^^^]

прекрасную Францию (*франц.*).

[^^^]

сладкое ничегонеделание (*итал.*).

[^^^]

«Собор Парижской богородицы» (франц.).

[^^^]

обширную симфонию в камне (*франц.*).

[^^^]

ажурной (франц.).

[^^^]

Да (франц.).

[^^^]

О, с большим удовольствием, сударь (*франц.*).

[^^^]

«Кто надеется — живет. Виктор Гюго» (лат.).

[^^^]

пристанище (*франц.*).

[^^^]

извозчику (*итал.*).

[^^^]

баталия, битва (*итал.*).

[^^^]

Амвросианская библиотека (*лат.*).

[^^^]

публичного (народного) сада (*итал.*).

[^^^]

Несколько месяцев спустя я снова посетил Милан. Тогда на театре Scala пела Малибран^{459}. Тут я узнал, что такое страсть итальянцев к пению и что такое итальянский энтузиазм. В этом вся жизнь его, и как в то время прекрасна она!

[^^^]

гостинице «Сокол» (итал.).

[^^^]

Добрый день... добрый день, синьор (*итал.*).

[^^^]

носильщика (*итал.*).

[^^^]

Дворец дождей (*итал.*).

[^^^]

Лестницы гигантов (*итал.*).

[^^^]

Мосту вздохов (*итал.*).

[^^^]

сторож (*итал.*).

[^^^]

*Не доверяй никому, думай и молчи,
Если хочешь убежать от шпионов,
ловушек и силков.
Раскаяние, жалобы — ничто тебе
не поможет.
Но все это настоящее испытание
твоего мужества.
18 декабря 1677 г. (итал.).*

[^^^]

*Кому я верю, храни их бог,
Кому я не верю, я сам хоронюсь
от них (итал.).*

[^^^]

Говорить мало, отрицать быстро, думать под конец — может даровать жизнь нам несчастным (*итал.*).

[^^^]

Проклят тот человек, который доверяет людям (*лат.*).

[^^^]

СВИНЦОВЫЕ (*итал.*).

[^^^]

свободный (с беспoшлинным провозом товаров) порт (*итал.*).

[^^^]

Прекрасная бедная Венеция (*итал.*).

[^^^]

Действительно, бедная (*итал.*).

[^^^]

*Но смолкло эхо тассовых октав:
Гребцы теперь безмолвны неиз-
менно;
Дворцы уныло смотрят, обвет-
шав,
И редко где прольется кантилена.
Те дни прошли, но Красота
нетленна
(англ.; пер. Г. Шенгели).*

[^^^]

королевский дворец (*итал.*).

[^^^]

123

Какая прекрасная ночь (*итал.*).

[^^^]

проводника (*итал.*).

[^^^]

Римский форум (*итал.*).

[^^^]

громовержец (*итал.*).

[^^^]

гида (франц.).

[^^^]

ЮЖНЫЙ ПИК (*франц.*).

[^^^]

Прощай (*итал.*).

[^^^]

прощай (*исп.*).

[^^^]

посаде, гостинице (*исп.*).

[^^^]

«Италия» г. Яковлева написана почти исключительно с артистической точки зрения; она говорит преимущественно о картинах природы и произведениях искусства и потому, при всех достоинствах изложения, принадлежит совершенно другому роду, нежели «Письма об Испании».

[^^^]

Предисловие к «Письмам об Испании».

[^^^]

путеводители для путешественников (*франц.*
).

[^^^]

«Библия в Испании» (англ.).

[^^^]

С ЛЮБОВЬЮ (*итал.*).

[^^^]

После 1664 года Мурильо постоянно жил в Севилье, лучшие картины его относятся к этому времени, их предназначал он на украшение храмов своего родного города и монастырей по его окрестностям. Вот отчего в Севилье до сих пор хранится столько произведений великого мастера.

[^^^]

См.: *Алексеев М. П.* «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия. — Уч. зап. ЛГУ, сер. филолог, наук, 1948, вып. 13, с. 139 и след. В обновленном варианте эта статья опубликована в кн.: *Алексеев М. П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964, с. 171—206; в дальнейшем: Алексеев.

[^^^]

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955, с. 569; в дальнейшем: Белинский.

[^^^]

Маркс К. Революционная Испания. — В кн.:
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 10, с. 439, 437.

[^^^]

См., например: *Novus* «П. Б. Струве». На разные темы. П. Г-н Чичерин и его обращение к прошлому. — Новое слово. 1897, кн. 7, апрель, с. 50—61 (в дальнейшем: *Novus*); *Корнилов А. А.* Молодые годы Михаила Бакунина, М., 1915, с. 511—557; *Пиксанов Н. К.* Роман И. А. Гончарова «Обрыв». — Уч. зап. ЛГУ. Сер. филолог. наук, 1954, вып. 20, с. 244—251; *Гутьяр Н.* И. С. Тургенев. Юрьев, 1907, с. 285—300; *Евгеньев-Максимов В. Е.* Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. Т. 2. М.—Л., 1950, с. 338—350.

[^^^]

Ветринский Ч. В. П. Боткин. — Новое слово, 1894, № 12, с. 39—107; *Прудков Н. И.* В. П. Боткин и литературно-общественное движение 40—60-х гг. XIX ст. — Уч. зап. Грозненского пед. ин-та, 1947, вып. 3, с. 49—148; в сокращенном и несколько измененном виде эта работа вошла в статью того же автора «Эстетическая критика» в кн.: История русской критики. Т. I. М.—Л., 1958, с. 444—469; *Егоров Б. Ф.* В. П. Боткин — литератор и критик. — Уч. зап. Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 20—81; 1965, вып. 167, с. 81—122; 1966, вып. 184, с. 33—43; *Бухарин А. А.* В. П. Боткин (Из истории формирования буржуазного либерализма в России в предреформенную эпоху). Автореферат канд. дисс. Воронеж, 1972.

[^^^]

Боткин писал 26—27 ноября 1861 г. брату Михаилу (который был моложе Василия на 28 лет): «Из моего детского возраста — нет отрадных воспоминаний: добрая, простая мать, которая кончила тем, что беспрестанно напивалась допьяна, — и грубый, суровый отец. И какая дикая обстановка кругом. Но, несмотря на суровость, — отец, при всем невежестве, был очень неглуп и в сущности добр. Поверишь ли, что память моя сохранила из моей ранней молодости, исполнено такой грязи и гадости, — что даже отвратительно вспоминать себя». — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (в дальнейшем: ИРЛИ), ф. 365, оп. 1, № 9, л. 38.

Даже когда Боткин стал известным литератором, членом кружка Белинского, он вынужден был просиживать в чайном «амбаре» с 10 часов утра до 6 вечера. Когда подросли другие братья (их у него было 8, да еще 5 сестер), Боткин уже мог чередоваться с ними в службе, но лишь в середине 1850-х годов, после смерти отца, он окончательно освободился от ку-

печеских дел, полностью передоверив братьям торговлю «Боткин и сыновья».

[^^^]

Письмо к М. Бакунину от 10 апреля 1839 г. —
ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 21об.

[^^^]

Литературное наследство, т. 62. М., 1955, с. 786—787; Русская мысль, 1891, № 8, с. 4.

[^^^]

Русская мысль, 1891, № 8, с. 7.

[^^^]

Там же, № 7, с. 39. Письмо к Огареву от 22 января 1845 г.

[^^^]

Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. Т. II. М., 1956, с. 359.

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 329—332.

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 323, 330.

[^^^]

Письмо к Анненкову от 26 ноября 1846 г. — В кн.; П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 525 (в дальнейшем: Анненков).

[^^^]

Письмо к Анненкову от 20 ноября 1846 г. (Анненков, с. 520).

[^^^]

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т. Т. VII. М., 1950, с. 166; т. XIV, с. 651—652.

[^^^]

Ср.: Белинский, т. XII, с. 323, 385, 441, 467; Анненков, с. 542.

[^^^]

Письмо Боткина к Анненкову от 28 февраля
1847 г. (Анненков, с. 530).

[^^^]

М... З... К... О мнениях «Современника» исторических и литературных. — Москвитянин, 1847, ч. 2, с. 133—222.

[^^^]

Письмо к Герцену от 25 ноября 1847 г. — Литературное наследство, т. 62, с. 40.

[^^^]

Haxthausen A. Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. T. 1—2. Hannover, 1847.

[^^^]

Литературное наследство, т. 62, с. 40.

[^^^]

См.: Анненков, с. 538. Ср.: Белинский, т. X, с. 29.

[^^^]

См.: Анненков, с. 542.

[^^^]

См.: Анненков, с. 551; Литературное наслед-
ство, т. 62, с. 44.

[^^^]

См.: Анненков, с. 539—540, 542, 551; Литературное наследство, т. 62, с. 46.

[^^^]

См. письмо к Герцену от 16 сентября 1848 г. —
Литературное наследство, т. 62, с. 45.

[^^^]

Письмо к Анненкову от 20 ноября 1846 г. (Анненков, с. 523).

[^^^]

Анненков, с. 551. Эта знаменитая фраза давала повод ко многим истолкованиям. Вульгарно-социологическая трактовка (представление о Боткине как апологете буржуазии) явно несостоятельна и не требует дополнительного опровержения. П. В. Струве, будучи еще легальным марксистом, пытался увидеть в Боткине своего предшественника (*Novus*, с. 56). Попытка совершенно нелепая. Кстати сказать, Маркс в письме к Анненкову от 28 декабря 1846 г. высмеивал Прудона за стремление примирить все сословия (*Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 27, с. 410*), а у Боткина ведь точно такие же взгляды, как у Прудона! В основном Боткин избавился от утопических иллюзий, возвысился даже до критики того же Прудона (впрочем, критиковал его не как демократ и материалист идеалиста, а как более трезвый либерал либерала утопического), но в важнейшем социально-политическом вопросе о соотношении сословий впал в настоящую либеральную утопию о классовом мире.

[^^^]

См.: Анненков, с. 542.

[^^^]

Белинский, т. XII, с. 446—452; ср.: X, с. 353—354.

[^^^]

Белинский, т. XII, с. 468.

[^^^]

Анненков, с. 533.

[^^^]

Анненков, с. 521.

[^^^]

Анненков, с. 546.

[^^^]

См.: Анненков, с. 521.

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 418—419.

[^^^]

Письмо Боткина к Белинскому от 4 февраля 1847 г. — Литературная мысль, II. Пг., 1923, с. 189.

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 409.

[^^^]

Письмо от 2—5 декабря 1847 г. (Белинский, т. XII, с. 445).

[^^^]

Письмо Белинскому от 27 марта 1847 г. — Литературная мысль, II, с. 190.

[^^^]

См.: Белинский, т. X, с. 342, 326—327.

[^^^]

Возможно, к этой категории Боткин относил Достоевского, о котором оставил весьма интересный отзыв в том же письме к Белинскому: «У этого, при всей его тугости и смуте, есть глубокое чувство трагического» (Литературная мысль, II, с. 190).

[^^^]

Белинский, т. X, с. 319, 327.

[^^^]

Русская мысль, 1892, № 8, с. 9.

[^^^]

См., например, его письма к Герцену от 25 ноября 1847 г. (Литературное наследство, т. 62, с. 40).

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 445. Ср.: т. X, с. 347.

[^^^]

См.: Литературная мысль, II, с. 190—192; Анненков, с. 553—555.

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 269.

[^^^]

Вначале Боткин предполагал написать для «Отечественных записок» особую статью «Взгляд на историю Испании за три последних века» (ср.: Белинский, т. XII, с. 411, 563): «Содержанием ее будет истощение Испании правлением ее королей, из которых один другого ничтожнее и бессмысленнее» (письмо к А. А. Краевскому от 19 ноября 1847 г. — Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893. Приложение, с. 91; в дальнейшем: Отчет ИПБ), но, очевидно, убоился цензуры, которая и так сократила его перевод труда французского историка Ф. А. Минье «Антонио Перес и Филипп II» (Отечественные записки, 1847, № 10, 11; о цензурном вмешательстве см.: Отчет ИПБ, с. 90). Вероятно, некоторые исторические материалы, собранные Боткиным, и вошли позднее в текст «Писем об Испании». Интересно, что здесь много раз говорится именно о «трех веках» новой истории Испании (указано А. Звигильским).

См.: Novus, c. 50—51.

[^^^]

См.: *Мякотин В.* Новые слова о старых деятелях. — Русское богатство, 1897, № 11, отд. II, с. 98. Н. И. Пруцков, однако, считает Боткина «одним из предшественников струвианской ревизии марксизма» и апологетом буржуазии (*Пруцков Н. И.* В. П. Боткин и литературно-общественное движение 40—60-х гг. XIX ст., с. 82—83, 86). Как видно, это упрощенная и односторонняя характеристика. Впрочем, подобный взгляд высказывался и раньше (см.: *Фриче В. М.* Русский социализм в художественной литературе. — Печать и революция, 1923, II, с. 67—68). Неточно, хотя более глубоко, взгляды Боткина соотнесены с марксизмом и струвианством в книгах: *Рязанов Д.* Карл Маркс и русские люди сороковых годов. Пг., 1918, с. 97—98; *Сакулин П. Н.* Русская литература и социализм. М., 1924, с. 283—286.

[^^^]

Мякотин В. Указ. соч., с. 99.

[^^^]

Ср. также удивление Боткина перед «фантастическим» возрождением арабских племен, «проснувшихся» «на голос Магомета» (письмо II).

[^^^]

Идея о происхождении сословной борьбы во Франции и Англии из вражды пришедшего покорителя и завоеванного племени была подробно разработана в кругу французских романтических историков, особенно в сочинениях О. Тьерри, хотя своими корнями уходит в XVIII век (см.: *Алпатов М. А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.—Л., 1949, с. 29—84; *Резов Б. Г.* Французская романтическая историография. Л., 1956, с. 75—102). Боткин, несомненно, был хорошо знаком с трудами О. Тьерри; в кругу его друзей серьезно изучались работы французского историка: Герцен перевел на русский язык «*Récits des Temps mérovingiens*» («*Рассказы о временах меровингских*». — Отечественные записки, 1841, № 2, отд. II, с. 45—63), не говоря уже о Грановском, который знал Тьерри как специалист по средним векам.

Отношение декабристов и революционных демократов к Востоку было значительно более сложно: эта тема еще ждет своего объективного исследователя.

[^^^]

Последние письма, очевидно, в целом мало пострадали от цензуры, так как не содержали острого и злободневного политического материала, зато относительно письма I, имеются сведения о существенном искажении текста (см. статью А. Звигильского).

[^^^]

Это не мешало Боткину постоянно жаловаться в «Письмах» на отсутствие в Испании комфорта и тонких яств; с каким восторгом описывал он свой приезд в английский Гибралтар!

[^^^]

См.: Белинский, т. XII, с. 453.

[^^^]

Белинский, т. XII, с. 384.

[^^^]

Под типическим Боткин понимал обобщенно-условное и эпигонски-«штампованное» следование классическим правилам.

[^^^]

Санктпетербургские ведомости, 1869, 13 октября, № 282.

[^^^]

Он писал, например, Некрасову 22 сентября 1855 г.: «Я вовсе не смыслю в полемике и тем более в насмешке» (Голос минувшего, 1916, № 10, с. 97).

[^^^]

В рецензии на «Путешествие в Малороссию» кн. П. Шаликова (1803): «Не будем же искать в этой книге ни географических, ни топографических описаний... мы не узнаем, сколь многолюден такой-то город, могут ли ходить барки по такой-то реке, и чем больше торгуют в такой-то провинции — мы будем бродить вместе со странником, куда глаза глядят... вздохнем близ могилы его друга, освещенной лучами заходящего солнца, и вместе с ним вспомним о прошедшем...» и т. д. (*Жуковский В. А. Полн. собр. соч. Т. III. Пг., 1918, с. 11.*)

[^^^]

В очерке «Николай Алексеевич Полевой»
(1846) — Белинский, т. IX, с. 677.

[^^^]

Об истории русской очерковой литературы см. статью «Традиции боевого жанра (Пути развития русского очерка)» — в кн.: *Костелянец Б.* Творческая индивидуальность писателя. Критические очерки и статьи. Л., 1960, с. 431—547.

[^^^]

Los españoles pintados por si mismos. T. I—II.
Madrid, 1843.

[^^^]

Цветаева А. Воспоминания. М., 1971, с. 464.

[^^^]

Сокращенный перевод Т. и А. Звигильских с французского оригинала: *Zviguilsky A. Les «Lettres sur l'Espagne» de V. P. Botkine.* — In: *Botkine Vassili. Lettres sur l'Espagne. Texte trad. du russe, préf., annoté et ill. par Alexandre Zviguilsky.* Paris, 1969, p. 13 —54; в дальнейшем: Zviguilsky.

[^^^]

В дальнейшем все события и письма в пределах России датируются по старому стилю, за рубежом — по новому.

[^^^]

Щербина Н. Ф. Акафист блаженному борзописцу Василию (Боткину) литературы ради юродивому. — В кн.: *Щербина Н. Ф.* Избранные произведения, Л., 1970, с. 258. Д. В. Григорович энергично защищал Боткина: «Гнусная клевета от начала до конца: В. Боткин долго жил в Испании; живопись понимал отлично, музыку понимал так же; говорил всегда умно и много знал...» и т. д. — Литературные приложения к «Ниве», 1901, № 11, с. 388. См. также: *Галахов А. Д.* Сороковые годы. — Исторический вестник, 1892, № 1, с. 132, 133—134; *Леонтьев К. Н.* Воспоминания 1831—1868 гг. — Собр. соч. Т. 9. СПб., 1914, с. 104. Об этих отзывах см. подробнее: *Алексеев М. П.* «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия. — В кн.: *Алексеев М. П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964, с. 176—177, примеч. 15; в дальнейшем: Алексеев.

Кроме того, это письмо вносит новый вклад в биографию И. С. Тургенева, уточняя и исправляя некоторые факты (см.: Zviguilsky, p. 28, n. 3).

[^^^]

Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. Т. XXII. М., 1961, с. 247; в дальнейшем: Герцен. Слова «пантеистическое наслаждение» явно взяты у Боткина; *Огарев Н. П.* Избранные социально-политические и философские произведения. Т. II. М., 1956, с. 379. Боткин провел несколько дней в Танжере в октябре 1845 г. Трудно теперь установить, шутил ли Огарев, или он первоначально в самом деле собирался ехать в Испанию и Марокко вслед за Боткиным.

[^^^]

Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 168, № 17605, СХб. 5, л. 2 (частично опубликовано: Б. Ф. Егоров. Отъезд В. П. Боткина в Испанию. — «Уч. зап. Тартуского ун-та», 1963, вып. 139, с. 340, примеч. 6). Английские туристы, о которых здесь идет речь, — Ричард Форд, написавший путеводитель по Испании (*Ford R. Handbook for travellers in Spain. London, 1845*), и Джордж Борроу (*Borrow G. The Bible in Spain. London, 1843*). По словам Дружинина, «Письмам об Испании» предшествуют эти две книги и очерки Теофиля Готье. Опубликованное впервые во французских журналах «*La presse*» и «*Revue des Deux Mondes*» (1841), сочинение Готье вышло отдельной книгой в 1843 г. под названием «*Tra(s) los montes*» и в 1845 г. под другим названием: «*Voyage en Espagne*». Эта книга была очень популярна в России (отрывки опубликованы: Репертуар и Пантеон, 1842, т. XVIII; Сын отечества, 1843, кн. 1; подробнее см.: Алексеев, с. 187, примеч. 40). Боткин, несомненно, был вдохновлен книгой Готье. Может быть, он читал еще и «*Voyages. Souvenirs*

d'Espagne» А. Фонтане (Fontaney), опубликовавшие в «Revue des Deux Mondes» в 1831—1835 гг. Действительно, как указывает Майков, этот журнал опубликовал несколько статей об Испании в 30-е годы: *Didier C. L'Espagne en 1835* (1 июня 1836); *Carnet Louis de. L'Histoire espagnole* (15 июля 1836). Ср.: *Server Alberta. L'Espagne dans la «Revue des Deux Mondes»* (1829—1848). Paris, 1939.

[^^^]

Зильберштейн И. С. Путешествие И. Е. Репина и В. В. Стасова по Западной Европе в 1883 году. — В кн.: Репин. I. Художественное наследство. М.—Л., 1948, с. 500.

[^^^]

Яковлев И. «псевдоним И. Я. Павловского». Очерки современной Испании (1844—1885). СПб., 1889, с. 173. Боткин не переводил «Альгамбру» В. Ирвинга (1832), но пользовался этой книгой для своего VII письма из Гранады. О связях Гальдоса с русскими писателями см.: *Звигильский А.* — Тургенев и Гальдос. — В кн.: Тургеневский сб. Т. II. М.—Л., 1966, с. 321—324.

[^^^]

Ср.: *Aubrun Ch.-V.* De la picaresque dans ses rapports avec la réalité, ou Don Quichotte et le gentleman. — *Études anglaises* (Paris), 1964, XVII, N 2, p. 159—162; Russes, Espagnols et Anglais. — *Les langues néo-latines*. 1966, dec. N 179, p. 1—5; *Звигильский А.* Гамлет и Дон-Кихот. О некоторых возможных источниках речи Тургенева. — В кн.: *Тургеневский сб.* Т. V. Л., 1969, с. 241—242.

[^^^]

Манъен Шарль. Испанские романсы. — Библиотека для чтения, 1845, т. LXXXIX, отд. VII, с. 27—49.

[^^^]

Valera Juan. Obras compl., t. III, Madrid, 1947,
p. 107.

[^^^]

Ibid., p. 107A.

[^^^]

Sobolevsky S. Lettres d'un bibliophile russe à un bibliophile français. — *Revue hispanique*, 1914, XXX, p. 597.

[^^^]

«Киреевский П. В.» Современное состояние Испании. — *Европеец*, 1832, № 2, с. 247.

[^^^]

Алексеев, с. 186, примеч. 37. Ср.: *Sismonde de Sismondi* J. C. L. De la littérature du midi de l'Europe. T. 1. Paris—Strasbourg, 1819, chap. III, p. 79—105; *Viardot* Louis. Essai sur l'histoire des Arabes et des Mores d'Espagne. T. II. Paris, 1833, p. 2, chap. II, p. 183—190; *Galley* J. B. Claude Fauriel, membre de l'Institut (1772—1843). St.-Étienne, 1909; *Ibrovac* Miodrag. Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies grecque et serbe. Paris, 1966; *Escalier* Ernest. Hispanistes français érudits de 1830 à 1875 (de Viardot à Th. De Puymaigre) Paris, 1961, p. 168—172, 182—183.

[^^^]

См. письмо I, примеч. 23; письмо IV, примеч. 256, 258—263; письмо VI, примеч. 300.

[^^^]

См. письмо IV, примеч. 256.

[^^^]

Mignet F. A. Antonio Pérez et Philippe II. Paris,
1845.2

[^^^]

Он узнал о них из кн.: Histoire du règne de Philippe III, roi d'Espagne, par Robert Watson, continuée par Guillaume Tomson, ouvrage trad. de l'anglais par L. J. A. Bonnet. T. II. Paris, 1809, p. 33—51.

[^^^]

Conde José. Histoire de la domination des Arabes en Espagne et en Portugal. Paris, 1826.

[^^^]

Грановский Т. Н. Испанский эпос. — В кн.: *Грановский Т. Н.* Соч. Ч. 2. М., 1866, с. 166—188.

[^^^]

См.: Современник, 1847, № 10, отд. II, 166, примеч. 7. Однако имя этого епископа не фигурирует в списке свидетелей, составленном М. Дефурно: *Defourneaux* Marcelin. *Pablo de Olavide, ou l'«Afrancesado»* (1725—1803). Paris, 1959, p. 358, n. 3.

[^^^]

«Relation de voyage en Espagne fait, en 1679»; речь, очевидно, идет о книге: *Relation du voyage d'Espagne*. Paris, 1691, вышедшей в свет без фамилии автора, графини Марии Катерины Д'Ольнуа (d'Aulnoy). См. также письмо IV, примеч. 260.

[^^^]

Montes Francisco. Tauromaquia completa o sea el arte de torear en plaza tanto a pie como a caballo. 1836.

[^^^]

Pérez Villaamil Jenaro. España artística y monumental, vistas y descripción de los sitios y monumentos mas notables de España. Vol. 1—3. París, 1842.

[^^^]

Боткин услышал в Мадриде популярную песню «Ancha franja de veludo...» Бретона де лос Эррероса; Герцен вспоминал о последнем стихе первой строфы («soberana rantorrilla»), которую напевал, вероятно, Василий Петрович по возвращении из Испании (см. письмо Герцена к Т. Н. Грановскому, 20 января 1847 г.: Герцен, т. XXII, с. 267). В Севилье Боткин записал несколько *coplas*. И сам автор «Писем об Испании», и русские поэты, переводившие после него песню «No vos engriáis, señora...», не знали, что перевод ее, сделанный П. А. Вяземским, — «Подражание испанским сегидильям» — был опубликован Пушкиным в «Современнике». — 1836, кн. III, с. 195—196 (см. письмо Вяземского к Пушкину от 11 августа 1836 г. — Уч. зап. Горьковского гос. ун-та. Сер. ист.-филол., 1966, вып. 78, с. 473—474).

В Тарифе Боткин запомнил лишь 4 стиха болеро «De la dulce mi enemiga...». В окрестностях Малаги он услышал знаменитую «Zandunga», записал еще две *coplas* в Аламе и скопировал из записной книжки немецкого

путешественника в Гранаде народную импровизацию (см. на эту тему: Алексеев, с. 192—201).

Как сообщает выдающийся советский исследователь (там же, с. 180, примеч. 24), испанские народные песни, записанные Глинкой во время своего путешествия по Испании в 1845 г., поразительно похожи на те, которые были замечены Боткиным в том же году (см. «Записи испанских народных мелодии, сделанные М. И. Глинкой». — В кн.: *Глинка М. И. Литературное наследие.* Т. I. Л., 1952, с. 355—378 и 479—480).

[^^^]

Ср.: *Gautier T. Voyage en Espagne. Paris. Les Presses de l'Opéra, s. a., p. 118*: «Когда исполняют арагонскую хоту или болеро, все светские люди встают и уходят; остаются только иностранцы и чернь, в которых поэтический инстинкт всегда труднее гаснет».

[^^^]

Перевод французской статьи: *Mazade* Charles de. *Un humoriste espagnol: Larra.* — *Revue des Deux Mondes*, 1848, 15 janv., p. 216—249 — появился в «Современнике» (1848, № 3, отд. IV, с. 1—28) под названием «Испанский юморист Ларра. Биографический очерк». Другой анонимный перевод той же статьи опубликован в том же году в журнале «Репертуар и пантеон» (1848, кн. II, с. 131—147).

[^^^]

Los españoles pintados por si mismos. T. I—II.
Madrid, 1843—1844.

[^^^]

Русские путешественники были очень редкими в Испании. Старый мавр, с которым Боткин разговаривал на пароходе, направлявшемся в Танжер, никогда не слышал о России, а контрабандисты, которых он встретил в окрестностях Малаги, стали на редкость любезны с ним, узнав, что он русский, и спросили у него, длится ли в России зима целый год. Мордовцев, посетивший Прадо в 1883 г., пришел в восторг от портрета русского посла П. И. Потемкина, написанного Карреньо де Миранда, и вдруг крикнул по-испански: «Я русский из Москвы», что заставило его проводника вскочить от такого невероятного известия (*Мордовцев Д. Л. По Испании. СПб., 1884, с. 73—84*). Испанских путешественников было так же мало в России, как русских в Испании. Во время своего пребывания на Кавказе испанский авантюрист Хуан Ван Гален был представлен татарскому (?) хану: «Когда генерал (Мадатов, — А. З.) сказал ему, что я не понимаю восточные языки и очень мало знаю русский, потому что я родился в краю, нахо-

дившемся на конце Европы, хан спросил у меня, как зовут шаха моей страны, на что я и ответил как можно отчетливее: Бурбон» (*Van Halen J. Mémoires. P. 2. Paris, 1827, p. 249—250*).

[^^^]

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. X. М., 1956, с. 353; в дальнейшем: Белинский.

[^^^]

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. XIII. М.—Л., 1952, с. 363. Гоголя, с его тягой к простоте и естественности, Испания больше всего привлекала с этой стороны. Прочитав первое письмо цикла, Гоголь так делился впечатлениями с А. П. Толстым: «Я пробежал на днях напечатанные в „Современнике“ письма русского, там (в Испании, — А. З.) бывшего, Боткина, которые, во многих отношениях, очень интересны, особенно там, где обнаруживают свежесть сил народа и характер, очень похожий на характер добрых, простых народов, образовавшийся, однако ж, в это время смут, которые не допустили воцариться там ни новой гражданственности, ни новой роскоши» (письмо из Остенде от 8 августа 1847 г. — там же, с. 359).

[^^^]

М. П. Алексеев справедливо указывает: «Помечая свое первое печатное письмо маем месяцем, Боткин, очевидно, хотел увеличить для читателей срок своих странствий по Испании и тем самым повысить компетентность своих суждений» (Алексеев, с. 174).

[^^^]

Литературная мысль. II. Пг., 1923, с. 188.

[^^^]

По книге создается впечатление, будто путешествие Боткина по Испании продолжалось 5 месяцев (с июня — дата первого письма в первом издании книги — до октября 1845 г.). Даты явно неверны, так же как и время пребывания в Севилье (якобы одна неделя, а затем — 3 воскресенья, проведенные в соборе!) и в Малаге (6 недель!). Поэтому трудно рассчитать реальное время пребывания Боткина в каждом испанском городе. Безусловно он был в Мадриде до 1 сентября (см. письмо I, примеч. 84), а в Кордове, Эсихе, Севилье, Кадисе и Гибралтаре в сентябре. В Танжер, по-видимому, он приехал в конце сентября, судя по его присутствию на празднике «Ночь рока» накануне Рамадана (1 октября 1845 г. — сообщил проф. Ж. Л. Мьеж). Боткин, несмотря на собственные утверждения, не мог провести шесть недель в Малаге, потому что в конце октября он приехал в Гранаду.

Белинский, т. XII, с. 257.

[^^^]

Там же, с. 269.

[^^^]

Там же, с. 318.

[^^^]

Там же, с. 337.

[^^^]

Paraíso (рай) в фразе: De que parte del paraíso.

[^^^]

Например: a perder los de vista (туда, где бы вас не видно было); ¿si necesitan un hombre al estribo? (не нужен ли мужчина в провожа-тые?).

[^^^]

Сравнивая журнальный текст 1847 г. с изданием «Писем» отдельной книгой (1857), мы замечаем, что Боткин добавил в последней переводы испанских слов или совсем заменил их русскими.

[^^^]

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 268. Это «офранцужение» Боткина доходило до абсурда, по словам Авдотьи Панаевой: «В. П. Боткин до смешного претендовал казаться парижанином; он удивил меня, спрятав в карман два куска сахара, который остался у него от поданного ему кофе. Я спросила, для чего он это делает, и получила в ответ, что настоящие парижане всегда так делают, одни русские стыдятся экономии. Я проверяла его слова, но не заметила парижан, прячущих кусочки сахара в карманы. В. П. Боткин сердился на меня за то, что я говорю по-русски на улице и в ресторанах, доказывая, что этого нельзя делать, потому что русских считают дикими, татарами и везде берут с них дороже, чем с других иностранцев. Но эти аргументы меня не пугали, и я продолжала говорить по-русски, к его огорчению» (Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 126).

И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. III. М.—Л., 1961, с. 228, в дальнейшем: Тургенев.

[^^^]

Герцен, т. XXIV, с. 160. Боткинский дом находится в Петроверигском переулке (д. 4), около ул. Богдана Хмельницкого (быв. Маросейка) в Москве. Герцен собирался поехать в Испанию в течение 7 лет (с 1847 по 1854 г.), но ему так и не удалось там побывать. Любопытно заметить, что его представление об Испании почти всегда было связано с персоной Василия Петровича. Так, он писал московским друзьям 21 июня 1847 г.: «В сентябре с Ник^олаем^о Петр^овичем^о и с Георгом (Гервегом, — А. З.) в Мадрид на месяц — оттуда, кроме Боткина и Редкина, ни к кому писать не буду. — Кастаньеты! Ā, Ā, Ā, ā, ā, ā!.. Елекламация В^асилия^я П^етровича^а» (Герцен, т. XXIII, с. 31).

[^^^]

Белинский, т. XII, с. 337. Впрочем, 4 марта, после выхода в свет третьей книжки «Современника» с первым письмом об Испании, Белинский написал своему другу: «Перечел я твою статью: поцарапана, но сущность осталась, и главная мысль даже не затемнена» (там же, с. 348).

[^^^]

Там же, с. 349—350.

[^^^]

Впрочем, Николай I не признавал Изабеллу II законной королевой и поддерживал дона Карлоса, брата покойного Фердинанда VII. См.: *Miraflores marqués de. Memorias para escribir la historia contemporánea de los 7 primeros años del reinado de Isabel II.* Madrid, 1884, I, p. 35, 286; II, p. 823. Дипломатические отношения между Россией и Испанией были прерваны в 1834 г. Только в 1856 г. Изабелла II была признана новым царем, Александром II.

[^^^]

Белинский, т. XII, с. 350.

[^^^]

Письмо Белинского к Боткину от 2—6 декабря
1847 г. — Там же, с. 453.

[^^^]

Белинский писал еще в том же письме: «Ты, Васенька, сибарит, сластена — тебе, вишь, давай поэзии да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами» (там же, с. 445). А Тургенев писал Л. Толстому 8 апреля 1858 г. о Боткине: «Он умнейший человек, <...> но его старческое, всестороннее обращение к наслаждению — подчас бывает неприятно. У него точно несколько ртов, кроме телесного: эстетический, философский и т. д. — и он всеми ими чавкает» (Тургенев. Письма, т. III, с. 210—211).

[^^^]

Герцен, т. IX, с. 114. «Кавелину souvгана пантарыля», — писал Герцен Т. Н. Грановскому 20 января 1847 г. (там же, т. XXII, с. 267). А самому Василию Петровичу Герцен дал прозвище «Гюльем Пьер Собрано-Пантарыльев» (письмо Герцена к Т. А. и С. И. Астраковым, 10—12 июня 1847 г. — Герцен, т. XXIII, с. 29). См. по этому поводу описание прощального вечера накануне отъезда Герцена за границу в «Воспоминаниях» Т. А. Астраковой: «В. П. Боткин несколько раз пел Pantorilla (...) Впоследствии в шутку так его и прозвали» (Литературное наследство, т. 63. М., 1956, с. 554). Образ Боткина можно сопоставить с портретом типичного немца, который дает Хуан Валера: «Я бывал в некоторых публичных садах, с оркестром, где дамы вяжут и пьют со своими кавалерами баварское пиво, слушая с восхищением глубочайшую музыку Бетховена. Мы этого не понимаем, потому что мы отделяем и отличаем с кощунством душу от тела. А немцы, которым кажется, что у них они связаны теснее, чем у кого бы то ни было, и это действительно так,

не могут вести себя иначе. Поэтому они так прекрасно себя чувствуют, будучи и мудрыми и веселыми одновременно. Единственный недостаток этого: тяготение души к пантеизму или вера в одно вещество. Между горбушками хлеба, намазанными маслом, которые они поглощают, и гармоничными вздохами оркестра, между поэтичными и меланхолическими незабудками и ветчиной из Вестфалии они находят совершенную идентичность: А = А Фихте» (неизданное письмо Хуана Валеры из Берлина, июнь 1857 г.; копия хранится у Луиса Серрата-Валеры, Мадрид). Эстетико-гастрономические сравнения часто встречаются у Боткина.

[^^^]

Тургенев, Письма, т. VI, с. 301. Речь идет о статье, где почти дословно воспроизведен текст «Былого и дум»: *Mathieu de Monter Em. Exposition Universelle de 1867, Russie, 9-e article.* — *Revue et gazette musicale de Paris.* 1867, 25 VIII, p. 270A. Перевод отрывка: «Живой образец, легко переходящий от предмета к предмету разговора, *изумительный* симфонист беседы, *Боткин*, к великому восхищению своих друзей, разъяснял, в каком соотношении находится удовольствие, доставляемое пляской волн, с удовольствием от танца молодых испанок с мощными икрами» (*франц.*). Далее автор статьи продолжает излагать текст «Былого и дум» о Шуберте, об индейке с трюфлями и т. д.

[^^^]

Тургенев, Соч., т. XII, с. 29—30. Текст Боткина из письма VI воспроизведен неточно; в подлиннике: «Это гибкое, как шелк, тело лежит на стальных мускулах». Боткин сам заимствовал этот отрывок из книги Т. Готье: «В Испании ноги еле отстают от земли <...> Тело танцует, спина изгибается, бока гнутся, талия вьется с гибкостью египетской танцовщицы или ужа. В опрокинутых позах плечи танцовщицы почти касаются земли; руки, расслабленные и мертвые, становятся гибкими и вялыми, как развязанный шарф; кисти рук как будто еле могут поднять и заставить лепетать кастаньеты из слоновой кости со шнурками, переплетенными золотой нитью; однако, когда приходит время, прыжки молодого ягуара следуют за этой сладострастной вялостью, свидетельствуя, что эти тела, мягкие как шелк, лежат на стальных мускулах» (Gautier, p. 301—302).

Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 2. М., 1952, с. 90. М. П. Алексеев справедливо замечает в своей статье о Боткине (Алексеев, с. 191, примеч. 50), что стилем этого произведения Гончаров обязан литературной манере боткинских писем.

[^^^]

Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 6.
М.—Л., 1963, с. 435.

[^^^]

Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. III. СПб., 1899,
стлб. 1095.

[^^^]

Комментарии

Эта дата, как и все, фигурирующие в заголовке «Писем», произвольна. См. статью А. Звигильского и разночтения.

[^^^]

2

Мушкетон — короткое ружье с раструбом.

[^^^]

Ср.: *Mesonero Romanos* [Ramon]. *Memorias de un setentón* (Madrid, 1967, p. 171B), где говорится, что в 1828—1830 гг. разбойники Ниньос из Эсихи, Хайме эль Барбудо, Хосе Мариа владели всеми испанскими дорогами и проселочными путями: транспортные компании и даже правительство, включая королевское семейство, должны были договариваться с ними и платить им подать, чтобы избежать притеснений.

[^^^]

Боткин еще из Франции послал почти все свои деньги в Мадрид (см. Дополнения, письмо В. П. Боткина к брату Николаю).

[^^^]

Этот отрывок воспроизведен Д. Л. Мордовцевым, совершившим путешествие по Испании в 1883 г. (*Мордовцев Д. Л. По Испании*, СПб., 1884, с. 17—18; в дальнейшем: Мордовцев); эпоха дилижансов и разбойников закончилась в 1883 г., в связи с распространением железных дорог.

[^^^]

То же отмечает во время путешествия по Испании Т. Готье: «...стояли неподвижные, как мумии, ряды кастильцев, высокомерных, покрытых лохмотьями трутового цвета, „принимая солнце“ — развлечение, от которого умер бы со скуки час спустя самый флегматичный немец» (*Gautier T. Voyage en Espagne. Paris, Les Presses de l'Opéra, s. a., p. 61* — в дальнейшем: Gautier).

[^^^]

На самом деле эти слова принадлежат французскому королю Людовику XI. См. *Calmette J. La question des Pyrénées et la marche d'Espagne au moyen age*. Paris, 1947, p. 129.

[^^^]

Это мнение не разделял М. И. Глинка, совершивший путешествие по Испании в том же году, что и Боткин. В письмах к матери из Памплоны от 3 июня 1845 г. он писал: «В постоянных дворах, хотя столь же на вид неопрятных, как и у нас на проселочных дорогах, постели хороши, и везде мы находили все нужное» (*Глинка М. И. Письма и документы. Литературное наследие. Т. II. Л., 1953, с. 294; в дальнейшем: Глинка*).

[^^^]

Получив после революции большинство в испанском парламенте (кортесах), либералы в 1820 г., вопреки сопротивлению короля и клерикалов, упразднили монастыри и обложили налогами духовенство; окончательное упразднение монастырей, после ряда реставрационных актов консервативных правителей, произошло незадолго до приезда Боткина, в 1837 г.

[^^^]

романсеро — здесь, возможно, употреблено в смысле «певец романсов»; обычное же значение слова — «сборник романсов». См. сб.: Романсеро. Сост. Н. Томашевский. М., 1970.

[^^^]

васконгадцы — баски (от испанского *vascongado* — баскский), потомки иберийского племени васконов, проживающие на севере Испании. Сведения о басках и о баскском языке Боткин взял из книги: *Viardot Luis. Études sur l'histoire des institutions, de la littérature, du théâtre et des beaux-arts en Espagne*, Paris, 1835, chap. «Des provinces basques», p. 97—103.

[^^^]

После смерти короля Фердинанда VII (1784—1833) его вдова Мария Кристина (1806—1878) была признана кортесами (парламентом) регентшей, а ее несовершеннолетняя дочь Изабелла (1830—1904) была объявлена наследницей испанского престола. Брат покойного короля, дон Карлос (1788—1855), опираясь на закон 1713 г., лишивший женщин права на трон, стал открыто претендовать на престол. Династический конфликт вызвал первую карлистскую войну (1834—1839). Сторонники регентши называли себя «cristinos», а сторонники дона Карлоса — «carlistas». Баскские провинций, опасаясь политики централизации, проводимой правительством регентства, и не желая мириться с тем, что их привилегии подвергаются ограничениям, поддерживали дона Карлоса. Его приверженцы одержали много побед под руководством генерала Зумалакарреги, который был убит в 1835 г. при штурме города Бильбао. Дон Карлос после нескольких благополучных операций, позволивших ему при-

близиться к Мадриду, должен был отступить перед правительственными войсками под начальством Бальдомеро Эспартеро (см. примеч. 26). В 1839 г. он был вынужден бежать во Францию; Луи Филипп предоставил ему для жительства Бурж.

[^^^]

Речь идет о Карле I (1500—1558), испанском короле с 1516 г., жестоко подавлявшем самостоятельность городов; в 1519 г. он добился короны императора Священной Римской империи и стал именоваться императором Карлом V.

[^^^]

Хунта — местный административный совет.

[^^^]

Имеется в виду так называемый «Королевский статут» 1834 г.

[^^^]

Цельтический — кельтский.

[^^^]

В XIX в. в России были известны труды Мана, специалиста в области провансальского языка и издателя образцов баскской словесности (см. выдержки из докладов А. Н. Веселовского в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1863, ч. СХІХ, с. 159, 160, 447, 448). Теории, упомянутые Боткиным, устарели, так же как и, впрочем, тезисы Марра, который искал истоки баскского языка на Кавказе (*Марр Н. Я.* Яфетическое происхождение баскского языка. — Язык и литература, 1926, 1, вып. 1—2, с. 214 и след.). Баскско-романские отношения были изучены выдающимся советским романистом В. Ф. Шишмаревым (см. его работы: Баскский язык. — В кн.: Культура Испании, М.—Л., 1940, с. 297—326; Очерки по истории языков Испании, М.—Л., 1941, гл. 1). Вообще все теории о происхождении баскского языка остаются проблематичными, и по современной лингвистической классификации баскский язык помещается вне групп.

муниципальных — местных, федеральных, антицентралистских.

[^^^]

То есть с точки зрения муниципальной, местной воспринимается общегосударственную конституцию как ущемление своих автономных прав.

[^^^]

конскрипция — всеобщая воинская повинность (с допущением выкупа).

[^^^]

Сид, дон Родриго Диас де Бивар (1043?—1099) — знаменитый испанский рыцарь и военачальник, герой многих фольклорных и литературных произведений.

[^^^]

Боткин цитирует здесь первую строфу из гимна Риего-и-Нуньес (слова Эвариста Сан Мигеля), ставшего сразу «марсельезой» испанской революции:

*Serenos, alegres,
Valientes, osados,
Cantemos, soldados,
El himno a la lid;
De nuestros acentos
El orbe se admire
Y en nosotros mire
Los hijos del Cid.*

Будущий декабрист Беляев услышал этот гимн от английских офицеров в Гибралтаре в 1824 г. (Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882, с. 128; ср.: Петров Д. К. Россия и Николай I в стихотворениях Эспронседы и Россетти. СПб., 1909, с. 59—60). Рафаэль Риего-и-Нуньес (1784—1823) — испанский генерал и патриот; восстал против Фердинанда VII в 1820 г. и провозгласил восстановление конституции 1812 г. Он был казнен во время наступления

реакции — испанского белого террора. Имя его было очень популярно в декабристских кругах.

[^^^]

То же писал Гильермо Боулес: «Земледельцы не хотят сажать никаких деревьев в Кастилии <...> Они говорят, что тень увеличивает силу стебля и урожай дает мало зерна, а зерно лучше соломы. Они добавляют, что деревья притягивают и удивительно умножают количество птиц, дают им удобные гнезда, и не нужно содействовать этому бичу, то есть размножению воробьев» (*Bowles Guillermo. Introducción a la historia natural y a la geografía física de España. Madrid. 1782, p. 530 — 531*). Ср.: *Weiss Ch. L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'à l'avènement des Bourbons. T. II. Paris, 1844, p. 104*; в дальнейшем: *Weiss*.

[^^^]

Ср. суждение К. Маркса в отрывке из серии его статей «Революционная Испания» (1854): «Поражение революции 1820—1823 гг. легко объяснить. Это была буржуазная революция, точнее, городская революция, в которой деревенское население, невежественное, косное, приверженное к пышному церемониалу богослужений, оставалось пассивным наблюдателем борьбы между партиями, едва ли понимая ее смысл. В немногих провинциях, где в виде исключения деревенское население принимало активное участие в борьбе, оно выступало чаще на стороне контрреволюции — факт, вполне понятный в Испании...» — *Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 10, с. 632.*

[^^^]

Идет речь о министерстве умеренного генерала герцога Рамона Нарваэса (1800—1868), противника Эспартеро.

[^^^]

Эспартеро Бальдомеро (1792—1879) — генерал, отличившийся в борьбе против карлистов, подписал с ними договор о капитуляции в г. Вегара (1839), получил титул герцога Виктории. Став министром-президентом, совершил ряд военных акций против врагов режима. Противник умеренных и вождь прогрессистов, он был у власти с 1840 по 1843 г.

[^^^]

Ср. почти одновременную критику Боткиным Герцена за «славянскую нетерпимость к чужим мнениям» в «Письмах из Avenue-Maigny»: «...терпимость приобретается нелегко, а доказательство — что только английская и французская цивилизация выработали ее» (письмо Боткина к П. В. Анненкову от 12 октября 1847 г. — В кн.: П. В. Анненков и его друзья. Т. I. СПб., 1892, с. 552—553).

[^^^]

Королева Мария Кристина 28 декабря 1833 г., всего лишь через три месяца после смерти Фердинанда VII, тайно вышла замуж за красивого офицера Фердинанда Муньоса, человека весьма скромного происхождения. Брак, устроенный капелланом дворца, не был действителен ни с церковной, ни с гражданской точки зрения. Он был оформлен и объявлен официально 13 октября 1844 г. Бывший королевский телохранитель, будучи мужем королевы, всегда оставался простым подданным. Когда шла речь о Марии Кристине, он говорил: *el ama* — хозяйка. Но если королева-мать, вдова короля, могла править Испанией, то г-жа Муньос не могла. В стране, где супружеская власть осталась всесильной, женщина не может совершать никаких важных дел без разрешения мужа. А г. Муньос не был уполномочен решать правительственные дела. Впрочем, конституция 1837 г. запретила государю вступать в брак без разрешения кортесов. Ссылаясь на эту статью, в октябре 1840 г. кортесы вынудили у Марии Кристины отрече-

чение от престола (см.: *Luz Pierre de, Isabelle II, reine d'Espagne. Paris, 1934, p. 8—11; в дальнейшем: De Luz*).

Карл Маркс писал в «Нью Йорк Дейли Трибюн» 30 сентября 1854 г.: «Отношения между Кристиной и этим Муньосом можно понять, лишь вспомнив ответ Дон-Кихота на вопрос Санчо-Пансы, почему он, Дон-Кихот, любит Дульсинею, последнюю из деревенских девок, когда он мог бы иметь у своих ног принцесс?

Одну даму, ответил достойный рыцарь, окруженную толпой высокородных, богатых и остроумных поклонников, спросили, почему она взяла себе в любовники простого крестьянина. Знайте, ответила дама, что для того, для чего я использую его, у него больше философии, нежели у самого Аристотеля («Дон-Кихот», т. I, гл. 25)». — *Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 10, с. 489.*

[^^^]

Действительно, в 1814 г., как только Фердинанд VII вернулся на испанский престол, началась борьба масонов против короля, и затем политические распри не утихали до 1840-х годов.

[^^^]

Впервые в Испании конституция была принята в 1812 г.; в ней были использованы идеи Великой французской революции 1789—1794 гг. о суверенитете и верховенстве народа; впоследствии конституция много раз переделывалась из-за политических перемен в правительстве.

[^^^]

В 1835 г. в карлистских рядах произошел раскол на два лагеря: на «апостоликос» (повиновавшихся церкви) и на «маротистов» (подчинившихся генералу Марото). В 1839 г. Марото сдался генералу Эспартеро. «Карлистский генерал Марото перешел в лагерь „crístinos“ благодаря крупной сумме денег: это, конечно, не очень красиво, но все младшие офицеры последовали его примеру», — писала Стендалю Евгения Гусман-и-Палафокс Монтихо в декабре 1839 г. из Мадрида (*Stryienski Casimir. Soirées du Sthendal Club. Paris, 1904/1905, p. 201*).

[^^^]

Боткин объясняет политическую прогрессивность других европейских стран, по сравнению с Испанией, чисто идеологическим фактором, «вращением в кругу современной себе цивилизации», между тем как в действительности социально-политическая прогрессивность европейских стран объясняется всей совокупностью идеологических и материально-экономических факторов, среди которых немалую роль играли значительно раньше развившиеся, чем в Испании, буржуазные институты и отношения, стимулировавшие освобождение человека от абсолютистско-феодалного гнета.

[^^^]

Испанцы так привыкли носить капу (плащ), что, когда министр финансов Карла III Эскилаче запретил в 1766 г. большие шляпы и широкие капы, в Мадриде произошли кровавые беспорядки.

[^^^]

Министерство внутренних дел (Gobernación) было превращено в 1786 г. в почтамт (Casa de correos).

[^^^]

То есть «экзальтированные», «восторженные» — радикальная партия. По поводу термина «exaltados» М. В. Нечкина пишет: «Этот „восторг“ был особой чертой времени, чертой ранней революционности, еще не сознававшей всех великих трудностей на своем пути. Испанские революционеры присвоили себе как партийное название термин „эксальтадос“ (к этой партии принадлежал, например, Ван Гален), немецкие деятели говорили о „буре и натиске“ — „Sturm und Drang“, — все это были явления, выросшие в широком смысле слова на одном историческом корню» (Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., 1951, с. 353). «Один испанский „exaltado“ говорил, что Бакунин далеко ушел. В Цюрихе в тюрьме, и из Парижа выслан», — записал Герцен в своем «Дневнике» 30 сентября 1844 г. (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. Т. II, М., 1954, с. 385; в дальнейшем: Герцен). Предположение комментаторов, что «exaltado», о котором идет речь, — сам Боткин (см.: Герцен, т. XXX, кн. 2, с. 733), сомнительно: правда, Герцен в

тот же день указал в «Дневнике», что вернулась в Россию жена Боткина, Арманс (она могла привезти свежие новости из Парижа), но в 1844 г. Боткин еще не ездил в Испанию; скорее речь идет о П. Г. Редкине, вернувшемся из Барселоны после пребывания в Испании в 1842—1843 гг., свидетеле столкновений между «экзальтированными» и «умеренными» (см.: *Алексеев М. П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964, с. 180—181; в дальнейшем: Алексеев), или о каком-то испанском друге Бакунина.

[^^^]

Когда генерал Эспартеро стал в качестве министра-президента и регента править Испанией (1840—1843), то возникли разногласия между ним и большинством прогрессистов, возглавляя которых он и пришел к власти. Эспартеро должен был в результате всеобщего мадридского восстания в июне 1843 г. бежать в Англию. Но захват власти «умеренными» снова сблизил сторонников Эспартеро и прогрессистов.

[^^^]

Сорбет (исп. sorbete) — сладкий густой полузамороженный напиток из молока, яиц и фруктовых соков.

[^^^]

Кроме Café Nuevo и Café de los amigos (или Café de los cangrejos — то есть «Кафе раков»), самые известные кафе Мадрида были Café de la Bolsa, del Levante, del Príncipe; в последнем встречались артисты и литераторы.

[^^^]

Еще более подробный список прохладительных напитков приводит в своей книге Т. Готье (см.: Gautier, p. 104—105).

[^^^]

У испанцев вообще было принято коллективное чтение: Тургенев читал вслух в кругу всей семьи Хоакины Гарсиа письма, написанные ей дочерью Полиной (см.: *Zviguilsky A. Tourguénev et l'Espagne. — Revue de littérature comparée, janv. mars 1959, p. 58*).

[^^^]

Подобное же замечание см. у Готье: «В кафе Мадрида женщин больше, чем в Париже, и они курят папиросы и даже сигары из Гаваны» (Gautier, p. 105). Последняя легенда была, видимо, принята на веру в России. Хуан Валера во время своего пребывания в Петербурге писал: «Много людей умных, между прочим, воображает себе, что все испанские женщины курят, тогда как, наоборот, это русские курят»; «Многие русские дамы курят соломки и даже сигары длинные, как палки, и говорят, что они подражают испанкам» (Письма к Л. А. де Куэто от 1 и 11 января 1857 г. — В кн.: *Valera Juan. Obras compl. T. III. Madrid, 1947, p. 90A, 101A*). Характерно, что Боткин, видевший Испанию, не говорит о курящих женщинах.

[^^^]

Имеются в виду король арагонский Фердинанд V (1452—1516) и королева кастильская Изабелла I (1451—1504), брак между которыми (1468) способствовал единению испанских княжеств.

[^^^]

Филипп II (1527—1598) — испанский король с 1556 г.

[^^^]

Алькасар Мадрида, находившийся на месте нынешнего королевского дворца. Разрушен в царствование Филиппа V, в 1734 г.

[^^^]

Боткин высказывает здесь типичные для оппозиционных кругов русской интеллигенции николаевского времени «федералистские», антицентрализаторские идеи (ибо здесь, разумеется, имеется в виду не только Испания, но и Россия), которые в условиях абсолютизма носили прогрессивный характер (ср. изображение «казенного» Петербурга в русской демократической литературе 1840-х — 1850-х годов).

[^^^]

Филипп V (1683—1746) — испанский король с 1700 г.; внук французского короля Людовика XIV, он находился под сильным влиянием своего деда.

[^^^]

С XIV в. (и вплоть до начала XIX) из всех стран, где господствовал католицизм, лишь Испания сохраняла и усиливала инквизицию; во Франции же именно в XIV в. инквизиция стала подвергаться ограничениям и пришла в упадок.

[^^^]

Атений (Атенео) — высшее учебно-научное заведение; открыт в 1835 г.

[^^^]

Collège de France (Коллеж де Франс) — особое высшее учебное заведение, основанное в Париже в 1530 г.; не имело обязательных программ и экзаменов.

[^^^]

Испанский король Карл III (1716—1788), вступивший на престол в 1759 г., стремился проводить политические, экономические, культурные реформы по французскому образцу; в числе их была и попытка реформировать одежду, вызвавшая народное восстание (см. примеч. 33).

[^^^]

«Вы правы, что Испания испорчена тем, что там ввели в моду шляпы и изгнали монахов», — писал Мериме Соболевскому 31 августа 1849 г. (*Мериме* Проспер. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1963, с. 95). Ср. примеч. 33.

[^^^]

Боткин, может быть, заимствовал эти размышления о вредности мадридского воздуха из статьи своего соотечественника П. В. Киреевского, в свою очередь читавшего об этом в кн.: *Faure Raymond. L'Espagne sous ses pouvoirs religieux et monarchiques.* (Paris, 1831): «Его (Мадрида, — А. З.) атмосфера самая раздражительная во всей Испании. Ветер, дующий там почти целый год с Гвадаррамских гор и своими вредными действиями подавший повод к такому множеству пословиц, так пронзителен, что расстроил бы самую крепкую грудь, если бы от него не защищались полою плаща <...> он очень часто производит у иностранцев самое жестокое колотье. Этот ветер дует там часто и от февраля месяца до мая отменно сильно; он беспрестанно подымает целые облака селитристой пыли, раздражает глаза <...> Острое и хроническое воспаление в легких также бывает довольно часто, особенно в столице, где решительный перелом почти всегда приходит скоро» (Современное состояние Испании. — *Европеец*, 1832, № 2, с. 232, 234).

[^^^]

Эта поговорка существует действительно:
«Aire de Madrid mata, y no apaga un candil»
(воздух Мадрида убивает, а свечу не тушит).
Ср.: *Custine* marquis de. *L'Espagne sous*
Ferdinand VII. T. 1. Paris, 1838, lettre XIII, p. 291.

[^^^]

Глинка познакомился в том же году с Вильямом, нарисовавшим севильскую танцовщицу в его «Испанский альбом» (Глинка, т. II, с. 359).

[^^^]

Стакан воды продавался за один cuarto (приблизительно $2\frac{1}{2}$ коп.).

[^^^]

Идет речь об Алехандро Моне (1801—1882), министре финансов с 1844 г. За год он уменьшил военные расходы, упразднил множество старых пошлин (дорожные и др.) и ввел в Испании две основные налоговые категории: прямые и косвенные. Эта мера вызвала недовольство большинства населения, о чем Боткин и сообщает. Несмотря на это, бюджет 1845 г. — единственный сбалансированный бюджет Испании в царствование Марии Кристины и Изабеллы II (см.: De Luz, с. 106—108).

[^^^]

Прямые налоги состояли из такс на строительство, на посевы, на скот; в них входили также не соответствующие своему названию «субсидиос» на торговлю и промышленность и налоги на наем жилья. Косвенные налоги состояли из пошлин на потребительские товары, из таможенных пошлин, из такс на сделки, касающиеся недвижимости, и на табачные лавки. Налоги на потребительские товары, которыми были обложены все классы общества, послужили опасным оружием в руках противников умеренной партии. Боткин, по-видимому, видел в уличных манифестациях в Мадриде только негодование буржуазии, «торгового и промышленного класса».

[^^^]

Русские революционные демократы также подчеркивали, что в отсталой феодальной стране народ хорошо разбирался в своих социальных нуждах, но плохо ориентировался в политических конфликтах представителей господствующих сословий.

[^^^]

Имеются в виду династия Габсбургов, занявшая испанский престол в 1517 г. (в XVI в. жестокостью отличались Карл I и Филипп II) и пресекшаяся в 1700 г. со смертью Карла II, больного эпилепсией, и династия Бурбонов, правившая Испанией в XVIII—XIX вв.

[^^^]

Боткин не говорит здесь об испанских писателях и о министрах эпохи Просвещения (вторая половина XVIII в.). Однако он дважды коснулся этой темы, в письме II, по поводу Олавида, а также в своем резюме истории Испании, включенном в рецензию Н. Г. Чернышевского на «Письма об Испании».

[^^^]

Боткин, во-первых, не учитывает цензурных репрессий, которым подвергалась прогрессивная журналистика, во-вторых, он, видимо, не был достаточно знаком с творчеством выдающихся радикальных писателей Испании первой половины XIX в. (М. Х. де Ларра, Х. де Эспронседа и др.). См.: *Петров Д. К.* Россия и Николай I в стихотворениях Эспронседы и Россети; *Плавский З. И.* Революционная публицистика Испании 1820—1830-х годов. — В кн.: Проблемы испанской истории. М., 1975, с. 123—155.

[^^^]

Боткин забывает, однако, об испанской революции 1820—1823 гг. при Фердинанде VII.

[^^^]

развлеченная — здесь в смысле «разобщенная».

[^^^]

мавры — общее название, дававшееся испанцами мусульманскому населению северо-западной Африки и Испании (мавры включали в себя арабов, берберов и др. народы); Боткин, как и многие его современники, отождествлял мавров с арабами, мориски, о которых Боткин будет писать ниже, — мусульмане Испании, насильственно обращенные католиками в христиан.

[^^^]

В 1808 г. испанский народ поднял восстание против французского владычества; была учреждена руководящая Центральная хунта; но действия повстанцев заключались не в единых планомерных актах, а в непрерывной партизанской войне, которую вели разрозненные отряды (герильясы). Окончательно французы ушли из Испании после поражения Наполеона в России.

[^^^]

Ср. аналогичные, но более четкие высказывания Н. А. Добролюбова в статье «Черты для характеристики русского простонародья» (1860), где отмечается скептическое и даже враждебное отношение крестьян к официальным судам, воспринимаемым как продажные и социально чуждые.

[^^^]

Алькальд — городской голова или судья. Боткин далее слишком свободно варьирует написание: «алькайд» и даже «алькад» (французское название алькальда — *alcade*), что дает возможность спутать эти понятия со званием алькайда, начальника замка или тюрьмы. Не следует смешивать последнее понятие с омонимичным ему (иногда с обычным «и», без «й» — алькайд) названием марокканского губернатора.

[^^^]

Арабы завоевали Испанию в 711—718 гг.

[^^^]

Действительно, война с арабами (реконкиста) длилась в Испании около восьми веков: взятие Гранады, последнего оплота арабов на Пиренейском полуострове, произошло в 1492 г.

[^^^]

См. примеч. 93

[^^^]

Возможна автобиографическая основа этой тирады. О неудачном браке В. П. Боткина с французской модисткой Арманс Рульяр, на которой он женился в 1843 г., см.: *Герцен А. И.* Эпизод из 1844 года: Базиль и Арманс (Герцен, т. IX, с. 255—262); *Дневник 30 сентября 1844 г.* (Герцен, т. II, с. 385); *Феоктистов Е. М.* Воспоминания. Л., 1929, с. 9; *Ветринский В. Е.* В сороковые годы. М., 1899, с. 152—156; письма Боткина к Белинскому. — *Литературная мысль*, II, 1923, письма №№ 11—14, с. 183—187. Арманс вернулась в Россию после того, как она разошлась за границей с Василием Петровичем. Встречалась с ним в Москве и получала от него алименты. В 1853 г. она возвратилась во Францию и родила в Париже сына — Леона Александра Боткина (1853—1883), ставшего многосторонне одаренным ученым и популяризатором науки (в самых различных областях: астрономия, лингвистика, география, история, философия и т. д.).

Даже в наши дни, в семидесятих годах XX в., в Испании неграмотных среди женщин в два раза больше, чем среди мужчин.

[^^^]

Боткин отличался повышенной мнительностью и всегда боялся политической слежки. Его «шпиономания» в России и за границей широко известна. А. Я. Панаева рассказывает, как его охватила паника, когда он услышал Бакунина и Сазонова, разговаривающих о политике в парижском ресторане: «В. П. Боткин был мучеником в это время, ему всюду мерещились шпионы, которые будто бы следят за русскими в Париже, и в каждом посетителе, обедающем одиноко за столом, он видел шпиона и страшно сердился на спорящих. Его воображение разыгрывалось иногда до того, что он от страха убегал из ресторана» (Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 126).

[^^^]

Говоря об Испании, Боткин постоянно, разумеется, думает о коррупции и взяточничестве русской администрации. Ср. шуточное стихотворение И. Колошина, которое ходило по рукам в 1850-х годах:

*За Пиренейскими горами
 Лежит такая же страна;
 Богата дивными дарами,
 Но без порядка и она.
 Здесь также куча грязных стан-
 ций
 И недостаток лошадей,
 Такое ж множество инстанций
 И подкупаемых судей...*

*(Русская старина, 1887, т. 54,
 с. 692; Алексеев, с. 203).*

[^^^]

«Письма рекомендательные чрезвычайно уважаются в Испании» (Глинка, т. I, с. 252).

[^^^]

Соболевский заметил эту черту после своего посещения библиографа Парга: «Банальная фраза: „Está a la disposición de Ud“ — не остается у г. Parga в стадии простого комплимента, и может случиться, что когда он (гость-библиофил, — А. З.) возвратится вечером домой, он найдет книгу, которая привлекла его внимание во время утреннего посещения» (*Sobolevski S. Lettres d'un bibliophile russe à un bibliophile français. — Revue hispanique, 1914, XXX, p. 606*).

[^^^]

готфы (готы) — германские племена; вестготы (западные готы) завоевали Испанию в V в. (частично затем смешавшись с местными племенами) и правили страной до начала VIII в., до нашествия арабов; *кантабры* — горный народ, живший в Испании до нашей эры; выражение Боткина «готфов и кантабров XI века» — условно обозначает вообще древних испанцев.

[^^^]

«Tertulias, наверно, дорого не обходятся тем, которые их устраивают. Прохладительные напитки здесь не поражают своим обилием: нет ни чая, ни мороженого, ни пунша; только на столе в первом салоне стоит дюжина стаканов воды, абсолютно чистой, с тарелкой печенья» (Gautier, p. 115—116).

[^^^]

Готье вообще скептически говорил об испанском танце: «Что касается baile nacional (национального танца — *исп.*), он не существует. Нам говорили в Виттории, в Бургосе и в Вальядолиде, что хорошие танцовщицы находятся в Мадриде; а в Мадриде нам сказали, что настоящие танцовщицы качучи существуют только в Андалузии и Севилье» (Gautier, p. 118).

[^^^]

Palillos — андалузский провинциализм, вид кастаньет.

[^^^]

Автор этой песни (letrilla) — Мануэль Бретон де лос Эррерос. Боткин ее значительно сократил: у него вторая и третья строфы соответствуют пятой и шестой оригинала, остальные не воспроизведены. Акад. М. П. Алексеев считает, что отсутствующие строфы «рисуют манолу не в столь идеализированном виде, в каком она представлена русским путешественником» (Алексеев, с. 193). По существу же манола представлена с начала до конца в довольно вульгарном виде: именно такой она больше нравится своему возлюбленному (ср.: *Bretón de los Herreros M. Obras. T. V. Madrid, 1884, p. 220—222*). Готье пользовался этой народной песнью для своей знаменитой «Сегидильи»:

*Un jupon serré sur les hanches,
Un peigne énorme à son chignon,
Jambe nerveuse et pied mignon,
Œil de feu, teint pâle et dents
blanches,*

Alza! olà!

*Voilà
La véritable Manola.*

*(Юбка, натянутая на бедрах,
Громадный гребень в шиньоне,
Быстрая ножка и миленькая
ступня,
Огненные глаза, бледное лицо и
белые зубы,*

*Ну-ка!
Вот
Истинная манола).*

[^^^]

Этой поговорки нет ни в одном из специальных сборников (refraneros): скорее всего это не народная поговорка, а аристократическое по духу изречение, услышанное Боткиным в Испании. Он вспомнит о нем в 1859 г.: «Самый презрительный отзыв порядочного англичанина о другом заключается в словах: „он не джентльмен“, хотя этот другой может быть лордом, пером или большим богачом. Это напоминает испанскую поговорку: „Король может сделать дворянином, — один бог делает кавалером“» (*Боткин В. П. Две недели в Лондоне. Соч. Т. I. СПб., 1890, с. 290*).

[^^^]

Боткин неточен, летние корриды уже закончились ко времени его пребывания в Мадриде, но вскоре должны были начаться осенние. В газете «Эль Эральдо» от 7 сентября 1845 г. можно прочитать: «В 4½ часа пополудни, в понедельник, 8-го, произойдет 19-й бой быков, первый в осеннем сезоне».

[^^^]

Следовательно, Боткин был в Мадриде 31 августа 1845 г., ибо «Эль Эральдо» того же дня сообщал: «Сегодня после обеда будет в Каранчеле Верхнем *corrida de novillos*, один из которых будет убит любителями».

[^^^]

При Николае I существовали две системы денежного счета: на серебро и на ассигнации; рубль серебром стоил около 4 руб. ассигнациями.

[^^^]

Лишь спустя 7 лет, в 1852 г., уставом были разрешены представления только с участием профессионалов.

[^^^]

На самом деле, для того чтобы заставить быка с арены войти в хлев, пользуются старыми и привыкшими к этой работе быками, называемыми cabestros.

[^^^]

отказал — здесь в смысле «завещал».

[^^^]

Королева-регентша Мария Кристина была дочерью короля Обеих Сицилий Франциска I.

[^^^]

Папа Григорий XVI (1765—1846), глава католической церкви в 1831—1846 гг., был крайним реакционером; радикальные мероприятия прогрессистов, пришедших к власти во время третьей испанской революции XIX века (1834—1843), особенно окончательное упразднение монастырей, вызвали фактический разрыв Испании с папой.

[^^^]

Речь идет, конечно, не о всей Европе, а о ее западных и южных странах (исключая Испанию), в первую очередь — о Франции и Англии. Боткин придерживается распространенной в те годы точки зрения представителей французской исторической школы (особенно — О. Тьерри), которые считали, что сословная вражда приглушена принадлежностью разных сословий к одному племени и, наоборот, постоянно разжигается при наличии иноплеменных поработителей, превратившихся в привилегированное сословие.

[^^^]

Став к 1847 г. сторонником классового мира, Боткин отнесся неодобрительно и к народным «возгласам на аристократию» во Франции перед 1848 г. Ср. примеч. 91.

[^^^]

См. статью Б. Ф. Егорова, ср. также суждение К. Маркса: «... характерной особенностью Испании было то, что каждый крестьянин, который имел над входом своей жалкой хижины высеченный на камне дворянский герб, считал себя дворянином и что, вследствие этого, деревенское население вообще, хотя и ограбленное и нищее, никогда не испытывало того чувства глубочайшего унижения, которое ожесточало крестьян во всех других странах феодальной Европы» (*Маркс К.* Неопубликованный отрывок из серии статей «Революционная Испания». — В кн.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 10, с. 632).

[^^^]

Арабы завоевали почти весь Пиренейский полуостров; лишь крайний север (часть Астурии) и северо-восток (район Барселоны) остались свободными; население Астурии оказало решительное сопротивление пришельцам, и именно там образовался центр «реконкисты», борьбы за освобождение Испании.

[^^^]

Борьба за изгнание арабов из Испании велась не только под общенародным, но и под религиозным знаменем, поэтому так велика была роль католицизма в жизни Испании XIII—XVIII вв.

[^^^]

майоратство (майорат) — право старшего родственника наследовать все недвижимое имущество.

[^^^]

Боткин имеет в виду так называемую «дезамортизацию», освобождение от амортизации земель (то есть изъятие церковных земель в пользу гражданских владельцев), предпринятое президентом совета доном Хуаном-Альваресом Мендисабалом в 1835 г.

[^^^]

См. примеч. 59.

[^^^]

Карл II (1661—1700) — последний испанский король (с 1665 г.) из дома Габсбургов; больной и бездетный, он завещал престол будущему Филиппу V, внуку Людовика XIV.

[^^^]

Упразднение майоратства совершилось в три этапа (1810, 1820 и 1841 гг.).

[^^^]

Боткин, подчеркивая отсутствие в Испании крепостного права, конечно, думает о необходимости освобождения русских крестьян.

[^^^]

десятинный сбор — налог, состоящий из одной десятой части товара или денег.

[^^^]

Имеется в виду долгосрочный наем (*censo enfiteótico*). Боткин употребил это испанское выражение в журнальном тексте письма II (см. разночтения).

[^^^]

Десятинный налог был уничтожен во Франции в начале Великой французской революции, в 1789 г., затем — в Германии; в 1830-х — 1840-х годах английское правительство под давлением народного недовольства в Ирландии неоднократно обсуждало закон о сокращении десятины.

[^^^]

См. об этом: *Charles-Picard* Gilbert et Colette. La vie quotidienne à Carthage au temps d'Hannibal. Paris, 1958.

[^^^]

См. статью Б. Ф. Егорова.

[^^^]

Очевидно, первоначально письма делились более подробно, возможно — по названиям городов, в окончательном же варианте Боткин укрупнил разделы, и в письме II, например, объединились Мадрид, Кордова и Севилья, поэтому отсылка к «другому письму» может означать лишь перемену города, но не номера письма.

[^^^]

Первая фраза в драме «Дон Карлос» (слова Доминго): «Окончились прекрасные дни Аранхуэса».

[^^^]

Речь идет о королевском дворце, построенном архитекторами Х. Б. де Толедо и Х. де Эрреро в 1575 г., при Филиппе II.

[^^^]

Карл IV (1748—1819) — испанский король в 1788—1808 гг.

[^^^]

«Самые очаровательные произведения этого неоклассицизма — маленькие резиденции, построенные тогда принцами или некоторыми вельможами. Таковы, например, в Эскориале и в Пардо Casitas del Príncipe, которые Карл IV велел построить там для себя в 1772 и в 1784 гг., когда он был только принцем Астурийским. Такова в Аранхуэсе Casa del Labrador, построенная несколько позже, после того как он вступил на престол, в 1803 г.» (*Lambert E. L'art en Espagne et au Portugal. Paris, 1945, p. 91*).

[^^^]

Князь Мира — Мануэль де Годой, герцог Алькудия (1767—1851), первый министр при Карле IV и фаворит королевы Марии-Луизы (получил титул «князя Мира» за мир с Францией в 1795 г.).

[^^^]

«Rateros, то есть крестьяне, которые, не будучи разбойниками по профессии, забирают у вас кошелек при случае и не прочь ограбить одинокого прохожего. Эти rateros более опасны, чем настоящие бандиты, действующие с регулярностью организованной труппы, подчиненной начальнику, и бережно обращающиеся с путешественниками, чтобы снова напасть на них на другой дороге; не станешь же сопротивляться бригаде из 20 или 25 человек верхом, хорошо снаряженных, вооруженных с ног до головы, а против двух rateros будешь бороться» (Gautier, p. 369—370).

[^^^]

Alpargatas — теперь холщовые туфли на веревочной подошве; в XIX в. так назывались «сандалии на подошве толщиной с дюйм из переплетенных веревок, завязывающиеся посредством шнурков наподобие греческих котурн» (Gautier, p. 392).

[^^^]

Эта местность называется Марагатерией.

[^^^]

сектаторы — сектанты.

[^^^]

Мариана Хуан (1536—1623) — историк, автор 30-томной «Истории Испании» и так называемого «Учебника цареубийства» («De rege et regis institutione»). После казни Равальяка, убийцы французского короля Генриха IV, Мариана был арестован инквизицией.

[^^^]

Англичанин Джордж Борроу, современник Боткина, уточняет, что *maragatos* — «мавры-готы» (*Borrow G. The Bible in Spain. London, 1959, p. 231*). Его соотечественник Ричард Форд указывает на три возможных источника их происхождения: кельтиберский, вестготский или бедуинский (*Ford R. Gatherings from Spain. London, 1906, p. 90*).

[^^^]

Филипп IV (1605—1665) — испанский король с 1621 г.

[^^^]

Собачьи ворота (Despeñaperros, или Puerto de los Perros; неудачно переведено Боткиным, точнее — Собачий перевал) — узкое ущелье, называемое так потому, что через него побежденные мусульмане — мавры, прозванные христианами «собаками», покинули Андалузию.

[^^^]

Боткин, возможно, читал в детстве анонимный роман «Эль Тровадор, или Мечь за мечь. Испанская быль 1826 года. Сочинение русского» (М., 1833), в который вставлена повесть о некоем «благородном разбойнике» Короне. См.: Алексеев, 181—184.

[^^^]

Хозе Мариа — знаменитый разбойник, прототип героя «Кармен» Мериме; см. также роман: *Fernández y González Manuel. José María el Tempranillo*. Ср. примеч. 3.

[^^^]

Лойола Игнатий (1491—1556) — испанский дворянин, основатель монашеского ордена иезуитов. *Доминик* (1170—1221) — испанский проповедник, основатель монашеского ордена доминиканцев.

[^^^]

Карл III — испанский король с 1759 г., поэтому приводимая дата — 1750 г. — неточна (возможно, это опечатка в тексте).

[^^^]

Идет речь о гофрированном воротнике — типичной принадлежности испанского костюма юристов.

[^^^]

Филипп V.

[^^^]

Аранда Педро Пабло Абарака де Болеа, граф (1718—1799) — дипломат и президент совета Кастилии, либерал, враг иезуитов.

[^^^]

Кампоманес дон Педро Родригес де, граф (1723—1802) — министр финансов, реформатор, противник духовенства и монастырей.

[^^^]

Олавиде Пабло Антонио Хосе де, граф (1725—1803) — политический деятель, реформатор, писатель.

[^^^]

Олавиде — автор 9 переводов из французских авторов: «Митридат» и «Федра» Расина, «Игрок» Реньяра, «Лина» и «Гипермнестра» Лемьерра, «Зельмира» Дю Беллуа, «Дезертир» Седена, «Олимпия» и «Заира» Вольтера. Упоминаемая Боткиным «Меропа» — очевидно, не Вольтера, а Маффеи, как считает биограф Олавиде М. Дефурно (см.: *Defourneaux M. Pablo de Olavide, ou l'Afrancesado (1725—1803)*. Paris, 1959, p. 78; в дальнейшем: Defourneaux).

[^^^]

Олавиде устраивал также публичные балы по праздничным дням и, желая доказать, что в этом занятии нет ничего предосудительного с точки зрения религии, заставлял священников присутствовать на них (см.: Defourneaux, p. 242).

[^^^]

Ромуальд де Фрибург был главой немецких капуцинов (о его доносе на Олавиде см.: Defourneaux, p. 326).

[^^^]

Мора де Фуэнтес, герцог — однофамилец маркиза де Мора, упоминаемого ниже, либерала, зятя графа Аранды.

[^^^]

Очевидно, речь идет, прежде всего, о знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Даламбера (1751—1780).

[^^^]

Имеется в виду «Словарь исторический и критический» (1696) Пьера Бейля (1647—1706), предшественника французских просветителей.

[^^^]

Никто никогда не видел этого письма Вольтера, наверное, выдуманного инквизиторами в качестве главной улики против Олавиде. Впрочем, фраза Вольтера цитировалась свидетелями по-разному: «Если в Мадриде было бы сто человек, как Вы, Мадрид стал бы вторым Парижем», или: «Если б в Испании было сорок человек, как Вы, она стала бы во главе просвещенных стран» (см.: Defourneaux, p. 54, 360).

[^^^]

Боткин еще не указывает (или не знает), что в конце XVIII в. во Франции Олавиде посадили в тюрьму и конфисковали у него имущество.

[^^^]

Боткин придерживался типично либерального взгляда на правление Екатерины II как на европейски просвещенное; ср. аналогичные суждения А. Д. Галахова в статье «Были и небылицы, сочинение императрицы Екатерины Второй» (Отечественные записки, 1856, № 10) и резкие возражения ему Н. А. Добролюбова («Заметки о журналах» — Современник, 1856, № 11).

[^^^]

Филипп III (1578—1621) — испанский король с 1598 г., религиозный фанатик.

[^^^]

Подробнее об инквизиции см. труды: *Лозинский С. Г.* История инквизиции в Испании. СПб., 1914 (в дальнейшем: Лозинский); *Льоранте Х. А.* Критическая история испанской инквизиции. Т. I—II. М., 1936; *Григулевич И. Р.* История инквизиции. М., 1970.

[^^^]

«Красная роза была одним из самых распространенных цветов у испанских арабов, так же как фиалка и жасмин. В Кордове ее выращивали в изобилии; одна область в окрестностях называлась *gibâl al-ward* (горы роз). Поэты часто упоминают о ранних розах Пешины и Раиюха, которые собирали с января, или поздних, появившихся в день михрагана (24 июня). Сам запах розы ничего особенного не вызывает у поэта: он употребляет те же неопределенные слова, которые встречаются в его стихах по поводу других цветов; однако повторяемость слова „*misk*“ (мускус) позволяет нам предположить, что андалузская роза была мускусной» (*Pérès Henry. La poésie andalouse en arabe classique au XI-e siècle. Paris, 1937, p. 179—180*). Ср. статью Боткина «Об употреблении розы у древних» (*Журнал садоводства, 1857, № 4, с. 244—256*).

[^^^]

Арабы, завоевав в 718 г. большую часть Испании, сделали Кордову столицей государства (эмирата; с 929 г. — столицей халифата); в городе к X в. было до миллиона жителей, было построено много дворцов, мечетей, в том числе и главная мечеть, о которой Боткин будет писать ниже. В XI в. из-за раздоров арабских правителей город приходит в упадок.

[^^^]

См. статью Б. Ф. Егорова.

[^^^]

Гангес — река Ганг.

[^^^]

Предание о сожжении знаменитой библиотеки, основанной египетским царем Птоломеем II (III в. до н. э.), при завоевании Александрии арабским халифом Омаром в 642 г., неверно; действительно, после многомесячной осады город был тогда разрушен, но известная в античные времена библиотека погибла раньше: главная ее часть, насчитывавшая до 700 000 томов, сгорела при захвате города Юлием Цезарем (47 г. до н. э.), а меньшая, учебная (около 50 000 томов), погибла во время нападения на «языческую» цитадель восставших христиан (341 г.).

[^^^]

«Древнегреческая наука вдруг выходит из школ и монастырей, где она скрывалась. С IV в. произведения греческих философов и ученых были переведены на древнесирийский язык несторианцами и изучались главным образом в Сирии и в Месопотамии; кроме того, чувствовалось влияние Индии через иранские общины Бактриана и Согдиана, находившиеся в контакте с буддистами. Эллинские, арамейские, индусские элементы культуры быстро распространяются среди арабов, благодаря переводчикам, которые сыграли основную роль в VIII—IX вв.» (*Massé Henri. L'Islam. Paris, 1952, p. 52.*)

В течение XII в. арабская философия, проникшая в Испанию, достигает там наивысшего расцвета. Произведения греческой науки, прокомментированные арабами и переведенные на древнееврейский язык евреями Испании и южной Франции, а затем на латинский, стали известны в Европе.

Арун-аль-Рашид (правильно: Харун ар-Рашид; 766—809) — халиф багдадский с 786 г.; знаменит благодаря сказкам «Тысячи и одной ночи».

[^^^]

Несомненно, речь идет не о Михаиле III (род. 838), а о его деде Михаиле II (ум. 829), современнике Аль-Мамуна (ум. 833). Боткин, возможно, знал статью (лекцию) Гоголя об Аль-Мамуне, опубликованную в 1835 г. (см.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1952, с. 76—81).

[^^^]

Ошибочно; нужно: Аль-Хакам (ум. 976).

[^^^]

Не брату, а внуху, высшему чиновнику двора, главному библиотекарю. Эта библиотека имела 400 000 томов. Действительно, указатель состоял из 44 тетрадей в 50 листов каждая. Фонды библиотеки Аль-Хакама II описаны ее библиотекарем — внухом Талидом (*Almacari. Nafh al-Tib. I, c. 249, 256*). Боткин не мог читать эту книгу на арабском языке и, вероятно, пользовался трудом: *Gayangos Pascual de. The History of the Mohammedan Dynasties in Spain. T. 1. London, 1840, Appendix C, p. XXXIX—XLII.*

[^^^]

Упадок арабских стран в XVI—XIX вв., объясняемый многими причинами и, прежде всего, колониальными захватами и деспотизмом западноевропейских государств, дал повод Боткину высказывать такие пессимистические мнения о современных ему арабах на протяжении всей книги.

[^^^]

Боткин имеет в виду обилие народных местных преданий и библейские мифы, легшие в основу изобразительных искусств и литературы средневековой Европы.

[^^^]

Речь идет о живописных образах людей, животных, природных явлений, действительно широко распространенных в религиозных и светских искусствах народов мира.

[^^^]

Имеется в виду, конечно, архитектура Индии. Мысль об индийском вкладе в мавританскую архитектуру — точка зрения романтическая: в своей страсти к экзотике романтики были склонны к чрезмерным обобщениям.

[^^^]

Этот француз, наверное, был солдатом, участвовавшим в военной экспедиции, посланной Людовиком XVIII в 1823 г. в Испанию для подавления испанской революции.

[^^^]

крин — лилия.

[^^^]

В действительности Боткин был в Кордове в первую неделю сентября.

[^^^]

Очевидно, это письмо было адресовано Герцену (см. статью А. Звигильского).

[^^^]

Алмерия (Альмерия) — город на юго-востоке Испании.

[^^^]

См. об этом: *Hardy* George. Histoire de la colonisation française. Paris, 1948.

[^^^]

Очевидно, 7 сентября 1845 г.

[^^^]

Эсиху называют «сковородой Испании».

[^^^]

Ср. у Готье: «Понедельник, день быков, día de toros, праздничный день: никто не работает, весь город в волнении; те, которые еще не купили билеты, идут быстрым шагом в направлении улицы Карретас, где находится бюро предварительной продажи билетов, надеясь найти какое-нибудь свободное место; огромный амфитеатр полностью нумерован и разделен на скамьи: это постановление можно только хвалить, и надо было бы заимствовать этот обычай во французских театрах» (Gautier, p. 77).

[^^^]

Рубини Джованни Баттиста (1795—1854) — итальянский тенор, гастролировавший в России вместе с Полиной Виардо в 1843—1845 гг.

[^^^]

В XIX в. было четыре знаменитых *Гризи*: Джу-
дитта (1805—1840), итальянская певица; ее
сестра Джулия (1811—1861), тоже певица; их
кузина Карлотта (1821—1899), танцовщица; ее
сестра Эрнеста — певица, жена Т. Готье.

[^^^]

Леметр Фредерик (1800—1876) — французский актер, имевший большой успех в романтической драме.

[^^^]

Севиля-Пикадор — Хосе Севиля (1824—1871), младший брат известного пикадора Франсиско Севиля (1809—1841), о котором Боткин пишет ниже. Хосе Севиля выступал на мадридской арене в 1845 г. в *corridas de novillos* (бои молодых быков). См.: *Cossío José María de. Los toros*. Т. III. Madrid, 1943, p. 921A (в дальнейшем: *De Cossío*). Хосе Севиля, вероятно, выступал на севильской арене 8 сентября.

[^^^]

Чикланеро — Хосе Редондо-и-Домингес (1819—1853), прозванный «Эль Чикланеро» (родился в Чиклане). Он говорил о самом себе: «В бое быков я круглый, как моя фамилия» (Редондо по-испански — круглый). Специалист по бою быков, Хосе Мария де Коссио восхваляет его мастерство: «Хосе Редондо (Эль Чикланеро) один из редких матадоров, заслуживавших в истории этого искусства название „совершенного“, если иметь в виду его доскональное знание приемов боя. Он пускал в ход все, чему научил его учитель из школы Чикланы, эклектической и общей, утончая ее еще больше и придавая ей больше театральности <...> Если бы его ловкость и знания в последние годы сопровождались большим сопротивлением и силой, Хосе Редондо приобрел бы еще бóльшую славу, чем та, которую он уже имел, не превзойденная никаким тореро, кроме Монтеса». — (De Cossío, t. III, p. 769B).

В женском роде *espada* означает «шпага», а в мужском — «матадор», так что, возможно, следует читать: «*el primer espada...*», то есть «первый матадор...».

[^^^]

Монтес Франсиско (1805—1851) — знаменитый тореадор.

[^^^]

Речь идет, конечно, не о Хуане, а о Франсиско Севилье, умершем за четыре года до отъезда Боткина в Испанию (см. прим. 167). У этого выдающегося пикадора нет, к сожалению, испанских биографов.

[^^^]

Эта сцена описана также Проспером Мериме в письме от 25 октября 1830 г., отправленном из Мадрида директору «Ревю де Пари» (см.: *Mérimée Prosper. Lettres d'Espagne (1830—1833). Paris, 1927. I. Les combats de taureaux, p. 27—29).*

[^^^]

Невозможно, чтобы речь шла о Педро Ромеро, одном из самых великих тореадоров всех времен, умершем в Ронде в 1839 г., в возрасте 85 лет. Боткин спутал его, видимо, с его современником и соперником, таким же знаменитым, как и он сам, Хосе Дельгадо (по прозвищу Пепе-Ильо), убитым 11 мая 1801 г. «подлым быком», прозванным Barbudo (Борода-тым). См.: De Cossío, t. III, p. 825—834, 221—231. Боткин рассказывает ниже именно о трагической смерти Пепе-Ильо.

[^^^]

Мария Луиза (1751—1819) — королева испанская, мать Фердинанда VII.

[^^^]

Т. Готье поясняет это название более подробно: «Бой называется *media corrida*, полубоем, потому что когда-то их было по два каждый понедельник, один утром, другой в пять часов вечера, что и составляло целый бой; сохранился только вечерний» (Gautier, p. 76; ср.: De Cossío, t. I, p. 657).

[^^^]

Этот трактат о «тавромахии», опубликованный в 1836 г., был на самом деле написан не Монтесом, а одним из его друзей, журналистом Сантосом Лопесом Пелегрином, известным под псевдонимом Абенамара (De Cossío, t. III, p. 627).

[^^^]

«Летописец императора удостоверяет, что сам Карл V ранил копьём быка в Вальядолиде, пробегая по арене со многими другими дворянами, чтоб ознаменовать рождение своего сына, будущего Филиппа II, в 1527 году» (De Cossío, t. I, p. 640).

[^^^]

Де Коссио сообщает, что первые королевские корриды относятся к 815 г., к царствованию Альфонса II Целомудренного («Хроника» Альфонса Мудрого, XIII в.), но неизвестно, насколько это достоверно, так как летописец пользуется сведениями своей эпохи. Первая королевская коррида, о которой имеется непосредственное свидетельство, состоялась во время празднества по случаю коронации императора Альфонса VII в 1135 г. в г. Вареа (Логроньо). В течение того же царствования были корриды по случаю свадьбы Доньи Урраки Астурийской, дочери Альфонса VII и Доньи Гонтроды, с королем Гарсией VI Наваррским. Сведения о ритуале этих королевских праздников до нас не дошли. Известно только, что с XIV в. в них участвовали рыцари на конях (см.: De Cossío, t. I, p. 639—640).

[^^^]

«В 1754 и 1757 гг. „антитавристское“ движение добилось мер, запрещающих этот праздник. В 1778 г. королевский приказ запрещал убивать быков во время корриды. В 1785 г. особое постановление указывало то же самое. В 1790 г. об этом гласит королевское решение. В конце концов эти распоряжения вошли в „Новейший свод законов“» (*Cossío J. M. de. Los toros en la poesía castellana. T. I. Madrid, 1931, p. 226*).

[^^^]

В 1831 г. Франсиско Монтес был учеником в Школе тавромахии, основанной годом раньше. Это событие, случившееся во время зловещего десятилетия царствования Фердинанда VII, вызвало негодование Карла Маркса: «Университет в Севилье был закрыт на долгие годы, но вместо него была открыта государственная школа для обучения бою быков» (Маркс К. Неопубликованный отрывок из серии статей «Революционная Испания». — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 10, с. 632).

[^^^]

Друг Монтеса был хорошо осведомлен о годах его молодости, и факты, сообщенные Боткиным, совершенно правильны: «В праздничные дни (Монтес) продолжал свои любимые занятия с быками на бойне, на пастбищах и в загонах; он так старался в операциях загона и перевоза скота, что его заботливо искали для привода отставших быков; он ухитрялся заставлять их повиноваться ему с помощью капы или одеяла» (De Cossío, t. III, p. 628A).

[^^^]

См. примеч. 173. Хосе Дельгадо (Пепе-Ильо) опубликовал под своей фамилией книгу «La tauromaquia» (Cádiz, 1796). Настоящий ее автор — Хосе де ля Тихера. Эта книга была переиздана в наше время с гравюрами Пикассо: *Delgado* (Pepe-Hillo) José. *La tauromaquia*. Madrid, 1959.

[^^^]

Действительно, бой быков предположительно происходит или от ритуальных критских игр, или от сражений со зверями в древнем Риме.

[^^^]

Эта известная поговорка цитируется в романе М. Н. Загоскина «Тоска по родине» (М., 1839) и у Готье (Gautier, p. 336).

[^^^]

Намек на стихотворение А. С. Пушкина «Ночной зефир...» (1824):

*Сквозь чугунные перилы
Ножку дивную продень!*

[^^^]

колесины — каламбур от испанского слова «calesines» — телеги.

[^^^]

Много картин Мурильо имеется в мадридском Прадо, но почему-то Боткин не говорит об этом; он вообще не приводит никаких подробностей о своем посещении мадридского музея.

[^^^]

Рибера (правильно — Рибера) Хосе де (1588—1652) — испанский художник, любивший изображать мучения христианских святых.

[^^^]

В своих размышлениях о драме Кальдерона «Поклонение кресту» И. С. Тургенев делал подобные же выводы: «Эта непоколебимая, победоносная вера, без тени какого-либо сомнения или даже размышления, подавляет вас своей мощью и своим величием, невзирая на все, что есть отталкивающего и жестокого в этом учении». Письмо к Полине Виардо от 19 декабря 1847 г. — В кн.: *Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. I. М.—Л., 1961, с. 279, 449; в дальнейшем — Тургенев. Ср.: Zvigulsky A. Tourguénev et l'Espagne, p. 72.*

[^^^]

Торквемада Томас де (1420—1498) — великий инквизитор Испании с 1483 г.

[^^^]

Борджиа Александр (1431—1503), ставший папой Александром VI в 1492 г., отличался коварством, жестокостью и неслыханным распутством.

[^^^]

Торквемада пытался добиться полной независимости от папы, а папа Александр VI, опасаясь этого, постоянно ограничивал права инквизитора (подробнее см.: Лозинский, с. 104—105).

[^^^]

Деса (Deza) Диего — великий инквизитор в
1498—1507 гг.

[^^^]

Хименес де Сиснерос Франсиско (1436—1517) — великий инквизитор Испании с 1507 г. и испанский регент после смерти короля Фердинанда Католика в 1516 г. Вопреки тому, что говорит Боткин, Карл V, ставший королем Испании в 1516 г., в первый год своего царствования еще не давал никаких сражений и вообще никак еще не прославился.

[^^^]

По новейшим данным приведенные цифры нужно увеличить: при Хименесе было сожжено живьем не 3564, а свыше 4600 человек (Лозинский, с. 140).

[^^^]

Идеи Возрождения сильно ослабили религиозные влияния на искусство большинства стран Европы (XVI—XVII вв.), лишь в Испании господствовал религиозный дух, благодаря большой роли в стране католической церкви.

[^^^]

Сурбаран Франсиско де (1598—ок. 1664) — испанский художник.

[^^^]

В действительности Мурильо родился в Севилье в 1617 г.

[^^^]

Тем не менее Боткин был уже автором нескольких критических статей об изобразительном искусстве: «Об акте и выставке в Московском дворцовом архитектурном училище» (1838); «Выставка картин в Московском архитектурном училище» (1840); «Выставка имп. Санктпетербургской академии художеств в 1842 году», не говоря о его последующих трудах.

[^^^]

типическое — Боткин понимал тогда этот термин как «обобщенное», «отвлеченное от конкретного» ([198]).

[^^^]

китаизм — в круге Белинского — Герцена под этим термином подразумевали все застывшее, безжизненное, неподвижное (при существовании деспотического общественно-политического строя феодального Китая можно было очень широко использовать термин «китаизм» для характеристики самых различных явлений).

[^^^]

Речь идет о знаменитой картине Мурильо из Севильского музея «Св. Фома де Вильянуева, дающий милостыню бедным».

[^^^]

Это другая известная картина: «Святая Елизавета Венгерская, лечащая прокаженных». Она была написана Мурильо для больницы Девы Милосердия (Caridad) в Севилье. Во время оккупации Севильи в 1808 г. французский генерал Сульт велел перевезти эту картину во Францию. Ее возвратили Испании в 1815 году; она висела в Академии художеств Сан Фернандо в Мадриде, где Боткин ее и видел. В 1901 г. ее перенесли в Прадо. Только в 1940 г. этот шедевр Мурильо вернулся на свое первоначальное место, в церковь больницы.

[^^^]

Боткин, вероятно, видел эту картину в доме Анисето Браво, о котором он пишет ниже.

[^^^]

Боткин ошибается: речь идет не о Хуане де Марини, а о Мигуэле де Маньяра. Легенды XVII в. создали из него тип Дон Жуана Тенорьо. Боткин, вероятно, читал «Души чистилица» П. Мериме (1834) и «Дон Хуан де Мара-нья» (так!) А. Дюма (1836).

[^^^]

Вальдес Леал Хуан де (1622—1690) известен, главным образом, своими произведениями, хранящимися в больнице Caridad в Севилье. Ниже упоминается одна из его ошеломляющих картин: «Два трупа». Мурильо говорил, что, глядя на нее, невольно затыкаешь себе нос.

[^^^]

Боткин ошибается: jubilado означает по-испански «пенсионер».

[^^^]

Распустив кортесы 5 раз в течение пяти месяцев, Эспартеро вынужден был отказаться от власти и покинуть родину в 1843 г. из-за враждебной ему коалиции всех партий; следует учесть, что Мария Кристина «выгоняла» Эспартеро лишь с помощью интриг, так как она находилась в это время в изгнании.

[^^^]

В 1840 г. королева-мать Мария Кристина, потеряв поддержку армии, должна была бежать во Францию на судне, направлявшемся в Марсель; вернулась в Испанию после падения Эспартеро.

[^^^]

В действительности идеи Просвещения имели в Испании сильный резонанс; этому вопросу посвящена книга: *Sarrailh* Jean. *L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII-e siècle*. Paris, 1954.

[^^^]

Самые знаменитые из этих начальников — Эль Эмпесинадо, Франсиско Эспос и Мина, отец Мерино, Хулиан Санчес. Об Эль Эмпесинадо Боткин мог узнать из кн.: *Hardman F. Peninsular Scenes and Sketches. Edinburgh—London, 1846.*

[^^^]

Семь ребят из Эсиха — знаменитая группа андалузских бандитов в начале XIX в.; *Хозе (Хосе) Мариа* — см. примеч. 122; *Рамон Кабрера* — руководитель карлистских военных групп в Каталонии, с 1834 по 1839 г.; карлистская агитация в Каталонии продолжалась, впрочем, до 1848 г.; *Палильос* — прозвище Висенте Рухиероса, начальника карлистских войск в Ламанче.

[^^^]

Следует учесть, что профессор-юрист Московского университета П. Г. Редкин (1808—1891), близкий к кругу Белинского — Герцена, знакомый Боткина, был очевидцем восстания в Барселоне в 1843 г. А. И. Герцен, утрируя украинское произношение Редкина, рассказывает об этом эпизоде в «Былом и думах» (гл. XXIX): «Ведь вот и Редкин» был в Испании, но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для „юридических“ комментариев к Пухте и Савиньи, вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барселоне (окончившееся совершенно тем же, чем всякая качуча, то есть ничем) и так много рассказывал об нем, что куратор Строгонов, качая головой, стал посматривать на его большую ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что „радикальный юрист“ зашиб себе ногу, свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую» (Герцен, т. IX, с. 114). Ср. предисловие В. Я. Струминского в кн.: *Редкин П. Г. Избранные педагогические сочинения*. М., 1958, с. 18.

[^^^]

Либерал Боткин нормативно прилагает к Испании идеалы европейских буржуазных стран; но ведь работа, промышленность, воспитание не создадутся ни «мановением жезла» (в этом Боткин прав), ни добрыми намерениями администрации (см. ниже сочувственную цитату из Гизо): для этого нужны соответствующие социально-политические и экономические предпосылки.

[^^^]

Гизо Франсуа (1787—1874) — либеральный французский историк; в 1847—1848 гг. — глава правительства, подавившего революцию. Боткин знал произведения Гизо: в своей статье «Литература и театр в Англии до Шекспира» (1853) он пользовался очерком английской народной поэзии, найденным им в книге Гизо «Shakespeare et son temps» (Paris, 1852, р. 36—55). См.: Егоров Б. Ф. В. П. Боткин — литератор и критик. Статья 2. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965, вып. 167, с. 89.

[^^^]

Строительство севильского собора было начато в 1403 г. и закончено в начале XVI в.

[^^^]

В действительности Боткин видел могилу Эрнандо Колона, внебрачного сына Христофора Колумба, похороненного в севильском соборе. Эрнандо Колон завещал собору все свое имущество и богатую библиотеку (см.: *Ponsot Pierre. Hernando Colón et son «Itinerario»*. — In: *Mélanges de la Casa de Velazquez*. Т. II. 1966, р. 73—78). Что касается тела Христофора Колумба, то его местонахождение неясно. Как заметил в едкой статье испанский журналист Дионисио Перес: «Его останки из мумии и праха были посланы в Сан-Доминго для окончательного погребения; но в 1795 г. нас осенила гениальная мысль перевезти его в Гавану, так как эта реликвия не вошла в подарок, сделанный Франции по Базельскому договору. А из Гаваны, хоть в более позднее и печальное время, эти останки переслали в Испанию. Кто-то тогда сказал, что из всей жизни, которую мы привезли в Америку, нам отдали только этого мертвого, предположительно и спорно настоящего» (*Pérez D. Los restos de Juan de Juanes y los de Cristóbal Colón*. — *La Voz*,

Madrid, 1928, 31 XII). Тело Христофора Колумба находится ныне, видимо, в склепе севильского собора, однако жители Санто-Доминго, столицы Доминиканской республики, уверяют, что оно похоронено у них.

[^^^]

Кампана Педро (ок. 1500—1580) — фламандский живописец, ученик итальянских мастеров; в Севильском соборе — самая известная его картина «Снятие с креста».

[^^^]

Моралес Луис де (ок. 1509—1586), прозванный Божественным — испанский художник; картины его находятся, главным образом, в Испании, но имеются и в других странах, в том числе и в ленинградском Эрмитаже.

[^^^]

Эррера Франсиско де (около 1576—1656) — испанский художник; большинство его картин и ныне хранится в Севилье.

[^^^]

Кано Алонсо (1601—1667) — испанский живописец, архитектор и скульптор; картины его имеются во многих музеях мира, в том числе и в Эрмитаже.

[^^^]

Это утверждение взято, вероятно, из книги Готье: «Хиральда, служащая собору колокольной и возвышающаяся над всеми колокольными города, древняя мавританская башня, построенная арабским архитектором по имени Жебер или Гевер, изобретателем алгебры, носящей его имя» (Gautier, p. 350). На самом деле слово «алгебра» происходит от арабского *al-diabr*, означающего «сокращение», «исправление». Изобретение алгебры приписывают Диофанту из Александрии (IV в.). Хиральда построена в XII в.

[^^^]

Эскориал — дворец и монастырь близ Мадрида, построенные по инициативе Филиппа II в конце XVI в.

[^^^]

Эррера Хуан де (ок. 1500—1575) — испанский архитектор.

[^^^]

Равнодушие к религии стало особенно ошутимо в конце 1830-х годов, после окончательного упразднения монастырей и утилизации культовых зданий: Боткин видел в Витории церковь, превращенную в амбар для ссыпки хлеба (письмо I); причины этого безразличия (и даже враждебного отношения) к религиозным институтам Боткин справедливо усматривает в многовековом деспотизме и жестокостях инквизиции.

[^^^]

Льоранте (правильно: *Льоренте*) Хуан Антонио (1756—1823) — секретарь инквизиционного трибунала и историк. Боткин, вероятно, читал французское издание: *Llorente J. A. Histoire critique de l'Inquisition espagnole*. Paris, 1817. О русском переводе этой книги см. примеч. 140.

[^^^]

Речь идет о маркизе де Кюстине (1790—1857), французском писателе и путешественнике, авторе очерков почти о всех странах Европы, в том числе и о России.

[^^^]

Боткин цитирует предисловие из кн. *Custine marquis de. L'Espagne sous Ferdinand VII. T. 1, p. 72.*

[^^^]

Есть бесспорное сходство между арабским искусством и европейским искусством рококо, но нет влияния одного на другое (см. Письмо VII).

[^^^]

Ср. в новом путеводителе: «В течение XIX века многое было восстановлено, без всякого критерия, что содействовало значительному искажению первоначального характера орнамента: этим же реставрациям надо приписать кричащий цвет полихромии», — пишет М. Швейцер по поводу севильского Алькасара (*Schweitzer Marcel N. Les guides bleus. Espagne. Paris, 1963, p. 714*).

[^^^]

Maјos (махос; в единственном числе мужчина — махо, женщина — маха) — особая группа людей, действительно отличающаяся «шиком»; деклассированные элементы; их нельзя смешивать с *manolos* и *chisperos*, представителями городского мещанства (приказчики, ремесленники и т. п.).

[^^^]

вершок = 4,4 сантиметра.

[^^^]

В тексте у Боткина была ошибка: Alameda Christiana; идет же речь об Alameda María Cristina.

[^^^]

Ср. примеч. 79.

[^^^]

Сан-Карлино — театр в Неаполе.

[^^^]

Иронический намек на деспотический режим жестокого и лицемерного короля обеих Сицилий Фердинанда II (1810—1859; король — с 1830 г.), отдавшего культурную жизнь во власть полиции.

[^^^]

Боткин снова встретит этого француза в Аль-хесирасе (см. Письмо V).

[^^^]

«*De profundis*» — название католического псалма при похоронном обряде.

[^^^]

Кажется, Боткин сфантазировал, объединив между собою ola — волну и olé — андалузский танец.

[^^^]

Именно по поводу этого выражения шутил Белинский в конце письма к Боткину от 2—6 декабря 1847 г.

[^^^]

Монтес Лола (1823—1860-е годы) — испанская балерина и авантюристка.

[^^^]

Глинка, страстный любитель испанского фольклора, смог осуществить желание своего соотечественника. Посещая Испанию одновременно с Боткиным, русский композитор записал в своей дорожной тетради несколько андалузских песен (см.: Глинка, т. I, с. 366—370, 375—376).

[^^^]

Глинка также записал куплет фанданго (см.: Глинка, т. I, с. 371—372).

[^^^]

Рассказывая о своем пребывании в Тифлисе, испанец Ван Гален делает подобное же сравнение грузинского и испанского танцев: «Грузинский танец очень похож на национальный танец андалузских народов. Та же вялость в движениях, та же грация, та же нега в паузах» (*Van Halen Juan. Mémoires. P. II. Paris, 1827, p. 211*).

[^^^]

Сходство между песнями русских и испанских цыган, в самом деле, не простое совпадение, а историческая преемственность (см.: *Serge. La grande histoire des Bohémiens. Paris, 1963*).

[^^^]

Испанские цыгане должны были в конце XV в. или принять католичество, или покинуть родину.

[^^^]

Испанский шоколад готовится особым образом: его растворяют в кастрюле без капли воды.

[^^^]

Хуан Валера сопоставлял русских женщин с испанками следующим образом: «Гораздо больше, чем золото и алмазы, дамы показывают здесь свою эрудицию и свой ум. Несомненно, что в Испании мужчины знают больше, чем в России; зато женщины этой страны на поприще знаний разбивают испанок вдребезги. Боже мой! Сколько вещей они знают. Здесь есть девушка, говорящая на шести или семи языках, способная переводить с них и рассуждать не только о романах и стихах, а о религии, о метафизике, о гигиене, о педагогике и даже о растворении камней в мочевом пузыре, если представляется случай» (письмо Х. Валеры к Л. А. де Куэто из Петербурга от 18 февраля 1857 г.: *Valera Juan. Obras compl., t. III, p. 131B*).

[^^^]

Боткин здесь определенно придерживается материалистической доктрины об единстве тела и души. В этом отношении он разделял взгляды Белинского и Герцена (ср.: *Нилов Е.* Боткин. М., 1966, с. 12—13).

[^^^]

Имеются в виду война за независимость, сопротивление войскам Наполеона и в 1823 г. — герцогу Ангулемскому и испанской реакции.

[^^^]

Возможно, здесь содержится намек на русских славянофилов.

[^^^]

Л. А. Мей перевел в 1860 г. «The girl of Cadix» Байрона («Девушка из Кадиса»). См.: *Мей Л. А. Избранные произведения*. М.—Л., 1962, с. 205—207.

[^^^]

В действительности строительство кадисского собора, начатое в 1702 г., окончилось в 1838 г.

[^^^]

На самом деле кадисский собор — греко-римского стиля.

[^^^]

См. статью Б. Ф. Егорова.

[^^^]

«Арагонские кортесы даже не допустили бы в свое собрание депутата, разбогатевшего промышленностью», — писал Марина (*Martínez Marina* Francisco. *Teoría de las Cortes*. Т. II. Madrid, 1813, p. 417). Возможно, Боткин излагает весь этот раздел о дворянах и податных по книге: Weiss, t. II, p. 132—138.

[^^^]

Это скорее изречение, чем пословица.

[^^^]

У Лопе де Вега подобная фраза не обнаружена. В то же время она упомянута Вайсом (Weiss, t. II, p. 257) вместе с анекдотами графа де Лабурда и мадам д'Ольнуа.

[^^^]

Laborde Alexandre de. Itinéraire descriptif de l'Espagne. T. I. Paris, 1808, Introduction, p. XLIV, n. 2. Ср.: Weiss, t. II, p. 257, n. 2. Боткин сам был свидетелем подобной сцены в Гранаде (см. Письмо VII).

[^^^]

Этот анекдот о поваре буитрагского замка, не желающем дать своему хозяину ключ от котла, рассказывает графиня д'Ольнуа в конце 6-го письма (Буитраго, 13 марта 1679 г.). См.: Madame *d'Aulnoy*. *Relation du voyage d'Espagne...*, Paris, 1926, p. 303; Weiss, t. II, p. 257, n. 2.

[^^^]

Cp.: Weiss, t. II, p. 138.

[^^^]

Боткин цитирует депешу маркиза де Виллара, французского посла в Мадриде при Карле II, от 10 февраля 1680 г. (Архив Министерства иностранных дел, Париж), в кн.: Weiss, t. II, p. 258.

[^^^]

Речь идет о прошении, адресованном корте-сам в Вальядолиде (1548); опубл. в кн.: Weiss, t. II, p. 119.

[^^^]

Наверно, уже тогда Боткин познакомился с его дочерью, Генриеттой Гордон, с которой он поддерживал теплые отношения, до конца жизни. Тургенев, устроивший свою дочь Полину в тот же парижский женский пансион, где жила Генриетта Гордон в 50-е годы, знал ее лично. В письме от 11 июня 1867 г. из Баден-Бадена он просил Наталью Рашет передать дружеский поклон мисс Гордон (Тургенев. Письма, т. VI, с. 268). Боткин извещал своего друга 25 сентября 1867 г.: «Mlle Gordon вышла замуж, сделалась Mrs Warter и живет теперь в Хересе (в Испании)» (*Боткин В. П., Тургенев И. С. Неизданная переписка. М.—Л., 1930, с. 271*). Боткин завещал 10 000 франков Генриетте Уортер, «живущей ныне в Испании, в городе Херес <...> О месте жительства госпожи Уортер можно всего вернее справиться в Париже, в женском пансионе г-ж Мерижо и Барлас (Mlles Merigeot et Barlas, rue Rocher, 49)» (ЦГАЛИ, ф. 54, № 45, л. 4 об.). Чтобы получить эти деньги, г-жа Уортер после смерти В. П. Боткина попросила Тургенева

связаться с братьями Василия Петровича в Москве; Тургенев написал своей дочери П. Брюэр 4 июля 1870 г.: «Я получил два твоих письма от г-жи Иннис, которая передает мне просьбу г-жи Уортер, урожденной Гордон. Проездом через Москву — это будет через несколько дней — я увижу семью Боткиных и сообщу все необходимые сведения» (Тургенев. Письма, т. VIII, с. 247, 381).

[^^^]

Это старое вино XVIII в. ныне больше не существует.

[^^^]

Магазин французских вин Теодора Дебре (Depret) находился в Москве на Петровке, д. 8 с 24 октября 1833 г. Об истории этого французского магазина, просуществовавшего до 1917 г., см. «Записки» М. Д. Бутурлина (Русский архив, 1897, т. VI, с. 183). Рауль, конкурент Дебре, — тоже владелец магазина французских вин в Москве.

[^^^]

Ошибка: херес пьют от четвертого до пятого
месяца после сбора винограда.

[^^^]

Конде Хосе Антонио (1765—1820) — библио-текарь монастыря Эскориала, историк-ара-бист, автор ценного труда «Historia de la dominación los Árabes en España». Madrid, 1820—1821.

[^^^]

Вандалы, народ германского происхождения, завоевали в 429 г. значительную часть Северной Африки и в течение века господствовали там; византийское войско под руководством полководца Велисария (Велизарий) в течение 533—534 гг. разбило вандалов.

[^^^]

Боткин неточен: остготы (не остроготфы!), германские племена, захватили Италию (Западную Римскую империю) в конце V в.; в начале VI в. их подчинила себе Византия, Восточная Римская империя; другое германское племя, лангобарды, сменило византийцев в конце VI в.; в конце VIII в. в союзе с папой Италию завоевывают франки под водительством короля Карла Великого.

[^^^]

Боткин, видимо, путает норманнов (скандинавов, датчан) с нормандцами (офранцуженными потомками норманнов): датские набеги на англо-саксонские княжества в Англии продолжались в VIII—XI вв., вплоть до воцарения в стране датского короля Канута (1017—1035); а в битве при Гастингсе (1066) англо-саксы были разбиты королем Нормандии Вильгельмом, который стал после этого королем Англии (очевидно, именно эту битву имеет в виду Боткин).

[^^^]

Арабы находились во французском Провансе в конце IX в. Норманны пришли в северо-западную часть страны, получившую имя Нормандии, в начале X в.

[^^^]

Боткин не переводит два последних стиха, которые он все же цитирует в примечании в испанском подлиннике. В первом издании «Писем» он добавлял: «и прочее, чего неудобно здесь привести...» (см. разночтения).

Поэт Б. Н. Алмазов (Соч., т. II, СПб., 1892, с. 67 и сл.) придумал другой финал: якобы король Родриго был растерзан голодным барсом.

[^^^]

Ср.: «В силу своей яркой индивидуальности англичане остаются верны самим себе повсюду. Я в самом деле не знаю, зачем они путешествуют, ибо берут с собой все свои привычки и тащат на спине свой интерьер, как настоящие улитки. Где бы ни находился англичанин, он живет так, как будто он в Лондоне: ему необходим чай, ромштексы, ревенные торты, портер и „шерри“, если он хорошо себя чувствует, а каломель, если плохо. Благодаря несметным коробкам, которые он тащит с собой, англичанин обеспечивает себе повсюду „at home“ <домашний уют> и „comfort“, необходимые для его существования. Сколько нужно всяких вещей для жизни этим честным островитянам! Как уж они стараются, чтоб чувствовать себя непринужденно, и как я предпочитаю этим поискам и этим осложнениям испанскую скромность и убогость!» (Gautier, p. 382—383).

фонды — от *fonda* (*исп.*), гостиница, постоя-
лый двор.

[^^^]

Боткин был в Англии в 1835 г.

[^^^]

фашионабельность — от fashionable (англ.),
фешенебельный, светский.

[^^^]

ерань — герань.

[^^^]

Готье уточнял: «По мере того как ветер меняется, обезьяны переходят с одной стороны скалы на другую и таким образом служат барометром» (Gautier, p. 385—386).

[^^^]

«Обезьяны из Берберии той же породы, что и обезьяны, встречающиеся в африканских горах, возвышающихся с другой стороны пролива. Их присутствие на гибралтарской скале всегда было и до сих пор еще остается загадкой. Наиболее распространенная версия следующая: так как в определенные геологические эры пролив был земным мостом, соединившим Европу с Африкой, эти обезьяны выжили с этих доисторических времен. Более соблазнительная теория утверждает, что одна из галерей, ведущих в пещеры Святого Михаила (туристические достопримечательности колонии), будто бы продолжается под морем до самой Африки. Она якобы служила также „подземным проходом“ для знаменитых обезьян в какой-то далекий исторический период. Однако местные ученые не доверяют ни той, ни другой теории. Между прочим, надо заметить, что из всех окаменевших костей, найденных в Гибралтаре, ни одна никогда не принадлежала породе берберийских обезьян. Самое правдоподобное объяснение

следующее: обезьяны — потомки животных, привезенных арабами за семь веков, в течение которых они занимали Гибралтар. А испанцы будто бы не интересовались особенно обезьянами» (*Delorme Roger. Les singes de Gibraltar sont-ils européens? — La vie des bêtes. 1967, oct., p. 33A—B.*)

[^^^]

По мирному договору, заключенному в 1713 г. в нидерландском городе Утрехте между западноевропейскими странами, Англия получила Гибралтар, завоеванный ею еще в 1704 г.

[^^^]

Нельсон Горацио (1758—1805) — знаменитый английский адмирал.

[^^^]

Завоевание Алжира началось на 15 лет раньше, в 1830 г.

[^^^]

В XIX в. во многих странах, в том числе и в России, существовали так называемые нештатные консулы, не состоявшие на действительной службе и занимавшиеся торговлей; следует учесть, что, в связи с долголетним непризнанием Россией Марии Кристины и Изабеллы II как законных королев, в Испании не было русского посольства в течение 1835—1856 гг. (см.: *Amburger Erik. Geschichte der Behördenorganisation Russland von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden, 1966, S. 457*). См. примеч. 49 к статье А. Звигильского.

[^^^]

Существуют два течения в мусульманской мистике: с одной стороны — интеллектуальная простота (экзотеризм), с другой стороны — поиски знания, власти (эзотеризм). В теософском движении (Ибн-Араби) сцены посвящения в таинства играют очень большую роль: обращенные изучают природу, спускаются в подземный мир. Арабская сказка, переданная Боткиным, навеяна духом эзотеризма.

[^^^]

Этот обычай отмечается и поныне по утрам в день св. Фирмина (7 июля) в испанском городе Памплоне (провинция Наварра).

[^^^]

Бомбардировка Танжера произошла в 1844 г.

[^^^]

Несмотря на то что официального представителя России в Танжере не было, Боткин не был единственным русским, посетившим Марокко в этот период. Например, Анатолий Демидов побывал в Танжере в сентябре 1847 г. Среди описаний путешествий по Марокко во второй трети XIX в. демидовское — одно из самых интересных (см.: *Démidoff Anatole de. Étapes maritimes sur les côtes d'Espagne, de la Catalogne à l'Andalousie. Florence, 1858*).

[^^^]

Весь абзац Боткин произносит не от себя, а как бы от лица европейского теоретика и «цивилизатора», презирующего народы Востока.

[^^^]

Джефферсон Томас (1743—1826) — третий президент Соединенных Штатов Америки.

[^^^]

В письме к Джереду Спарксу от 4 февраля 1824 г. Джефферсон предлагал для негров «основать на берегах Африки колонию, в которой можно было бы ввести среди туземцев искусство более совершенной жизни и все преимущества цивилизации и науки. Действуя таким образом, мы бы им дали хоть какую-то компенсацию за целый ряд несправедливостей, в которых мы провинились перед этим народом» (*Mélanges politiques et philosophiques. Extraits des mémoires et de la correspondance de Thomas Jefferson, publ. par L. P. Conseil. T. II. Paris, 1833, p. 393*).

[^^^]

Могадор (ныне — Эс-Сувейра), как и Танжер, подвергся бомбардировке в 1844 г.

[^^^]

Марокканские евреи — потомки эмигрантов из Испании XV в. Востоковед Н. Zafrani сообщил А. Звигильскому, что Боткин не мог пользоваться никакими печатными источниками при описании жизни марокканских евреев, и высоко оценил историко-этнографическое значение очерка о Танжере.

[^^^]

Рамадан 1845 г. начался в среду 3 сентября и кончился в четверг 2 октября. Праздник, описанный Боткиным, — видимо, «ночь рока», в которую отмечается канун конца Рамадана, то есть 1 или 2 октября, в зависимости от положения луны (сообщил проф. J.-L. Miège).

[^^^]

Явное несоответствие: ведь предыдущее письмо было датировано 1 октября.

[^^^]

Здесь идет речь о римских скульптурах, найденных во время раскопок в Монде и Картаме в 1821 г. и хранящихся ныне в археологическом музее Алькасабы в Малаге.

[^^^]

Абул-баки-Салех (Абул-Бека-Селих Эр-Рунди) — арабский поэт, написавший поэму об упадке мусульманского владычества в Испании.

[^^^]

Serranía de Ronda в действительности находится на западе от Альпухарр. В журнальном тексте было указано более точно (см. разночтения).

[^^^]

Вероятно, именно через Испанию сахарный тростник попал в Западную Европу. Заводы для очистки риса были повсюду в Испании уже в IX и X вв. Для выращивания фруктов и овощей развивалось орошение, которое (если оно не выдумано арабами, то по крайней мере они его усовершенствовали) широко применяется в средиземноморской Испании, главным образом в богатой садами («huerta») Валенсии.

[^^^]

Сведения, приводимые Боткиным, содержатся в трудах: *Fonseca*. *Justa expulsión de los Moriscos*. Roma, 1612, p.284; *Bouche Charles-François*. *Essai sur l'histoire de Provence*. T. II, liv. X. Marseille, 1785, p.850. Очевидно, Боткин извлек эти сведения из кн.: *Weiss*, t. I, p. 306—307.

[^^^]

Невозможно, чтобы здесь шла речь о «коммерческом кружке» (Círculo mercantil) Малаги, основанном лишь в 1862 г.; Боткин, вероятно, посещал читальный зал св. Августина, основанный в 1821 г. Экономическим обществом друзей страны; эта библиотека стала публичной только в 1853 г.

[^^^]

«Мы проезжали через настоящее Campo Santo «кладбище». Кресты над убитыми страшно разрастались; в некоторых местах можно было насчитать 3 или 4 на расстоянии 100 шагов; это уже была не дорога, а кладбище. Нужно признаться, однако, если бы во Франции существовал обычай увековечивать крестами память о насильственной смерти, некоторые улицы Парижа не позавидовали бы дороге Велес-Малаги. На нескольких зловещих памятниках уже старые даты; как бы то ни было, они возбуждают воображение путешественника, заставляют его быть внимательным к малейшему шуму, настораживая и не позволяя ему скучать ни минуту; на каждом повороте дороги, как только появляется подозрительная на вид скала или опасная рощица, каждый говорит про себя: здесь может быть спрятан какой-нибудь негодяй, нацеливающийся на меня, чтобы иметь повод для водружения нового креста в назидание будущим прохожим и путешественникам» (Gautier, p. 280—281).

[^^^]

Герцен в «Былом и думах» (гл. XIV) высказывает подобную мысль: «Простой народ еще менее враждебен к сосланным, он вообще со стороны наказанных. Около сибирской границы слово „ссылный“ исчезает и заменяется словом „несчастный“. В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии, по дороге в Тобольск, крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке, на случай, если „несчастный“ будет тайком пробираться из Сибири» (Герцен, т. VIII, с. 248). Ср. народное презрение к официальным судам, о котором говорит Добролюбов в статье «Черты для характеристики русского простонародья» (*Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 6. М.—Л., 1963, с. 271).*

[^^^]

Абдель-Кадер (1807—1883) — вождь алжирских повстанцев против французских завоевателей в 1832—1847 гг.

[^^^]

Juan y medio означает, наоборот, — невысокий человек.

[^^^]

Готье обратился к тому же Лансе, «парню приятной наружности, очень честному человеку и очень близкому другу разбойников» (Gautier, p. 273). Фамилия этого Лансы (или Лансаса) фигурирует даже в путеводителе по Гранаде того времени: «Можно также проделать путешествие из этого города в Малагу верхом на конях или мулах по дороге для вьючных животных, ведущей через Аламу и Велес. Проводник Лансас, проживающий на постоялом дворе Estrella, предоставляет средства для совершения этой экскурсии, которой многие иностранцы отдают предпочтение, так как могут любоваться разнообразием видов и посещать Аламу, капитуляция которой оказалась, столь роковой для гранадских мавров» (*Lafuente Alcántara Miguel de. El libro del viajero en Granada. Madrid, 1849, p. 107*). В дальнейшем: Alcántara.

[^^^]

«Погонщики мулов и водители „галер“ знают воров, заключают с ними договоры и за известный оброк с головы каждого путешественника или с обоза, в зависимости от условий, получают право свободного передвижения, и их тогда не задерживают. Эти соглашения соблюдаются с обеих сторон с самой скрупулезной честностью, если такое слово уместно в подобных сделках. Когда предводитель шайки, занимающий дорогу, уходит „на помилование“ или по любой иной причине передает другому свое предприятие и свою клиентуру, он старается представить официально своему преемнику проводников, оплачивающих ему „черную контрибуцию“, чтобы их не беспокоили по недосмотру; таким образом, путешественники уверены, что их не ограбят, а воры избегают риска нападения и часто опасной битвы. Это устраивает всех» (Gautier, p. 273).

Средняя температура Малаги в январе +12,7° по Цельсию.

[^^^]

кошениль — насекомое родом из Мексики; собранное в большом количестве, высушенное и приготовленное, употреблялось в промышленности как краситель до появления искусственных красок. Разведение кошенили особенно увеличилось в Малаге с 1825 г. «В 1845 г. между торговыми и благотворительными хунтами был заключен договор, утвердивший разведение кошенили, применение которой в промышленности представляло большой интерес, так как ее годовой сбор оценивался в 30 или 40 000 фунтов красителя: цена единицы колебалась между 30—40 реалами, а пункты разведения в Малаге занимали всего лишь около 40 фанег земли» (*Bejarano Francisco. Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga (1785—1859). Madrid, 1947, p. 213).*

[^^^]

310

Водолечебницы находятся в 3 км от Аламы, в диком лесу на берегу р. Марчан. Углекислые воды с температурой в 45° рекомендуются для лечения ревматизма. Сезон открыт с 10 июня по 10 октября.

[^^^]

Гранадская война (конец XV в.) — завершающий этап освобождения Испании от мавританского владычества.

[^^^]

Боткин воспроизводит здесь лишь две первые и две последние строфы «Romance muy doloroso, del sitio y toma de Alhama, el qual dezía en aravigo assí...». Н. В. Берг в своих «Песнях разных народов» (М., 1854, с. 386—393) заимствует этот романс у Байрона («A very mournful ballad on the siege and conquest of Alhama») и дает его перевод. Это тот же вариант, что и у Боткина (4 строфы), пользовавшегося книгой: *Damas Hinard. Romanceso général. 2 vol. Paris, 1844.* Боткин и доктор Триплин («Мавры в Испании и в Африке». — Пантеон, 1852, апрель, отд. V, с. 6) переводят слово *raseábase* как «ходит». У Байрона этот глагол переведен точнее: «прогуливался верхом», так как дальше король сходит с коня и садится на мула.

[^^^]

Так как русская сажень равняется 2,13 м, то, по словам Боткина, эта пропасть будто бы имеет более тысячи метров глубины. На самом деле разность уровней — около 100 м.

[^^^]

Корриды состоялись в Памплоне в августе и сентябре 1845 г. в честь сыновей Луи Филиппа, герцогов Омалы и Немура. Монтес принимал в них участие (см.: De Cossío, t. III, p. 632B).

[^^^]

По-английски a help.

[^^^]

Боткин плохо определил состав этих скал: они не из гранита, а из сланца и хрусталя.

[^^^]

Вероятно, Боткин путает мрамор с гипсовым мергелем.

[^^^]

В статье «Современное состояние Испании» П. В. Киреевский писал: «Испанские лошади, особенно лошади андалусийские, — говорит американский автор «...», — очевидно, арабского происхождения и несравненно выше английской породы по красоте, стройности и понятливости» (Европеец, 1832, № 2, с. 230). Киреевский ссылаясь на книгу: *Slidell. Year in Spain, by an American.*

[^^^]

Еще одна ошибка у Боткина: в этом месте никогда не было сахарного тростника.

[^^^]

«Fonda de Minerva» находилась на Каррера дэль Хениль (ныне Асера де Дарро): перед ней останавливались дилижансы (см.: Alcántara, p. 103).

[^^^]

Идет речь о реке Дарро, а не о Хениле. Путешественник ошибается потому, что вдоль Дарро проходит дорога (Каррера дэль Хениль), носящая то же название, что и река Хениль.

[^^^]

Пожар 20 июля 1843 г. уничтожил почти всю Алькайсерию (Alcaicería) вместе с ее ценностями. «Название „Alcaicería“ происходит от слова Caizar, что на африканском (!) языке означает Цезарь; завоеывая Африку, римляне в каждом городе предметы торговли хранили в так называемой таможне. Бывало, во время народных смут толпа направлялась туда грабить ценные вещи. Для предотвращения этого один из императоров рода Цезарей велел построить в каждом городе закрытое помещение для государственного имущества и товаров честных торговцев для охраны их собственности. Отсюда произошло слово Alcaicería, т. е. casa del César (дом Цезаря). Гранадские мавры по традиции дедов-африканцев основали свою Alcaicería: небольшое строение с несколькими дверями и внутренними узкими и кривыми проходами, наподобие лабиринта, где они продавали шелка, ковры, ценные ткани. После завоевания арабские лавочки, с ютящимися в них торговцами шелка, сохранились в том виде, как и Alcaicería Феса,

описанная Мармолем» (Alcántara, p. 222—224).

[^^^]

Гостиный двор находится в старом торговом районе Москвы, между улицами Разина (быв. Варварка) и Куйбышева (быв. Ильинка). Это двухэтажное здание с широкими окнами и белыми колоннами по всему периметру фасадов. Оно было построено в 1790—1805 гг. по проекту архитектора Д. Кваренги. Сейчас в Гостином дворе размещается ряд учреждений (см.: По улицам Москвы. М., 1962, с. 42—44). Луис дель Кастильо по поводу русского Гостиного двора высказывался подобно Боткину: «Так как русские долгое время сохраняли отношения лишь с восточными странами, они во многом им подражали. По их примеру в русских городах все лавки собраны в одно здание, которое они называют Гостиным двором, или Базаром, как и восточные народы» (*Castillo Luis del. Compendio cronológico de la historia y del estado actual del imperio ruso. Madrid, 1796, p. 198*).

В июле 1835 г. были приняты два декрета об упразднении общества Иисуса и о закрытии многочисленных монастырей в Испании.

[^^^]

«В залах монастыря хранятся картины и скульптуры, спасенные из церквей; некоторые были внесены в каталог, но большинство из них довольно посредственные» (Alcántara, p. 262—263).

[^^^]

«San Pablo el Ermitaño» («Святой Павел отшельник»).

[^^^]

Точнее — не в Англию, а во Францию; как и многие другие картины, они легли в основу испанского музея французского короля Луи-Филиппа. Этот организованный грабеж испанских произведений искусства произошел в два этапа, в 1835—1837 гг. и в 1843 г., под руководством барона Тейлора.

[^^^]

Можно подсчитать приблизительную скорость, с которой передвигался Боткин, благодаря сведениям, сообщенным им в этом письме. 50 миль, отделяющие Малагу от Гранады, были проделаны в течение трех дней. Боткин уверяет, что он приехал в конце первого дня в Велес-Малагу (25 км); второй день он ездил верхом 8 часов, а в последний ему понадобилось 10 часов, чтобы доехать от Аламы до Гранады. Итак, в среднем он ехал со скоростью 5 км в час.

[^^^]

Вероятно, речь идет об Аль-Гаццале.

[^^^]

Современное название этих ворот (Судейские), кажется, ошибочно. Bab-as-Saria на мусульманском Западе (ворота под таким названием были в большинстве испанских городов) в обиходе означает ворота, открывающиеся на внешнюю эспланаду города (saria), там, где обычно раз в неделю бывает рынок и где сходятся главные дороги из окрестностей (ср. Puerta de Bisagra в Толедо, название которой, видимо, происходит от Bab-as-Saria). Нет ничего удивительного, что главные ворота Альамбры, открывавшиеся на окрестности Гранады, носили широко распространенное название. Алонсо дэль Кастильо и Мармоль, которые впервые перевели надпись на воротах Альамбры, справедливо сохранили первоначальное название Bab-as-Saria без его интерпретации. Лишь позже вздумали переводить это выражение как ворота юстиции (saria означает также закон), и таким образом содалась легенда, дошедшая до наших дней, по которой во времена Насридов кади заседал и совершал правосудие под главным входом

дворца Альамбры (см.: *Lévi-Provençal É.*
Inscriptions arabes d'Espagne. Texte.
Leyde—Paris, 1931, p. 156—158).

[^^^]

Над аркой Судейских ворот высечена двухстрочная надпись: «Приказал соорудить эти ворота под названием Bab-as-Saria «...» наш властитель эмир мусульман, султан, воин за веру, праведный Абул-Хаггаг Юсуф, сын нашего властителя султана, воина за веру, освященный Абул-Валид Ибн-Наср (а не Абу-Абдалла Нассер, — А. З.). И это произошло в месяц Прославленного 749 года «июнь 1348 г.»» (а не 1309).

[^^^]

Боткин имеет в виду четырехтомный труд: *Lafuente y Alcántara* Emilio de. *Historia de Granada*, 1845. Этого автора не следует путать с его однофамильцем Мигуэлем Алькантара, автором путеводителя по Гранаде.

[^^^]

Не надо смешивать эту «фигу» с презрительным символом, существующим как жест и как слово у испанцев и у русских. «Среди вещей, увековечивших древние суеверия, необходимо упомянуть о „фигах“, предохраняющих детей от заморозки или сглаза, по народному преданию. Место их распространения приходится на область Астурии и Леона, а затем снова они появляются южнее в Хаэне и Альмерии» (*Subías Galter Juan. El arte popular en España. Barcelona, 1948, p. 127*).

[^^^]

Особым постановлением Карл V запретил маврам под страхом смерти носить эти маленькие руки из золота и серебра, разорив тем самым множество ремесленников, производивших эти амулеты прямо на базарах.

[^^^]

Имеется в виду «Легенда об арабском астрологе» из книги Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» (1832).

[^^^]

Gasa Real Nueva (дворец Карла V) был построен в 1527 г.

[^^^]

Santa María la Real выстроена в 1581 г. на месте Mezquita Real (насридской королевской мечети).

[^^^]

Боткин имеет в виду книги Вашингтона Ирвинга (см. статью А. Звигильского, с. 289).

[^^^]

Боткин посетил Неаполь и южную Италию в мае — июне 1844 г.

[^^^]

Этот гипс — штукатурка, имитирующая мрамор, — представляет собой смесь из гашеной извести, мраморной пыли и мела.

[^^^]

«Чаша стоит на 12 львах, которые, впрочем, могли бы сойти и за тигров и за пантер. Скорее всего, это сказочные звери, как за редким исключением их любили изображать арабские художники, намекая на формы, запрещенные Кораном» (*Chamdor* Albert. L'Alhambra de Grenade. Paris, 1952, p. 96).

[^^^]

На самом деле эта картина изображает четыре разных сцены с двумя персонажами — мавром и христианином.

[^^^]

Точное название: «зала двух сестер» (sala de las dos hermanas).

[^^^]

Боткин, вероятно, пользовался книгой: *Pérez de Hita* Ginés. *Guerras civiles de Granada*. Madrid, 1846.

[^^^]

Речь идет об одном из арабских стихов, вырезанных на камне фонтана во «дворе львов».

[^^^]

В эту же зиму 1845—1846 гг. в Гранаде был Глинка. Он встретил в Альамбре своего соотечественника, архитектора Бейне со спутником англичанином Робинсоном: оба рисовали залы мавританского дворца (см.: Глинка, т. I, с. 254).

[^^^]

сорокалетними событиями — здесь в смысле: событиями сорокалетней давности, т. е. времен Великой французской революции 1789—1794 гг.

[^^^]

Демулен Камилл (1760—1794) — один из вождей Великой французской революции; 12 июля 1789 г. во дворе Пале-Рояля он призвал народ к восстанию; зелень на шляпе — символ надежды.

[^^^]

Имеются в виду площадь Согласия, где в 1793—1795 гг. было гильотинировано свыше 1300 человек, и мост Согласия.

[^^^]

красный колпак — имеется в виду фригийский колпак — головной убор фригийских пастухов, чаще всего — красного цвета, который в Древней Греции и Риме носили освобожденные рабы; поэтому красный колпак стал символом свободы; таковым же он был и в этой французской революции.

[^^^]

«*Корсер*» (1823—1852), «*Шаривари*» (выходит с 1832 г.) — парижские сатирические газеты.

[^^^]

Имеются в виду сен-симонисты, общество которых было разгромлено французским правительством в 1832 г., а вожди посажены в тюрьму; один из руководителей движения Анфантен по выходе из заключения с группой соратников отправился в Египет для организации социалистической общины; Боткин не мог предвидеть, что и это мероприятие кончится крахом и что в 1837 г. Анфантен вернется во Францию.

[^^^]

Генрих IV (1553—1610) — французский король с 1589 г., выдающийся государственный деятель, отличался большой любовью к своим детям.

[^^^]

Речь идет, вероятно, о салоне мадам Ансело, который в 1830-х годах посещало много русских (П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, С. А. Соболевский и др.). См.: *Ancelot Virginie. Un salon de Paris 1824—1864*. Paris, 1866, p. 95—98.

[^^^]

Действительно, Гюго был несколько лет близок к актрисе театра Сен-Мартен Жюльетте Друэ (Drouet).

[^^^]

Королевская площадь (площадь Вóжей), 6 — квартира, которую Гюго занимал в 1832—1848 гг. (ныне — квартира-музей В. Гюго).

[^^^]

Видимо, младший сын писателя, Франсуа Виктор (род. 1828).

[^^^]

Далее в журнальном тексте «Телескопа» факсимильно воспроизводится подпись: «Victor Hugo».

[^^^]

Дорога через горный проход Симплон (выше Боткин приводит и итальянское написание: Semprione) была проложена по приказу Наполеона в 1800—1806 гг.

[^^^]

Людовик Филипп, Луи Филипп (1773—1850) — французский король в 1830—1848 гг.

[^^^]

карлисты — здесь сторонники Карла X (1757—1836), французского короля, свергнутого в 1830 г.; реакционеры замыслили восстановить царствование этой (старшей) ветви Бурбонов и возлагали надежды на внука Карла, графа Шамбора (1820—1883), которого Карл, отрекаясь от престола, провозгласил королем Генрихом V.

[^^^]

До 1859—1860 гг. северная часть Италии (княжества Ломбардия и Венеция) находилась под игом Австрии; итальянские патриоты в течение нескольких десятилетий боролись за изгнание иноземцев и за объединение страны.

[^^^]

Очевидно, имеются в виду сочинение знаменитого античного историка *Иосифа Флавия* (37 — после 100) «Иудейская война» и римский писатель *Руфин* (около 345—410), так что рукописи должно было быть не 1200, а свыше 1400 лет.

[^^^]

Борджиа Лукреция, герцогиня (1480—1519) — дочь Александра VI, сестра Чезаре Борджиа, любовница их обоих.

[^^^]

Бембо Пиетро, кардинал (1470—1547) — итальянский ученый и писатель.

[^^^]

См. примеч. 191.

[^^^]

Цезарь (Чезаре) Борджиа (1474—1506) — сын Александра VI, жестокий и вероломный политический деятель, убийца собственного брата и многих итальянских князей.

[^^^]

Имеется в виду картон Рафаэля «Афинская школа» (изображающий диспут знаменитых античных философов), по которому была выполнена фреска в Ватиканском дворце.

[^^^]

Реформа — имеется в виду Реформация, антикатолическое движение XVI в. в странах Западной Европы, приведшее к господству лютеранства (значительно опростившего церковные службы) в большей части Германии.

[^^^]

Речь идет о московском Большом театре (на Петровке); после перестройки 1856 г. зал Большого театра стал обширнее зала Ла Скала.

[^^^]

Боромей (Борромео) Карло (1538—1584) — кардинал и архиепископ миланский; в 1616 г. причислен Ватиканом к лику святых.

[^^^]

фамилия — семья.

[^^^]

лев — символ Венеции, изображенный на ее гербе.

[^^^]

базилика — в христианском зодчестве это церковное строение с колоннадой.

[^^^]

«совет десяти» — аристократический орган власти, введенный в Венеции в XIV в.

[^^^]

Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский писатель, был арестован за сочувствие к революционному движению карбонариев, находился в свинцовой тюрьме в 1821—1822 гг.

[^^^]

Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист, возрождавший античные традиции.

[^^^]

Палладий (Палладио) Андреа (1518—1580) — итальянский архитектор эпохи Возрождения.

[^^^]

Цитата из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь IV, строфа 3).

[^^^]

Фальеро Марино (1274—1355) — венецианский дож, казненный за участие в заговоре против патрицианской верхушки города; Боткин, вероятно, знал трагедию Байрона «Марино Фальеро, дож венецианский». См. также примеч. 381.

[^^^]

Имеется в виду новелла Гофмана «Дождь и догаресса» из цикла «Серапионовы братья»: о старом дожде Марино Фальеро и его молодой жене Аннунциате. Боткин очень высоко оценивал творчество Гофмана, рецензировал первый русский перевод «Серапионовых братьев» (Молва, 1836, № 15, с. 76—79), дважды переводил повести Гофмана («Дон Жуан» — Московский наблюдатель, 1838, ч. XVI, апрель, кн. 2, с. 546—564; «Крейслер» — там же, ч. XVIII, июль, кн. 2, с. 144—189). Новелла «Дождь и догаресса» пользовалась большой популярностью среди русских романтиков: Ап. Григорьев в поэме «Venezia la bella» (1857) посвятил ей две последние строфы; возможно, также под влиянием новеллы Гоголь назвал героиню своей повести «Рим» Аннунциатой.

[^^^]

Corso — Корсо, главная улица Рима.

[^^^]

архитравы — горизонтальные брусы античных зданий, покоящиеся на колоннах.

[^^^]

Септимий Север — римский император с 193 г.; арка в его честь возведена в 203 г.

[^^^]

Константин I Великий (ок. 280—337) — римский император с 306 г.; перенес столицу в Византию; в честь его этот город был назван Константинополем. Триумфальная арка Константина возведена в Риме в 312 г.

[^^^]

Тит (39—81) — римский император с 79 г.; арка в его честь возведена в 70 г. (в этом году Тит, будучи военачальником, подавил восстание в Иудее и взял Иерусалим).

[^^^]

Тиверий (Тиберий, 43 до н. э.—37 н. э.) — римский император.

[^^^]

Имеется в виду зарождение христианства в Малой Азии.

[^^^]

В конце жизни Константин I (см. примеч. 385) принял христианство, и с IV в. римские императоры делают христианство государственной религией.

[^^^]

Адриан (76—138) — римский император со 117 г.; Боткин описывает громадный мавзолей Адриана (139 г.), превращенный в средние века в укрепленный замок.

[^^^]

Campro Vaccino — Кампо Ваччино, Коровье Поле (средневековое название площади Римский Форум).

[^^^]

Николай Петрович Боткин (1813—1869) — московский купец, путешественник; в 1830—1840-х годах братья находились в очень дружественных отношениях.

[^^^]

беарнское — из южной французской области Беарн.

[^^^]

На этом текст обрывается. Конец письма не сохранился.

[^^^]

Перечисляются произведения Н. М. Карамзина.

[^^^]

Точное название книги: Всемирный путешественник, или Познание Старого и Нового света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света «...», изданное г. аббатом де ля Порт, а на российский язык переведенное с французского Я. И. Булгаковым. В 27 частях. СПб. 1778—1794.

[^^^]

Точные названия книг: *Симонов* *И. М.* Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань, 1844; *Жукова М. С.* Очерки южной Франции и Ниццы. Из дорожных записок 1840 и 1842 годов. Ч. 1—2. СПб., 1844; *Чертков А. Д.* Воспоминания о Сицилии. Ч. 1—2. М., 1835—1836; *Всеволожский Н. С.* Путешествие через южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Сев. Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж, в 1836 и 1837 годах. Т. I—II. М., 1839; *Строев В. М.* Париж в 1838 и 1839 годах. Ч. 1—2. СПб., 1841—1842; *Погодин М. П.* Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. Т. 1—4. М., 1844; *Литке* *Ф. П.* Заметки за границую в 1840 и 1843 годах. СПб., 1845; *Левшин А. И.* Прогулка русского в Помпеи. СПб., 1843; *Ковалевский Ег. П.* Четыре месяца в Черногории. СПб., 1841; *Греч Н. И.* 28 дней за границую, или действительная поездка в Германию 1835 г. СПб., 1837; Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839; Пись-

ма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии. СПб., 1843; Парижские письма, с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии. СПб., 1847. Чернышевский, вероятно, пользовался библиографией: *Ольхин М. Д.* Систематический реэстр русским книгам с 1831 по 1846 год. СПб., 1846 (глава «География»).

[^^^]

Имеется в виду книга: *Попов А. «Н.» Путешествие в Черногорию.* СПб., 1847.

[^^^]

Эту книгу — *Яковлев В. Д.* Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. Спб., 1855 — Чернышевский рецензировал в «Современнике» (1855, № 2, отд. IV, с. 50—52).

[^^^]

Далее следует текст, написанный В. П. Боткиным. Все имена испанских властителей прокомментированы в примечаниях к «Письмам об Испании».

[^^^]

Здесь кончается рукопись В. П. Боткина.

[^^^]

Далее следует цитата из письма I: от слов «Красота Испании давно...» до «...испанцы еще не любят поклоняться».

[^^^]

Далее следует цитата из письма II: весь первый абзац раздела «Севилья», от слов «Находясь в самом сердце Андалузии...» до «...пламенной энергией».

[^^^]

Далее следует цитата из письма VI: от слов «Для меня, жителя северных равнин...» до «...среди южной природы».

[^^^]

Далее следует цитата из письма «VII»: от слов «В жизнь мою не забуду...» до «...сладкие душе мелодии».

[^^^]

трухменцы (трухмены) — тюркоязычная народность Северного Кавказа.

[^^^]

Далее следует цитата из письма «VII»: от слов «Недавно в Гранаде я был...» до «...рага no trabajar».

[^^^]

Цитата из писъма I.

[^^^]

Далее следует цитата из письма I: от слов «Испания полна уныния...» до «...высшая власть — анархия».

[^^^]

Неточная цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Торжество победителей» в переводе В. А. Жуковского; вместо «добрых» нужно «бодрых».

[^^^]

Далее следует цитата из письма I: от слов «Во многих отношениях Испания...» до «...столь прекрасные и драгоценные».

[^^^]

Далее следует цитата из письма I: от слов «Испанец прежде всего...» до «... один бог делает кавалерами».

[^^^]

Далее следуют три обширные цитаты, включающие почти весь первый раздел («Мадрит») письма II: от слов «при наружности, почти совершенно сходной...» до «...больших земельных владетелей»; от слов «Я говорил выше о равенстве...» до «...ничтожную плату» (с пропуском фразы «Собственность в Испании — двух родов: собственность земли и собственность десятинного сбора»; от слов «После всего этого...» до «...просвещение, торговля, промышленность...».

[^^^]

Далее следует обширная цитата из письма III: от абзаца «По вечерам с 8 и 9 часов...» до конца письма (с пропуском почти всего текста испанской песни: сохранены только первые три строки).

[^^^]

Далее следуют две цитаты из письма I: от слов «Политическая Испания есть...» до «...лично до него не касается»; от «Испания, удушенная тремя веками...» до «...понятие об общем деле».

[^^^]

Поиски русских и западноевропейских исследователей творчества В. П. Боткина не увенчались успехом: до сих пор не найдены отклики немецкой печати 1850-х годов на «Письма об Испании», как не найдены и переводы. Возможно, Дружинин пользовался непроверенными источниками.

[^^^]

Дон Родриго — имеется в виду Сид (см. примеч. 21).

[^^^]

Кортес Фернандо (1485—1547) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики.

[^^^]

Имеется в виду королевство Сардинское (Пьемонт), в 1850-х годах — единственная относительно независимая от иностранцев область Италии.

[^^^]

Вероятно, речь идет о последних строках песни VI «Чистилища»:

*...та больная,
Которая не спит среди перин,
Ворочаясь и отдыха не зная.*

(пер. М. Л. Лозинского).

[^^^]

Подразумеваются учения утопических социалистов.

[^^^]

Английский историк и публицист Томас Карлейль (1795—1881), романтик-консерватор, проповедовавший культ выдающихся личностей (цикл лекций-очерков «О героях и героическом в истории», 1841); его труды оказали влияние на русских писателей и критиков (И. С. Тургенев, Ап. А. Григорьев); В. П. Боткин напечатал в журнале «Современник» свои переводы нескольких очерков из этого цикла (1855—1856).

[^^^]

Палафокс дон Хосе, герцог Сарагосский (1776—1847) — испанский генерал, организатор восстания против Наполеона (1808) и героической обороны Сарагосы.

[^^^]

Кастаньос Франсиско Хавер, герцог Баилен (1756—1852) — испанский генерал, участник войны с Наполеоном.

[^^^]

Инфантадо, герцог де Сильва (1775—1832) — испанский генерал, участник войны с Наполеоном.

[^^^]

тори — английские консерваторы; им противостояли либеральные *виги*.

[^^^]

Соути Роберт (1774—1843) — английский поэт-романтик.

[^^^]

Джеффри Фрэнсис, лорд (1773—1850) — английский либерал, противник тори; в литературе — противник романтизма.

[^^^]

Веллеслей Артур Коллей, герцог Веллингтон (1769—1852) — английский военный деятель, командующий британскими войсками в Испании и Португалии во время войны с Наполеоном.

[^^^]

альгвазил (альгвасил) — полицейский или младший судебный агент.

[^^^]

Неточная цитата из предисловия к роману Т. Готье «Мадемуазель де Мопэн» (1835). В подлиннике: «Я с большой радостью отрекись от моих прав француза и гражданина, чтобы увидеть подлинную картину Рафаэля или прекрасную нагую женщину — княгиню Боргезе, например, когда она позировала Канове, или Джулию Гризи, когда она вступает в ванну».

[^^^]

Имеется в виду книга: *Gautier Théophile. Voyage en Espagne. Paris, 1845.* См. о ней в статье А. Звигильского и в примечаниях к «Письмам об Испании».

[^^^]

бомбаст — высокопарность, напыщенность.

[^^^]

Не совсем точно: действительно, в «Московском наблюдателе» (1838—1839) и в «Отечественных записках» (1839—1843) Боткин печатался обычно анонимно или под различными криптонимами (чаще всего «В. Б-н»), но уже в 1841 г. опубликовал статью «Женщины, созданные Шекспиром» (Отечественные записки, № 2), подписанную «В. Боткин».

[^^^]

Намек на Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского.
Выше шла речь о Кольцове, Некрасове, Тургене-
ве, Огареве, Григоровиче, Грановском.

[^^^]

Очевидно, намек на разногласия Боткина с Белинским в 1838—1841 и 1847 гг.; «упорный разлад» — явное преувеличение Дружинина (со слов самого Боткина?), см.: *Егоров Б. Ф.* В. П. Боткин — литератор и критик. Статья 1, — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1963, вып. 139, с. 30—41, 57—65.

[^^^]

Об отрицательных мнениях по поводу «Писем об Испании» как о компиляции из иностранных источников см. статью А. Звигильского. В печати, однако, противники выступали очень осторожно; см., например, отзыв Ап. Григорьева о последнем письме цикла: «Упомянем еще о прекрасной статье г. Боткина „Гранада и Алгамбра“, которую прочли мы с истинным наслаждением, хотя не можем знать с достоверностью, насколько она оригинальна» («Русские журналы в текущем году <...> Современник. Январь». — Москвитянин, 1851, № 5, с. 88).

[^^^]

Далее следуют две цитаты о Мадриде из письма I (первая неточная): от слов «От Бургоса до Мадрита, — говорит наш путешественник, — всюду одни...» до «...печальнее этой природы»; от «Мадрит, — продолжает г. Боткин в другом месте, — не есть столица...» до «...все, что делают они».

[^^^]

Далее следуют две цитаты из письма I: от слов «Политическая Испания есть какое-то царство призраков, — говорит г. Боткин...» до «...понятие об общем деле»; от «Несмотря на то, что слово...» до «фантастических конституций».

[^^^]

Далее следует цитата из письма I: от слов «Мадрит. Июнь. Мадрит в волнении...» до «...продолжал свою дорогу».

[^^^]

Неточная цитата из письма I.

[^^^]

Очень неточная цитата из письма П.

[^^^]

Очень неточная цитата из письма IV.

[^^^]

Неточная цитата из письма IV.

[^^^]

Очень неточная цитата из письма VI.

[^^^]

Монтаж из четырех неточных цитат письма I. Далее следуют две цитаты из письма I: от слов «угрюмо и спокойно, завернувшись в свои коричневые плащи...» до «...французской подвижности и увертливости»; от «Нет больше Пиреней! — говорил Людовик XIV...» до «...не прибавив: несчастная!».

[^^^]

Далее следует цитата из письма I: от слов «Сан-Яго...» до «...уйдут из рая в Испанию».

[^^^]

Неточная и неполная цитата из письма П.

[^^^]

Очень неточная цитата из письма III.

[^^^]

То же.

[^^^]

Далее следуют три цитаты из письма «VII»: от слов «В жизнь мою не забуду...» до «...когда изгоняли их из Гранады!»; от «Я забыл сказать, что на другой же день...» до «...увеселяется душа моя»; от «Возле самой моей квартиры...» до конца «Писем об Испании».

[^^^]

Глинка справедливо жаловался на этот неудобный экипаж, вспоминая свое путешествие в «галере» из Гранады в Мадрид: «Этот экипаж недаром назван галерой, он вроде большой жидовской фуры с навесом, не помню, из кожи или холста; он весь навален клажей, сверху которой полагаются матрацы пассажиров, на которых они сидят друг против друга. Теснота такая, что нельзя пошевелиться; противу меня сидела огромная тучная баба, от которой в короткое время ноги мои почувствовали невыносимую пытку. Ехали шагом по 4 версты в час, останавливались два раза в сутки по 3 или 4 часа, ехали же, или, правильнее, тащились, по 7 и 8 часов безостановочно. Я значительную часть пути прошел пешком» (Глинка, т. I, с. 256).

[^^^]

Чуло — вспомогательный персонал боя бы-
КОВ.

[^^^]

кадриль — точнее «куадрилья» (отряд, группа).

[^^^]

Морисков обвиняли в сообщничестве с берберийскими пиратами и в «преступных» сношениях с Францией.

[^^^]

на протяжных — медленно, не меняя лошадей.

[^^^]

Французское название: «Antar, roman bédouin d'Abou-Said Abd-el-Malik ibn Zoraib al-Asmai», trad. de l'arabe par Terric-Hamilton, imité de l'anglais par Étienne-Jean Delécluse. Paris, 1819. 3 vol.

[^^^]

Речь идет о кн.: *Lozano P.* Antigüedades árabes de España. Parte segunda que contiene los letreros arábigos que quedan en el palacio de la Alhambra de Granada, publ. por la R. Acad, de San Fernando. Madrid, 1804.

[^^^]

Малибран Мари Фелиситэ (1808—1836) — знаменитая певица, сестра Полины Виардо.

[^^^]